

12

Теодор Драйзер

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Теодор Драйзер

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ
ТОМАХ

ТОМ
ДВЕНАДЦАТЫЙ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1986

Издание выходит
под общей редакцией
С. И в а н ь к о

© Издательство «Правда». 1986.
(Иллюстрации.)

Рассказы



Из сборника
«ГАЛЕРЕЯ ЖЕНЩИН»

ОЛИВИЯ БРАНД

Когда я думаю о ней, перед моими глазами встают Уосатчские горы, Солт-Лейк-Сити, раскинувшийся у их подножия, храм мормонов и широкая гладь Грейт-Солт-Лейка, университет штата Юта, расположенный высоко на склоне, откуда открывается вид на город,— отец Оливии был там профессором математики. В свободное от лекций время он занимался банковскими операциями, а кроме того, был не то старшиной, не то членом приходского управления одной из главных баптистских церквей города. И мне вспоминается тот особняк, который, как гласит молва, Брайем Юнг построил для самой любимой из своих двадцати двух жен. Я вижу также длинные тихие улицы, на одной из которых стоял дом родителей Оливии, такой респектабельный и такой типичный для Среднего Запада; отец Оливии занимал солидное общественное положение, как она поняла еще в детстве, ибо был связан и с университетом и с банком, и мне представляется его сумрачное, худое бородатое лицо; она призналась мне однажды, что никогда не могла понять своего отца, таким он был непроницаемым и важным. А мать ее, рассказывала мне Оливия, вечно терзали мысли о том, что именно считать правильным с точки зрения приличий и что является наиболее пристойным и подобающим, что скажут люди и как ей самой следует поступить в том или ином случае.

Оливия говорила мне, что сначала училась в городской школе, а потом поступила в университет, где ее отец читал лекции. Кроме того, она посещала богослужения и воскресную школу при той церкви, весьма заметным украшением которой являлся ее отец.

Однако мысли, занимавшие ее тогда, далеко не соответствовали тем общепринятым взглядам, которых при-

держивались ее родители. Она уже сблизилась с несколькими юношами и девушками, которые принадлежали к другим религиозным сектам, а то и вовсе ни к какому и были чуть ли не еретиками и даже бунтарями; с ними она делилась своими мыслями, хотя и мать и отец не раз предостерегали ее от опасности подобных знакомств. Когда ей было четырнадцать лет, однажды в церкви, во время религиозного экстаза, овладевшего молящимися, под истерические возгласы проповедника, который, кстати сказать, был необычайно хорош собой, ее вдруг охватило сознание собственной греховности и нравственного несовершенства. И когда этот проповедник положил благословляющие руки на ее голову и плечи, она почувствовала, что воистину «обращена» и «спасена». Некоторое время после этого, к великой радости родителей, она с воодушевлением читала Библию, заявляла во всеуслышание в церкви и повсюду о своем обращении, смертельно надоедала друзьям и соседям, пытаясь раскрыть им глаза на чудовищность их духовного падения и убедить в том, что и для них необходимо такое же чудодейственное спасение, какое обрела она сама. (Все это должно показаться несколько странным тому, кто знаком с ее дальнейшей жизнью.)

Но страстное увлечение религией вскоре уступило место не менее страстному любопытству к жизни, завладевшему ее сердцем и разумом. Она хотела знать. Ей хотелось познакомиться с людьми, не похожими ни на ее родителей, ни на тех, кого они ставили ей в пример. Хотелось думать и рассуждать именно о том, что они так решительно осуждали. Читать именно те книги, которые, она знала, они не одобряют, вроде тайком добытых ею двух-трех романов о любви и описания сомнительных походов Брайема Юнга и пророка Джозефа Смита. (Два последних тома в конце концов обнаружила ее мать и вернула их родителям девушки, от которой Оливия получила эти книги. Она не преминула при этом указать на необходимость строгого внушения и наказания виновной.) Надо сказать, что даже когда Оливии исполнилось восемнадцать лет, мать ее считала своим долгом всегда знать, где ее дочь была и чем занималась, по крайней мере она пыталась это узнать. Правда, делалось все это без излишней назойливости. Она все-

таки искренне любила дочь. Однако Оливия, наделенная находчивостью и хитростью, в большинстве случаев умела обойти строгую бдительность матери.

Но я забегаю вперед... Познакомился я с Оливией у одного педантичного юриста, представителя старого Гринвич-Вилледжа, своей желчностью и худобой напоминавшего шекспировского Кассио. Он пригласил Оливию и ее друзей в «Черную кошку» — в те времена это заведение было еще в полном расцвете. Оливия была тогда женой очень богатого западного лесопромышленника, и супруг разрешил ей совершить поездку на Восток.

Она гостила у одного редактора, человека довольно легкомысленного, и его жены — друзей юриста; оба чрезвычайно гордились своей причастностью к артистическому Гринвич-Вилледжу, к его интересам и вкусам. Оливию, как я мог заметить во время обеда, все они считали истинной находкой. И вполне понятно. Она была богата, умна и, что еще важнее, молода, жизнерадостна и красива. Тяжелые темные волосы, по-испански причесанные на пробор, обрамляли ее невысокий матовый лоб; продолговатые живые глаза смотрели горячо и открыто. Стройная шея и округлые плечи казались выточенными из слоновой кости. Платье в испанском стиле, шаль, серьги, высокий гребень... Не слишком ли кастильский облик для жительницы Спокэна? — с улыбкой подумал я.

Среди гостей был модный поэт, — высокий, статный мужчина с вьющимися волосами, и Оливия, как я заметил, не сводила с него глаз. Он же, польщенный таким вниманием, провозглашал тосты за ее здоровье и рассыпался в любезностях, довольно слащавых и безвкусных. Был там еще известный писатель, редактировавший журнал анархистов; вдохновленный красотой новой гостьи, он с особым красноречием обрушивался на богатство и социальное неравенство, попутно извергая на Оливию поток полупьяных комплиментов.

Впоследствии я часто встречал его у Оливии, и никогда он не мог исчерпать запаса своих дифирамбов. Был там еще... впрочем, не довольно ли? Достаточно сказать, что за столом сидело по крайней мере человек двадцать мужчин и женщин разного возраста, разных занятий и убеждений, и все они, казалось, видели в Оли-

вии королеву вечера. Да она, и правда, была самой интересной и красивой из всех присутствующих женщин. Бесшабашное веселье тех предвоенных лет! Сколько угодно коктейлей и шотландского виски! Надо сказать, что Кассио оказался весьма щедрым хозяином. К полуночи он пригласил нас всех к себе на квартиру в старом Гросвеноре, где опять было вино, музыка, сигары и где разговор еще больше оживился. Не было конца остроумам и шуткам, веселой болтовне о том, о сем, обо всем на свете.

Помнится, одно обстоятельство привлекло тогда мое внимание и возбудило любопытство к этой молодой особе: какая-то ревнивая неприязнь к Оливии Бранд моей знакомой, с которой я был на том вечере. Это ревнивое чувство не было связано с ее отношением ко мне. Она любила другого, и, хотя в то время он был далеко, ее симпатии безраздельно принадлежали ему. Но какие тирады я услышал по пути домой! Какие колкие замечания о жизни Оливии! Собственно говоря, кто она такая? Выскочка, провинциальное ничтожество! Жена лесопромышленника с Дальнего Запада, у которого, правда, куча денег, но сам он круглый невежда, чурбан неотесанный! Кстати, почему она живет одна здесь, в Нью-Йорке, а он где-то там на Западе работает для нее? А очень просто! Потому что Оливия Бранд бессердечная авантюристка, не стесняющаяся жить на деньги человека, которого презирает и стыдится! Она просто-напросто паразит, никчемное создание, да еще с претензиями на литературный и художественный вкус! Воображает, что задает тон! Это она-то! Господи! Ну, уж и образец изысканности, нечего сказать! Деньги, деньги, деньги! Роскошная квартира на Риверсайд-Драйв! Шикарный автомобиль! Нацепила все свои меха и драгоценности, водит за собой целую свиту любовников и еще смеет являться в Гринвич-Вилледж и рассуждать о правах трудящихся и о теориях Маркса и Кропоткина, она, видите ли, увлекается социализмом и левым движением! Подумать только! Каждый уважающий себя радикал должен держаться подальше от подобных фокусниц! Экая лицемерка! Вот уж подлинно гроб повапленный! (Боюсь, что мои эпитеты и сравнения несколько сумбурны,— что поделаешь, именно так выражалась моя приятельница.)

Однако это уже становится интересным, подумал я. Что-то, видно, есть в этой Оливии Бранд, если она смогла вызвать такую бурю ненависти со стороны женщины тоже весьма незаурядной. Кроме того, она в самом деле очень красива. Где она живет? Она как будто не обратила на меня никакого внимания.

После этого вечера прошло порядочно времени. Я ничего больше не слышал об этой нашумевшей «авантюристке». Но затем человек совершенно иного толка, редактор журнала и талантливый писатель, который любил слоняться по Нью-Йорку, интересуясь самыми разнообразными делами и людьми, напомнил мне о ней. Он где-то с ней познакомился. У нее очень милая квартира на Риверсайд-Драйв. Она часто устраивает приемы, на которых собираются интересные люди. Там наверняка можно встретить кое-кого из левых вроде, например, деятелей ИРМ¹ — между прочим одного горняка из западных штатов, ныне крупного рабочего лидера, — всем им она, по-видимому, очень нравится. Ну что ж, у нее разносторонние интересы. Не одни только радикалы у нее бывают, но и множество других людей, которых никак нельзя причислить к левым. Кого только у нее не встретишь — редакторы, художники, искатели приключений, прожигатели жизни. Словом, там не заскучаешь! Почему бы и мне как-нибудь не зайти к ней? Я отнесся к этому предложению без особого восторга, потому что в то время был очень занят. Однако столь противоречивые отзывы об Оливии занимали меня и еще больше возбудили мое любопытство. Должно быть, она и в самом деле незаурядная женщина. Какая-нибудь пустая кокетка или ничтожество не смогла бы привлечь столь разнообразных людей. Мой собеседник, между прочим, отозвался о ней как о женщине широких взглядов и образованной, а библиотека, по его словам, была у нее совершенно исключительная. И я решил, что стоит к ней зайти.

Вскоре после этого раздался однажды телефонный звонок, и я услышал воркующий женский голос. Она не помешала? Она просит извинить ее. Говорит Оливия Бранд. Помню ли я ее? (Безусловно.) Она давно собирается пригласить меня к себе, но все как-то не выходит.

¹ Индустриальные рабочие мира.

Она даже просила кое-кого из своих друзей привести меня, но они не исполнили ее просьбу. Поэтому она отважилась позвонить сама. Не приду ли я сегодня к ней обедать? Нет? Почему меня нужно так упрашивать? Ну хорошо, нельзя, так нельзя. Но вот завтра она вместе с небольшой компанией — это очень интересные люди — собирается пойти в чешский театр в Ист-Сайде. Там ставится чешская народная драма на чешском языке, играют чешские актеры. Не пойду ли я с ней? Она рассказала мне об этой пьесе и об актерах, — и я согласился пойти. Меня заинтересовал ее рассказ. Исполнители, говорила она, не актеры-профессионалы. Некоторых она знает лично, они живут и работают, как и все прочие члены чешской колонии. Пьеса же трагическая. О любви, нищете и угнетении. Слушая Оливию, я чувствовал, что это не просто светская болтовня. Ее замечания свидетельствовали о критическом чутье, о неподдельном сочувствии к людям.

В условленный час она ждала меня у подъезда в автомобиле, и опять на ней были меха и бриллианты — странное пристрастие к роскоши, подумал я, для женщины, столь интересующейся чешскими крестьянами и их трагедиями. Но, когда мы стали разговаривать, пытаюсь быстрее составить представление друг о друге, я понял, что имею дело с отзывчивым, живым, разносторонним человеком: она много читала, но сама видела и испытала, может быть, не так уж много и во всяком случае еще не успела пресытиться жизнью. Ах, Нью-Йорк такой интересный город! Если бы я только знал! После Спокэна! После Солт-Лейк-Сити! После угнетающей скудости умственной и духовной жизни в городах Среднего и Дальнего Запада, хотя и больших, но безнадежно провинциальных. В Нью-Йорке все такое необыкновенное — самые улицы, толпа, иностранные кварталы! Все эти чужеземцы, которые не растворились в чужой среде, а живут вместе, говорят на родном языке, соблюдают свои обычаи! Ее восхищение Нью-Йорком было так искренне, что передалось и мне и освежило давнишнюю мою привязанность к этому великому городу; и хотя я, как все, кто встречал Оливию, не мог не поддаться обаянию ее внешности, вскоре уже не замечал этого, увлеченный блеском и живостью ее ума.

И вот мы у входа в большое, ничем не примечательное здание, похожее на рабочий клуб, в Верхнем Ист-Сайде. Иностранцы, по виду рабочие, толпятся в дверях. Я почувствовал, что мы, и в особенности Оливия в своих роскошных мехах, составляем резкий контраст с этим будничным миром. Впрочем, ее это, казалось, не слишком беспокоило. Как я узнал позже, она считала, что красота и роскошные наряды, если они к лицу, нигде не бывают неуместными. Каждый человек — по крайней мере в Америке, — она утверждала, может к этому стремиться. Почему бы не появляться всюду хорошо одетым, если, конечно, это делается не ради похвалы перед другими? Она умеет, когда нужно, отказываться от роскоши, ей уже случалось это делать, но жизнь вокруг так бесцветна, что она предпочитает быть всегда празднично-нарядной, не желая этим, конечно, никого обижать. (Прекрасный ответ той особе, которая хотела бы лишить Оливию всех ее дорогих нарядов и украшений и одеть в рубище.)

Рядом с главным входом помещался бар и ресторан, видимо, при этом клубе, — комбинация бильярдной, читальни, кафе и пивного зала. Внизу был даже кегельбан (понятно, иностранцы), откуда доносился стук шаров. Она взяла меня за руку и открыла задрапированную дверь.

— Давайте зайдем сюда прежде, чем идти наверх, и выпьем по чашке кофе с богемскими пирожными. Я как-то раз заметила этот ресторанчик и зашла. Здесь очень мило.

Она повела меня к столикам зеленого мрамора, уютно расположенным у синевато-зеленой стены. Тут действительно все было по-иностранному. Там и сям сидели, читая, какие-то люди, с виду рабочие, мелкие служащие или лавочники. Пока мы пили кофе, Оливия что-то ворковала и мурлыкала насчет своеобразного колорита, присущего Нью-Йорку. И, слушая ее, я невольно думал о том, как скучно, должно быть, жилось ей на Западе. Потом мы поднялись в зрительный зал. Пьеса, как и говорила Оливия, оказалась в самом деле интересной, она несколько напоминала (по крайней мере по сюжету) «Власть тьмы» Толстого. В тот вечер я обнаружил в Оливии что-то новое, а именно, что ее глубоко волновали и тревожили те явления, которые сам я привык рас-

смагивать как неизлечимые язвы жизни; в отличие от меня она не считала их столь безнадежно непоправимыми. Жизнь, хоть и медленно, а все-таки движется вперед, по крайней мере так должно быть! Изучение истории, по словам Оливии, убедило ее в этом. Она, правда, не одобряла слишком решительные, или, я бы сказал, нигилистические меры, но серьезная борьба, развернувшаяся тогда в Америке, вызвала в ней сочувствие к тяжелому положению рабочих. Несчастные труженицы в потогонных мастерских Ист-Сайда! А рабочие текстильных и швейных предприятий в Данбери и Патерсоне! Какая ужасная у них жизнь! Из ее слов я понял, что она уже побывала в обоих этих городах во время происходивших там стачек. Там были Билл Хейвуд, Эмма Гольдман, Бен Рейтман, Мойер, Петтибон — крупные, закаленные в десятках забастовок вожди рабочего движения. С ними она уже встречалась раньше либо в Нью-Йорке, либо еще до того, как приехала сюда.

А что думаю я о той жестокой борьбе, которая происходит сейчас между капиталистами и рабочими? Из моих книг видно, что я сочувствую бедным и угнетенным. Конечно, сочувствую, отвечал я, всем бедным и угнетенным как у нас в Америке, так и во всем мире. Но, мне кажется, неправильно было бы думать, что в своей бедности и угнетенности человек сам несколько не виноват; конечно, у нас имеются не только несправедливые, деспотичные законы, но и несправедливые, деспотичные люди и порядки, с которыми надо как-то бороться. Ну, а вот насчет того, чтобы сделать всех людей равными и полноценными, это, кажется, не в природе вещей. Зablуждение Хейвуда, Эммы Гольдман и других руководителей рабочего движения заключается, как я тогда сказал, в том, что они предполагают, будто люди, только из-за своей бедности и угнетенности, благодаря какой-то таинственной социальной химии, — суть которой для меня остается загадкой, — могут превратиться, и даже мгновенно, в сознательную и творческую общественную силу; что именно в их руки нужно немедленно передать всю власть, в том числе право распределять блага жизни и указывать каждому его общественные обязанности; творческая же энергия одаренных представителей всякой другой социальной среды должна быть скована. С этим я никак не мог согласиться. Унич-

тожить угнетение? Конечно, надо его уничтожить, если это возможно, и устранить бедность, насколько это осуществимо для человеческой воли и способностей. Но думать, что люди при каком бы то ни было общественном устройстве могут освободиться от своих недостатков или своей тупости или же что рабочие, люди, занятые исключительно физическим трудом, должны лишь в силу своего численного превосходства стать главным предметом внимания общества и государства — тысячу раз нет! Мне непонятна такая точка зрения. Я не хочу, чтобы рабочих угнетали. Но я также не хочу, чтобы им переплачивали или разрешали — только потому, что они могут организовать и имеют право голоса, — указывать всем остальным трудящимся, или мыслителям, или высокоталантливым творцам во всем мире, как и в какой мере они должны быть вознаграждены за свой труд. Ибо человек, вынужденный из-за своего умственного несовершенства заниматься физическим трудом, не способен диктовать творческому уму, в каких границах тот должен мыслить и какое вознаграждение получать за свой умственный труд. Жизнь создана не для одной какой-нибудь общественной группы — будь то рабочие, или ремесленники, или художники, торговцы, или финансисты, — а для всех. И ни в коем случае не следует все слои общества мерить одной меркой. Они не могут одинаково думать и требовать одинакового вознаграждения — так никогда не будет. Жизнь по самой своей сути стремится не к однотипности, а к многообразию. Химически, биологически она представляет собой неустойчивое равновесие. И то же самое можно сказать о человеческом обществе. Следовательно... Но, кажется, я впадаю в поучающий тон, а ясностью мои рассуждения, боюсь, не отличаются, поэтому...

И у нас завязался один из тех нескончаемых споров, которые по большей части ни к чему не приводят; он продолжался после театра, во время нашего позднего ужина и у нее дома, так что я попал к себе только к трем часам ночи. Теперь я понял, что Оливия женщина поистине незаурядная, способная и волновать своей красотой и пленять своим живым умом. Кроме того, я разглядел в ней душевную отзывчивость и человечность, которые не позволяли ей спокойно и равнодушно относиться к страданиям людей. Эта отзывчивость глав-

ным образом и побуждала ее, как мне кажется, читать, думать, искать, общаться с людьми и бывать повсюду: ей хотелось самой все видеть и слышать, все узнавать из первых рук. У меня появилась уверенность, что, несмотря на все, что мне рассказывали о ее легкомысленных наклонностях или, быть может, именно благодаря им, мы еще услышим об ее участии в сфере интеллектуальной деятельности.

Теперь, заинтересованный ею, я охотно принял приглашение прийти к ней на обед. Я застал у нее разнообразное и интересное общество. Наряду, например, с Мойером, которого вместе с Хейвудом и Петтибоном судили за убийство некоего Штейнберга, бывшего губернатора штата Колорадо, происшедшее несколько лет назад во время знаменитой колорадской забастовки горняков, там были: два художника и музыкант — всех троих я хорошо знал, — редактор одного либерального журнала, редактор социалистического еженедельника того же направления, что и «Дейли Уоркер», поэт, тот самый, который осыпал ее комплиментами на обеде в «Черной кошке», всегда блистательный Бен Рейтман, бывшее увлечение Эммы Гольдман, один журналист (пожалуйста, запомните его!), который, располагая средствами и досугом, вел отдел городских новостей в одной из крупных воскресных газет Нью-Йорка; а для колорита и украшения общества там было пять или шесть молодых замужних и одиноких хорошеньких женщин, весьма неглупых и остроумных, обладавших своего рода нюхом на все достойное внимания в области философии, искусства и социальных проблем. Впрочем, на сей раз мы собрались просто для того, чтобы за едой и вином приятно провести время.

Все связанное с Оливией Бранд будило теперь мое любопытство. В тот вечер меня особенно заинтересовал стиль обстановки ее комнат, вернее, то настроение, которое в этом проявлялось. Эффектность — вот наиболее подходящее слово для характеристики этой обстановки. Лесопромышленник, как видно, не поскупился и разрешил покупать все, что ей вздумается. Преобладала старинная мебель, повсюду красивые ковры, были тут и гобелены, и ультрамодерновые скульптуры и несколько интересных, хотя, пожалуй, слишком броских неимпрессионистических картин, которые она бог весть где раз-

добыла. Ковры, портьеры, картины, торшеры, книги — все говорило о нарочитой небрежности, о стремлении поразить утонченностью своего вкуса. Масса книг по самым разнообразным вопросам. Эта женщина безусловно любила книги и читала много, притом не только для развлечения. Вначале я не был уверен, что все это отражает ее собственные интересы, и подозревал чьенитьбудь чужое влияние. Однако с течением времени я убедился, что она была вполне самостоятельна в выборе.

Оливия старалась быть приветливой и внимательной со всеми, и, слушая те грубоватые, а подчас до крайности резкие суждения, которые позволяли себе ее гости, я подумал, что она, пожалуй, даже излишне терпима к чужим взглядам. Создавалось впечатление, что собственные ее воззрения и интересы слишком уж широки и неопределенны. Однако было ясно, что в противоположность сторонникам крайних мер, неизбежно связанных с революционными потрясениями, она стояла за всестороннее развитие. Людям нужно учиться, учиться, учиться! (Если бы только они имели такую возможность!) Как-то впоследствии я сказал, что ей следовало бы избрать восходящее солнце своей эмблемой. Впрочем, она слишком интересовалась людьми — главарями каждого лагеря, — и это мешало ей стать на чью-либо сторону; однако в некоторых острых вопросах рабочего движения она была такой же непримиримой, как и любой революционер.

Еще одно я заметил в тот вечер, что Оливия, как женщина, нравилась очень многим и сама не скупилась на ответные чувства, и это, заметьте, при наличии щедрого мужа где-то на Западе. По этой причине я был склонен, в особенности первое время, когда еще плохо знал Оливию, осуждать ее. (Все понять — значит все простить!) Среди ее поклонников был, например, литератор, тот самый, который рассказал мне о ее вечерах, — пышущий здоровьем, энергичный и привлекательный мужчина. Я заподозрил, что он имел особые права в этом доме, и, как потом выяснилось, я не ошибся. Затем был поэт, который пел ей дифирамбы в «Черной кошке». Его пьяная развязность на том вечере, как и в других подобных случаях, убедила меня, что он уже пользовался ее благосклонностью. Он впоследствии сам

мне в этом признался. Был еще профсоюзный гигант. Да, и он тоже! Экая любвеобильная особа, подумал я.

Тем не менее она мне очень нравилась. Было решительно что-то вдохновенное в ее страстном интересе к жизни, в ее умении чувствовать красоту, поэзию, романтику. Меня поражало ее тяготение к людям, творчески одаренным, особенно если им к тому же не было чуждо понимание красоты, и ее искреннее сочувствие тем, кто был всего этого лишен. Я подумал тогда, что в ней как бы воплотилось новое, а может, и очень старое, не знаю, как правильнее сказать, стремление женщин к свободе, их современный ответ на извечное непостоянство мужчин. Оливия, казалось, не слишком беспокоило, как оценивают люди женскую добродетель. Она была за жизнь, за дерзания, за романтику в любви их проявлении. А добродетель — или кодекс супружеской морали — она считала пустой выдумкой, которая одним людям нужна, а для других совершенно бесполезна. О себе же она, очевидно, решила, что имеет право на ту дионисийскую свободу, которую греки даровали лишь гетерам. И вообще она была убеждена, что женщина должна быть так же свободна в любви, как и мужчина, но она никому не навязывала своих взглядов и не считала, что мужчин надо ограничить в их правах. Как я понял из ее поступков и слов, она верила, что свободное общение одаренных мужчин и женщин не только принесет им самим радостное вдохновение и духовный подъем, но и будет способствовать общему благу, служить источником новых и плодотворных идей и вдохновителем общественного развития. Признаться, я невольно улыбался, слушая ее беседы с Беном Рейтманом, похожим на Гаргантюа, о том, как лучше устроить мир, — на этот счет у них было полное согласие. (О Рабле, если б ты мог присутствовать при этом!) Добавлю, что Оливия не была склонна рассматривать чувственную любовь только как потворство инстинкту, напротив — она связывала ее с романтикой, счастьем, идеями. Все, что угодно, ради достижения свободы духа, сказала она мне однажды, пусть жизнь будет как вихрь, в котором мужчины и женщины обретут счастье и вместе с тем смогут мыслить и творить.

Что касается благоприличия и правильности таких взглядов, то я сказал бы: если мужчины и женщины

способны долгое время находить удовольствие в подобном вихре, то, очевидно, это имеет какое-то оправдание. Бесспорно, что пуританизм обесцвечивает жизнь и порождает скуку, ибо сводит любовь к простому деторождению: плодитесь и размножайтесь! А для чего собственно? С другой стороны, далеко не все мужчины могут выносить непостоянство женщин, равно как и не все женщины согласны мириться с непостоянством мужчин. Но и не все способны выносить скуку, даже благонравные. И если некоторых людей их внутренние импульсы толкают на это бешеное кружение, то зачем их останавливать?

Все же, что там ни говори, а Оливия Бранд была незаурядной женщиной. Она познакомила меня, и, конечно, не только меня, с интересными людьми, мыслями, событиями и книгами. Однажды, помнится, она повела меня на тайное собрание, где я увидел рабочего лидера, одного из руководителей знаменитой лоренской стачки. Оно происходило в Ист-Сайде в каком-то грязноватом зале с плотно занавешенными окнами,— боялись налета полиции, ибо уже имелся ордер на арест этого революционера. Люди столпились в душной комнате; и тут я воочию убедился, с какой страстностью бесправные и обездоленные тянутся к тем, кто может вселить в них хоть искру надежды. Нужно сказать, что в спасители этот человек вряд ли годился. Впоследствии он потерпел неудачу — вместе с другими он был выслан из США и недавно умер где-то за границей. Это не был вождь, а всего только человек горячего темперамента и беспокойного ума, который, задумавшись однажды над язвами жизни, с тех пор навсегда и совершенно бескорыстно отдал себя борьбе за дело рабочего класса. Но эта комната! И эти бледные, лихорадочные, изможденные лица! Маленькие фабричные работницы и служанки, не сводившие с него восторженных глаз! Мне казалось, будто я смотрю в окно на новый, неведомый для меня доселе мир. Будто я вижу Христа, задумчиво проходящего среди печальных теней преисподней.

Но это еще не все. Именно Оливия повела меня в мечеть и в то единственное в Нью-Йорке место, где происходили сборища огнепоклонников, и на запрещенное состязание в боксе. И, наконец, в разгаре душевного нью-йоркского лета, когда я изнывал от зноя и вдоба-

вок сидел без денег, именно она разыскала этот ресторанчик, устроенный каким-то незадачливым лодочником на старой барже, полузатонувшей в прибрежном иле у берега Северной реки близ Девяносто шестой улицы. Ресторанчик был самый захудалый, но зато там можно было за семьдесят пять центов получить очень хороший бифштекс или баранью котлету и посидеть летним вечером, любуясь на закат солнца или на мерцающие звезды. Лодки, проплывавшие мимо! Плеск воды у самого нашего столика! Веселая болтовня десятка собравшихся со всех концов города знакомых, которых Оливия уговорила сюда приехать. Я словно сейчас вижу, как около семи часов вечера они торопливо спускаются к берегу, предвкушая ожидающий их бифштекс с картошкой на увязшей в грязи барже. Причудливая прелесть этих вечеров! Такое чувство, словно тебя ждет какое-то неведомое приключение — это и привлекло Оливию и побудило ее созвать нас всех, чтобы поделиться с нами своей находкой.

Однако я несколько отклонился. При встречах я всегда старался дать ей понять, что мой интерес к ней носит чисто духовный характер. Тем не менее я вскоре обнаружил, что, невзирая на всю мою сдержанность, я, по-видимому, был избран ею для любовного приключения, как уже бывало со многими до меня. Вначале это ни в чем заметно не проявлялось. Она обращалась со всеми одинаково просто и дружелюбно. Однако, когда появлялся избранный, она улыбалась особенно обворожительно и протягивала руки в каком-то особом приветливом жесте, который красноречивее любых слов говорил: «Я рада тебе!». И всегда у нее находилась какая-нибудь новость, которой она делилась только с ним. Вскоре я стал замечать, что она все чаще приглашает меня одного, отдельно от других. То ей хотелось, чтобы я послушал в ее исполнении (кстати сказать, прекрасном) какой-нибудь романс или фортепианную пьесу, то у нее оказывалась какая-нибудь новая редкая книга, которой я еще не знал. Именно так мне довелось познакомиться с «Золотой ветвью» Фрезера, а также с произведениями Фрейда. (Позже я встретился у нее с американским последователем этого австрийца, известного своим истолкованием главного движущего импульса жизни.)

Однажды, за завтраком у нее дома, скрытый смысл ее отношения ко мне стал слишком уж очевиден. На столе было вино, в воздухе носился пряный запах курений. Оливия знала, как все это обставить — кокетливо усадить вас в кресло, бросить для себя подушку на пол у ваших ног, придвинуть низенький столик, на котором стояли чашки с кофе, конфеты, фрукты, а порой лежала какая-нибудь книга или репродукция. И она умела принять самую грациозную позу. Но сначала мы отправились с ней в кухню, где приготовили яства для нашего пиршества, причем сам я выступал в роли помощника повара и судомойки. Именно здесь, в кухне, и, очевидно, не без умысла, она стала рассказывать мне историю своей жизни. Начало ее вам известно. Я уже пытался обрисовать ее отца — почтенного бородача из Солт-Лейк-Сити. По словам Оливии, она никогда не могла его понять и в восемнадцать лет ее так и подмывало сделать что-нибудь наперекор всем условностям и приличиям, которые он собой олицетворял. И вот в один прекрасный день, выбирая себе книгу в городской библиотеке, она встретила молодого адвоката, до той поры ей совершенно незнакомого, — в поисках способа сделать карьеру он неизвестно откуда появился в тамошних краях. Молодой человек был весьма любезен и недурен собой. Он помог ей выбрать книгу и посоветовал, что еще прочитать. Попутно он рассказал, где находится его контора, и договорился с Оливией о новой встрече — сперва в той же библиотеке, как самом удобном месте для таких свиданий. В дальнейшем он уже приглашал ее к себе.

Этот роман продолжался больше года. Как призналась мне Оливия, ее чувство к нему не было глубоким. Она шуточно пыталась оправдать столь длительную привязанность к этому человеку тем, что устраивать с ним свидания было отнюдь не легко. Возникавшие при этом препятствия разжигали ее интерес к нему. Молодой адвокат, разумеется, был уже женат. Но не опасность и не какая-нибудь катастрофа положили конец этой истории, а просто усталость, постепенно созревшее в душе Оливии сознание, что жизнь ее по-прежнему остается замкнутой в те же узкие рамки, что это приключение ничего ей не дало. Через несколько месяцев ей стало казаться, что ее возлюбленный не такой замечатель-

ный человек и что, пожалуй, она стоит большего. А его вполне устраивала собственная жена, которая была довольно богата; и, когда пришло время, он без особых волнений расстался с Оливией.

Вскоре после этого на сцене появился ее будущий муж, лесопромышленник из Спокэна, о котором я не раз слышал (впрочем, не от самой Оливии) как о грубом материалисте и неотесанном мужлане. По ее же словам, это был человек приятной внешности и очень богатый, но ограниченный. Для него существовало только то, что он мог видеть глазом, ощупать руками, сосчитать или измерить аршином. Ничто не казалось ему загадкой, кроме разве душевных болезней или каких-нибудь религиозных и политических химер. Его кумиром были деньги и все, что они приносили с собой: обширные поместья, собственные дома, дорогая мебель, счет в банке, место директора компании, общение на равной ноге с теми, кто, подобно ему самому, достиг богатства, или по крайней мере признание этими людьми его достоинств.

Позиция отца вызвала у нее недоумение. Вы помните, что, по собственному ее признанию, она никогда не понимала отца. Теперь же, в связи с его заботами об устройстве ее брака, он стал казаться ей еще более загадочным. Из всего, что он раньше говорил, можно было заключить, что самым важным в жизни человека он считает религию. Причем под религией он понимал не христианство вообще, а секту баптистов, к которой сам принадлежал. Именно секта была дорога ему — его церковь, членство в ней, те общественные и коммерческие выгоды, которые гарантировали ему живое участие в жизни общины. И, однако, стоило появиться этому кандидату в мужья, которого уж никак нельзя было назвать глубоко верующим человеком, — он, правда, был как-то связан с методистами, но, по-видимому, весьма поверхностно и непрочно, — как его немедленно ввели в дом и представили дочери, потому что мать и отец прекрасно понимали и не раз уже говорили, что ей пора выйти замуж. Есть там у него религия или нету, зато он богат! Он приехал в Солт-Лейк, чтобы присмотреть и купить какие-то пастбища. Отец был очень озабочен тем, чтобы дочь предстала перед ним в полном блеске: он позвонил домой, извещая, что приведет сегодня одного очень солидного человека, будущего клиента их бан-

ка — не будет ли дочь так добра проявить к нему немножко внимания, хотя бы ради отца,— при этом ни слова ни о религиозных убеждениях, ни даже о личных достоинствах упомянутого джентльмена. Достаточно того, что он богат! Это в банке уже точно установили.

Как бы то ни было, по словам Оливии, лесопромышленник сразу же проявил к ней большое внимание. Он задержался в городе на много дней. Всякий раз, бывая у них в доме, он говорил о размерах своего состояния, приводя точные цифры,— прямо уши прожужжал и родителям Оливии и ей самой. А когда он уходил, родители продолжали обсуждать эту тему. К этому надо прибавить, что одна из школьных подруг Оливии совсем недавно вышла замуж, притом весьма удачно, и с тех пор стала разговаривать с ней свысока. Самолюбие Оливии было уязвлено, а похвалы претенденту, расточаемые родителями, довершили дело. Что ж, по крайней мере она будет богата! С другой стороны, все, что она уже слышала о необходимости, пока не поздно, обеспечить себя спокойным семейным очагом подсказывало ей, что после истории с юристом благоразумно было бы оградить себя на всякий случай брачным свидетельством. И она стала отвечать на письма своего поклонника. Он приехал снова. Оливия рассудила, что, став замужней женщиной, она получит большую свободу и сможет, наконец, делать все, что ей вздумается. Так почему бы и не выйти замуж? К тому же она этим натянет нос своей школьной подруге. Когда лесопромышленник появился снова, Оливия дала согласие. Затем была свадьба — настоящее венчание в церкви, у Оливии в руках были лилии. Потом поездка на Гавайи, где у мужа Оливии даже во время медового месяца нашлись какие-то коммерческие дела, и, наконец, Спокэн.

В наше время, я думаю, всякий хорошо знает, до чего убога умственная и духовная жизнь в торговом американском городе средней руки — одном из тех, о которых в справочниках пишут: занимает девятнадцатое место по числу жителей, семнадцатое — по экономическим и финансовым данным и т. д. Но, когда Оливия рассказывала об этом, слушать ее было интересно. Общество дочерей американской революции (весьма влиятельная организация); Тагоровский литературный кружок; кружок Новых идей; Американская федерация

женских клубов; не менее семи обществ для поощрения или, наоборот, для предотвращения чего-нибудь; прибавьте к этому религиозные дискуссии и беседы: некоторые почтенные семейства придерживались крайних сектантских взглядов. Рядом с этой, так сказать, интеллектуальной жизнью протекала жизнь деловая и светская видных людей города, их жен и дочерей — биржа, загородный клуб, торговый клуб, семейство таких-то с их автомобилем в семьдесят лошадиных сил, Констанция такая-то с ее избранным кругом друзей. В гостиных самых интеллигентных домов в те дни, как рассказывала Оливия, все еще можно было увидеть последние произведения Гопкинсон Смита, Марии Корелли и Томаса Нилсон Пейджа. Устраивались иногда несколько старомодные живые картины. Билли Сандей считался крупной общественной фигурой, и его принимали в лучших домах.

Все это благоприятствовало, конечно, расширению умственного кругозора, да и сама Оливия в ту пору была, в сущности, пустой, хитрой, чувственной и тщеславной молодой особой; однако было, видимо, заложено в ней и что-то другое, благодаря чему она сильно изменилась, и даже очень скоро. Она поняла теперь, что не одни только деньги были ей нужны. Возможно, что лишь к этому времени она достигла той ступени, когда человек начинает обретать свое истинное «я». Во всяком случае окружающая обстановка заставила ее уйти в себя и повысила в ней интерес ко всему, что не было похоже на то, что она видела вокруг. Она стала покупать и читать серьезные книги: исторические сочинения, романы, мемуары. Нужно сказать, что у мужа Оливии, к ее удивлению, оказалась хорошая библиотека — она целиком досталась ему от кого-то, кто вынужден был расстаться с ней! Однако чтение книг только усиливало ее неудовлетворенность. Избранные произведения Вальтера Скотта, Диккенса, Брет Гарта, Роу! Неудивительно, что в поисках более интенсивной духовной жизни она невольно стала искать общества людей, мыслящих иначе, чем те, кто ее окружал. Но пока она вращалась исключительно в кругу членов загородного клуба, гольф-клуба, яхт-клуба; вдобавок муж старался ей внушить, что его жена должна занимать такое же место в светском обществе, какое сам он занимал в мире финансов.

Он постоянно заставлял ее приглашать и принимать гостей, которые могли быть ему полезны. Это вовсе не льстило ее честолюбию. Она стала увиливать и уклоняться от обязанностей хозяйки дома. Между супругами начались ссоры. В довершение всего Оливия как раз в это время сблизилась с молодой замужней женщиной одних с ней лет, которая испытывала почти такую же неудовлетворенность. Она была женой довольно богатого агента по продаже недвижимости и жаждала развлечений, но не по надоевшему светскому шаблону. Ее скорее привлекала деятельность левых, и в особенности сами левые.

Милях в пятнадцати или двадцати от города, в котором жила Оливия, находился маленький курорт или колония, где проводили свой отдых деятели рабочего движения. Сейчас там поселились несколько писателей и пропагандистов, интересовавшихся профсоюзной борьбой, которая в то время разгоралась в западных штатах, среди них — широко известные шведские, норвежские, а также американские и английские агитаторы. Эта колония пользовалась сомнительной репутацией из-за того, что, по слухам, там жило несколько супружеских пар, которые, однако, не состояли в законном браке. Доказательств, правда, не было, поэтому спокэнское общество не возмущалось открыто, но в Спокэне на колонию смотрели косо уже хотя бы потому, что там жили люди, связанные с рабочим движением. Однако новая знакомая Оливии по каким-то своим личным причинам относилась к этим людям дружелюбно. Ее приятельница, жена одного из главарей колонии, много рассказывала ей об их идеях и целях; все это очень ее заинтересовало. Не хочет ли Оливия встретиться с кем-нибудь из них? В их среде можно завязать интересные знакомства с умными образованными людьми. Не хочет ли Оливия пойти туда? Вот так и получилось, что обе молодые женщины рискнули в конце концов появиться в колонии.

Как она теперь вспоминала, атмосфера этого места поразила ее. Там было мало денег, но много идей и ярких индивидуальностей. Между прочим, там жил молодой поэт-революционер, с которым у Оливии завязался безнадежный роман. Его звали Джитеро (впоследствии, как сказала она, он погиб в одной из заба-

стовок; именно он познакомил ее с бунтарской литературой: с Марксом, Стриндбергом, Ибсеном, Горьким, Кропоткиным и Генри Джорджем). Она стала назначать ему тайные свидания в своем доме, и вскоре мистеру Х. Б. Бранду, ее мужу, начали со всех сторон намекать, что под его семейным кровом далеко не все обстоит благополучно. Его жену и миссис Рилтор видели в пресловутой колонии. В его отсутствие какой-то проходимец из той же колонии время от времени посещает его собственный дом.

Произошла бурная семейная сцена. Бранд требовал, чтоб ему сказали правду, Оливия отвечала уклончиво. Она просто интересуется этими людьми, вот и все. Эти радикалы милые люди, во всяком случае очень культурные. Что в них плохого? Однако Бранд, преуспевающий делец, член торговой палаты, видная фигура в семнадцатом по числу жителей городе США, очень хорошо знал, что в них плохого! Это же сборище головорезов! Анархисты, социалисты! Их надо арестовать, посадить за решетку, вышвырнуть вон из страны! Он не потерпит, чтобы подобная шваль являлась к нему в дом, он требует, чтобы его жена на пушечный выстрел не приближалась к этой колонии. Она не умеет или не желает поддерживать знакомство с порядочными людьми, с людьми своего круга. что ж, пусть! Но с этими-то она во всяком случае не должна связываться. Она погубит себя, да и его тоже — последнее, вероятно, в какой-то мере соответствовало истине.

К несчастью для него, благодаря этим новым знакомствам умственный кругозор Оливии значительно расширился. Она уже больше не считалась со своим мужем и его друзьями; а радикалы ей нравились — во всяком случае ее увлекали идеи, за которые они боролись, — и муж стал ей теперь казаться недалеким, жадным, самонадеянным и невежественным человеком. Он богат, да, но, очевидно, для того чтобы делать деньги, как раз и нужна, по крайней мере в некоторых случаях, жадность и известная ограниченность; такой человек неизбежно отгораживается от всяких интеллектуальных, романтических и уж тем более революционных интересов. Оливия стала задумываться над тем, как бы ей выйти из неприятного положения, в которое она попала. Правда, ей было еще нелегко отрешиться от тех

консервативных понятий, которые внушались ей с самого раннего детства.

Но заставить себя подчиниться она не могла, да и не хотела. Она не желала отказываться ни от дружбы с миссис Рилтор, ни от радикалов. Начались тайные встречи. Была перехвачена записка. Оливии было приказано покинуть дом, а когда она уже собралась уезжать, ей приказано было остаться — проявление слабости, которой, по ее признанию, она не замедлила воспользоваться. Она попробовала было защищать своих новых друзей, что возмутило мужа еще больше, чем перехваченная записка, ибо, как он и опасался, Оливия оказалась зараженной ядом радикализма. Однако, понимая теперь, что муж слишком сильно привязан к ней и что ему не так-то легко с ней расстаться, она продолжала стоять на своем и сделала еще одну попытку уйти. Кончилось это тем, что муж в исступлении изорвал на ней платье и запер ее на ключ. Затем он плакал, просил прощения и купил ей дюжину новых платьев взамен изорванного.

Но это было только начало. Муж стал допытывать ее расспросами о ее поведении, ее взглядах и разговорами об обязанностях по отношению к нему и к обществу. Он даже грозился ее убить. Однажды он избил ее, и, когда она пыталась бежать, пригрозил, что все равно поймает и опять исколотит, а то и убьет. Хуже того, он объявил, что напишет ее родителям или поедет к ним сам и обо всем расскажет. Это, и только это, остановило Оливию, ибо какой бы мятежный дух ни владел ею, она все же не решалась совершить поступок, который мог подорвать престиж родителей, повредить их положению в обществе и нарушить их покой, — они ведь ничего не знали об ее изменившихся взглядах и уж никак не могли им сочувствовать. Для них это был бы удар, в особенности для отца, а Оливия страшилась его взволновать.

Тем временем ее муж, воспользовавшись этим затишьем, повел против колонии такую атаку через местные газеты, что ее существованию пришел конец. Обитатели ее были разогнаны. Но Бранд, очевидно, не понимал, что он имеет дело с растущим и меняющимся организмом, и в одно прекрасное утро этот организм объявил за завтраком, что между ними все кончено. Ей

не нравится Спокэн. Ей не нравится муж. Она не намерена больше жить с ним, независимо от того, как он будет с ней обращаться. Дом, автомобиль, деньги — ничего ей больше не нужно. Она уходит и будет жить самостоятельно. Поедет в Нью-Йорк и поступит в Колумбийский университет, проверит себя — а вдруг у нее есть литературные способности, и тогда она будет писать рассказы и пьесы! Она больше не может бездельничать и вести светскую жизнь. Пусть он для этого поищет себе другую. С нее довольно!

Сперва Брандом овладела ярость, потом он растерялся и, наконец, перепугался не на шутку. Он остался дома, следовал за ней в спальню, долго стоял молча за ее спиной и, наконец, взволнованно спросил: «Чем же я плох, Оливия? Или я просто противен тебе? Да? В этом все дело?» Оливия говорила, что в эти минуты в нем было что-то жалкое и пришибленное. Впервые за все время, что она его знала, его безграничная самонадеянность, которая всегда так подавляла окружающих и даже ее, казалось, покинула его. Ей хотелось дружески поговорить с ним, объяснить ему, растолковать, но она тут же почувствовала, что это безнадежно. Он неспособен понять ни ее, ни самого себя. Да и она тоже вряд ли понимала его. Но она твердо знала, что, только уехав, она сможет подавить свою неприязнь к нему. В тот вечер она сказала лишь, что оставаться в его доме для нее невозможно.

Тогда он стал уговаривать ее пойти на уступки. К чему так решительно порывать с ним? Она хочет поехать в Нью-Йорк — хорошо, пусть едет, он будет оплачивать ее пребывание в университете и прочие расходы, при условии, что, когда пройдет срок, скажем два года, она вернется и попробует снова жить с ним и в его кругу. Может быть, им все-таки удастся поладить. За это время он и сам, может, изменится. Не разрешит ли она изредка навещать ее в Нью-Йорке, просто чтобы взглянуть на нее? Он обещает, что это будет всего лишь дружеский визит, не больше. Да, и еще одно условие — раз уж он будет оплачивать ее расходы, ему хотелось бы, чтобы она держалась подальше от всяких радикалов, в особенности от этого поэта, и не нарушала супружеской верности, по крайней мере до тех пор, пока не решит уйти навсегда. (Все эти под-

робности я узнал гораздо позже, частью от самой Оливии, а частью от других лиц, чьи показания против Оливии мистер Х. Б. Бранд пытался впоследствии использовать. А в тот вечер она представила события в несколько ином свете; во всяком случае она не упомянула о всех условиях, которые поставил ей муж.

Итак, я узнал, наконец, что именно скрывалось за нью-йоркской квартирой, автомобилем, мебелью, картинами и всем прочим. Со стороны мужа вполне естественно было хотеть, чтобы она жила в роскоши, как и подобает жене мистера Х. Б. Бранда. Между прочим, как я узнал впоследствии, квартиру он оплатил вперед за три года. Но хотя мне тогда и не были известны условия их соглашения, особого сочувствия вся эта история во мне не вызвала. Я не был влюблен в Оливию, и неразрешимые конфликты, происходящие от несходства характеров, мало меня трогали. Единственно правильным решением я считал полный разрыв — на любых условиях. Мне была неприятна мысль, что ее весьма романтическая и легкомысленная жизнь оплачивалась именно его деньгами. Впрочем, кто я такой, чтобы предписывать людям правила морали? Оливия интересовала меня как личность, интересуется и по сей день, через десять лет после ее смерти. Мне казалось тогда — да я и сейчас так думаю, — что она в те годы еще сама себя не понимала, или, быть может, ее внутренняя жизнь горела тогда столь ярким пламенем, что для нее затмевалось различие между понятиями «мое» и «твое». Так бывает. С другой стороны, сумму, которую предоставлял ей муж, ни он, ни она, вероятно, не считали значительной. Он ведь был в самом деле очень богат. Однажды я спросил Оливию, не собирается ли она по истечении трех лет вернуться к мужу, и она, помнится, ответила, что нет, не собирается, добавив, что к тому времени он, пожалуй, и сам не будет так уж настаивать на ее возвращении, — замечание, которое поразило меня своей трезвостью и хладнокровием. И все-таки она мне нравилась. В ней было столько живости и очарования, и никогда нельзя было предугадать, что она скажет или сделает.

Тем не менее этот завтрак с его романтическим вступлением ни к чему не привел. Около пяти часов мы расстались и после этого не виделись несколько меся-

цев. Затем, как-то зимним вечером, у меня раздался телефонный звонок — это была она. Целая вечность, как мы не виделись, правда? Ну, что ж, хоть я и забыл ее, она меня помнит. Не приду ли я сегодня к чаю, у нее будут две очень интересные женщины. Я счел за лучшее отказаться. В следующий раз она предложила мне присоединиться к небольшой компании, которая собиралась куда-то поехать. Я опять отказался, не помню почему, кажется, я был уже приглашен в другое место. Вскоре после этого Оливия сама пришла ко мне. Она была очень просто одета и держалась не так, как всегда. Почему я избегаю ее? О ней ходят какие-то сплетни, может быть, в этом дело? Да ни в коем случае, возразил я. Сплетен я никаких не слышал, и они меня ни капельки не интересуют, а вот сама она меня очень интересует и сейчас и всегда. Я рад, что она пришла, очень приятно снова ее видеть.

Она тотчас же стала говорить о себе с такой откровенностью, словно я был ее исповедником. Ее жизнь — это сплошная цепь ошибок, теперь она это видит. Но она всегда тянулась к чему-то лучшему. Хотите — верьте, хотите — нет, но она всегда, может быть, бессознательно, стремилась расти. Ей ставили всяческие преграды, но это стремление оказалось сильнее голоса благоразумия. Может быть, она не всегда поступала правильно. Да, да, это, конечно, так. Но в ее жизни все-таки было две по-настоящему значительных полосы — ее знакомство с теми, кто борется и мыслит, и вот эти последние годы в Нью-Йорке. Мысль учиться в Колумбийском университете, которая вначале увлекала ее, оказалась ошибкой. Нельзя научиться быть писателем. Для этого нужно жить и понимать жизнь. Теперь она в этом убедилась, а также в том, что писательское мастерство — это особый дар, зависящий от личности и характера человека.

Но это еще не все. Я, наверно, считаю, что она не совсем красиво поступила с мужем, может быть, это меня оттолкнуло? Но я не должен судить ее слишком строго. В прошлый раз она, видимо, недостаточно ясно изложила мне, как все происходило. Она не была бедна до замужества и, выходя за Бранда, скорее выполняла волю родителей, чем следовала собственному желанию. К тому же она была тогда еще совсем неразумной девчонкой. И разве она не прожила с ним два

года,— он сам говорил, что был с ней счастлив! А что он дал ей взамен? Только вещи, не имевшие в ее глазах никакой цены. Кроме того, он очень богат. Почему бы ему не помочь ей немного, тем более что скоро она уже ничего не будет от него брать? У нее есть план. Она хочет жить самостоятельно. Это будет трудно, так как после окончательного разрыва с мужем ей уже нельзя будет обращаться за помощью к родителям. Они, конечно, станут на его сторону. Но так или иначе, она попытается сама пробить себе дорогу. Она будет работать. Разве это плохо? Так почему бы нам теперь снова не стать друзьями?

Я не стал высказывать свое мнение о ней, хотя оно было самое лестное. Я просто заметил, что, по-моему, она избрала правильный путь, я не сомневаюсь, что она добьется успеха и что мы с ней никогда не переставали быть друзьями.

Недели две спустя она позвонила мне и сказала, что пытается пересдать свою квартиру на оставшийся срок (около года) и, кроме того, продать мебель и автомобиль. На вырученные деньги она снимет более скромную квартирку, о да, гораздо более скромную. Она будет вести тихую и уединенную жизнь и попробует писать. И тем временем постарается получить развод, если это возможно, или предложит мужу начать бракоразводный процесс. Квартиру она скоро нашла, переехала и пригласила меня к себе. Она жила теперь в северной части города, близ Сто девяносто шестой улицы, в новом, менее привлекательном и более бедном квартале. Дом был пятиэтажный, с крошечным лифтом, которым можно было пользоваться лишь в тех редких случаях, когда негр-лифтер, исполнявший также все прочие работы по дому, оказывался на месте. Стоимость этого жилища едва ли превышала тридцать пять или сорок долларов в месяц. Квартира Оливии находилась на третьем этаже: небольшая гостиная, спальня, крохотная кухонька и ванная — только и всего. Зато всюду по стенам — и в гостиной, и в спальне — теснились на полках книги. И какие интересные! Почти все оставшееся пространство занимали пианино, виолончель и пишущая машинка. Уютный уголок! Из окна кухни открывался широкий вид на город, но, увы, только из этого окна.

Не могу сказать, чтобы здесь, в этой новой обстановке, Оливия показалась мне более практичной и благоразумной, чем прежде. Все та же мечтательница и поэт в душе. Правда, она все же менялась понемногу, но стремление к какому-то неведомому идеалу не позволяло ей ни на чем успокоиться. Она сказала, что ей хотелось бы написать большое произведение, выразить в нем свои мысли и взгляды и тем проложить себе дорогу в литературу. Теперь она с каждым днем нравилась мне все больше. Постепенно я стал замечать, что гардероб ее становится скромнее, что отнюдь не огорчило меня, ибо в прежнее время платьев у нее было гораздо больше, чем нужно. Меня заинтересовало еще и то (видимо, и ее это удивляло), что хотя здесь у нее уже не было возможностей оказывать столь щедрое гостеприимство, как прежде на Риверсайд-Драйв, ее и теперь окружала толпа таких интересных людей, каких редко встретишь даже в свите нью-йоркских знаменитостей, — редакторы, писатели, художники, пропагандисты, социалисты, анархисты, консерваторы — все кто угодно. По крайней мере, два или три раза в неделю ее комнаты наполнялись людьми, приехавшими в такую даль только затем, чтобы повидать ее, не рассчитывая ни на изысканный обед, ни на хорошее вино.

Но случилось так, что именно теперь, когда она окончательно решила порвать с прежней жизнью, на нее обрушилась настоящая беда. Ее муж явился в Нью-Йорк незадолго до ее переезда и объявил ей, что все это время он был осведомлен о том, какой образ жизни она вела и, по его убеждению, продолжает вести. И что если она к нему не вернется, он не даст ей больше ни гроша, мало того — сообщит все ее родителям и опозорит ее публично. Он теперь относится к ней уже не так, как два года назад. Ее поведение, пока она жила одна — и притом на его средства, — убило в нем всякое чувство. Она такая, она саякая. И все-таки видно было, что он продолжает любить ее какой-то странной, болезненной любовью. Ибо в заключение он сказал (я объясню потом, как мне это стало известно), что, хоть она и порочна до мозга костей и без сомнения заслуживает всяческой кары, все же, если она вернется и будет вести себя как полагается, он не станет применять к ней те крутые меры, которыми грозил.

Узнал я обо всем этом вот как. Однажды в мою дверь позвонили, а как раз незадолго перед тем у меня была Оливия и рассказала, сколько неприятностей ей доставляет муж, что это за тяжелый человек, совершенно не способный ее понять, и как он теперь пытается силой принудить ее к тому, на что она никак не может согласиться. И вот теперь этот человек стоял передо мной — среднего роста крепыш, чисто выбритый, подвижной, с властными манерами. Он имеет честь говорить с таким-то? Совершенно верно. Если он не ошибается, я являюсь другом Оливии Бранд и одним из ее поклонников и доброжелателей? Надеюсь, что это так. В таком случае, он хотел бы поговорить со мной. Не могу ли я уделить ему несколько минут? То, что он хочет сказать, близко касается как Оливии, так и его самого. Я пригласил его пройти в кабинет, и он тотчас же принялся красноречиво рассказывать мне о подробностях своей неудавшейся семейной жизни. Что за прелестная девушка была Оливия, пока ее не отравил этот яд радикализма! Какие порядочные люди ее родители! Она была прекрасно воспитана, и он надеялся, что она сумеет оценить то общественное положение, которое он мог обеспечить ей в Спокэне. Но эти радикалы, они совсем сбили ее с толку. Она пошла по ложному, безумному пути, который неизбежно кончится гибелью. Подумайте только, какую жизнь она ведет здесь, в Нью-Йорке! И тут он стал выкладывать факты, которые, очевидно, мог узнать только через агентов, нанятых им для слежки за Оливией. К ней в дом ходят такие-то и такие-то лица, прощелыги из Гринвич-Вилледжа — как он их окрестил, — непризнанные и освищенные художники и поэты, бунтовщики из ИРМ и тому подобный сброд, бесстыжая, беспутная шайка. Оливия и сейчас продолжает посещать либеральный клуб — ему это точно известно, он может это доказать. Она водит знакомство и постоянно встречается с Эммой Гольдман, Беном Рейтманом, Биллом Хейвудом, Мойером и другими отъявленными радикалами и рабочими лидерами! Она даже принимала участие в стачках: помогала готовить обеды для забастовщиков и работала на их продовольственных пунктах. Он говорил и говорил, и в углах его твердого рта все резче залегала упрямая складка, квадратный подбородок выдвинулся вперед, глаза свер-

кали. Убежденность этого человека положительно зачаровала меня. Удивительный экземпляр! А весь его облик — безупречного покроя костюм, новые, до блеска начищенные ботинки, яркий галстук бабочкой, подчеркивающий белизну его рубашки и низкого воротничка!

«Какое кричащее противоречие между этим мужчиной и этой женщиной!» — подумал я. И они воображали, что смогут жить вместе! Какая яркая иллюстрация слепоты и недомыслия, которые человек так часто проявляет в юности, а нередко и в более зрелом возрасте. Неужели он и сейчас продолжает всерьез думать о ее возвращении, о возможности примирения? В какой же ад превратится их жизнь, если он все-таки заставит ее вернуться! Я с любопытством смотрел на него. Он, очевидно, считал, что я имею влияние на Оливию, и не сомневался, что я стану на его сторону. Я начал было объяснять ему, что, по-моему, они слишком различные люди и по складу ума и по характеру, и разногласия, которые у них возникают, нельзя разрешить путем споров и насилия. Они по-разному смотрят на жизнь. То, что ему кажется ужасным, ей таким вовсе не кажется, да и мне тоже, если уж говорить откровенно. По всем этим причинам, с величайшей кротостью я пытался внушить ему, что самое разумное было бы оставить ее в покое. Он может, если угодно, лишить ее материальной поддержки (насколько я понял, он уже это сделал), но пусть не мешает ей идти своим путем и самой решать свою судьбу.

Тогда он вдруг рассвирепел. Нет уж, простите, этого он никак не потерпит! Она испорченная женщина, развратница, мотовка! Или пусть немедленно возвращается к нему и живет с ним, или он выведет ее на чистую воду! Он давно уже следит за каждым ее шагом. Ему известны все ее знакомые и то, в каких она с кем отношениях. Вот погодите, узнают обо всем ее родители! И все ее друзья в Солт-Лейк-Сити и все родственники! Он наймет юристов и репортеров. Он поднимет на ноги прессу и сотрет с лица земли Гринвич-Вилледж и всех этих радикалов. Он ей покажет! Тут я заметил, что нам, пожалуй, лучше расстаться. Не стоит ему понапрасну тратить красноречие. Я не имею никакого влияния на Оливию, а если бы и имел, то не воспользовался бы этим, чтобы способствовать возобновлению

их союза, который расцениваю как досадную ошибку. Бранд с достоинством удалился, и больше я его не видел.

Примирение так и не состоялось. Бранд всячески досаждал Оливии и даже запугивал ее, и временами было заметно, что она от этого очень страдает. Ее переписку перехватывали и вскрывали; телефонные разговоры подслушивали и передавали ему. Ее знакомым звонили по телефону: «Это такой-то?» — «Да». — «Вы знаете Оливию Бранд?» — «Разумеется». — «Это говорит ваш доброжелатель. Советую вам от нее держаться подальше. Вы знаете, чем она больна?» (Следовали обычные в таких случаях инсинуации.) И подумать только, что эту войну против Оливии затеял человек, который уверял, что любит ее и хочет, чтобы она с ним жила! Кое-кого из ее знакомых, даже тех, кому она нравилась, это отпугнуло. Что же касается других (а также и меня), то их отношение к ней несколько не изменилось. Все же Бранду удалось до некоторой степени сделать из нее парию, к чему он и стремился; странно только, что при этом он все еще желал ее возвращения.

Бранд во всяком случае добился одного: спасаясь от его преследований — он следил буквально за каждым ее шагом, — Оливия снова переехала — на этот раз ночью — в небольшую квартирку в Ист-Сайде, где не было телефона, который можно контролировать, и где она поселилась под другим именем. В то же время она съездила в Солт-Лейк-Сити к своим родителям специально для того, чтобы предупредить, насколько возможно, те скандалы, которые Бранд намеревался учинить. Однако, как она мне потом говорила, эта поездка не принесла результатов. Оливии даже не удалось успокоить своих родителей. Теперь, совершенно очевидно, они считали во всем виноватой дочь, а ее мужа — олицетворением законности, порядка и всех прочих добродетелей. Ее отец был в плену ортодоксальных и консервативных взглядов и не одобрял развода. Что сделано, то сделано. Почему бы ей не вернуться к своему богатому мужу?

Но эта крошечная квартирка в верхнем Ист-Сайде! И как сама Оливия была теперь не похожа на прежнюю! Помню, я однажды встретил ее на Первой авеню,

близ Шестьдесят шестой улицы. На ней было простенькое бумажное платье, а в руках корзинка с провизией и какой-то журнал. Если не считать туалета, она очень мало изменилась, и здесь, в кишашем людьми Ист-Сайде, показала мне даже более интересной, чем на Риверсайд-Драйв. Она предложила зайти к ней, и, поднявшись по каменной лестнице на четвертый этаж, мы оказались в ее новой квартире — всего лишь кухня (которая служила одновременно столовой) и смежная с ней жилая комната. Но здесь было опрятно и чисто, а из окон открывался прекрасный вид на реку. В комнате были все ее книги, пианино и пишущая машинка. Оливия объяснила, что поведение мужа вынудило ее избегать друзей, и в конце концов, не желая подводить их под неприятности, она решила спрятаться от всех. Она теперь пишет, или пытается писать, рассказы, стихи, очерки и даже пьесу. И если когда-либо ей удастся опубликовать результаты своих трудов, то она сможет жить счастливо, одна или еще с кем-нибудь, но, во всяком случае, свободно и независимо. Так по крайней мере она надеялась.

Все же, начиная с этого времени, жизнь ее стала не легче, а труднее. Правда, не так уж надолго. По словам Оливии, Бранд, прежде чем возбудить дело о разводе, отправился к ее родителям и такого наговорил о ее поведении, что они перестали ей даже писать. Затем он наложил запрет на ее прежнюю квартиру и проданную мебель. А мы все хорошо знаем, каковы доходы начинающего писателя, в особенности если он стремится писать серьезные произведения. Оливия же вдобавок еще не представляла себе ясно, что она может писать и что нравится публике. Поэтому в первый же год жизни в Ист-Сайде ей пришлось расстаться и с пианино и с виоллолой. Похоже было, что ей угрожает настоящая бедность. Поистине дорогой ценой платила она за свои убеждения и идеалы.

А затем...

Но прежде чем перейти к дальнейшим событиям, мне хотелось бы рассказать о двух трогательных эпизодах, относящихся ко времени ее жизни в Ист-Сайде. Однажды вечером я зашел навестить Оливию, и она показала мне письмо, которое было подсунуто ей под дверь: написал его поэт, один из тех пылких любовни-

ков, которые стремительным натиском покоряют сердца женщин. Он был не лишен дарования, писал стихи; впоследствии он завоевал себе славу на полях сражения во Франции. Он узнал о ее невзгодах и о том, что она вынуждена скрываться. Прекрасное это было письмо — полное преклонения и искреннего чувства; любая женщина была бы рада получить такое послание. Он говорил о ее белом задумчивом лице, ее темных волосах, он сравнивал их с перламутром и черным янтарем. Она терпит нужду? Он был бы рад помочь ей. Но если она даже никогда больше не вспомнит о нем, никогда не удостоит его взглядом, все равно он будет вечно хранить память о ее облике, слышать музыку ее шагов. И затем спустя две-три недели она нашла на том же месте конверт с деньгами. Как видно, он решил, что она в самом деле голодает.

Потом один из тех рабочих лидеров, о которых я уже упоминал, человек в своем роде выдающийся, разыскал Оливию и предложил ей помощь. Позже я как-то заговорил с ним о ней, и он сказал, что из всех женщин, сочувствующих рабочему движению, которых ему случалось встречать, Оливия не то что больше всех понимала, но была самой отзывчивой и умела воодушевить других. «Она помогала нам во время стачек в Лоуренсе и Патерсоне, — сказал он. — А это всегда сопряжено с опасностью, трудностями и риском. Она близко приняла к сердцу тяжелое положение рабочих, она сострадала голодным и угнетенным, но больше всего ее, пожалуй, увлекало другое — героизм, благородство, красота, которые она видела в этой почти безнадежной борьбе. Не нужно было даже близко общаться с ней, поглядишь на нее — и довольно. Своей улыбкой, своей верой она, казалось, воодушевляла людей. Мне она много дала. Пожалуй, можно сказать, что она меня вдохновляла».

И вот однажды, еще в то время, когда Оливия жила в Ист-Сайде, я получил от нее по почте стихи. Они были адресованы мне, и мое имя стояло в посвящении. Перечитывая их, я понял, что эта женщина способна на нечто большее, чем поденная литературная работа, что она могла бы подняться до вершин подлинного творчества, где живут, мыслят и творят те, кто властвует над умами человечества.

Я выразил ей свое искреннее восхищение стихами, тем, как она умеет тонко чувствовать и передавать движения человеческой души; однако в наших отношениях не появилось ничего нового; это была по-прежнему теплая дружба. Она знала, что я верно понимаю ее, вижу в ней мечтателя, вечно стремящегося к чему-то, человека, который смотрит широко открытыми глазами на все явления жизни, задумывается то над одним, то над другим, но все же чувствует, что жизнь остается и навсегда останется неразрешимой загадкой, той единственной тропой, которая подводит нас к воротам красоты.

Еще раньше я просил вас запомнить одного журналиста, который был в числе гостей на обеде у Оливии, когда я впервые посетил ее. Это был интересный человек — для меня, во всяком случае. О нем стоило бы написать отдельную новеллу. Время показало, что он этого вполне заслуживает. Но новелла эта никогда не будет написана. Поэтому расскажу о нем здесь. Среди множества людей, которых я встречал в Нью-Йорке и время от времени принимал у себя, Джетро почему-то запомнился мне, — что-то в нем было такое, что произвело на меня сильное впечатление. Но что, однако? Порой спрашивал я себя. Он не был человеком высокоодаренным или все-таки был? Грубоватый в своих вкусах и склонностях, любитель развлечений — вечеринок, банкетов, театральных премьер, завсегдатай в мире кулис и богемы... Стоило, однако, час поговорить с ним, и вы видели, что это на редкость образованный человек, который по первоисточникам изучал историю, науку и искусство и умел применить эти знания в своей работе редактора и публициста. Но он был лишен той чуткости и тонкости, без которых... Ну, вы сами понимаете. И вместе с тем была в нем какая-то червоточинка, как будто временами в полнокровном голосе этого жизнерадостного человека, неутомимого спорщика, самоуверенного критика, проскальзывал чуть слышный, заглушенный, едва уловимый призыв уныния, сомнения, жалобы. Я всегда с удивлением замечал это.

Прошло более полугодом с тех пор, как Оливия была вынуждена перебраться в Ист-Сайд и оттуда прислала мне свои стихи. Я провел зиму на юге и месяца четыре не видел Оливии. И вот однажды раздался стук в мою дверь — на пороге стоял Джетро. Он только что узнал

о моем возвращении, он хочет сообщить мне нечто важное.

— Вы ведь один из самых близких друзей Оливии,— начал он.

— Надеюсь, что так,— ответил я.

— Видите ли, за последнее время,— вы этого, конечно, не знаете,— я очень сблизился с Оливией. Мы собираемся пожениться, как только будет решено дело о ее разводе. Сейчас уже почти все улажено, мы просим вас, когда придет время, быть у нас шафером. Это ее желание.— И он посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «Какая неожиданность для вас! Однако это так».

— Да что вы говорите! Это чудесно! Поздравляю! — ответил я.— Передайте сердечный привет Оливии. Но как же все-таки с разводом? Я думал, у нее ничего не вышло. Неужели distinguished Х. Б. Бранд уступил?

— Все сделано и улажено,— ответил он.— Беда Оливии в том, что она непрактична. У нее удивительная способность выставлять себя в невыгодном свете. И все потому, что с самого начала она действовала неправильно. Ну, да сейчас речь не об этом. Мы все-таки поженемся. Теперь я сам взялся за дело. Я только что был у этого самого мужа, прежде чем пойти к нему, я заручился заверенными показаниями нескольких человек, которым кое-что известно не только о ней, но и о нем; между прочим, кое-кого из них Бранд пытался подкупить. Вряд ли ему понравится, если подобные факты опубликуют спокэнские газеты.— Джетро усмехнулся.— Я, впрочем, не сомневался, что он просто старается взять ее на испуг. Одним словом, я нанял в Спокэне двух юристов, и мы втроем заставили его понять, что к чему. Я заявил ему, что хочу жениться на Оливии. В конце концов он согласился, чтобы она начала дело о разводе здесь, в Джерси. Так что, видите, все это скоро будет кончено. Поэтому-то я и зашел к вам сегодня.

Это известие поразило меня до крайности; но, в общем, брак казался мне счастливым поворотом в судьбе Оливии, ибо Джетро во многих отношениях был надежный и солидный человек, весьма неглупый и к тому же со средствами. Если он нравится Оливии, то в добрый час! Странно, конечно, что ее избранник не поэт или

какой-нибудь герой — человек большого таланта был бы скорее под пару ее незаурядной личности. Но, может быть, в Джетро есть что-то такое, чего я не заметил. Я призадумался.

...Между тем они поженились и не где-нибудь, а в городской ратуше, и сам мэр, друг Джетро, официально скрепил этот союз. Я был среди присутствующих и расписался в книге брачных свидетельств. Незадолго до этого Джетро снял дом в верхнем Ист-Сайде и с помощью Оливии, под ее руководством, обставил его. Книжки, книги, книги. Большая уютная гостиная с камином, столовая, библиотека, отдельный рабочий кабинет для Оливии и такой же для Джетро — на разных этажах. Несколько спален с ванными комнатами; новое пианино и виолончель. И как они всегда бывали мне рады! Они постоянно звонили, чтобы узнать, когда я приду к ним обедать. Но оба они в новых ролях верного мужа и верной жены невольно забавляли меня, ибо, подобно Оливии, Джетро до брака вел далеко не добродетельную жизнь.

Я с самого начала заподозрил — и чувство меня не обмануло, — что в основе этого союза лежало не одно сродство душ и темпераментов со всем, что отсюда вытекает. Оливия, как я знал, была не только глубоко эмоциональной натурой, но еще и идеалисткой. Так почему же в конце концов она остановила внимание именно на Джетро? Его ум? Но разве он обладал таким живым, прелестным умом, как у нее? Конечно же, нет! Ум его был трезвый и здравый и сочетался с щедрым языческим темпераментом. Джетро был к тому же человеком очень образованным, но достаточно ли этого для нее? При ее эмоциональности, ярком воображении, вечном стремлении вперед, пытливости, которая, казалось, ни на чем не могла успокоиться? Или для нее тоже наступило успокоение? Что же касается денег или его моральной и физической приспособленности к жизни, то я не верил (в особенности после того, как имел случай наблюдать Оливию в Ист-Сайде), что для нее это качество может послужить приманкой. Но если не это, так что же?

Я часто внимательно приглядывался к каждому из них, особенно когда они бывали вместе. Зная Джетро и его былую склонность к ночным увеселениям, а так-

же прежнее непостоянство Оливии, я иной раз не мог удержаться от прозрачных намеков и каверзных вопросов.

— Как вы все это себе объясняете, Оливия? Я думал, что вам больше, чем кому бы то ни было, эта тихая семейная жизнь среди кастрюлек и метелок должна бы казаться... ну, духовно скудной, что ли? Немножко пресной? — На что она обычно отвечала только взглядом или своей странной улыбкой Джоконды, а глаза у нее были продолговатые, темные, восточные, непроницаемые. Но однажды она сказала:

— Есть многое на свете, друг Горацио...

— Я так и думал, — ответил я.

В другой раз, когда Джетро, повязав белый передник вокруг своей объемистой талии, хозяйничал на кухне, я сказал ему:

— Это выше моего понимания! В ночных клубах, наверно, горько оплакивают потерю самого усердного их посетителя.

— Во-первых, — отвечал он, — вы видите, я занят — поджариваю ветчину; во-вторых, вы, как я понимаю, пытаетесь посеять семена раздора на этой мирной ниве. Имейте совесть!

Но вопреки всем моим сомнениям они, казалось, понимали друг друга. И вскоре, в течение первого же года, мне стало ясно, что же их все-таки сблизило. Я не знал раньше, что Джетро, прежде чем окончательно заняться журналистикой, лелеял мечту стать писателем. Теперь Оливия мне рассказала, что он пробовал писать рассказы, очерки, пьесы, но безуспешно. И, несмотря на всю свою внешнюю браваду, в глубине души он постоянно чувствовал неудовлетворенность. Именно это и было причиной того душевного надлома, который я всегда ощущал в нем, хотя и не понимал его происхождения. Со своей стороны, и Оливия мечтала о том же, но она, хоть и была гораздо моложе, успела достичь большего. Правда, ей не удалось еще напечатать ни одного из своих произведений, но в ее письменном столе уже накопилось немало стихотворений, очерков, несколько рассказов и даже пьеса, по которым нужно было только слегка пройти опытной рукой, чтобы придать им завершенность. Когда Джетро познакомился с этими литературными опытами, он по достоинству их оценил, и если приба-

вить, что он всегда был искренне расположен к Оливии, что она нравилась ему как женщина, то станет понятным то чувство, которое привело их к браку. Она же видела его слабости, понимала, к чему он стремится, и, питая к нему дружескую привязанность, вскоре предложила работать сообща на литературном поприще: они будут вместе писать рассказы, пьесы, даже романы. Поэзию и очерки она оставила себе (так как в этих жанрах можно легче передать свои собственные настроения и переживания). С другой стороны, поскольку Джетро интересовался наукой, философией, историей и жанром биографии, эти темы были отданы ему. Но больше всего ему хотелось писать новеллы и пьесы, в особенности пьесы. Поэтому вскоре после женитьбы они усердно принялись за работу и написали несколько пьес, которые все были значительны и интересны, а одну через год удалось поставить на сцене.

Как это воодушевило Джетро! Какую удовлетворенность ему принесло! Каким восторженным преклонением, доходившим до обожания, окружил он свою необыкновенную жену! Ночные клубы? Вот еще! Вечера в Гринвич-Вилледже? Да кто они такие, завсегда эти вечера? Сборы бездельников, бесплодные мечтатели и искатели приключений. Ему там нечего делать. Серьезная работа! Истинный успех — вот что ему нужно! Счастливый брак с такой женщиной, как Оливия, круг друзей, которые превращают твой дом в блестящий салон! Джетро прямо на глазах становился другим человеком; под благотворным влиянием Оливии он обрел душевный покой и уверенность в себе, он уже забыл, что совсем недавно сам был бесплодным мечтателем и бездельником из Гринвич-Вилледжа.

А дни текли своим чередом, принося радости, принося печали. Время не остановишь, и случайность нельзя предусмотреть. Год, два, три счастливой жизни среди веселых и интересных людей, окружавших молодую чету! И вдруг — безжалостный удар судьбы. Однажды утром я позвонил Джетро по телефону; мне нужно было навестить у него какую-то справку, и, между прочим, он сказал, что Оливия не совсем здорова... Легкая простуда, пустяки... Всего доброго. Но на следующий день к вечеру он сам позвонил мне: ей не лучше, даже, пожалуй, хуже, и это его беспокоит. Болит горло, небольшой жар.

Ждут доктора. Позже, вечером, я позвонил к ним и узнал, что он отправляет ее в больницу св. Луки. Если я захочу навестить ее, она будет в такой-то палате, он назвал номер.

Я поспешил в больницу. К моему облегчению, я застал Оливию в хорошем состоянии и веселой. Благодаря заботам Джетро ее устроили с удобством в одной из тех скромных отдельных комнат, за которые приходится так дорого платить. Все же у нее была повышенная температура, и в коридоре Джетро сказал мне, что доктор опасается воспаления легких. Я упрекнул его за то, что он слишком легко поддается панике, и вернулся к Оливии. Она говорила о своем скором выздоровлении, о том, что они с Джетро надумали построить дачу в Джерси на берегу моря в бухточке с высоким берегом, газон можно будет подвести к самой воде. Окна спален и столовой смотрят в море, из них можно будет любоваться восходом солнца. Они построят маленькую пристань и заведут моторную лодку. И все это в двух часах езды от Нью-Йорка. Будущей весной и летом я смогу приезжать к ним туда в гости.

Когда я пришел к ней на другое утро, она чувствовала себя гораздо хуже. Жар усилился, ночью она бредила. Вызвали специалиста. Джетро был в неопишуемой тревоге. Он был бледен как полотно, хотя старался держать себя в руках. На следующий день Оливия была в сознании, но очень ослабела. Я принес ей цветы. Мы поговорили о том о сем; на этот раз Джетро не было с нами, и впервые за время болезни Оливия казалась подавленной. Когда я пожурил ее за плохое настроение, она сказала:

— Я не о себе думаю, мне жаль Джетро. Ему было хорошо со мной.

«И даже очень»,— подумал я, но вслух сказал:

— Я понимаю, Оливия.

— Я знаю, вы всегда все понимали. Вы помните стихи, которые я вам послала?

— Чудесные стихи. Прекрасные, и не я тому причиной, а вы сами. Они всегда со мной.

— Я хотела, чтоб вы знали. Но потом я поняла, что это было мое прощание с вами. Вы ведь не могли любить меня, нет?

— Нет, Оливия,— отвечал я,— так не мог. Вы сами

знаете: человек не властен над своими чувствами. Но не думайте, что я не видел вашей красоты и ума, что я не считал вашу жизнь удивительной... Я и теперь так считаю...

Она взяла мои руки в свои.

— Я понимаю,— сказала она,— все понимаю. Ну, я и подумала тогда, может быть, я смогу что-нибудь сделать для Джетро. Он так нуждался во мне.

— Вы сделали для него все,— сказал я,— я уверен в этом.

— Потому-то мне и не хотелось бы уходить,— ответила она.

На другой день она была без сознания. Через день — то же самое. Больше мы с ней уже не разговаривали. Потом в один из ближайших дней, в пять часов утра, позвонил Джетро: час назад она умерла.

Дальше, как обычно, похоронная церемония — бессмысленно пышная и угнетающая. Затем мучительная для Джетро поездка в Солт-Лейк-Сити, — родители хотели, чтобы Оливия была погребена там, и Джетро согласился выполнить их желание. Впоследствии, когда его отчаяние несколько улеглось, он рассказал мне об этой поездке, о родителях Оливии, о том, что было истинного и что показного в их отношении к смерти дочери и к ее последнему возвращению домой. Нужно помнить, что они никогда не одобряли ни развода Оливии, ни ее нового замужества, ни всего, что им было известно о ее жизни. Но теперь, когда она умерла, они горевали искренне и глубоко. Джетро говорил, что на них жалко было смотреть, — они уже старики, а с дочерью связаны были лучшие годы их жизни. Но едва Оливию похоронили, как ее родители принялись знакомить Джетро с представителями местного общества. Визиты, встречи, разговоры — это было ужасно, по словам Джетро. Почтенному профессору хотелось показать всем знакомым, что дочь его была не такая уж беспутная, как про то ходили слухи. Вот вам Джетро, ее супруг, человек во всех отношениях респектабельный. Ему пришлось выслушивать соболезнования по поводу смерти Оливии и запоздалые комплименты ее художественным вкусам.

— Два дня я терпел,— сказал он.— Потом почувствовал, что это выше моих сил, и сел на утренний поезд, идущий в Нью-Йорк. Могила Оливии, — продолжал

он,— находится высоко над городом, на склоне гор, отсюда виден старый пруд, где она когда-то каталась на коньках, и школа, в которой она училась. Ей, наверно, понравилось бы это место.

Но как ее смерть подействовала на Джетро! Я могу лишь бегло коснуться того мрачного периода в его жизни, когда, раздавленный горем, он понял, что Оливии больше нет; что никогда уже не будет у него того счастья, которое помогало ему стойко выносить превратности судьбы и роковой ход времени. Им было так хорошо вместе. Я думаю, они в самом деле были счастливы, насколько может быть счастлив человек в этом бурном, тревожном мире. И вот — конец. Он остался один в их большом доме. Ее книги, ее пианино, ее рукописи... Я часто приходил посидеть с ним, пытался, сколько возможно, подбодрить его, но видно было, что ему слишком тяжело в этой обстановке. Он, правда, говорил о том, что выпишет к себе мать и сестру, может быть, переедет в другое место, возьмет себя в руки и снова будет работать... И мать с сестрой действительно приехали, и на другое место он перебрался, а работа над пьесой и рассказами у него все равно не ладилась,— он не умел один продолжать то, что они с таким успехом начали вместе. Нужно отдать ему справедливость, он пытался. После того как немного утихла горечь утраты, он засел за работу и целый год писал, писал, писал. И читал он в то время так много, как никогда раньше. И все-таки у него ничего не выходило. Всякий, кто с ним встречался, ясно видел и чувствовал это. Не было рядом с ним человека, с кем он мог бы посоветоваться, кто разделил бы с ним сложный для него литературный труд. До меня стали доходить слухи, что его снова видят в среде богемы, что он начал пить и ведет рассеянный образ жизни. Это было правдой только наполовину. Он еще пытался работать, но с перерывами. Затем он случайно встретился с одним ученым, который занимался исследованием функции эндокринных желез и их влияния на человеческую личность и общественную мораль, но сам плохо владел пером. Они начали работать вместе, и вскоре Джетро стал не только популяризатором этой научной теории, но и литературным ее истолкователем. Как он однажды признался мне, он не совсем ясно представлял себе, какой научный вес имеют эти

теории и к чему все это приведет, но ему было интересно, и он рассчитывал в дальнейшем использовать этот материал для пьес и рассказов.

Но я стал замечать, что он все больше теряет вкус к жизни. Она представлялась ему теперь загадкой, которую не только нельзя разгадать, но и не стоит разгадывать. Как все преходяще в этом мире! Бренность, животная грубость и балаганная неосмысленность, тяготеющие с начала и до конца над жизнью человека — этого представителя *homo sapiens*, его пустое тщеславие, призрачные иллюзии, обманчивые надежды! Его жалкие усилия сделать что-то из ничего! Немного больше или немного меньше какого-нибудь гормона в крови — и Линкольн превратился бы в ленивого обывателя или деревенского дурачка! Боже, для чего же в конце концов живут люди! Во всеуслышание они говорят пышные слова, но что они проделывают, когда их никто не видит! Добродетель, приличия, мораль, благотворительность, честолюбие, родительские чувства — какая все это ложь! Дикая, бессмысленная пляска безумцев в сумасшедшем доме!

Понятно, к чему привели эти настроения, — к пьянству, кутежам с кем угодно и где угодно. Его мать, набожная христианка, пыталась даже врачевать и проверять на нем силу «слова божьего»; сестра, встревоженная и огорченная, уговаривала его чаще бывать дома, беречь себя, больше работать. Но их усилия так ни к чему и не привели. Джетро опять стал такой, каким был, когда впервые встретил Оливью, — только постаревший на десять лет, уже без прежних надежд и без прежней сдержанности. А ему было всего сорок два года!

Примерно в это время он как-то зашел ко мне. Мы говорили о том о сем — о его работе, о его будущем. И, конечно, об эндокринных железах и их социальном значении. Его книга на эту тему должна скоро появиться. Между прочим, он неважно себя чувствует. Какой-то загиб в пищеводке — бог его знает, что это такое, — и печень слегка увеличена, так по крайней мере показывает рентген. Вид у него, правда, был нездоровый. По его словам, он бросил пить и не работает по ночам. Доктор велел. Потом он снова начал ругать жизнь, ее пустоту и бессмысленность.

— Знаете что, Джек,— сказал я,— вам бы найти девушку, которая бы вас понимала и могла работать с вами. Все бы у вас наладилось, если бы...

— Если бы мне встретить такую, как Оливия. Но мне ее не встретить. Другой такой нет.

Он поднялся, собираясь уходить. Лицо его так ясно выражало то, что происходило в его душе,— скорбь и безнадежность. Мне стало жаль его.

Весной я написал ему, что собираюсь в большую пешеходную экскурсию, километров так на пятьсот. Я предложил ему отправиться со мной, хотя бы на несколько дней. Он ответил письмом, в котором с восторгом и вместе с какой-то неуверенностью говорил о моем предложении; он, видимо, сознавал, что ему следует это сделать, но чувствовал, что не сможет. Он очень хотел бы, но... Осенью я пригласил его к себе на дачу и после десятидневного молчания получил письмо от его сестры. Она писала, что он уже две недели болен и последние десять дней лежит без сознания. Он еще успел, пока был в памяти, прочитать мое письмо и сказал, что непременно ответит, как только встанет на ноги. Но это были последние его сознательные минуты; с тех пор лихорадка, учащенный пульс, температура сорок. И все время бред — об Оливии, о том, как они встретились, как жили после свадьбы. Я приехал в больницу и застал там одного нашего общего знакомого, который как раз перед болезнью Джетро гостил у него на даче. Он рассказал мне, что Джетро в то время опять начал пить, хотя и обещал больше не прикасаться к рюмке. Затем легкая простуда, жар и почти сразу же — бессознательное состояние.

— Удивительное дело,— рассказывал он,— как только Джетро потерял сознание, он сразу же начал бредить о своей жене, ну, этой, знаете, Оливии Бранд.

— Знаю,— сказал я.

— Он только о ней и говорил.

— Вот как.

Я поднялся наверх; Джетро лежал на больничной койке, окруженный докторами — их было трое — и сиделками; он что-то бессвязно бормотал, как это бывает с больными в жару. Он то провозглашал тост за чье-то здоровье: «Всем налито? Поднимайте бокалы!» То усаживал какую-то компанию в автомобиль: «Все в сборе?»

То вдруг порывался встать и идти домой,— он должен идти домой, скорее домой, Оливия сказала... Потом он звал сестру или мать. Я взял его за руку, пристально посмотрел ему в глаза:

— Джек, вы слышите меня? Вы меня узнали? Ведь вы же знаете меня?

— Конечно, знаю,— ответил он. Глаза его на минуту прояснились.— Вы...— И он назвал мое имя. Это было прощание.

Еще через две недели он был жив, но так и не пришел в себя. Все такой же жар, все тот же бред об Оливии.

— Как странно,— сказала мне его сестра.— Болезнь у него началась точь-в-точь, как у Оливии. Сначала легкая ангина, потом сразу лихорадка. Оливия умерла на шестые сутки; мы думали, что и он дольше не протянет. В тот день силы совершенно покинули его. И он без конца бредил о ней. Не понимаю, как он выжил.

На двадцать девятый день болезни он умер. Садясь в такси, чтобы ехать к нему домой, я сказал шоферу:

— Поезжайте мимо парка, через Сто десятую улицу, потом вверх по Бродвею.

Но он почему-то свернул у Морнингсайд Хайтс и проехал как раз под окнами больницы, где умерла Оливия. Я этого не заметил, пока случайно не взглянул вверх... Прямо передо мною было окно ее палаты. И тогда я подумал: «Оливия, Оливия, неужели это ты позвала его к себе? Ты так жалела его?..»

ЭРНИТА

Я знаю Эрниту. Знаю ее честность, знаю ясный и смелый взгляд ее глаз, жаждущих правды, жаждущих любви, и хочу рассказать вам о том сцеплении обстоятельств, которое привело ее в самую гущу одного из величайших социальных переворотов в истории человечества.

Она родилась в 1895 году в Ларедо, штат Техас, куда ее дед и отец некогда приехали из Иллинойса в крытом фургоне, чтобы получить там земельный участок. Суровая жизнь пионеров довела ее отца до туберкулеза,

от которого он и умер, оставив вдову с четырьмя малолетними детьми,— Эрните было тогда семь, Алисе десять, старшему мальчику двенадцать, а младший был еще на руках. Продав свой участок, миссис Бертрэм решила пустить деньги в оборот и приобрести недвижимость в строящемся городе Накто, но у нее не было делового чутья, и она нередко становилась жертвой спекулянтов. Семья то и дело переезжала из дома в дом, так как, перепродавая их, мать надеялась увеличить свои доходы; кроме того, она брала пансионеров. Миссис Бертрэм была еще молода и привлекательна, и ей, без сомнения, удалось бы вторично выйти замуж, но мешали дети, и жизнь была для нее в те годы тяжелой борьбой за существование.

Один из этих домов Эрнита, по ее словам, особенно хорошо запомнила. Он стоял в небогатой части города, неподалеку от большой мельницы, и в нем было десять комнат. К несчастью, район красного фонаря захватил и их улицу. По вечерам хорошенькие особы в кимоно посиживали на крылечке соседнего дома, там слышались звуки музыки, и туда приходило много мужчин.

В конце концов, хотя миссис Бертрэм и не прочь была поболтать через забор с содержательницей публичного дома, обменяться с ней кулинарными рецептами и дамскими секретами, ей все же пришлось с убытком продать дом, так как она боялась за своих дочерей и за репутацию своего пансиона. Эрнита имела лишь смутное представление о том, что происходит по соседству, но ее сестра, бесспорно, о многом догадывалась, и то, что она видела, очень интересовало ее.

К тому времени старшего мальчика взяли рассыльным в скобяную торговлю (когда я познакомился с Эрнитой, он все еще служил там, но уже коммивояжером), Алиса, окончив начальную школу, поступила на коммерческие курсы, где изучила стенографию. Эрнита же, которую, по ее словам, мать явно предпочитала другим детям за то, что она всегда мечтала совершить что-то необыкновенное,— смогла затем поступить еще и в среднюю школу. Сама миссис Бертрэм, натура чувствительная и меланхолическая, в своих взглядах на жизнь была пессимисткой, но она лелеяла надежду, что хотя бы из Эрниты выйдет девушка незаурядная или что она делает блестящую партию. Однако у дочери еще до по-

следнего класса пошатнулось здоровье, подорванное усиленными занятиями. К счастью, дела семьи к тому времени улучшились. Алиса вышла замуж за кассира «Национальной компании по производству кассовых аппаратов», старший брат хорошо зарабатывал. Поэтому мать имела возможность отвезти Эрниту в Калифорнию отдохнуть и поправиться. Кроме того, самой миссис Бертрэм эта поездка сулила известные романтические перспективы. Они собирались жить в семье одного из их бывших пансионеров — молодого рабочего-металлиста, который долго был в нее влюблен; потом он вернулся в Калифорнию, в свой родной город, где-то неподалеку от Сан-Франциско.

Перед матерью и дочерью эта поездка словно открыла новый мир. Ибо они были, по словам Эрниты, столь родственными натурами, что обе радовались и восторгались, как дети. Никогда прежде они не видели ни гор, ни моря. До восемнадцати лет Эрнита не выезжала из Техаса, ее кругозор был ограничен теми образами и мыслями, которые она могла почерпнуть из мечтаний и книг; теперь, в маленьком калифорнийском городке, поблизости от Сан-Франциско, у нее впервые появились настоящие поклонники. Конечно, и прежде мальчики ухаживали за ней, но голос пола, стремление к определенной физической близости в пору ее ранней юности — она это особенно подчеркивала — не имели над ней никакой власти. Напротив, это казалось ей чем-то дурным и даже постыдным. Едва ли перед ней когда-нибудь возникали картины интимной близости, а если и возникали, то столь туманно, что не могли взволновать. Здесь же за ней начал ухаживать толстый молодой немец, приказчик из бакалеи; он приносил миссис Бертрэм грибы с гор, а Эрните — прелестные дикие цветы. Потом он даже хотел жениться на ней. Конец этому ухаживанию положил его переезд в другую часть города, где находилось место его новой работы. Затем их начал посещать сын соседа, он возил девушку кататься на коляске по окрестностям, ездил с нею в театр в Сан-Франциско. Его мать охотно женила бы сына на Эрните, но молодая пара была слишком робка, и из этого ничего не вышло.

Тем временем миссис Бертрэм порвала со своим металлистом, из-за которого она отчасти и переехала на

Запад,— и вот, рассказывала потом Эрнита, он перенес свою преданность с матери на дочь. Однако он несколько ей не нравился, так как был уже довольно потрепанным, выдавшим виды человеком. Кроме того, Эрнита, еще задолго до этих ухаживаний, отгадала истинный характер его отношений с ее матерью и возненавидела его за это. При ее тогдашних взглядах, говорила она, во всей этой истории для нее было что-то невыразимо отвратительное, и она просто не могла выносить этого человека. Отвергнутый обеими женщинами, он уехал. Но без его помощи борьба за существование должна была стать, да и стала для матери и дочери куда тяжелее, ибо он то и дело пополнял их припасы, хотя дочь этого тогда и не замечала. А главное — Эрнита, надеявшаяся поступить в университет, не могла теперь и мечтать об этом. Когда она на следующий год окончила школу, ей и матери пришлось все лето работать на консервном заводе — единственное занятие, которое они в то время смогли себе подыскать. Но местность была так прекрасна, что они испытывали радость, как она после рассказывала, хотя жили в палатке, работа была тяжелая и платы за нее хватало только на пропитание.

Наступила осень, на заводе они были уже не нужны, и мать и дочь опять оказались перед необходимостью искать себе заработок. Тогда Эрнита поступила в школу телефонисток в Сан-Хосе, где девушки уже во время обучения получали плату; однако работа телефонистки была очень скучная, выматывающая нервы, а Эрнита всегда стремилась к чему-то необыденному, словом, строила воздушные замки. Поэтому, когда она окончила курс и ее направили на центральную телефонную станцию, где нужна была ночная дежурная телефонистка, ее охватил такой ужас и отвращение, что она тут же уложила вещи, отказалась от комнатенки, где жила одна, и села в автобус, который отвез ее обратно в маленький городок Темпл, к матери. Но миссис Бертрэм, вернувшись к прежнему занятию и снова содержавшая пансион — единственное, что она умела, — ничем не могла помочь дочери. Дом, в котором они жили, был старый, стоял он на городской окраине и, как рассказывала Эрнита, действовал на нее удручающе. Одна мысль о том, чтобы прожить здесь хотя бы день, уже не говоря о более продолжительном времени, казалась, бросала мрач-

ную тень на все ее будущее. Поэтому главное было — бежать отсюда, бежать во что бы то ни стало. И вот Эрнита поступила на вечерние курсы стенографии, машинописи и счетоводства.

В конце концов через несколько месяцев она получила место за восемь долларов в неделю в конторе фирмы «Уичет, Мак-Гиллиг и Тоби», занимавшейся куплей-продажей земельных участков. По словам Эрниты, это был весьма своеобразный триумvirат мошенников. Уичет был грузен, ленив и старомоден; Мак-Гиллиг мал ростом, тщеславен, надменен и щеголеват; а ирландец Тоби — хитер, изобретателен, без стыда и совести; его девизом было: преуспеть любой ценой. Мак-Гиллиг обычно брал ее под руку и уверял, что игра стоит свеч, если только она заинтересуется этой игрой, то есть им. Уичет и Тоби также подбирались к ней, нашептывая все те же советы. Но ее это нисколько не прельщало. Настоящего счастья Эрнита здесь не могла найти; ей казалось, что грезы о лучшей жизни меркнут под гнетом скучной и постылой работы. А главное — она была одинока и не видела вокруг никого, к кому могла бы испытать хоть какое-то сердечное влечение; вместе с тем ее преследовали преувеличенно яркие картины того счастья, которое якобы находят другие, особенно девушки, и мысли о том, как мало этого счастья досталось ей на долю. Взять хотя бы платья — разве они не увеличивают обаяние женщины, не подчеркивают в ней многое, чего сразу и не заметишь? У нее же, Эрниты, и среда убогая, и домишко скверный, и то и се, какие уж тут наряды! А разве она хуже других или менее красива? Впрочем, иной раз ей казалось, что хуже, иной раз — нет. Дешевые платья, постоянные нехватки дома и столько разочарований в прошлом! «В те времена, — сказала она мне однажды, — я в самом деле едва ли понимала, что я собой представляю и чем могла бы стать. Кроме того, я не могла не раздумывать над судьбой моей матери».

«Боже, как я страдала, когда она впадала в уныние и лицо ее становилось печальным! — призналась мне однажды Эрнита. — Просто выразить не могу! Я уверена, что именно это натолкнуло меня впервые на размышления о том, что такое жизнь. У одних — огромные богатства! Дома и поместья! Каким путем они приобре-

ли все это? И почему? Разве они не такие же люди, как мы с мамой? Вы утверждаете, что я была ожесточена своими жизненными неудачами и что такая ожесточенность не может быть вполне оправданна, она слишком эгоистична. Но разве я могла настроить себя более оптимистически, пока в моей жизни ничто не изменилось? Я заметила, что, когда я весела и улыбаюсь, самые разные мужчины, на которых я, при всей нашей бедности, смотрела свысока, начинают за мной ухаживать. Чтобы избежать их внимания, мне приходилось держаться даже суровее и строже, чем это было в моем характере. Если я попытаюсь охарактеризовать себя в ту пору моей жизни, то скажу, что в душе бывала подавлена и печальна, однако старалась улыбаться и даже несколько рисовалась своим мужественным отношением к жизни, которого у меня на самом деле не было».

Угнетало Эрниту в те годы и то, что фирма, где она служила, вела свои дела нечестно — там почти открыто занимались жульническими махинациями. Как Эрнита говорила мне потом, она смутно чувствовала что-то неладное. Например, фирма взяла на себя постройку новой ратуши в городе Темпл — лакомый кусок для местных взяточников-политиканов и маклеров по недвижимости. Вот что рассказала мне об этом случае Эрнита:

«Маклеры всей округи гадали, где же будут строить ратушу. А Мак-Гиллиг и Тоби сговорились с шайкой местных политиканов, которые всячески агитировали за болотистый участок, лежащий между Темплом и Пойнт-Аргосом, уверяя, что это самое подходящее место для нового здания. Желая придать вес своим уверениям, они в конце концов принялись возводить кирпичное здание на унылой болотистой равнине, простиравшейся позади залива Аргос Бей, и тут же повесили большой плакат с надписью: «Новая ратуша». Разумеется, публика, не осведомленная об истинном положении дела, ринулась покупать соседние участки, пока земля была дешева. Даже я предложила матери приобрести участок, считая, что там и будет производиться строительство. Все же мы ничего не купили. Земельные участки стоили от тысячи до трех тысяч долларов. Особенно привлекали они японцев, китайцев и индийцев, но так как усиленная скупка участков в этой местности могла неблагопри-

ятно отразиться на других земельных операциях в Калифорнии, то фирма, якобы идя навстречу желанию этих иностранцев, купила для них участки на свое имя, а потом они аккуратно являлись и выплачивали взносы. Но не успело большинство из них все выплатить, как обман насчет местоположения ратуши открылся, и все их вложения пропали. Произошел настолько громкий скандал, что фирма решила разделиться. Мак-Гиллиг, самый смелый и предприимчивый из трех компаньонов, приглашал меня к себе, обещая платить в месяц сорок долларов. Тоби также звал меня с собой, но я отвергла оба предложения и задержалась только, чтобы закончить бухгалтерские книги. На основе моих подсчетов компаньоны и разделились».

Когда Эрнита еще работала в конторе по продаже земельных участков, библиотекарь городской библиотеки, где девушка обычно проводила несколько вечеров в неделю, пленился ею и предложил ей изучить библиотечное дело, чтобы стать впоследствии его помощницей. По ее описаниям, это был высокий, стройный и смуглый молодой человек, очень серьезный и всеми уважаемый; два года назад он овдовел и, вероятно, решил, что Эрнита — подходящая преемница его жене. Она же увидела в его ухаживании просто дружеский интерес, никак не связанный ни с любовью, ни с физическим влечением. Он также через некоторое время, должно быть, догадался, что она не смотрит на него как на мужчину и совершенно не замечает тех чувств и желаний, которые пробудились в нем, и потому вскоре прекратил свои попытки покорить ее сердце и вместо этого обратил все усилия на то, чтобы уговорить ее заняться библиотечным делом, быть может, надеясь добиться своего окольным путем. Но и это ни к чему не привело.

Открывшаяся перед ней возможность тогда казалась Эрните огромным шагом вперед. Стать библиотекарем! Или хотя бы его помощницей! Это нарядное здание с мраморными стенами, где ей предстояло работать, — одна из небольших библиотек, каких в Америке немало, дар частного лица, — как бы отождествлялось для нее с теми более возвышенными целями, к которым она стремилась. Поэтому, ничего не говоря своим хозяевам, у которых она все еще работала, но которых уже стала подозревать во всякого рода махинациях, Эрнита посту-

пила на вечерние библиотечные курсы и через год была подготовлена для новой должности. Как раз в это время мошенничества ее патронов перестали быть тайной и об их темных делишках заговорили: Эрнита ухватила за этот предлог и ушла от них. Кроме того, ей казалось, что работа в библиотеке приблизит ее к миру ее мечтаний.

До этого времени, рассказывала Эрнита, романов с молодыми людьми, кроме тех двух-трех случаев, о которых она уже упоминала, у нее не было,— самое большое, если она пойдет с кем-нибудь потанцевать, на вечеринку или в кино; при этом неловкие попытки ее спутников поцеловать ее неизменно вызывали в ней отвращение, и романами это едва ли можно было назвать.

Мать ее продолжала сдавать комнаты с пансионом, и вот один из ее пансионеров — механик фирмы «Стандард ойл», где работал также младший брат Эрниты,— начал ухаживать за ней. Он был гораздо старше ее, но, по ее словам, обладал приятной наружностью и хорошими манерами; благодаря всему этому она до известной степени отвечала на его чувства,— настолько во всяком случае, что даже приняла от него в подарок кольцо с бриллиантом и некоторое время носила его. Ее мать, добавила Эрнита, хотя и продолжала считать, что дочь заслуживает гораздо лучшей партии, все же под влиянием своих обычных безнадежных взглядов на жизнь не слишком противилась выбору дочери и дала свое согласие на брак с этим человеком — каприз или слабость, за которые Эрнита впоследствии не могла не упрекать ее.

«Вероятно, моей матери казалось, что и она и я занимаем слишком скромное место в мире и едва ли можем надеяться на что-то лучшее,— заметила по этому поводу Эрнита.— Мать говорила себе, что жизнь и меня поймала в ловушку, как некогда поймала ее».

Однако помолвка вскоре расстроилась. Стремление к лучшей жизни, как говорила Эрнита, а может быть, просто здравый смысл спасли ее. В конце концов она заявила своему поклоннику, что по-настоящему не любит его, а он очень рассердился и потребовал обратно кольцо. И Эрнита, по ее словам, с радостью вернула его.

Но, кроме техника, существовал еще тот металлист, который жил когда-то с ее матерью, и, невзирая на по-

лученную отставку, все еще продолжал чего-то ждать, вероятно, надеясь, что Эрнита, наконец, выбьется из сил и примет его помощь. Она рассказала мне весьма характерный случай. Однажды вечером, вернувшись из кино вместе с женихом, которому потом отказала, она сидела с ним в тесной гостиной пансиона ее матери. Вскоре жених начал целовать ее, а она, хоть и не любила его, не сопротивлялась. Ей казалось, что должен же быть и у нее кавалер и что скоро ей все равно придется за кого-нибудь выйти замуж. Жених не ограничился поцелуями и позволил себе более смелую ласку. Эрнита призналась мне, что она точно оцепенела, но вместе с тем ей стало противно. В эту самую минуту кто-то из всех сил забарабанил во входную дверь. Смутившись, она побежала отворять и увидела своего отчаявшегося поклонника — металлста. Оказалось, он подглядывал за ними в окно и теперь стоял перед ней, бледный от ярости.

— Где миссис Бертрэм? — спросил он.

Получив ответ, что она легла спать, он взбежал наверх по лестнице и выложил матери все, что подглядел в окно. Миссис Бертрэм позвала к себе Эрниту, но так как она всегда избегала касаться сексуальных тем, то и задала Эрните всего несколько робких вопросов, и когда дочь заверила ее, что это ложь, предпочла поверить ей, и ревнивцу пришлось ретироваться ни с чем.

Однако при всей неприязни, которую испытывала Эрнита к этому человеку, она, по ее словам, именно благодаря ему соприкоснулась с теми идеями, которые оказали решающее влияние на ее дальнейшую жизнь. У металлста был дурной характер, но человек он был развитый и обладал живым и свободолобивым умом, почему и оказал немалое влияние на взгляды Эрниты и ее матери. Он был социалист, и даже довольно крайних взглядов, впрочем, не чуждался и религии или во всяком случае тех местных (и не только местных) деятелей, которые хотя бы отчасти разделяли его убеждения; поэтому каждое воскресенье он посещал молитвенные собрания или богослужения в конгрегационистской церкви в Сан-Хосе или Сан-Франциско, где какой-нибудь либеральный священник проповедовал более широкое понимание религиозных догм, чем в других церквях. И вот, стараниями металлста в Темпл был послан некий сту-

дент-богослов из унитариянского училища в Беркли, чтобы открыть маленькую церковь или миссию. Мне следовало упомянуть о том, что задолго до его приезда, еще в Техасе, Эрнита и ее мать порвали со своей церковью и примкнули к униатам, которые тогда считались свободомыслящими.

Поэтому, когда металлист предложил им поддержать ходатайство об открытии униатской церкви в Темпле, они подписались под ним. Больше того, Эрните поручили вести один из классов в воскресной церковной школе, и тут-то она и встретилась с молодым богословом.

«Он влюбился в меня с первого взгляда,— рассказывала Эрнита,— и, мне кажется, из-за меня решил переехать в наш город. Это был стройный, хрупкий юноша, очень смуглый, кареглазый, в очках. В те времена он казался мне чрезвычайно романтической фигурой. Ведь он стоял настолько выше всех, кто меня окружал!»

Интересно отметить, что мать Эрниты с самого начала невлюбила его. Может быть, она предчувствовала, что дочь покинет ее ради этого человека. Или, может быть, потому, что началась мировая война, и обе женщины, при своих социалистических взглядах, были решительно против нее, а молодой богослов придерживался других взглядов. Или миссис Бертрэм оттолкнула его излишняя набожность и праведность? Он был очень высокомерен, а проповедовал, по словам Эрниты, самые ходячие стандартные теории относительно спасения мира. Начавшаяся война-де война справедливая. Германия кругом неправда, она — исчадие ада, орда дикарей, гуннов, вторгшихся в добродетельный и непорочный мир; Англия и союзники — белоснежные агнцы, которые сражаются за правду, они чужды всякого зла, они сражаются, чтобы спасти мир, а не самих себя, они — его мудрые наставники.

Но Эрнита и ее мать, увы, прочли немало книг по политическим и социальным вопросам, они были глубоко убеждены в том, что война — всего лишь результат грубого и жестокого соперничества между капиталистическими державами, которые преследуют чисто материальные цели, и что Англия, Франция и Россия ничуть не лучше Германии, если не хуже.

Таким образом, между Эрнитой и ее матерью — с одной стороны, и молодым богословом — с другой, про-

исходили горячие споры причем обе женщины кипели изгодованием, а он испытывал явное удовольствие и даже смотрел на них свысока.

Хотя они решительно ни в чем не сходились, он оказался первым мужчиной, к которому Эрнита почувствовала влечение и который, как ей тогда казалось, интеллектуально был ей равен. Кроме того, это была хорошая партия, которой пренебрегать не следовало. Ведь, в сущности, что она собой представляет? Зато он! (Как видите, она страдала комплексом неполноценности.) Ведь ей уже двадцать один год, и брат уже поддразнивает ее, называя старой девой! И вот она решила пренебречь различием взглядов и считаться только с гармонией чувств. Но она не хотела бросать свою работу, — теперь мать была частично на ее иждивении (хотя Эрнита уговорила ее также пройти библиотечные курсы, и та могла, при необходимости, зарабатывать себе на кусок хлеба); поэтому молодая девушка и студент-богослов только обручились, и началось то долгое жениховство, которое для брака обычно оказывается роковым. При отсрочке виднее становится все плохое в человеке. «Впрочем, для меня эта отсрочка не была тяжела, — призналась мне Эрнита, — в те времена я была созданием довольно холодным и не испытывала влечений, о которых стоило бы говорить. Леонард же все это переживал иначе. Он был страстной натурой, слишком долго подвергал себя воздержанию, и теперь оно начало сказываться. Он никогда не был близок с женщиной, считая это грехом. Но природа брала свое, и Леонарду приходилось скрывать свою первородную греховность. Он боролся с собой изо всех сил. А так как обручение придавало нашим отношениям условную законность и морально как бы оправдывало их, он чувствовал, что имеет право на большую свободу действий, чем при иных обстоятельствах. Мне пришлось признать, и притом с горечью (такой уж я была тогда), что его пыл и нетерпение становятся просто какими-то неестественными. По временам его почти животная страсть вызывала во мне ужасный стыд и отвращение, и я начинала бранить его, пока он не смирялся и не просил прощения».

В конце концов, убедившись, что Эрнита в данное время не намерена выходить за него замуж или иным способом удовлетворить его желания, ее возлюбленный

придумал весьма хитрый и отнюдь не пастырский способ для того, чтобы победить ее моральные предрассудки. Поскольку он не мог в то время жениться официально, он задумал обвенчаться тайком и скрыть их брак. У него был друг — необузданный и романтичный молодой ирландец по фамилии Моллой, — с которым он очень часто встречался. И вот они с Моллоем придумали такой план (а может, этот коварный план измыслил один Моллой). Во всяком случае, было решено, что Моллой съездит в Санта-Крус и уговорит местных журналистов сохранить в тайне брачную церемонию, которая должна была совершиться, как только прибудут жених и невеста. Таким образом, говорила Эрнита, не успела она опомниться, как уже стояла в кабинете епископального священника в Санта-Крус и он совершал обряд бракосочетания. Когда все было кончено, она горько расплакалась. Может быть, бессознательное чувство подсказывало ей, что это ошибка. И вот начались отношения, которые были для нее трудны и даже мучительны, ибо она так и не смогла отрешиться от мысли, что в половом общении есть нечто постыдное, тем более если брак остается тайной. Рассказывая мне эту историю, она настойчиво уверяла, что в те времена у нее не было никаких сексуальных желаний и она подчинялась требованиям мужа, только чтобы не огорчать его. Напротив, она считала, что этот мучительный для нее год тайного брака еще сильнее развил в ней неестественные отвращения к сексуальной жизни, — она окончательно преодолела их лишь несколько лет спустя и при совершенно иных обстоятельствах.

Тем временем Америка все больше втягивалась в мировую конфликт, и разногласия между Эрнитой и ее мужем во взглядах на войну становились все серьезнее; они привели в конце концов к внутреннему расхождению, заставившему ее усомниться в глубине его ума и в его духовной силе. Это открытие оказалось чрезвычайно опасным, может быть, даже роковым: ведь обычно, если женщина перестает восхищаться высоким умом своего мужа, она перестает его любить. Но теперь Эрнита была замужем, дело было сделано, и изменить тут что-либо не представлялось ей возможным.

У Леонарда кончился учебный год, и он уехал на лето домой в местечко возле Санта-Барбары. Он был един-

ственным сыном и, по рассказам Эрниты, горячо предан своей овдовевшей матери, словом — маменькин сынок. Леонард умолял Эрниту ехать следом, они там снова, или, вернее, уже открыто, поженятся. Да и сама она убедилась, что держать дольше их брак в тайне невозможно. Кроме того, ее мать теперь работала в библиотеке и, хотя бы материально, от нее уже не зависела. Притом даже служащие библиотеки, знавшие о романе между Эрнитой и Леонардом, начинали удивляться, почему помолвка так затянулась. Они уже сделали ей подарки, и эта история начала всем надоедать.

Шел 1917 год, и Америка вступила в войну. Возмущение Эрниты против войны дошло до такой степени, что она заводила споры с Леонардом даже в письмах. В довершение всего он сообщил ей, что намерен пойти добровольцем — надо же спасти демократию! — и вызвал этим ее глубокое негодование. Она тут же ответила, что быть фронтовой невестой не намерена и вообще выходить за него не согласна. Пусть выбирает — она или демократия, и о ком он намерен прежде всего заботиться — о ней или о демократии? Затем полетели телеграммы: что она — с ума сошла? Любит она его в конце концов или не любит? Понимает ли она, что делает? И как можно так вести себя, когда страна в столь тяжелом положении? Неужели у нее нет любви к родине нет патриотизма? Пусть хоть приезжает и объяснится с ним лично! Кроме того, его мать написала ей, что уже приглашены гости на свадьбу, отказав Леонарду, она загубит его жизнь. А если он пойдет на войну, его мать позаботится об Эрните.

После тяжелой борьбы с собой Эрнита, наконец, решила, что раз она фактически уже замужем, то ничего не изменится, если отпраздновать официальную свадьбу. И вот в один прекрасный день она уложила свой чемодан и уехала в Санта-Барбару, где вторично состоялась брачная церемония — на этот раз в доме дяди Леонарда. Свадьба была очень пышная, рассказывала Эрнита. Дядя оказался государственным чиновником, он не только пригласил на празднество нескольких сослуживцев, но, сняв с одного из правительственных зданий американский флаг, натянул его над своей верандой — обычный способ использования общественной собственности для частных нужд. Затем молодые отправились

на побережье, в коттедж, принадлежавший матери Леонарда; мать съездила туда заранее, чтобы все приготовить и обставить домик новыми красивыми вещами.

«Она была очень внимательна,— добавила Эрнита,— я до сих пор помню, какую записку она оставила нам на кухонном столе: «Дорогие дети, яйца и масло в холодильнике, кофе и сахар в буфете. Будьте счастливы и не спорьте о войне!»»

Однако война продолжала оставаться поводом для серьезных внутренних разногласий между ними. Эрнита считала, что права она, а Леонард ошибается. Это глубоко возмущало ее.

«В самом деле, задолго до того как в России вспыхнул свет коммунизма, я чувствовала, что где-то должна произойти перемена,— говорила мне Эрнита,— должен возникнуть новый общественный строй, при котором социальная справедливость осудит и отменит войну,— это будет какой-нибудь всемирный союз рабочих и угнетенных. И почему бы страдающим миллионам не уйти из окопов и не загнать туда своих подлых, надменных и ничтожных правителей: пусть сами умирают!.. Еще до войны я видела резкие противоречия в американском обществе, и это в конце концов восстановило меня против правящих классов. А теперь война, казалось, подтверждала, насколько слаб и ничтожен отдельный человек, насколько он — игрушка страстей и сил, которые стоят вне его контроля, но над ним имеют самую пагубную власть. Разумеется, во мне тогда жило твердое убеждение, что человек свободен или должен быть свободен; потом мне пришлось от этого взгляда отказаться. Верила я также, что Америка может и должна решительно бороться за то, чтобы сохранить незапятнанной свою честь и свои свободы, которые она когда-то провозгласила. И, разумеется, я обвиняла американское бужуазное общество в том, что наша страна оказалась втянутой в войну, и искала способа, опираясь на какую-либо теорию или учение, выразить свое отвращение к войне. Но так как я была в этом смысле одинока и жила в такой местности, в таком штате и такой стране, где все, видимо, держались противоположных взглядов — тех же, что и мой муж,— я в конце концов отчаялась. Зачем же тогда спорить с ним? Чего я этим достигну? К тому же я была в то время очень занята свадебными

визитами и времени для споров у меня оставалось немногое».

Однако Эрнита скоро убедилась, что без этих интеллектуальных сражений ее муж чувствует себя неуверенно. Споры с нею, как она теперь догадывалась (и не к его чести), поддерживали и развивали в нем более высокое мнение о себе. А это мало способствовало ее любви. Во всяком случае, как только она перестала с ним спорить, он начал колебаться и уже сам спрашивал, как она смотрит на тот или другой вопрос, связанный с войной. Она отвечала прямо и откровенно, но споров не заводила, и вскоре он заявил, что, вернувшись в колледж, еще раз все это продумает, особенно теории, о которых она читала и которые отстаивала столько лет.

Он так и сделал, притом взгляды свои пересмотрел настолько основательно, что вскоре стал не менее ярким противником войны, чем Эрнита, однако от этого в ее мнении не возвысился. Ей, как она объясняла потом, все это казалось слишком внезапным,— обращение было слишком бурным и скоропалительным. Она не могла быть уверена, что все это— действительно продуманный им, разумный вывод. А может быть, тут немалую роль сыграло влечение к ней или просто ее влияние? Во всяком случае, когда они потом переехали в Беркли, оба начали встречаться с радикально настроенными людьми и вскоре примкнули к тем, кто видел в войне и ее причинах только зло. Сначала это были члены Народного совета борьбы за демократию и мир — организации, которую усиленно преследовали «стопроцентные американцы», безоговорочно стоявшие за войну, а потом члены социалистической партии, считавшейся в Америке еще более вредным сообществом

«Ибо что может быть здесь, в Америке, страшнее радикала? — спрашивала Эрнита.— И если б вы знали, как быстро мы потеряли уважение местного общества! С точки зрения социальной и политической, мы вступали в самый бурный период нашей жизни, когда нас ждали остракизм и презрение! Но вы думаете, я испугалась? Нет. Я скорее была рада и горда, держалась смело и вызывающе. Мне, наоборот, казалось,— особенно принимая во внимание события в России,— что я делаю благородное и прекрасное дело; и я думаю так до сих пор».

Вскоре мать Эрниты была уволена из библиотеки за свои антимилитаристские взгляды. Леонард, назначенный в Чаттанугу на пост священника в местной униатской церкви, через месяц был вынужден уйти оттуда (едва прошел испытательный срок), так как он проповедовал там свои новые социалистические убеждения и «отказался вести активную кампанию за войну, чтобы укрепить авторитет этой церкви». Затем последовало предписание мужу и жене покинуть Беркли. На этот раз постарались «Мобилизованные женщины» — местная патриотическая организация. Леонард был объявлен ренегатом, изменившим своим религиозным верованиям, а Эрнита — полоумной молодой радикалкой. За их квартирой и знакомыми была установлена слежка, и им самим ежеминутно угрожал арест. Мать Эрниты, напуганная всем этим, купила акр земли в птицеводческой колонии к югу от Сан-Франциско, и к ней-то и переехали тогда Эрнита с мужем, решив зарабатывать себе на жизнь разведением кур. Они назвали это место «Убежищем», ибо оно служило пристанищем не только для них, но и для других радикалов — тех, кто только что вышел из тюрьмы, и тех, кому она угрожала. И вот оба принялись разводить цыплят, хотя Леонард, по словам Эрниты, совершенно не годился для физической работы. Они так неумело вели хозяйство, что в конце концов пришлось призвать на помощь брата Эрниты, а Леонард получил работу в издательстве религиозных книг в Сан-Франциско.

Тем временем в России произошла революция — «Десять дней, которые потрясли мир», — и Эрнита увидела в ней как бы дар небес, разрешивший все ее социальные чаяния. Победа Ленина! Теории Маркса! Освободить мир от капиталистического гнета! Снять ярмо с простого человека! Советская Россия казалась ей маяком свободы, образцом новых и спасительных социальных верований. Ее взор обратился к Москве, к Ленину и его гигантскому делу.

Взгляды и убеждения Эрниты развивались в те времена настолько стремительно, что она уже отошла от социалистической партии, которая и привлекала-то ее только из-за той позиции, какую эта партия занимала в отношении войны. К тому же Эрнита разделяла мнение социалистов об экономических причинах, вызвавших

войну. Вступив в ряды этой партии, Эрнита быстро убедилась, — что все здесь закоснело и мертво, а она рвалась активно бороться с капитализмом, в котором она видела источник войн. Поэтому после социалистической партии и еще до Октябрьской революции ее привлекала к себе организация ИРМ, с помощью которой, ей казалось, можно сделать что-то реальное для человечества. Таким образом, от пацифизма она естественным путем пришла к социализму и пониманию классовой борьбы, от социалистической партии — к ИРМ, в те дни наиболее боевой рабочей организации Америки, а затем и к сочувствию русской революции, — не только потому, что русский народ восстал против империалистической войны и сверг царизм, но и потому, что это была революция рабочих, в результате которой пролетариат установил свою диктатуру, обещавшую, что он удержит власть в своих руках.

Однако, рассказывала она, идеи ИРМ и желание защитить ее членов, подвергавшихся непрерывным арестам, владели ею настолько сильно, что она, как это ни странно, прошла мимо такого исторического события, как создание коммунистической партии в США; к этой партии она по своим взглядам принадлежала и в ряды ее, конечно, вступила бы, если бы знала о ней. Эрните казалось, что самые смелые и передовые люди Америки сражаются в рядах ИРМ, тогда как левое крыло социалистической партии, к которой она стала относиться с презрением, примкнуло к коммунистам.

«Я не понимала, — заметила она по этому поводу, — что американская секция Третьего Интернационала, родившегося из победы большевистской партии в России, и была той партией, к которой мне на самом деле хотелось принадлежать».

В то время Народный институт на Маркет-стрит в Сан-Франциско объединял противников войны, сторонников Советской России, людей с социалистическими и анархистскими взглядами, а также членов ИРМ. Здесь была школа для рабочих, библиотека, театр, чайная, которую содержали русские эмигранты, по преимуществу евреи. Сюда приходили посмотреть спектакли Джордж Стерлинг и другие литературные светила, а на сцене играли наиболее радикальные журналисты, как Норман Спрингер. Во время войны полиция устраивала здесь

облавы, разыскивая укрывающихся от воинской повинности. Но война кончилась, а налеты — под тем или иным предлогом — продолжались; цель их была всегда одна и та же — выловить радикалов, то есть людей, которые придерживались иных взглядов, чем того хотелось большинству их соотечественников. Эрнита, примкнув к ИРМ, стала тогда секретарем Народного института; день и ночь работала она в библиотеке, в школе, в театре. По словам Эрниты, ее вдохновляла благородная цель, которой она служила.

Однако вскоре после того как Эрнита сделалась секретарем Народного института, директор этой организации был арестован и предан суду, согласно закону, направленному против деятельности профсоюзов, и руководство институтом легло на плечи Эрниты. Затем полиция заявила, что здание института грозит обрушиться, — прибегнув к выдумке, так как прикончить эту организацию иным путем не удавалось, — запретила устраивать в нем собрания и тем пресекла дальнейшую деятельность института. Тут-то Леонард и предложил Эрните бросить работу, хотя бы на время, и побыть дома. Он жаловался, что ведет прямо собачью жизнь, что у него совсем нет семейного очага, — вероятно, так оно и было. Жаловался, что она совсем не думает о нем, а только о своей общественной деятельности.

Но в те времена, уверяла меня Эрнита, она была глуха к таким заявлениям. Ее, как и всякого пылкого борца за идею, увлекала только защита того дела, которому она служила. Ко всему остальному, включая и собственного мужа, она оставалась равнодушной. «Я просто презирала семейную жизнь, — заявила она мне однажды. — Будучи замужем уже три года, я все еще отказывалась иметь ребенка и где-нибудь свить гнездо. Я была решительной противницей материнства — конечно, для себя, — прежде всего потому, что опасалась, как бы ребенок не связал меня, как бы мое отношение к жизни не изменилось и я не стала домашней рабыней, подобно большинству окружающих меня женщин с небольшими средствами. Второе, что подсознательно смущало меня, было, без сомнения, отсутствие любви к мужу. Я по-настоящему уже не любила и не уважала его, хотя и относилась к нему с известной симпатией, причем недостаток сердечного чувства сказывался в моем посто-

лином раздражении против него; но даже это не могло убить его неизменную нежность. Причиной, как мне теперь кажется, было, вероятно, то, что его убеждениям не доставало стойкости и глубины,— я всегда брала над ним верх. Словом, я чувствовала себя духовно сильнее его, и это меня злило».

Когда работа в институте прекратилась, Эрнита сделала попытку связаться с профсоюзами, так как считала их роль основной в классовой борьбе.

Неподалеку от института находилась мастерская, где делали уголки для переплетов, рамки для картин и подсвечники, которые производили впечатление металлических; достигалось это тем, что на дерево накладывался мокрый гипс, потом застывший гипс протирали, покрывали слоем металла, и вещь полировалась. Чтобы сохранить связь с рабочей средой, Эрнита постепенно изучила этот процесс. Но спустя две-три недели, еще до того, как ее окончательно приняли в члены профсоюза, гипсовая пыль, поднимавшаяся во время работы, настолько вредно подействовала на ее легкие, что ей пришлось отказаться от этого занятия. В то же время она узнала от доброжелательно относившегося к ней сыщика, который не раз участвовал в облавах на институт, но никогда ее не трогал, что подписан приказ об ее аресте за участие в профсоюзном движении. Она решила, что это уже слишком: по ее мнению, в Америке не оставалось почти ни одной организации, ради которой стоило бы садиться в тюрьму, а из-за работы в институте, конечно, не стоило. И вот она уехала в «Убежище».

Но тут ее постиг еще удар. Выяснилось, что она беременна; это была ее вторая беременность, и теперь, так как здоровье ее расстроилось, об аборте не приходилось и думать. Эрнита была вне себя и вымещала свой гнев на мужа, который, как ей было известно, считал ребенка спасением их семейной жизни.

«Смотрю я на него, бывало, и думаю,— сказала мне однажды Эрнита,— неужели ты воображаешь, что ты и твой ребенок, твои потребности и желания смогут когда-нибудь заменить мне или кому-нибудь страстную любовь к человечеству, жажду служить счастьем, может быть, многих миллионов!»

Однако время шло, ребенок родился, а вскоре после этого Леонард попал под автомобиль и получил серьез-

ное увечье. Его пригласили произнести проповедь в одной из пригородных церквей, и, когда он после службы шел по шоссе к автобусной остановке, на него сзади налетела машина и сшибла. Оказался перелом бедра, и он пролежал в постели два с половиной месяца; когда Эрнита увидела, как он беспомощен, ей оставалось только от всего отказаться и посвятить себя уходу за ним. Что касается ребенка, то она растила его и нянчила с той добросовестностью, какую вкладывала в каждое дело. Она даже страстно полюбила ребенка, хотя и страдала от сознания, что вот в России рождается новый мир, она так жаждет помочь его рождению, приложить и свои усилия, хоть чем-нибудь послужить ему, но ничего не может сделать, так как прикована к Сан-Франциско низменными семейными обязанностями.

Позднее, когда ребенок немного подрос, радикалы в Америке (и что было для нее важнее всего — в Сан-Франциско, где она жила) принялись за организацию технической помощи Советской России. По этому поводу она сказала мне: «Я просто пылала негодованием, стоило мне подумать о лживой и ханжеской политике нашего правительства, которое притворялось, будто совершенно не вмешивается в жизнь Советской России, и в то же время посылало солдат и оружие «для защиты наших интересов» и снабжало японцев и англичан оружием для нападения на новую Россию. Эти факты я, разумеется, узнала от радикалов».

Леонард, чувствуя ее волнение и опасаясь с ее стороны какого-нибудь сумасбродного поступка, чреватого (для него) неприятностями, предложил ей вместе участвовать в оказании технической помощи России. Ленин поддержал американских рабочих и инженеров, обратившихся с призывом сформировать отряд специалистов, который помог бы заложить основу мощной угледобывающей и металлургической промышленности в самом центре Сибири (Кузбасс). Отряд добровольцев должен был как можно скорее отплыть в Россию. Узнав, что, помимо инженеров и техников, в отряде нужны будут конторщики, счетоводы и секретари, Эрнита так и загорелась. Она уже имела опыт работы в счетоводстве, стенографии, машинописи и секретарстве и поэтому решила, что вполне подходит для поездки в Россию. А Леонард, видя, как жена захвачена этой идеей, при-

нялся с присущими ему обстоятельностью и усердием изучать по вечерам счетное дело, чтобы, на тот случай, если она вздумает ехать, отправиться вместе с ней в качестве счетовода. Разумеется, ни Эрнита, ни Леонард не знали русского языка, но чего тут бояться,— ведь им предстояло жить в американской колонии. И хотя им было известно, что вначале никаких денег они получать не будут и первый год придется жить на собственные средства, Эрнита только и думала, что об отъезде; надо же, как она выражалась, внести хоть маленькую лепту в великое дело. Леонард же готов был на все, лишь бы не расставаться с нею.

Что касается ребенка, то при двух любящих бабушках, жаждущих взять на себя заботы о нем, Эрнита не видела оснований, почему бы не оставить его в Америке. Она ведь уезжает не навсегда, говорила она себе, стараясь заглушить укоры совести. В ближайшем будущем — может быть, даже очень скоро — малыша можно будет привезти в Россию или она сама вернется. Но чаще всего она старалась не думать об этом, так как, во-первых, перед ней вставала моральная проблема, которую она не могла разрешить удовлетворительно, и, во-вторых, приглашение еще не было получено. Но когда они были совсем готовы — у них имелся даже небольшой денежный фонд, образовавшийся частично из их сбережений, частично из того, что они заняли у матери Леонарда, и ребенку как раз исполнилось полтора года,— пришло долгожданное приглашение ехать в Кузбасс, в Сибирь.

«Тут-то и начались настоящие испытания,— рассказывала Эрнита.— Напрасно я воображала, что внутренне подготовилась к путешествию. Когда пришло время отъезда, мне стало нестерпимо тяжело. Я все-таки не могла найти оправдания тому, что бросаю своего малыша. И в то же время меня влекло великое дело, манила эта необыкновенная поездка. Всем колебаниям положила конец мать Леонарда, настоявшая на том, чтобы мы ехали и доверили ей ребенка. Она всегда поддерживала сына, каковы бы ни были его взгляды, и теперь считала это путешествие необходимым, потому что этого хотел он, а не потому, что она понимала наши стремления. Не знаю, может быть, это было грехом против материнства, но, несмотря на всю мучительность разлуки, мне

казалось, что вот сейчас мне представляется великая возможность бежать от неудовлетворенности жизнью и участи домашней хозяйки, возможность утолить свою жажду служения людям — доказать, что мать может работать для всего человечества и все-таки оставаться матерью».

Тут я обратил внимание Эрниты на то, что, по собственному ее признанию, она оказалась все же не слишком хорошей матерью. Она ответила: «Конечно, помимо моего стремления помочь России, я хотела еще и бежать от брака с человеком, который не соответствовал моему представлению о том, каким должен быть мужчина. Меня не трогало, что наши друзья смотрят на меня с удивлением и осуждают за отсутствие естественных материнских чувств и что моя собственная мать, хотя и страдает молча, дает мне все же понять, что тут есть и ее доля вины и меня сделал такую ее постоянный бунт против установленного порядка вещей. Но я была захвачена великой идеей и, хотя далось мне это нелегко, все же уехала. Леонард поехал со мной».

Но когда они двинулись в путь, с ее плеч точно свалилась огромная тяжесть, рассказывала Эрнита. Это было второе рождение. Она приготовилась к трудностям, и потому все казалось ей легче, чем она представляла себе. Однако в Петрограде первую ночь они вынуждены были спать на полу; потом от черного хлеба и колбасы — это была единственная пища, которую в те времена можно было достать, — Эрнита заболела. Но все это время, говорила она, пока она лежала на кровати без пружинного матраца и даже без тюфяка, в разоренной гостинице, где не было ни света, ни воды, она все же была счастлива сознанием, что служит великому делу, хотя ее служение и не приносило еще никакой пользы.

«В полночь, на первые или вторые сутки, — продолжала Эрнита, — в комнату, где я лежала вместе с другими больными, вошли доктор и сиделка в белых халатах и со свечами. Открыв глаза и увидев их, я, в бреду, решила, что умираю и что это, вероятно, русский обычай убирать покойников. Но врач устал, спешил и был так рад, не найдя у меня холеры, что пробыл возле меня очень недолго. Итак, мне не пришлось быть похороненной по русскому обычаю».

Однако все это было только начало. Шел август 1922 года, и Россия находилась в очень трудном положении. Только что кончился голод. Деньги были обесценены, и за работу платили талонами. Ездить по железной дороге приходилось в ужасающих условиях. Нашему американскому отряду энтузиастов понадобилось две недели, чтобы добраться специальным поездом до Кемерово¹ в Кузбассе, в глубине Сибири. По всему пути следования, рассказывала Эрнита, станции были забиты несчастными людьми, оборванными, голодными, подчас бездомными и больными, с бездомными и больными детьми; многие из них умирали с голоду. Свирепствовала холера. На одной станции под Омском местные власти, не разобравшись, что за люди приезжие, решили продержать их два дня в карантине. Поезд долго стоял напротив морга, откуда грузили на открытые платформы трупы умерших от холеры. И только энергичные протесты отряда заставили местную администрацию понять цель нашей поездки, и поезд был отправлен. Кроме того, в целях профилактики было запрещено пользоваться уборными в поездах, а на станциях уборные были ужасны. К счастью, у отряда была своя походная кухня и собственные повара, поэтому, хотя и не без трудностей, наладилось приготовление пищи.

Вот как описала мне Эрнита их приезд в Кемерово: «Та часть города, где находились рудники, расположена на горных склонах над рекою Томь; окрестные леса уже оделись в золото и багрянец. В воздухе чувствовался резкий осенний холодок. Если бы не эта неожиданно прекрасная природа, не знаю, как бы я выдержала. С самого отъезда из Нью-Йорка я исполняла в нашей организации обязанности секретаря, и, хотя работа была незначительная и нудная, я была счастлива, что у меня есть занятие. В колонии царил хаос, не хватало квартир, руководство было неумелое, члены колонии, не ожидавшие, что им придется столкнуться с такими трудностями, ворчали. Мой муж предусмотрительно захватил с собой широкий матрац; мы укладывались на ночь поперек этого матраца и спали на нем вчетвером — Леонард, я, главный инженер и его жена; только через месяц нам удалось устроиться удобнее. Грязь, та-

¹ До 1932 года — город Щегловск.

раканы, клопы, невкусная пища, недовольство, неразбериха, враждебность, с какой относилась к нам часть населения, разоренного хозяйничаньем уцелевших белогвардейцев, до сих пор распоряжавшихся местной промышленностью, были неприятности, ни с одной из которых нельзя было примириться, но ни одна не могла лишить меня мужества. Ведь я понимала, что участвую в великой работе, помогающей рождению нового, лучшего строя, о котором я давно мечтала. Кроме того, я чувствовала, что приношу пользу, и это было для меня огромным счастьем. Всю жизнь мне было ненавистно домашнее рабство женщины, а тут я была от него освобождена и испытывала бесконечное облегчение. Но главное — моя мечта быть свободной, как мужчина, и работать ради всего человечества, несмотря на все испытания, начинала сбываться!»

«А потом,— добавила она,— наступила зима, настоящая русская зима: снега, жестокие ветры, сухой, но пронизывающий холод. Русская администрация, более или менее враждебно настроенная — в ее среде оставалось еще немало белогвардейцев,— предоставила американской организации худшую часть большого казенного здания, а там был такой холод, что мы работали в пальто, валенках и меховых шапках. И работали мы по многу часов, а получали только скромный паек, или пищевой рацион, который был введен в период военного коммунизма. Паек этот состоял из хлеба, картошки и небольшого куса мяса».

Эрнита, по ее словам, была одновременно секретарем, машинисткой, библиотекарем, заведующей почтой, табельщицей, помощницей бухгалтера и т. д. и все делала с охотой. Наконец они с Леонардом получили комнату в лучшем доме этого города, предоставленном американским инженерам и техникам. Но когда Эрнита и ее муж возвращались вечером с работы или приходили домой после ужина, в этой комнате было так холодно, что ничего нельзя было делать и оставалось только лечь в постель. Вначале Эрнита надеялась, что такое событие, как поездка в Советскую Россию, хорошо повлияет на ее жизнь с мужем, но постоянное пребывание вместе — во время еды, работы, сна — только усиливало ее раздражение против Леонарда. Он был всегда рядом, и его характер бесил ее сильнее, чем когда-либо. Кроме

того, к несчастью или, может быть, к счастью, в отряде оказалось несколько молодых американцев, а также других иностранных специалистов, и среди них были красивые, смелые и энергичные люди. Большинство из них, как она скоро заметила, были не прочь завести роман со своими товарищами женского пола, а некоторые ухаживали за ней и старались показать себя с лучшей стороны. И хотя ей очень не хотелось самой себе сознаться в этом, каковы бы ни были в юности ее моральные принципы,— она, по ее словам, в то время впервые поняла, какую радость может доставить близость с одним из этих молодых инженеров, который особенно нравился ей и по складу своего ума и внешне. Этой перемены было достаточно, говорила Эрнита, чтобы она задумалась о нравственности или безнравственности своих прежних и теперешних взглядов. Разве она еще совсем недавно не была воинствующей моралисткой? А теперь перед ней встал вопрос о том, что же такое нравственность. Обязана она или не обязана соблюдать ее требования и почему? Смущенная и взволнованная этим новым для нее состоянием, Эрнита невольно стала вспоминать, как она вела себя в прошлом. Сколько лет она ссорилась с Леонардом и другими мужчинами из-за того, что они не могли побороть свои изменные инстинкты, а теперь она ощущала те же порывы в себе.

«Уверю вас,— заявила она мне однажды,— что я почувствовала глубокое душевное смятение. Бывали дни и ночи, когда мне удавалось взять себя в руки, и тогда я спрашивала, чем же я отличаюсь — если отличаюсь вообще — от всех тех, кого в прошлом так порицала. Я еще не согрешила в том смысле, как я тогда понимала грех, но отлично сознавала, что втайне мне хочется грешить».

Все эти тревоги и размышления привели Эрниту лишь к признанию того, что она вовсе не такая, какой себя считала. Она видела сучок в чужом глазу... Теперь она понимала: ее отталкивали чувственные порывы Леонарда потому, что она по-настоящему его не любила. Эти мысли отнюдь не были приятны. Они кололи ее шипами самообвинения и отравляли презрением к самой себе. Но изменились ли ее новые чувства? Успокоились ли ее желания? Нет, этого не случилось. Напротив, они становились все острее и достигли такой глубины,

что она уже не могла им противиться. Ее все больше тянуло к молодому инженеру, и все оживленнее становилась она в его обществе. Леонард, продолжавший любить ее, очень скоро это заметил. Но так как она изо всех сил старалась скрывать свои чувства, он не мог ни в чем упрекнуть ее, хотя всем своим поведением показывал, что замечает происшедшую в ней перемену. Он, видимо, был подавлен и впал в глубокое уныние.

В январе 1925 года Советское правительство, удовлетворенное деятельностью американских инженеров, передало в их руки организацию части промышленности Кузбасса, а они, в свою очередь, изгнали белогвардейских чиновников, которые, прибегнув к обману, сидели здесь до сих пор. В этом районе когда-то шли жесточайшие бои с Колчаком, после чего иные из его сторонников осели здесь. В результате дальнейших перемен Леонард был назначен главным бухгалтером предприятия, но он не знал русского языка, и работа была для него мучительной, головоломной задачей. Примерно в то же время или несколько позже, в связи с введенной ранее Лениным новой экономической политикой (НЭП), оплату труда в колонии стали производить наличными деньгами, и твердолобые теоретики «чистого коммунизма», к которым принадлежали и Леонард с Эрнитой, решили, что Россия изменила тому, что они считали «чистым коммунизмом». Будучи яркими приверженцами этой идеи, куда более рьяными, чем русские коммунисты, они стали противиться новому способу оплаты, считая его ошибкой, хотя Эрнита, по ее словам, позднее признала публично, что это было с ее стороны наивным заблуждением.

Еще одно обстоятельство породило в эти первые два года немало волнений и вражды (ведь в такой колонии трудно было оставаться в стороне) — речь идет о резком разногласии между американскими коммунистами и сторонниками ИРМ, объединившимися в отряде технической помощи. Поскольку гражданская война кончилась, русские коммунисты стремились строить и создавать, а не разрушать, им нужны были специалисты и организаторы, способные строить, обладающие практическими знаниями (а не руководители забастовок), люди, которые не только хотят, но и могут создать новое государство; между тем колония на одну треть со-

стояла из членов ИРМ, а они способны были только руководить стачками и в идеях Маркса и Ленина разбирались не лучше малого ребенка. Они стремились постоянно что-нибудь взрывать, а не строить или беречь,— между тем взрывать здесь было уже нечего.

Кроме того, в организационном комитете американской колонии было два воинствующих члена ИРМ — решительные, властные люди, они-то в свое время как раз и вербовали участников отряда, и поэтому их не легко было отстранить. Все члены колонии вложили в нее свои деньги и приехали, надеясь осуществить здесь свою мечту об индустриальной республике. С другой стороны, в отряде было много коммунистов, которые глубоко симпатизировали Ленину и его планам. Отсюда и возникли распри. Первые жалобы членов ИРМ сводились, по словам Эрниты, к тому, что руководству не хватало демократизма,— слишком много было технической автократии, а они с самого начала требовали, чтобы рабочие сами управляли производством. Но рабочие не были ни специалистами, ни администраторами. Они не умели управлять, а потому и не могли. Все попытки, сделанные в этом направлении, говорила Эрнита, показали, насколько такая система (или отсутствие системы) несостоятельна. Теория управления ИРМ сводилась к тому, что каждый технический или общественный вопрос должен решаться на митинге всей колонии, а это вело к спорам, ссорам и угрозам бросить кое-кого из русских инженеров в реку и, кроме того, отнимало очень много времени; вскоре всем, кроме этих упрямцев, стало ясно, что положение создалось невозможное и даже смешное. Поэтому, когда из Москвы прислали правительственную комиссию для расследования, она все-таки отдала производство в ведение колонии, но поставила условием, чтобы дело развивалось, иначе предприятие будет вновь передано государству. Тогда директор, голландец, по фамилии Рутгерс, человек очень способный (предварительно заручившись поддержкой всех членов колонии, не принадлежавших к ИРМ), решительно пресек все эти сумасбродства и организовал работу промышленных предприятий Кузбасса так, чтобы они работали, как и предприятия всех других отраслей промышленности, подчиняясь законам Советской республики.

«Но какой это был удар для моих друзей из ИРМ! — говорила Эрнита. — А также для моих идеалистических взглядов! В Сан-Франциско я всецело разделяла принципы, которыми руководствовалась ИРМ, и, приехав в Россию, долго не могла и подумать о том, чтобы отойти от них. И все-таки мои взгляды изменились. Только остатки присущей мне сентиментальности заставляли меня поддерживать у нас в колонии группу ИРМ в спорах с коммунистами. Ибо, говорила я себе, если даже американцы, разделяющие взгляды Советов и их единомышленников в других странах, в данном случае теоретически и правы, то они слишком придираются и поступают с американцами, членами ИРМ, суровее, чем те заслуживают».

И все-таки, рассказывала Эрнита, настало время, когда, невзирая на все свое сочувствие членам ИРМ, она уже не могла оставаться на их стороне. По ее описаниям, члены ИРМ были слишком большими фантазерами, недостаточно интересовались действительностью и практическими задачами строительства и созидания, столь насущными в ту пору для России; их излишне заботило осуществление собственных прав и привилегий, или, если хотите, свобода и демократия, как они это понимали. И вот Эрнита решила наконец — не слишком резко и открыто, а постепенно, но бесповоротно — перейти на сторону нового правления, так как видела, что оно может сделать для России больше, чем когда-либо смогут сделать члены ИРМ.

Однако Леонард — потому ли, что его жена теперь сочувствовала этой чуждой крайностей группе, или потому, что он начал сомневаться в ее привязанности к нему, — стал на сторону ИРМ и занял позицию враждебную Эрните. Грубая прямолинейность и смелость ИРМ, бесспорно, импонировали его чувствительной натуре. Он был, по словам Эрниты, стойким защитником угнетенных, но при этом любил разыгрывать героя.

«Мне кажется, ему нравилось становиться в драматическую позу, — говорила она. — И все-таки надо быть справедливой и признать, что его горечь была обоснованна, так как с представителями ИРМ в нашей колонии действительно обошлись тогда слишком сурово — они забастовали, и за это их лишили продовольствен-

ного пайка. Тогда они потребовали, чтобы их отправили на родину, но директор Рутгерс уехал в Москву, а главный инженер, русский коммунист, побоялся взять на себя ответственность и отправить людей через всю Сибирь в самую суровую зимнюю пору.

Помню, однажды вечером мы с Леонардом зашли к ним в бараки,— рассказывала она.— У них еще осталось кое-что от пайка, и они готовили себе ужин в огромной кирпичной русской печи. Стекла маленьких окон были покрыты льдом чуть не в дюйм толщиной. В комнате было дымно, грязно, койки стояли неприбранные. Люди яростно спорили. Но я не вмешивалась и хранила тягостное молчание: ведь я уже не могла соглашаться с занятой ими позицией, и это было тем мучительнее, что все они были хорошие, глубоко честные люди. Как в былые дни в Сан-Франциско, мы спели хором про «пироги на том свете», но для меня прелесть этой песни исчезла. Меня охватила глубокая грусть,— я признавала, что я уже не сторонница ИРМ, а коммунистка. Они тоже были огорчены, когда я в конце концов совсем отошла от них. Тяжело им было сознавать, что они потерпели поражение. Весной почти все уехали: кто отправился обратно в Америку, кто — в другие области России».

Тогда и Леонард заговорил о возвращении. Он заметил, как усиленно ухаживает за Эрнитой молодой инженер, и опасался их сближения: это его тревожило, и, может быть, он предчувствовал, что станет Эрните совсем чужим. Разве когда-нибудь он имел над нею власть? Кроме того, в Америке остались его мать и сын. Эрнита же в ту пору и подумать не могла об отъезде. Ее удерживало здесь многое, а оправдывала она себя тем, что не вправе нарушить двухлетний контракт, да она и нужна здесь. Муж как будто даже поверил ей. Но главной причиной, как она призналась мне, было то, что она влюбилась. Среди молодых инженеров все еще находился тот, кто так заинтересовал ее с самого начала, и теперь ее влекло к нему сильнее, чем когда-либо. Этот инженер окончил Корнелский институт, он был коммунистом; молодой, сильный, несколько романтического склада, он очень нравился ей. Они и раньше и теперь вели долгие беседы о коммунизме, об ИРМ, о задачах России, о Ленине. Он восхищался Лениным, его

замыслами и глубоко верил в него. Молодой человек считал, что Россия, а в частности их предприятие, может успешно развиваться только в том случае, если руководить будут сильные, практичные люди (практичные во всем, кроме своих романтических идеалов), которые сумеют разумно и без какой бы то ни было выгоды лично для себя употребить свое время и свои идеи на благо России. И такие люди есть: Рутгерс, итальянец Ди Польчи, американец Симпсон, финн Гревензинг,— все они готовы работать чуть не даром. А члены ИРМ, по его мнению, не способны на такую самоотверженную, дружную работу.

И так как Эрните нравились не только его вьющиеся волосы и голубые глаза, но и его безоговорочная преданность делу и кипучая энергия, она постепенно прониклась мыслью, что правы коммунисты, а не члены ИРМ. Восхищенная громадными возможностями этого нового мира, она видела в том, что создавалось вокруг нее, по большей части одно хорошее. Наконец-то жизнь стала прекрасной! И притом где же? В Сибири!

И тут, или вскоре после этого, пришла весть о том, что в Нью-Йорке арестованы члены комитета, организовавшего поездку в Кузбасс. Америка начинала борьбу с коммунизмом. Леонард, которого не радовала жизнь здесь и который скучал по матери и сыну, предложил Рутгерсу, чтобы тот отправил его обратно в качестве свидетеля защиты. А так как свидетели там были крайне нужны, директор согласился. И вот в июне 1925 года, когда в Кемерове все цвело с почти тропической пышностью, Леонард уехал, и Эрнита вздохнула с облегчением. Наконец-то она осталась одна. Теперь ее роман с молодым инженером мог развиваться, насколько это позволяли труднейшие условия жизни в их своеобразной колонии. Увлеченная своим чувством, Эрнита не слушала укоров совести, голосов прошлого, она видела только своего возлюбленного.

«Любовь в России, в Сибири, среди этого удивительного народа, который всегда так нравился мне! — писала мне однажды Эрнита об этом периоде своей жизни.— В трудных условиях расцветала эта любовь, уж очень бедно мы жили, зато никто нас не осуждал, ибо русские иначе смотрят на вещи, чем мы. Русские

относятся к любви, к верности или измене с каким-то фатализмом, а поэтому более покорно и равнодушно, чем у нас. Зачем восставать против того, что уже произошло? «Бывает»,— говорят русские. Или: «Так уж вышло». Если тебя мучит то, как ты живешь,— вставай и уходи. Почему бы и нет? Что за беда? Кто-нибудь, конечно, умрет, и кто-то будет оплакивать его. Но родятся другие. И уйдешь ты или нет — все равно кто-то умрет, а кто-то будет страдать. Так зачем убиваться, если один проиграет, а другой выиграет? Бери жизнь, как она есть. Иди туда, куда влечет тебя душа, и пусть силы, управляющие жизнью, каковы бы они ни были, позаботятся, чтобы из этого не вышло беды. Вот их философия. И я уверена, они согласились бы, что это так и есть».

Несмотря на то, что теперь молодой инженер мог беспрепятственно ухаживать за Эрнитой и она благосклонно выслушивала его, она не решалась порвать прежние узы. «Мне надо было хорошенько все обдумать»,— рассказывала она.— Поэтому мои отношения с любимым человеком в течение нескольких месяцев ограничивались бесконечными беседами». Но потом посыпались письма от Леонарда — сначала из Нью-Йорка, затем из Сан-Франциско; в них он заклинал Эрниту вернуться домой, и это толкнуло ее в противоположную сторону, то есть в объятия молодого инженера. Хотя Леонард и уехал от нее, он, видимо, не хотел мириться с мыслью, что связь между ними может быть навсегда порвана. Он то писал о былом, об их ребенке, о том, как она ему необходима, и все это было для нее мучительно, то вдруг начинал осыпать ее упреками. А здесь ее окружал новый, волнующий и загадочный мир, и, кроме того, она была захвачена своей новой любовью. И она жаждала этого чувства,— впервые любовь значила для нее так много! Потом работа! Личная свобода! А там, в Америке, ее ждали только скучные домашние обязанности и семейное рабство. Она оправдывала себя и свое желание отдаться инженеру, внушая себе, что и Леонард и ребенок вполне могут обойтись без нее; когда она действительно станет нужна малышу, писала Эрнита мужу, она возьмет его к себе, но, если бабушке трудно с ним расстаться, она, конечно, не разлучит их. (Это была, само собой, простая отговорка.)

Прошла еще одна зима, почти такая же тяжелая, как и первая. Однако Эрнита благодаря своей страсти и переживаниям новой, свободной любви легко перенесла ее. Вот как описывает она ту пору своей жизни: она жила в маленькой комнатке огромного коммунального дома, построенного колонистами; это было стандартное здание, с такими тонкими стенами, что самые слабые звуки не только проникали через них, но даже становились как будто более гулкими. К тому же стены эти служили пристанищем для клопов. С жильем дело обстояло очень худо, и Эрните приходилось делить эту комнатку не только с предметом своей новой любви, но и с одной учительницей, которую она знала еще по Сан-Франциско; это была культурная, уже немолодая женщина, но она, как и Эрнита, переживала здесь свою первую любовь. Хотя иным это может показаться странным и почти неосуществимым, но постепенно обе женщины пришли к некоему безмолвному, однако точному и определенному соглашению относительно распределения места и времени их любовных свиданий. Таким образом, все четверо ухитрялись быть вполне счастливыми среди грязи и шума, в условиях, почти исключавших возможность побыть вдвоем. К счастью, весной Эрнита и ее приятельница получили более просторную комнату в одном из новых, уютных двухкомнатных домиков, построенных на опушке красивой рощи, неподалеку от Кемерова, и в этом домике Эрнита была невыразимо счастлива! Пища, одежда, удобства — разве все это имело значение? И разве не главное в жизни — любовь? (Даже здесь, куда она приехала, казалось бы, для жертвенного служения!) Вспышки и горение двух пылких натур, которых неудержимо влечет друг к другу, созвучие настроений и грез, иллюзии первой любовной поры — вот что в тот период ее жизни едва ли не всецело поглощало Эрниту.

Вполне естественно, что в те дни переписка с мужем вызывала в ней одно раздражение. Он писал, что несчастлив. Он находился в Америке, с ним были сын и мать. Но не было Эрниты. А он без нее просто жить не может. Она же теперь поняла, что с ним жить не может. Это принесло для ей лишь горе и душевное смятение. Она была свободна и счастлива в любви, и все же ее мучили угрызения еще не притупившейся совести и

Эрнита начала жалеть Леонарда и упрекать себя за свое невнимание к ребенку. И вот на следующее лето, несмотря на глубокую страсть к любовнику, она решила вернуться в Америку. Что такое в конце концов свободная любовь? — спрашивала она себя. Имеет ли человек право окончательно нарушить данные им клятвенные обещания? Действительно ли в брачных узах есть нечто нерушимое?

«Иногда, измученная этими мыслями и жалобными письмами Леонарда, я начинала метаться по комнате, ибо мне не давала покоя моя неумолимая пуританская совесть», — призналась мне как-то Эрнита.

Плохо было то, что письма шли по целому месяцу и поэтому не отражали вовремя перемен, происходивших в настроениях ее и Леонарда. Когда она решила наконец порвать со своим любовником и, конечно, не упоминая о нем, написала мужу, что вернется домой, от него пришел ответ на другое ее письмо, в котором она категорически запрещала ему приезжать в Россию — так как, мол, это бесполезно, между ними все кончено. А когда она подавала ему смутную надежду на то, что при известной договоренности они могли бы снова быть вместе, он писал ей в ответ, что ее последнее письмо — это конец всему и что он никогда к ней не придет. Однако и после этого он опять писал, что жить без нее не в силах, пусть разрешит ему приехать. И так как совесть не давала ей покоя, она, наконец, разрешила.

Существовала еще одна причина, толкнувшая ее на такое решение, — характер молодого инженера. По ее словам, она теперь убедилась в том, что он еще слишком молод, слишком поглощен собственными планами на будущее и при вполне естественной для юноши неугомонности неспособен понять, как важно для них хранить верность друг другу. Словом, ей стало ясно, что он любит ее недостаточно глубоко или что она для него не настоящая избранница, если вообще в мире существуют верные в своей страсти избранницы и избранники. Ведь его необыкновенная страсть, восторженная любовь, поклонение — называйте это как угодно! — в данном случае продолжалась очень недолго. Инженер знал о бесконечных пререканиях Эрниты с мужем — некоторые подробности она рассказала ему, — и он намекнул, что, дескать, вовсе не хочет становиться между мужем

и женой и мешать их примирению, что он в любую минуту готов уступить место Леонарду. Именно такие слова ей меньше всего хотелось от него услышать.

«У этой истории было две стороны,— сказала мне однажды Эрнита.— Мой инженер встречался с Леонардом и знал, что у меня есть ребенок. И, может быть, в моем поведении что-нибудь не нравилось ему или раздражало его. Судить не берусь. И все-таки они были прекрасны, эти сибирские ночи и дни, проведенные с ним! Прекрасны были наши прогулки и беседы среди великих снегов и метелей! Даже теперь при мысли об этом я испытываю иногда такую острую боль, что стараюсь не оглядываться на прошлое и не вспоминать подробностей».

С другой стороны, оказалось, что Рутгерс, директор, к удивлению и радости Эрниты, считает ее чрезвычайно ценной помощницей, и это очень упрочило положение молодой женщины в колонии. Она не только работала как секретарь, счетовод и машинистка и вела корреспонденцию, она умела на основе известных ей данных подготовить материалы для доклада и отчета, с которым она или директор могли выступать, когда и где понадобится. Благодаря этому Эрнита стала чувствовать себя гораздо увереннее. И все это привело к тому, что она дала согласие Рутгерсу, знавшему о ее семейных осложнениях и заинтересованному в их разрешении, на то, чтобы он телеграфировал Леонарду, предлагая ему вернуться вместе с матерью и ребенком и обещая хорошее место; Эрните же он сказал, что если главное для нее — свобода, то ей легче будет чувствовать себя независимой от мужа в свободной Сибири, чем в Америке.

Эрнита последовала этому совету и написала Леонарду, вызывая его в Кемерово; она предлагала ему комиссионное решение — вместе не жить, но нести совместную ответственность за ребенка. Он ответил, что придет лишь в том случае, если она согласна остаться его женой. А она заявила, что не может и не хочет. Прежние отношения умерли. Одна мысль о них вызывает в ней ужас. И прежняя Америка с ее условностями и укладом жизни тоже умерла для нее.

«Но вы не думайте, что в течение этих двух лет я не служила честно Советскому правительству,— сказала мне Эрнита.— Мы с моим инженером работали изо

всех сил. Холод был нам нипочем. Скучная пища — нипочем. Мои платья и меха стали просто посмешищем, белье превратилось в лохмотья. Но мне было все равно. С меня достаточно было моих идеалов, они питали меня и грели. Поистине я преданно служила делу Ленина и следовала его идеям и замыслам, как я их понимала. Только он, он один — такой, каким я его представляла себе, с его ясным взглядом и полной отрешенностью от личного честолюбия, — мог руководить величайшим сражением в истории человечества. Мне кажется, я полюбила Ленина с той минуты, как узнала о нем. Я никогда его не видела. Я даже ни разу не дерзнула пойти и взглянуть на него, когда он уже лежал в скромном мавзолее на Красной площади в Москве. Я знала, что буду плакать».

В конце второго года контракт ее возлюбленного истек, и он решил вернуться в Нью-Йорк. Быть может, там его ждала девушка, ждали родители и хорошее служебное положение. Но так сильна еще была ее любовь, что Эрнита поехала с ним в Москву, где провела целый месяц в его обществе, ожидая ответа от Леонарда на свое последнее предложение. Если бы он не захотел вернуться, — как писал месяц назад, — она готова была уехать в Америку.

«Не знаю, что побудило меня к этому — укоры совести, сознание долга или, может быть, просто покорность судьбе, отнявшей у меня личное счастье, — говорила Эрнита, — но оправдываться я не хочу».

Однако и после этого письма Эрнита в течение целого месяца, проведенного в Москве в ожидании отъезда возлюбленного, продолжала по-прежнему жить с ним. Вместе с тем она начала работать в одной из крупнейших коммунистических международных организаций, пропагандировавших учение коммунизма за границей. И снова, как в Сибири, она выполняла уйму самых разнообразных обязанностей — работала и машинисткой, и библиотекарем, рецензентом, переводчиком и при необходимости выступала даже как лектор. После пребывания в сибирской глуши культурная жизнь Москвы показалась ей особенно увлекательной.

Все же, когда ее возлюбленный уехал, Эрнита почувствовала глубокое одиночество. В ее отношениях к мужу наступила новая полоса. Она не могла и не хотела

возвращаться в Америку. Ни за что. Пусть он, если хочет, приезжает в Россию, но жить с ним она не будет. В это время она получила от него телеграмму, в которой он спрашивал, приезжать ли ему в Москву и согласна ли она быть его женой, как прежде. И опять, после двух дней мучительного раздумья, она вынуждена была телеграфировать: «Не согласна. Уезжаю в Сибирь». Этот отказ был вызван не только внезапно вспыхнувшим отвращением к мужу и желанием держаться от него подальше, но и тем, что Рутгерс, находившийся тогда в Москве, звал ее обратно и просил помочь в организации управления новыми шахтами, которые только что были переданы их колонии. А это сулило интересную работу и возможность избежать встречи с Леонардом. Рутгерс уверял ее, что она ему просто необходима, и при ее тогдашнем душевном смятении Сибирь казалась Эрните второй родиной. Ведь там она познала любовь и независимость! Познала величайшее счастье! Поэтому на другой же день она уехала в Кемерово, туда, где еще так недавно она обрела свободу и была так счастлива.

«Стоял декабрь,— рассказывала Эрнита,— и в первый раз я путешествовала по России в мягком вагоне (так называется первый класс в отличие от второго и третьего). К тому времени многие железные дороги были приведены в порядок и уже ходили классные вагоны. Кроме того, администрация оплатила мне проезд».

Когда она приехала, Кемерово тонуло в снегах. Но хуже всего было то, что ее прежняя сожительница поселила у себя, без разрешения Эрниты, своего возлюбленного, а другой комнаты не было. Эрните пришлось покориться обстоятельствам и поселиться втроем. «Но они были очень внимательны ко мне,— сказала она,— а я чувствовала себя до того несчастной, что даже этот угол казался мне родным».

И вдруг — новая телеграмма от Леонарда, в которой он сообщал о своем приезде! Он не в силах переносить разлуку. Она должна принять его. А в феврале Эрнита получила вызов из Москвы от той коммунистической организации, где она работала, и предложение вернуться туда. Предстоял пленум ЦК коммунистической партии, и нужна была техническая помощь. Россия была еще очень бедна такими работниками, а поскольку Эр-

нита уже неплохо писала и говорила по-русски, она могла принести большую пользу. И вот, вопреки ее решению больше никогда не жить с мужем, она телеграфировала ему, чтобы он приезжал в Москву.

А когда она оказалась в Москве, рассказывала мне Эрнита об этом периоде своей жизни, город поразила ее своей красотой. Старинные дворцы, блестящие купола церквей. Кремль, Китай-город! Она и одна молодая немка получили вместе маленький номер в «Люксе» — огромной, шумной и очень своеобразной гостинице с коммунальными кухнями и ваннами на каждом этаже. В гостинице жили работники Коммунистического интернационала, и, несмотря на все ее горести, жизнь здесь показалась Эрните легкой. Работа, связанная с партийным пленумом, захватила ее, — в Кремлевском дворце она увидела всех выдающихся представителей Коммунистического интернационала и русской компартии (Ленина уже не было в живых).

Вскоре приехал Леонард, хмурый, осунувшийся; как он объяснил Эрните, когда пришла ее телеграмма о том, что приезжать не нужно, всё было уже подготовлено к отъезду и он не мог ничего изменить. А кроме того, он все еще надеялся наладить их отношения. Разве ради ребенка они не могли бы договориться и жить вместе? Конечно, могли. И разве так не лучше? Неужели ей нравится кочевая жизнь?

Однако Эрнита не была склонна ни к уступкам, ни к жалости. Верно, она лишилась возлюбленного, но вместе с тем утратила и всякую охоту возвращаться к прежней жизни. И чем больше Леонард настаивал, тем тяжелей становилось у нее на сердце. Быть с ним — значило похоронить себя заживо. И хотя она понимала, что прежние ее колебания были вызваны страхом причинить ему боль и что теперь для Леонарда настало, пожалуй, самое трудное время, она все же решила остаться твердой и не уступать.

«Даже не знаю, как я могла быть такой жестокой, — задумчиво и с горечью рассуждала она однажды в моем присутствии. — Он приехал, и мы встретились и хотя не ссорились, но я, наконец, выложила ему все, что во мне накипело: о нашем браке, об Америке, об его взглядах — словом, все. Высказала я ему и то, что никогда, никогда не смогу и не захочу опять сойтись с ним. Че-

рез несколько дней он поехал дальше в Сибирь, одинокий, с отчаянием в сердце, чтобы занять то место, которое Рутгерс обещал ему. А я, также очень расстроенная, осталась в Москве. Я чувствовала, что жизнь еще что-то принесет мне. Может быть, я и не стою этого, а может быть, стою, все равно жизнь — игра случайностей, и каждый вправе надеяться. Кроме того, мне еще хотелось поработать для России. Так всегда бывает — мы отказываем другим в том, чего жаждем сами. Я часто раздумывала об этом. Мне было очень тяжело, что пришлось так поступить с Леонардом, но когда он уехал, с души у меня точно камень свалился. Воспоминания о прошлом, о моем мальчишке, о том, как жестоко я поступила, стали преследовать меня значительно позже. Они преследуют меня до сих пор».

Однако в Кемерово Леонард, к удивлению Эрниты, обрел родную душу в лице одной молодой американки, которая, вероятно, как и Эрнита, воспользовавшись случаем, чтобы освободиться от нелюбимого мужа, уехала из Америки. Теперь Леонард, как насмешливо пояснила Эрнита, с великолепной и «столь присущей людям непоследовательностью» стал оказывать этой молодой женщине моральную поддержку в ее борьбе за самостоятельность, тогда как Эрниту он только осуждал. И, отчасти благодаря этой поддержке, американка получила развод, что было в те времена в России нетрудно, после чего она и переехала к Леонарду. Конечно, Эрнита узнала об этом много позже. Она лишь обратила внимание на то, что вскоре после отъезда Леонарда в Кемерово его письма вдруг стали необычайно бодрыми. Не напоминал он ей и об ее обещании приехать в Сибирь хоть ненадолго, когда пленум кончится.

В июле, совершенно неожиданно для Эрниты, в Москву приехала мать Леонарда и привезла их сына. И ради ребенка, а также для того, чтобы соблюсти приличия, Эрнита решила взять на месяц отпуск и отвезти бабушку и внука в Кемерово (Рутгерс заранее подготовил для них приветливый домик на берегу реки). Но этот поступок, как она поняла позже, имел роковые последствия. Без нее Леонард был очень счастлив со своей возлюбленной и старался забыть о прежних чувствах к жене, а ее приезд только разбередил старые раны. К тому же в глубине души он, видимо, еще хра-

нил верность своему первому чувству, все еще надеялся, что она к нему вернется. Однако той женщине он ничего не сказал и, проводя с ней ночи, днем уговаривал Эрниту снова сойтись с ним.

Эрнита же, ничего не зная о другой женщине, чуть было не решила ради матери Леонарда и ребенка, а также ради интересной работы, которую обещал ей Рутгерс, остаться, как она выразилась, «насовсем» и даже наладить отношения с мужем; но тут случилось нечто, изменившее ее намерение. Однажды учительница, с которой Эрнита жила в одной комнате после отъезда Леонарда в Америку, вдруг начала упрекать ее за то, что она вмешивается в жизнь Леонарда, хотя его уже не любит, а он, наконец, нашел свое счастье. «Она даже обвинила меня в том, что я жестокая эгоистка, что хотя мне самой Леонард не нужен, но я и другой не отдаю его. Меня точно громом поразило,— продолжала Эрнита.— Возмущенная лживостью Леонарда, я вызвала его к себе; однако вместо него явилась дама его сердца, перехватившая мою записку».

Какое это было свидание! Какими только словами она не обзывала Эрниту! Эрнита смеялась потом, вспоминая все, что та ей наговорила. Но тогда она поняла, в какое ложное и тяжелое положение невольно поставила эту женщину. И очень раскаивалась, ибо женщина эта имела все основания считать, что Эрнита только затем и приехала, чтобы ее унижить. Даже попытка оправдаться могла не только повредить Леонарду, но и оскорбить его возлюбленную, которую Эрнита так жалеет. Ведь тогда его подруга увидела бы, как мало он ее любит, и ему этого не простила бы. Глубоко потрясенная, Эрнита решила сделать сверхчеловеческое усилие, чтобы как-нибудь спасти положение: каково бы ни было ее собственное будущее, у Леонарда должен быть близкий человек. В тот же вечер, на закате, когда река всего красивее, Эрнита уселась вместе с ними на берегу Томи и героически лгала до тех пор, пока возлюбленная Леонарда не поверила в то, во что ей хотелось верить: что Эрнита просто ревновала мужа и пыталась его вернуть.

Желая ускорить дело, Эрнита и Леонард на следующее утро покатали в старой облезлой пролетке за двадцать верст в село, где в школе заседал районный суд.

и там в присутствии крестьян, сидевших на скамьях и толпившихся в дверях, супруги заявили о том, что хотят развестись. Их развели за двадцать минут, — тогда это делалось в России очень быстро. Позднее срок для развода был увеличен до двух недель.

«Потом мы сложились, — смеясь продолжала она, — уплатили причитавшиеся с нас восемь рублей и, под руку, весело зашагали по дороге, сопровождаемые улыбками и шепотом зрителей, скорее как новобрачные, чем как разведенные».

После этого, сказала Эрнита, ей оставалось только уехать. Мать Леонарда, узнавшая обо всем лишь со слов той женщины, была всецело на ее стороне и возмущалась поведением Эрниты. И самой Эрните было стыдно за свои никому не нужные колебания, рожденные излишней чувствительностью.

«Я понимала, что, если бы мне удалось в ту же ночь ускользнуть из Кемерова, они еще могли бы быть счастливы, — сказала Эрнита. — Но мысль о разлуке с моим мальчиком меня очень угнетала. Мы только что как бы заново познакомились друг с другом. Все же, на следующий вечер я села в вагон и в Топках пересела на московский поезд. Из всех моих знакомых один Леонард провожал меня. Он был теперь не только нежен со мной, он был огорчен. Этот отъезд в сумерках в битком набитом вагоне четвертого класса был самым печальным в моей жизни. О, каким печальным! Никогда еще не чувствовала я себя такой одинокой, нелюбимой, непонятой. Я горько плакала в темноте, и то, что люди не видели моих слез, служило мне некоторым утешением».

Когда Эрнита вернулась в Москву, жизнь снова показалась ей необычайно интересной. Она начала работать в библиотеке Коминтерна, и хотя ей было очень нелегко внедрять американские методы каталогизации, Москва захватывала ее и будила мысль. Вскоре она подружилась с одной молодой ирландкой, красивой, остроумной и спокойной женщиной, и стала делить с ней все — комнату и еду, прошлые и настоящие горести. Постепенно в Эрните пробудился интерес к театру, и в конце концов она написала очерк о московском театральном сезоне для американской коммунистической прессы.

Прожив год в Кемерове, Леонард переехал в другой русский город, а мать его перебралась в Данию, где по-

ступила на курсы при Интернациональной коммунистической школе. Ребенка они оставили у Эрниты. Леонард написал, что его подруга уезжает в Америку. Он надоел ей. Эрните приходилось теперь очень туго, так как Леонард почти ничего не мог уделять на содержание ребенка. Кроме того, Рутгерс передал управление русскому директору, который относился к доверенному ему предприятию весьма ревниво и сразу же заменил американцев своими специалистами.

Вскоре после этого мне стало известно из других источников, не от Эрниты, о громком скандале, который произошел из-за нее. Эрнита пришла к новому коммерческому директору Кузбасса, грузину, приехавшему в Москву, за какими-то деньгами, которые ей причитались. Директору, увидевшему ее впервые, она сразу же приглянулась; и, не желая слушать никаких отказов, он самым бесцеремонным образом стал добиваться взаимности. Возмущенная Эрнита дала ему решительный отпор, а затем пожаловалась одной общественной деятельнице, и, хотела этого или не хотела Эрнита, та потребовала суда. Состоялся процесс, директору был вынесен суровый приговор. Однако Эрнита просила о смягчении приговора и добилась этого. Все же директор был осужден на четыре года.

Весной 1927 года разразилась беда. Бандиты стреляли в Леонарда, жившего тогда в Томске, и у него была парализована рука. Он тут же приехал к Эрните в Москву, она поселила его в своей комнате и ходила за ним. Потом он взял сына и отправился в Берлин, чтобы встретиться с матерью, а оттуда во Францию — отдохнуть. Но когда он захотел вернуться в Томск продолжать свою работу, несмотря на все хлопоты Эрниты, ему было отказано в визе. Этот последний удар, после стольких неудач, окончательно сразил его. Впоследствии он жил и работал в Англии.

Когда я виделся в последний раз с Эрнитой в России, — на основании наших встреч я и написал этот портрет, — многое еще омрачало ее жизнь, ибо ум Эрниты развивался, пожалуй, слишком стремительно, и хотя ее вера в коммунизм, несущий женщине освобождение, оставалась такой же непоколебимой, она уже понимала, что и на этом пути возможны ошибки и что некоторые начинания будут со временем видоизменены и

углублены. А ее былая уверенность в собственных достоинствах и добродетелях сильно пошатнулась.

Я считал, что ей прежде всего нужен отдых, перемена обстановки, душевная близость с кем-то. Она верила в то, что женщина должна быть свободна, но сама она нуждалась в прочной привязанности. В ней, конечно, жила глубокая тоска и жажда близости с человеком, которого она могла бы неизменно уважать и любить. Но возможны ли вообще такие встречи и такие отношения?

Во всяком случае, я убедился, что в России перед человеком открывается широкое поле деятельности, и, несмотря на все трудности, прошлые и те, что могли еще ждать ее, Эрнита решила остаться. По ее словам, она поняла, что жизнь человеческая полна опасностей, перемен, красоты и обманов, она может посылать удачи и удовлетворять человека и может быть неудачна, смотря по обстоятельствам; и все же, даже в худшие минуты, ее вполне можно выносить. И потом, как Эрнита с улыбкой мужественно заявила мне однажды: «В годы моей юности и фанатизма мне казалось, что коммунизм может и должен изменить самую природу человека — сделать его лучше, добрее, развить в нем братские чувства к людям. Теперь я не уверена, что это так. Но, во всяком случае, коммунистическое учение может привести к созданию более совершенного общественного строя, и ради такой цели я всегда готова работать».

ЭРНЕСТИНА

По-моему, больше всего ее удручала и в конце концов толкнула на роковой шаг мысль о том, что она как-то прошла мимо представлявшихся ей возможностей и что жизнь сама по себе — непонятная игра, которая часто ведется краплеными картами и шулерскими костями. Я уверен, она была несколько смущена и разочарована, поняв, что в избранной ею профессии преуспевают люди, не обладающие ни настоящим талантом, ни умом, ни порядочностью, лишены всяких моральных устоев, которые так нужны в решающие минуты. И мне кажется, что у нее самой не было тех нравственных сил, которые помогли бы ей устоять в жизни. Возможно также,

ей слишком хотелось видеть хорошее в других, и она недостаточно заботилась о том, чтобы сохранить это в себе.

Я твердо уверен в том, что жизнь — это просто игра, ведут и выигрывают ее алчные, наглые, развратные, бездушные люди, а пешками для них служат жалкие глупцы, бедняки и простофили, — если б не эта уверенность, я обрушился бы на ее собратий по беззаботной профессии. Поверьте, трудно найти слова, которые были бы для них слишком сильными или слишком оскорбительными — корыстные, жадные, льстивые, беспутные, развращенные, злобные, жестокие... Но стоит ли продолжать? Весь этот список вы найдете сами в словаре Трента и Уокера. А впрочем, разве они хуже тех представителей других профессий, которые благодаря стечению обстоятельств в конце концов достигли высокого положения? Если кого-нибудь или что-нибудь нужно винить в этом, то признаем, что виновата сама жизнь.

Но перейдем к нашему рассказу.

Впервые я увидел Эрнестину, когда она выходила из станции надземной железной дороги на углу Шестой авеню и Восьмой улицы. Она была молода, на вид не старше девятнадцати лет, и волнующе, неотразимо красива. Ее сопровождал знакомый мне подающий надежды режиссер, из тех, кто начинает с малых форм. Вероятно, он знакомил ее с Гринвич-Вилледжем и был похож на настоящего импресарио. Она казалась совсем юной и неопытной девушкой, которая, точно принцесса, едва достаивает взглядом предлагаемые ей для осмотра владения. Он представил нас друг другу, и они сейчас же удалились. Но, как ни коротка была наша встреча, я сразу увидел, что это необыкновенная девушка. Уверенность в себе и непринужденность, чувствовавшие в каждом ее движении, казалось, не соответствовали томному выражению лица, поражающему с первой минуты. Она была воплощением молодости, радости жизни, поэзии и любви к красоте. Что-то в ней подсказало некоему писателю и издателю, одно время увлекавшемуся ею и посвятившему ей цикл стихов, такие строки.

Я никогда не обольщаюсь
Безмерно сладостной мечтой,
Что вы могли бы полюбить
Меня, который вас не любит.

Она была тогда скромной актрисой драматического театра, и настоящим ее домом были сияющие огнями кварталы между Сорок второй и Пятьдесят девятой улицами. Изредка она появлялась в Гринвич-Вилледже — центре артистической богемы Нью-Йорка — и всех здесь приводила в восторг. Молодые художники, драматурги Гринвич-Вилледжа прямо теряли голову. Она просто чудо, — уверяли они. С ней непременно надо познакомиться. Даже женская половина населения Гринвич-Вилледжа признавала, хотя и не очень охотно, что эта девушка недурна и безусловно должна нравиться мужчинам.

Позже, на одной вечеринке, я мог сам наблюдать, как действовало ее обаяние и какой пыл страстей она пробуждала. Она вошла в сопровождении того же начинающего режиссера и немедленно привлекла к себе внимание всех мужчин. Нельзя сказать, чтобы она поражала умом или особой артистичностью, но в ней было то непередаваемое, чего страшатся и чему завидуют все женщины, — к ней, как магнитом, тянуло мужчин. Ее темперамент, как и внешность, ошеломляли, и она это знала. Хотя некоторые женщины были склонны находить в ней те или другие недостатки, они не сводили с нее глаз, а она сияла и сохранила невозмутимость — была слишком невозмутимой, как мне иногда казалось, и слишком тщеславной.

Она произвела такое впечатление на одного знаменитого критика с мировым именем, любителя изучать типы и характеры, что он пустился в рассуждения о ней и об американских девушках вообще.

— Вот, например, эта Эрнестина де Джонг, — сказал он мне. — Американские девушки поистине изумительны. Они довольно ограниченные, но зато у них есть поразительное физическое и духовное обаяние, они красивы и умеют неплохо преодолевать жизненные трудности, не считаясь с тем, что скажет Европа, а на это способны очень немногие женщины других стран, где я побывал. Видите ли, молодая американка этого типа думает и рассуждает, как истинная женщина, изучает жизнь с точки зрения женщины, рассматривает и разрешает встающие перед ней проблемы чисто по-женски. Она, по-видимому, осознает в большей мере, чем ее сестры почти в любой современной стране, что ее зада-

ча пленить мужчину, и затем, несмотря на присущую ему силу и ум, взята над ним верх своей женской силой и умом, а добившись этого, она знает, что ее цель достигнута. На мой взгляд, это вовсе не значит, что женщина ниже или глупее мужчины. Это значит только, что она умеет добиться своего.

Его философская тирада показалась мне довольно справедливой, но меня больше заинтересовало то, что вдохновила его именно эта совсем юная девушка. Ведь было видно, что она не слишком умна, по крайней мере в прямом смысле этого слова, а критик, о котором идет речь, отнюдь не был чувствителен к одурманивающим чарам красоты. Его мнение совпадало с создавшимся у меня впечатлением, что она действительно в некотором роде личность, а не просто комплекс органических соединений, воздействующих на чувственность мужчин.

Примерно к этому времени я уже знал кое-что о ее прошлом. Она родилась на северо-западе Америки. Ее отец был человек зажиточный, владелец молочной фермы в той местности, где делают тилламукский сыр. Старшая сестра Эрнестины жила в Сиэтле; ей посчастливилось выйти замуж за богатого, и она взяла Эрнестину к себе. Тогда-то Эрнестина впервые столкнулась с театром; ее сестра увлекалась любительскими спектаклями, и девушка решила посвятить себя сцене. Ей все больше нравилось театральное направление малых форм. Но, как она рассказывала мне позднее, ее отец и мать были старомодные, религиозные люди, настроенные против театра, и, чтобы не вызвать их гнев и недовольство, Эрнестина долго скрывала это свое увлечение. Решив наконец стать профессиональной актрисой, она вступила в одну кочующую труппу и изменила свою фамилию, которая, кажется, была шведской. Эта обычная при таких обстоятельствах история не столь интересна и не настолько отличается от других, чтобы стоило на ней останавливаться.

Я думаю, что к этому времени Эрнестина уже не раз влюблялась. Видимо, она уже научилась как-то противостоять жизненным бурям. И, конечно, она хорошо поняла ценность своей красоты.

Примерно через полгода или через год после нашего знакомства до меня стали доходить слухи, что она любовница человека, хорошо известного в передовых лите-

ратурных кругах. Он был поэтом, хотя и не сделал себе большого имени. Меня он интересовал не столько как выдающаяся личность, а скорее как сильный и обаятельный человек. С той самой поры, как он учился в колледже в Нью-Йорке, он много лет занимался тем, что добывал денежные средства для различных благотворительных и прогрессивных начинаний: предоставление женщинам избирательных прав, запрещение детского труда, издание газеты довольно либерального направления, которую финансировал он, или, вернее, его покровители; к этой деятельности он привлекал и других. При этом он находил время писать книги и статьи, в которых излагал интересные мысли по поводу поэзии и всяких преобразований. К тому же он был видным мужчиной, хорошо держался, и в нем не было бесцеремонной напористости, себялюбия и своекорыстия, столь часто движущих поступками тех, кто объявляет себя реформатором, сторонником общественных преобразований.

Едва ли Эрнестина до конца понимала его. Скорее ее влекло к нему потому, что он был настоящим мужчиной — красивый, обаятельный и известен как человек весьма просвещенный и причастный к искусству. Наверное, ее поражало и то, что он одновременно был и прозаиком, и критиком, и поэтом, и о нем пишут в газетах, а начинающие литераторы считают его выдающимся писателем. К тому же он действительно был хорош собой и всегда весел. Вряд ли она была способна разделять его разнообразные духовные интересы. Но по-своему она относилась к ним почтительно, и эта наивная почтительность распространялась на все, связанное с искусством, и на всех, кто сумел в нем преуспеть. Я не хочу этим сказать, что все грани его личности были ей непонятны. Кое в чем она прекрасно его понимала; когда она рассказывала о его поступках и отношении к самому себе, ее описания почти всегда были метки и поучительны.

Однажды она сказала мне:

— Варн просто удивительный. (Его звали Варн Кинси.) Когда он хочет, он может быть самым милым человеком на свете. Он так хорошо умеет держаться. И он такого о себе хорошего мнения, — в нем это не кажется смешным, — он по-настоящему себя уважает, словно бог или еще кто-нибудь возложил на него какую-то высокую миссию. Вы, наверно, встречали таких людей.

Все, что он думает, говорит или делает, кажется ему значительным. Что говорят, думают и делают другие, его куда меньше занимает. И нет такого человека, кого Варн считал бы выше или хотя бы равным себе. Потому-то ему, наверно, и удастся получать у богатых деньги на все, во что он действительно верит. Никто другой так не умеет отыскивать людей, заинтересованных в том, в чем заинтересован он сам, и к ним приспособливаться. И он им вовсе не льстит, а просто знает, как расположить их в свою пользу, в особенности богатых женщин. Он получает деньги, а потом отстраняется — пусть действуют те, для кого он доставал эти деньги. Он берет себе возможно больший гонорар и наслаждается отдыхом. Он всегда говорит, что уже достаточно поработал, доставая деньги.

И, разумеется, его постоянно окружают люди заурядные, которые смотрят на него снизу вверх и делают то, на что он не считает нужным тратить время. Он читает, пишет стихи и статьи и от случая к случаю дает интервью по поводу тех дел, которыми он будто бы управляет. Наверно, он иногда и вправду подает разумную мысль, полезный совет в тех делах, которыми должен был бы руководить. Он часто говорил, что уже одно его имя и его испытанные методы позволяют ему получать деньги для различных начинаний. Кроме того, добавлял он, ему необходимо вести широкий образ жизни и быть на виду, — это всегда полезно для дела.

Эта характеристика — одна из тех, какие я слышал от Эрнестины после ее четырехлетнего знакомства с Варном, — показывает, что она все же была умна. Она неплохо разобралась в нем, как позже ей случалось разбираться в характерах других мужчин.

Кинси был старше Эрнестины на пятнадцать лет и, когда они познакомились, был женат на одаренной и привлекательной женщине: его жена писала картины и иллюстрировала книги. Но вскоре после этого знакомства стали поговаривать, что между ним и его женой начался разлад. Их уже не видели вместе так часто, как раньше. Они стали ссориться. Прежде Варн был в центре внимания на приемах и вечеринках своей жены, теперь он на них больше не появлялся. Между тем его стали встречать в обществе Эрнестины. Однажды я сам видел эту счастливую пару, когда они обедали

вдвоем. Это было в оживленный час между семью и восьмью вечера в одном из тех полуартистических кафе, которых много к северу от Сорок второй улицы. Я обедал там с приятелем; они вошли и сели в углу неподалеку от нас, не замечая ни меня, ни кого бы то ни было вокруг. Они были слишком поглощены друг другом. Едва они сели за столик, между ними начался какой-то интимный разговор. Кинси, как замороженный, не сводил с нее глаз. А Эрнестина, сознавая силу своих чар, позволяла любоваться собой, утомляя его время от времени самой восхитительной улыбкой. Среди разговора он вдруг схватил ее руки и с минуту держал их, глядя ей прямо в глаза.

— Сразу видно, что человек влюблен, — заметил мой спутник. — Мило, не правда ли? Он смотрит на нее глазами поэта. Он весь во власти ее красоты.

Я согласился с ним. Многие из присутствующих также наблюдали за ними с интересом.

Следует добавить, что его чувство оказалось искренним — он развелся с женой. И, хотя он так и не женился на Эрнестине, они, видимо, любили друг друга и были счастливы. Варн по-настоящему привязался к ней, и несколько лет они были неразлучны. И, однако, она вовсе не стала его рабой, об этом мне говорили многие и тогда и позже. Скорее он не знал покоя из-за нее.

У нас с Кинси было мало общего, и мы почти не виделись; Эрнестину я тоже встречал только случайно. Она всегда была занята своей работой в театре. Но я достаточно слышал о ее жизни и об их отношениях от людей, близко их знавших. Первые год-два они были счастливы (именно в ту пору он посвятил ей цикл стихов; стихи эти сохранились). Однако позднее между ними начались нелады из-за работы Эрнестины, вернее, из-за ее увлечения новым видом искусства — кино, которое как раз тогда стало широко распространяться. Новые, более жесткие порядки управляли продвижением звезд на этом поприще: молодая актриса должна была стать любовницей режиссера, или постановщика, или пайщика, словом, кого-нибудь, кто мог обеспечить ей успех, — по крайней мере так говорили. И все же тут появилась новая возможность выдвинуться и при этом нажить огромные деньги, и за нее ухватились красивые и честолюбивые девушки всей Америки.

Как я слышал, в те дни Эрнестиной увлекся один очень богатый и известный постановщик, и ей он тоже нравился: этот человек привлекал ее не столько сам по себе как личность или как возможный любовник, а тем, что мог создать головокружительную карьеру любой актрисе, которой захотел бы покровительствовать в этой новой области искусства (кинематограф тех дней обладал очарованием сказок «Тысячи и одной ночи»). И Эрнестина, не посчитавшись с мнением Кинси и против его воли, несколько раз участвовала в пробных съемках в двух-трех нью-йоркских киностудиях, помещавшихся тогда на чердаке или в подвале какого-нибудь самого обыкновенного здания. Один молодой и, по слухам, способный режиссер, работавший в студии на верхнем этаже в доме на Юнион-сквер, занял ее в нескольких небольших ролях, и съемки, к ее радости, показали, что она может блистать, если решится посвятить себя кинематографу и если ей повезет.

Но нет, Варн Кинси не желал и слышать об этом. Если она хочет сделать подобную карьеру, между ними все кончено! Он был бакалавром искусств и по своему образованию и воспитанию признавал достойными лишь более серьезные жанры сценического искусства, его ничуть не интересовали потуги тех, кто вынужден потворствовать примитивным вкусам толпы. В сущности, он презирал кино, и ему претили методы, к которым приходилось прибегать, чтобы выдвинуться здесь,— эти методы были уже ему известны. Стоило при нем заговорить о магнатах, которые приманивали блеском славы и богатства таких начинающих актрис, как Эрнестина, и он приходил в ярость. Пока она выступала в драматическом театре в Нью-Йорке и он каждый вечер мог ее видеть — почему бы и нет. Но сопровождать ее во всякое время дня и ночи то в одно место, то в другое, где постановщику удалось раздобыть помещение для съемки,— на это он не мог согласиться. Если она вступит на такой путь, он расстанется с ней.

И тут появился некий постановщик, совладелец одной из крупнейших кинокомпаний, на которого произвело большое впечатление то, что он знал и слышал об Эрнестине. Он рассчитывал, что она не останется к нему равнодушной, ведь если он пожелает, то многое сможет для нее сделать. И, несмотря на всю очевидность его на-

мерений, Эрнестина оказывала ему внимание из-за могущества, которое он олицетворял, а все потому (как она сама говорила мне впоследствии), что ее мучило непомерное честолюбие. Она была одержима жаждой успеха, громкой славы, и, стараясь как можно тактичнее отклонять его притязания, она тем не менее искала его дружбы ради того, что он мог для нее сделать. Но когда слухи об этом дошли до Кинси, начались неприятности. После одной из ссор он оставил студию и переехал в гостиницу (об этом я узнал тут же, а не из позднейших рассказов Эрнестины); говорили также, что она пришла к нему туда в три часа ночи, а он чуть не избил ее. Затем последовала мучительная полоса разрывов и примирений, и, наконец, они все-таки разошлись. Долгое время никого из них не видели в тех местах, где они прежде бывали. Эрнестина, как говорили, уехала куда-то на съемки. А Кинси, оставшись один, вернулся в круг людей серьезных и образованных. Он был не из тех, кто способен разделять благосклонность женщины, как бы восхитительна она ни была, с кем-нибудь другим, а успех Эрнестины в кино означал для него именно это.

Месяцев через шесть или восемь я с интересом рассматривал расклеенные по всему Нью-Йорку на рекламных щитах афиши, анонсировавшие не то новую кинодраму, не то киноман (это была одна из первых полнометражных картин) с Эрнестиной де Джонг в главной роли. Несколько более мелким шрифтом была напечатана фамилия постановщика — того самого, который так увлекался ею годом раньше. По странному совпадению я уже познакомился с ним к тому времени. Он принадлежал к числу людей, которые считают, что все — абсолютно все — заключается в богатстве и власти. Это был белокурый энергичный мужчина, делец и организатор по натуре, презирающий своих конкурентов и не считающийся с чужими желаниями. Он интересовался только кинематографией и красивыми женщинами и хотел одного: чтобы его повсюду знали как владельца или постановщика многочисленных фильмов. Как могла Эрнестина де Джонг после близости с такой поэтической натурой, как Кинси, столь быстро увлечься человеком подобного рода, было трудно, а может быть, и не так уж трудно понять. Она восхищалась известностью Варна

Кинси в литературных кругах, но еще больше любила славу и роскошь, а это ей мог предложить ее новый покровитель. Итак, подумал я, услышав об этом, она все-таки не устояла. Кинси не сумел удержать ее. По-видимому, ей все же не хватало тонкости чувств, какого-то душевного благородства. Какой соблазн! Надежда отличиться! И где — в кино!

Недели через две я пошел на этот фильм; мне хотелось узнать, какую ей дали роль, есть ли у нее такие же способности для работы в кино, как для сцены, или же этот фильм лишь средство польстить тщеславию актрисы, не имеющей данных для этой профессии. С удивлением я обнаружил, что картина совсем не плоха, хороша была и Эрнестина. Содержание? Что ж, обычная киноистория, очень подходившая для актрисы с внешностью и обаянием Эрнестины, и героиней была такая же девушка, как она сама. Действие начиналось в обстановке, в какой протекала и юность Эрнестины, — на старой ферме. Героиня, деревенская девушка, грезилась о любви и о какой-то необыкновенной жизни. Был там, как полагается, деревенский возлюбленный, которому она отвечала взаимностью, и городской богач, который в конце концов оценил ее дарование и дал ей возможность попробовать свои силы. Была и шаблонная романтическая концовка — возвращение на старую ферму, где героиня узнает, что ее прежний возлюбленный также покинул родной дом и сделал почти такую же блестящую карьеру, как она. Не помню только, соединились ли они в заключение, согласно кинематографическому штампу.

Любопытно, что с технической стороны фильм был сделан очень хорошо, а Эрнестина получила от деятеля этого весьма условного искусства все, чего можно было ожидать: судя по фильму, ее покровитель искренне старался создать ей все условия для успеха. Значит, он действительно был увлечен ею. Более того, на мой взгляд, она прекрасно справилась со своей ролью и доказала, что может нравиться широкой публике. Она была красива, и постановщик не пожалел средств на ее туалеты и на эффектные декорации и мизансцены. Может быть, Эрнестина все же поступила правильно, во всяком случае благоразумно, подумал я. Ее поклонник, видимо, действительно готов сделать для нее все.

Года через два один мой знакомый актер, возвратившийся с Западного побережья, рассказал мне о восхитительных переменах в этом уголке земного шара. Сам по себе Лос-Анджелес не бог весть какой город — скорее методистское поселение на том месте, где раньше были только пески и кактусы, но вот один из его пригородов, Голливуд, совсем преобразился. Кусты стручкового перца, пальмы, цветы делают его похожим на настоящий рай. Там дивное небо и горы, замечательные автомобильные дороги и множество пляжей на побережье. Коттеджи совершенно нового типа — калифорнийское бунгало — очень напоминают японские домики, и обитают в них новоявленные служители Мельпомены, сумасбродные и расточительные кинозвезды, получающие оклады, в сравнении с которыми оклады самых преуспевающих артистов драматической сцены кажутся ничтожными. Мир бахвальства, мишурного блеска, мир павлиньих перьев на таком фоне, который вдохновил бы любого поэта.

Тут мой собеседник неожиданно добавил:

— Вы не знакомы с Эрнестиной де Джонг? Она прежде жила в Нью-Йорке.

— Конечно, знаком.

— Посмотрели бы вы, как она там устроилась. Коттедж у нее прелестный. Небольшой, но какой-то особенный и так подходит для этого жаркого климата. Двор обнесен стенами, цветы, в глубине фонтан, комнаты чудесно обставлены. Они в японском стиле, окна и двери раздвижные, выходят на террасы и в сад. Повар, горничная и садовник у нее японцы. Она снималась в новом фильме, когда я был там.

«Недурно,— подумал я.— Вот как легко красота в союзе с небольшой долей здравого смысла достигают успеха в этом мире».

Затем разговор перешел на киномагната, который, увлекшись Эрнестиной, дал ей случай выдвигаться.

— Он, надо вам сказать, большая шишка в кинопромышленности. Недавно построил себе шикарную виллу в Беверли-Хилс, немного западнее Голливуда. Кстати, у него жена и ребенок.

— Вот как? — удивился я, так как думал, что, может быть...

Он назвал мне фамилию актрисы, на которой тот был женат уж шесть или семь лет.

— Ну, а как же Эрнестина?

— Разве вы не знаете, как это бывает,— сказал он.— Эти воротилы ведь легко относятся к женщинам. Первое время он, наверно, был по-настоящему влюблен в нее. Во всяком случае, он дал ей возможность появиться на экране, и она неплохо справилась. Но такие отношения, сами знаете, не вечны. Он встречает слишком много хорошеньких женщин, мечтающих о карьере киноактрисы. А при нынешнем положении вещей не так уж трудно иногда устроить той или другой дебют. Если из нее выйдет толк — прекрасно. А если нет, то ее вскоре вытеснят более способные. И всякий раз история начинается заново. Я думаю, Эрнестине не на что жаловаться. Она снималась в трех картинах, а сейчас занята в четвертой. Но эту картину ставит не он. Говорят, он увлекается сейчас...— И мой знакомый назвал имя одной недавно выдвинувшейся актрисы.

Вспомнив этого человека, каким я его знал, и помня отношение к нему Эрнестины, я подумал, что потеря не так уж велика, если отвлечься от соображений финансового и практического характера. У нее, очевидно, никогда не было с ним духовной близости. Ее отношения с Кинси были, конечно, совсем другие. Есть разные мужчины и женщины. У одних чувства обострены и утончены, и они хранят впечатления глубоко и долго. Другие подобны алмазу,— на них не сделаешь и царапины. А третьи, как вода: для них все проходит бесследно.

Я по-прежнему встречал Кинси — обычно в одиночестве, с книгами под мышкой, всегда озабоченного одной из своих очередных реформ, которые доставляли ему средства к безбедному существованию. А года через три я поехал на Западное побережье и обстоятельства столкнули меня с тем самым миром, о котором рассказывал мой приятель актер. Я не был сам связан с кинопромышленностью, но многое узнал и понял благодаря окружающим. У меня была возможность все увидеть своими глазами, но здесь не место излагать мои личные впечатления. Да и все равно их нельзя было бы напечатать. Мишура! Самонадеянность! Тщеславие! Тупомие! Расточительность! Бессмыслица! Угар от малень-

кого, непрочного благополучия! Пошлаки, умственные недоноски, воображающие, что они — гении, творцы, наследники самого эвонского барда¹. И вокруг — всепоглощающая, неприкрытая, грубая, дикая и воинствующая пошлость!

В школьные годы я много читал о языческих оргиях. Порой я наталкивался на описания буйных страстей и пресыщенности Сидона и Тира, Греции, Рима и Антиохии, и я безотчетно задумывался над тем, что это такое. По своей наивности и неосведомленности я считал, что все это навсегда отошло в прошлое. Ничего подобного уже не повторится. Человечество не потерпит никакой попытки возродить то, что происходило в давно минувшие годы. И вот в утопающих в цветах коттеджах Голливуда и его окрестностях, за закрытыми дверями в наши дни происходят ночные оргии с участием угодливых помощников режиссеров, операторов, костюмеров и костюмерш, начинающих сценаристов и актеров, пресмыкающихся перед избранными: перед режиссерами, звездами и директорами! Точное отражение мира, казалось бы, ушедшего безвозвратно. Я думаю, по описаниям романистов и историков никогда не представить себе так живо буйные развлечения древних, какие здесь можно было видеть воочию. В пьянстве, распутстве и обжорстве проходила вся ночь напролет. Непристойные телодвижения, танцы, восклицания, рассчитанные на то, чтобы расшевелить неповоротливых и ободрить нерешительных. Нескромные ласки на глазах у всех. Актеры, режиссеры, звезды и пайщики, люди развращенные и пресыщенные, объединялись в вакханалии, не опасаясь огласки. А те, кто готов сделать себе карьеру в кино любой ценой, принимали участие в этих вечерах, боясь вызвать недовольство своим отказом. И во всем этом чувствовалась какая-то нарочитость, вызванная не только подбострастием перед властью имущими, но и желанием, чтобы все именно так и происходило.

Не думайте, что, описывая эту картину, я сгустил краски. И вполне вероятно, что власть и богатство, на каком бы поприще они ни были достигнуты, всегда стремятся проявить себя подобным образом. Не надо

¹ Шекспира, родина которого Стратфорд-на-Эвоне.

забывать, что могущество и колоссальные суммы денег неожиданно оказались у многих, кто раньше не имел ни того, ни другого.

Вот что окружало Эрнестину, которая стала теперь в некотором роде знаменитостью. Не хочу утверждать, что ей нравилась такая жизнь,— этого я не говорю. Но сознательно или нет, а она принимала все, что видела здесь, так как это могло принести ей богатство. В то время, еще больше чем теперь, гранды и вельможи этого царства — мужская половина по крайней мере, не говоря о большом числе женщин,— давали волю своим желаниям и стремились добиться своего любой ценой. Существовал даже неписанный закон: ни одной молодой замужней женщине, сколько-нибудь верной супружескому долгу, нельзя было выдвинуться здесь, и ни одна даже очень красивая и обаятельная девушка не могла стать знаменитой, если она отказывалась быть наложницей директора, режиссера и даже кого-нибудь из ведущих актеров,— в те годы ведущие актеры почти всегда могли решать, с кем они хотят и с кем не хотят работать. А если девушка была молода и хороша собой, то она должна была водить дружбу с кем придется, начиная от уборщика, младшего бутафора и до режиссера, руководителя съемочной группы и президента компании. Она должна была «не отставать от других», «не портить компании»; раз Эрнестина несколько лет подряд занимает видное место в этой среде, думал я, значит и она ведет себя, как остальные. Правда, человек иногда кажется не таким, какой он есть,— но ведь встретил же я ее однажды на вечеринке в коттедже одного знаменитого режиссера, где мне пришлось наблюдать сцены, подобные только что описанным.

Веселье продолжалось уже несколько часов, когда я вместе со своими спутниками туда попал. Спиртные напитки лились рекой. Все без исключения уже перепились. Мужчины и женщины, одетые по последней моде, танцевали, пели, болтали или смеялись друг над другом по каким-то известным только им поводам. То одна, то другая пара исчезала в какой-нибудь из многочисленных комнат, а потом они появлялись снова, вызывая улыбку. Им задавали удивительно откровенные, оскорбительные вопросы, на которые они не менее откровенно отвечали: «И эта маленькая!.. А помните, ка-

кая это скромница была всего три месяца назад!», «Идите-ка сюда! Полюбуйтесь на них! Так нализаться!» «Ты думаешь, Клерис, что чем меньше на тебе надето, тем ты соблазнительнее?», «Поглядите, какую красотку привела сегодня Д. Кто она?». (Это говорила молодая актриса, звезда американского, а позднее всемирного масштаба.) «Поди-ка сюда, Д... и познакомь меня с ней. Выпьем еще, а потом и потанцуем». «Уиллард, иди сюда! Тут тебя не хватает. Ты ей как раз под стать!..» Дальше вы можете сочинять и распределять эти реплики сами. Что бы вы ни придумали, вы не уйдете далеко от истины.

Как я уже сказал, Эрнестина де Джонг была тоже здесь. Возле нее сидел здоровенный, как бык, верзила, один из тогдашних киногероев, в безупречном фраке, но уже здорово пьяный. Он позволял себе самые неприличные вольности — мне даже и присниться не могло, что она способна допустить подобное, — а она, с полупьяной улыбкой, защищалась, хотя и не слишком энергично. Я подумал, что она может меня узнать, и, чтобы не смутить ее, отвернулся, а затем ушел, так и не заговорив с нею.

Встретившись с ней снова, я поинтересовался, как она жила все эти годы. Она была почти так же хороша, как прежде, хотя и не казалась такой юной; держалась она очень мило, свободно и приветливо. Из разговора я узнал, что дела ее идут прекрасно, у нее машина, коттедж, и она постоянно снимается на вторых главных ролях, сопровождая звезд мужского и женского пола. На первые роли ее уже больше не приглашали. Она хорошо справлялась, однако ее постоянно считали второй после такой-то или такого-то, хотя те, вероятно, были менее талантливы. Почему? Она способная актриса, говорили мне знакомые режиссеры, но ей мешает то, что она брюнетка и высокого роста, — около ста шестидесяти восьми сантиметров, — а это не модно. Кроме того, ее считали слишком серьезной, серьезней многих блиставших тогда звезд, а режиссерам требуются артисты, которые были бы воплощением молодости и красоты и не отличались умом. Они предпочитают «мысль» оставлять за собой. «Говорят, когда артистка думает слишком много или хотя бы немного, она утрачивает свое девическое обаяние, на которое сейчас такой

спрос», — объяснил мне один режиссер. Он, конечно, говорил правду. Ежегодная кинопродукция той поры подтверждает справедливость его замечания.

Все же время от времени она снималась в каком-нибудь боевике, за что ей платили от трехсот пятидесяти до пятисот долларов в неделю. Одним из ее лучших друзей считался известный комик, человек очень неглупый. Здесь существовал небольшой кружок, состоявший из людей довольно образованных, они уделяли Эрнестине много внимания, и с ними она постоянно встречалась, когда была свободна от съемок.

За весь год, проведенный в Голливуде, я, пожалуй, больше и не вспомнил бы о ней, если бы не один случай. Однажды весенним вечером я увидел на бульваре Кинси. Он был без шляпы и одет, как принято в Голливуде: белые фланелевые брюки, светлая шелковая сорочка и короткая серая куртка с поясом. Под мышкой он нес книги и легкое пальто. (Вечерами в Голливуде всегда прохладно, зимой и летом.) Наверное, они помирились, подумал я, иначе зачем бы он приехал. Мне хотелось, чтобы это было так.

Месяца через полтора после этой встречи я получил от Эрнестины письмо. Должно быть, мое имя встретилось ей в газетах и то, что было напечатано обо мне, ее заинтересовало, подумал я. А, может, Кинси, говоря с ней, помянул меня. Ее приглашение было написано весьма дипломатично: очень хочет меня видеть, наше старое, хотя и непродолжительное, знакомство позволяет ей на это надеяться. Чувствовалось, что на этот раз ей от меня что-то нужно. Но что? Я подумал о Кинси, вспомнив свою недавнюю встречу с ним. Мне казалось, я догадываюсь, в чем дело, — она, наверно, пыталась помириться с ним, но из этого ничего не вышло, и она решила воспользоваться мной, чтобы вызвать в нем ревность. Может быть, спрашивал я себя, она рассчитывает, что мое появление у нее подействует на Кинси, как красная тряпка на быка?

Любопытство мое было задето, и я навестил ее в ее прелестном коттедже. Это был чудесный домик, обставленный с большим вкусом, — значит, она действительно любила красоту. Вспоминая, как она себя вела на вечеринке, я ожидал, что она внутренне огрубела, но ошибся. Она была приветлива, тактична, сдержанна и похо-

дила на ту, какой я знал ее прежде, но казалась еще привлекательнее, так как жизнь ее многому научила. Она рассказывала мне о кинозвездах, их интересах, положении, вкусах, успехах и неудачах. Меня поразила какой-то второй, скрытый смысл ее слов,— в них слышалось явное недовольство собой и окружающим миром. Все в нем — лишь лихорадочное возбуждение, пустое и бессмысленное. Затем она стала горячо говорить о Кинси и об их прежней жизни. Увлечшись, она подробно рассказала, почему она его оставила. Он был деспот или во всяком случае становился деспотом, как только дело касалось ее работы в кино. По ее тону было ясно, что Кинси и теперь ей далеко не безразличен, хотя она старалась этого не показывать. (Однако это было заметно.) Эрнестина сказала, что он приезжал в Голливуд в связи с намечавшейся постановкой большого исторического фильма,— она рискнула предложить его как человека, способного организовать финансовую и административную сторону дела. Она это сделала вовсе не затем, чтобы восстановить их прежние отношения — хотя, слушая ее, я подозревал обратное,— а потому, что он, как никто, может решить такую задачу, и она оказывала услугу одновременно ему и студии. Кинси уже уехал, она виделась с ним всего два-три раза. Он по-прежнему обаятелен, но, конечно... И тут она дала мне понять, что с прошлым покончено и что она сама этого хотела. Я не знал, верить ли ей?

Когда разговор зашел о киномагнате, она не сказала ни одного слова, позволявшего заподозрить, что между ними были какие-либо иные отношения, кроме чисто деловых. Этот киномагнат, даже, собственно, не он, а кто-то из членов контролируемого им объединения видел Эрнестину в нескольких спектаклях на Востоке и решил привлечь ее для работы в кино. Он пригласил ее и предложил главную роль в одной из своих картин.

— Я знаю, есть люди, которые думают иначе,— подчеркнула она,— но они очень ошибаются. Первые два года я снималась в главных ролях в четырех его фильмах, потом меня пригласила другая компания, где я работала некоторое время. С тех пор я не связана с определенной компанией, как, впрочем, и большинство людей моей профессии.— И она рассказала мне, как невы-

тодны контракты, заключенные на пять, на десять лет, и какую глупость делают те, кто идет на это в начале своей карьеры. А все же факт оставался фактом: ни одна из этих организаций, после первых дебютов, не поручала ей главной роли. Я понял, что она продалась «за горчичную похлебку», как любил повторять один из комических героев Теккерая.

После этого мы не раз встречались, и только тогда я ясно представил себе, что за женщины добиваются успеха в модной роли впервые влюбленной шестнадцатилетней девушки; успех этот достигался всегда одним и тем же путем; впрочем, Эрнестина очень сдержанно говорила на эту тему. За исключением немногих знаменитостей, прославившихся благодаря огромному таланту, признанному еще до их работы в кино, такими героинями были, как правило, авантюристки, а то и просто женщины легкого поведения, в сущности, ничего собой не представляющие. Они продавали себя тому, кто больше даст, или должны были поставить крест на своей карьере. Они, конечно, не были утонченными натурами, болезненно стремились к нарядам, роскоши и успеху, не говоря о желании нравиться мужчинам, которые, казалось им, были выдающимися людьми на том или ином поприще и, однако, в своей массе были такие же пошляки, тупицы и ничтожества, как и они сами. В моих статьях, напечатанных в одном из тогдашних журналов, посвященных кино, отражено важнейшее из того, что рассказывала мне Эрнестина или другие люди.

Всего, разумеется, нельзя было напечатать из-за цензурных ограничений.

Но меня интересовали не столько эти факты, вызывавшие во мне и гнев и уныние, сколько сама Эрнестина и ее отношение к ним и к тем идеалам, которые, возможно, у нее когда-то были, и она это знала. Она с горечью думала о наиболее сомнительных этапах своей карьеры, однако в оправдание выдвигала чисто практические доводы. Ее коттедж, туалеты, машина, ее связи в этом мире, видите ли, зависят от того, принимает ли она его таким, какой он есть, более того — она вынуждена делать вид, что он ей нравится. Я, наверно, не ошибусь, если скажу, что какое-то время ей все это и в самом деле нравилось, нравились показной блеск и бесшабашное веселье, свойственное этому миру, — об этом

говорит ее присутствие на описанной мною вечеринке. Потом она пресытилась такой жизнью, и, подобно блудному сыну, ее потянуло хотя бы ненадолго к другому кругу, истинным представителем которого был Кинси. Она если не с восхищением, то почтительно смотрела на Кинси и его друзей, — они казались ей умными, образованными, настоящими людьми искусства в отличие от тех, кто окружал ее теперь.

Средства, к которым она прибегала, чтобы встречаться со мной, очень скоро убедили меня, что я правильно ее понял. Как бы она ни осуждала намерения и поступки разных выскочек и новичков, не говоря уже о тех, кто достиг известности, она, как и все, подвизавшиеся на этом зыбком поприще, всеми силами старалась выдвинуться. Я понял, что один из самых больших ее грехов — стремление поразить кое-кого из этих знаменитостей своими связями и знакомствами в мире Кинси. Она и мною явно собиралась воспользоваться с той же целью; сделать меня приманкой для других. Если она предлагала погулять, покататься, пообедать или посидеть где-нибудь поболтать часок, у нее почти всегда было скрытое намерение отправиться потом в кафе, клуб или в гости — туда, где можно встретить влиятельных людей, показаться им в выгодном свете. В этих случаях она всегда представляла всех друг другу, называя занимаемое каждым положение, — мне это было только неприятно. Не раз я был вынужден объяснять ей, что ненавижу случайные знакомства, особенно в этом кругу. Мне противны были эти маневры, которые ей доставляли удовольствие. Наша дружба должна быть простой, искренней, не показной, — если она хочет со мной встречаться. Эрнестина, как теперь говорят, согласилась в принципе, но не на деле. И все же, при всех ее недостатках, она мне нравилась, в своем роде она была интересна — типичная представительница определенной категории женщин; и я старался не слишком раздражаться и не ставить ее в неловкое положение.

Однако из этого ничего не вышло. Несмотря на все мои намеки и даже прямое недовольство, она вела себя по-прежнему почти при каждой нашей встрече. Однажды она пригласила меня на чашку чая, и хотя предполагалось, что больше никого не будет, вдруг ввалилась целая компания; я рассердился и демонстративно ушел.

С тех пор мы виделись гораздо реже, почти всегда случайно, на улице или в ресторанах.

Но, встречаясь с ней, я всякий раз искренне восхищался ее способностью остро ощущать все дурное и уродливое в том, что ее окружало, и мне было жаль ее,— она явно не могла забыть тех идеалов, которые она разделяла с Кинси. Я не мог не видеть, что она стремилась как-то объединить оба эти мира, чтобы играть заметную роль и там и тут. Однажды она взяла сборник стихотворений Кинси и показала мне те, которые ей больше всего нравились. Стихи, несомненно, посвящались ей, и видно было, что Эрнестина все еще находится под впечатлением его славословий. Она говорила о том, какой он талантливый, на редкость культурный, необыкновенный человек, как не похож на всех, с кем ей приходится сейчас сталкиваться. В комнате был ее портрет работы одного из друзей Кинси, написанный в те времена, когда они еще были вместе. Художнику удалось передать поразительное обаяние, которое отличало ее тогда. И, сравнивая портрет с оригиналом, я не мог не заметить, что за эти шесть лет черты ее лица поглубели, стали более жесткими, хотя и не настолько, чтобы это бросалось в глаза. Однако и сейчас, особенно когда она подкрашивалась перед выходом на улицу, Эрнестина все еще выглядела юной и невинной, как тогда, когда я впервые увидел ее, и, конечно, она очень старалась сохранить эту кажущуюся свежесть. Она спросила, не нахожу ли я, что она очень изменилась, и я по-рыцарски солгал.

Я не мог не видеть, что в ее речи, манерах и образе мыслей, особенно когда она была увлечена разговором и не рисовалась, заметно сказывалась опытность человека, уже много повидавшего в жизни. Случайная фраза, выражение лица, упоминание о каком-либо месте или человеке (например, она мельком сказала что-то о квартире знакомого мне злополучного режиссера, перед которым впоследствии закрылись двери всех студий) — все эти детали показывали ее в истинном свете. Что бы она ни говорила и ни делала, я уже знал: она отравлена этой средой и теперь, как ни странно, стыдится только ее неприглядных внешних проявлений. Слушая ее, нельзя было представить себе, что она когда-нибудь могла быть на такой вечеринке, которую я описал (она

так и не узнала, конечно, что я ее тогда видел). Ей хотелось быть той женщиной, которой восхищался Кинси. Сейчас она больше всего тосковала по утонченной поэтичности, которую когда-то нашла в нем и сумела оценить. В ее рассказах о нем и об их прежней жизни порой прорывалось горькое сожаление.

Примерно в это время в кинопромышленности начался первый и наиболее тяжелый кризис. По какой-то из называвшихся тогда причин — перепроизводство, ввоз зарубежных фильмов, расточительность постановщиков, намерение Уолл-стрита насильственно снизить расходы и уменьшить жалование всем ведущим работникам, падение посещаемости кинотеатров — выпуск новых фильмов прекратился более чем на год. Оклады оставшихся на работе были урезаны наполовину и больше. Почти сорок тысяч человек, занятых в кинопромышленности, всех профессий и рангов, пострадали от кризиса. Многие из режиссеров, которые еще недавно держались как полновластные хозяева, построили себе великолепные виллы и расхаживали с видом принцев, теперь вынуждены были заколотить свои особняки, сдать их внаем или продать. Кинозвезды, большей или меньшей известности, не говоря уже об актерах и актрисах второго разряда — злодеях, роковых женщинах, дублерах, инженю, операторах, помощниках режиссеров, сценаристах и прочих, — лишились, во всяком случае на время, своих прекрасных должностей, высоких заработков и старались хоть как-нибудь продержаться в ожидании лучших дней. Буквально сотни изысканных, роскошно обставленных коттеджей и вилл сдавались или через некоторое время шли с молотка вместе с обстановкой и договором об аренде. Более пятидесяти недавно еще шумных и многолюдных студий этой столицы Запада стояли пустые и безмолвные. К концу года настоящая паника охватила почти всех, кто так терпеливо ждал каких-нибудь признаков оживления, и один за другим они стали браться за любую подвернувшуюся работу — устраивались в оперетту, в драматический театр, становились декораторами, костюмерами, модистками, косметичками. К началу следующего года почти все вернулись на Восток, надеясь как-нибудь пережить трудное время. И только через полтора года обозначился какой-то поворот к лучшему в этой пораженной кризисом области.

Все это время я почти не встречал женщину, судьба которой продолжала меня интересовать. Как-то я случайно увидел ее, когда она с другой актрисой выходила из одной большой студии, по существу не работавшей. Но автомобиля нигде поблизости не было видно. Было около одиннадцати часов утра, и отсутствие машины в такой час показалось мне странным, так как я знал привычки Эрнестины. В дни своего благополучия она никуда не отправлялась иначе, как на своей или чужой машине или в такси. Позже я снова встретился с ней на людной улице в центре города, и она рассказала, что из-за временного застоя в кинопромышленности ей пришлось отказаться от своего коттеджа и автомобиля. Все же она сняла уютную квартиру в другом месте, куда и пригласила меня зайти. Сейчас она живет более скромно, как и все. Она не может позволить себе вести прежний образ жизни. Кто знает, когда дело обернется к лучшему.

Однажды я навестил ее; дом и квартал, куда она переселилась, мне понравились, но сама квартира была далеко не так прелестна, как ее коттедж в Голливуде. Коттедж обходился в семь или восемь тысяч долларов в год. А за квартиру вместе с обстановкой она платила не больше полутора тысяч. Уже после короткого разговора я понял, что она не уверена в своем будущем. Она, видимо, жила одиноко и никем не интересовалась, разве только Кинси, но он больше не интересовался ею. Она жаловалась, что те, кто ставит и выпускает картины, предпочитают иметь дело не с имеющими опыт, начинающими стареть актрисами, а с молодыми и неопытными. Неопытность в сочетании с молодостью и красотой, даже при отсутствии способностей, высоко ценится большинством ведущих режиссеров, потому что с новичками можно не церемониться и вышколить их по своему вкусу, а потом приписать все заслуги себе. А тут еще этот неожиданный крах или кризис, которому конца не видно. Эрнестина намекнула, что и ей, наверно, придется продать обстановку (которая сдана в аренду вместе с коттеджем) и вернуться на Восток, где она, конечно, может рассчитывать только на работу в театре. Тем не менее она, как большинство людей, старалась показать, что по-прежнему не унывает и верит в будущее.

Незадолго до этого разговора — за неделю или дней за десять — в газетах появилось сообщение о самоубийстве одной нашей общей знакомой, очаровательной девушки, принадлежавшей к тому кругу, где прежде бывали Эрнестина и Кинси. Слишком долго и сложно описывать здесь судьбу этой девушки и все ею пережитое — это могло бы послужить темой для большого и захватывающего романа. Меня поразила смелость, с какой эта девушка, эта песчинка в мироздании, решала вопросы жизни и смерти, и я имел неосторожность пуститься в рассуждения об этом. Она не раз говорила мне, что лучшие годы, дарованные женщине, — от шестнадцати до двадцати восьми, и я, не подумав, повторил ее слова. После этого возраста жизнь чаще всего идет под уклон. Чтобы ни случилось, она намерена прожить эти годы так, как ей хочется. А потом... что ж... И вот, в двадцать девять лет, после почти головокружительной карьеры, она покончила с собой, приняв снотворное.

Эрнестина слушала с напряженным вниманием. Она все время постукивала пальцами по столу, а потом глубоко задумалась.

— Что ж, она права, — сказала она немного погодя, — я с ней согласна. Я тоже ненавижу старость. Каждая женщина, которая действительно была красива и знает, что это значит, поймет меня.

Я с любопытством посмотрел на нее. Она это сказала как-то особенно подчеркнуто, я бы сказал, обреченно.

Больше я ее не видел. Когда я в следующий раз проходил мимо этого дома, мне бросилось в глаза объявление: «Сдается» — на одном из окон ее квартиры. Значит, она все же уехала, — подумал я и остановился, чтобы посмотреть, есть ли еще табличка с ее именем на двери. Но таблички не было. Вскоре я услышал, что она продала всю свою обстановку и вернулась в Нью-Йорк. Через три месяца, когда в одном из журналов стали появляться мои статьи, материалом для которых она меня так щедро снабдила, и газеты перепечатали наиболее поразительные и вопиющие факты, я получил лаконичную телеграмму: «Спасибо» — и понял, что она их прочла и одобряет. Потом я снова долго ничего не слышал о ней, — и вот однажды утром все газеты Лос-Анджелеса напечатали сообщение из Нью-Йорка о том, что Эрнестина де Джонг, бывшая кинозвезда, отрави-

лась газом на Гринвич-Вилледже, в квартире, где она жила прежде, когда работала в одном из нью-йоркских театров. Предполагали самоубийство, хотя никаких сведений о возможной причине самоубийства не было. Правда, де Джонг была киноактрисой, а кинематография переживает сейчас период упадка, но нет оснований думать, что у покойной были денежные затруднения. Ее родные — очень состоятельные люди; они уже уведомлены о несчастье. Не было найдено никаких писем, она не оставила ни строчки. Насколько известно, она ни в кого не была влюблена, хотя недавно ходили слухи о ее помолвке с одним знаменитым киноартистом. Он, впрочем, отрицал это, уверяя, что они были просто друзьями.

Но мне казалось, что я понимаю. Почему-то мне также казалось, что я понимаю, отчего она вернулась туда, где прошла ее прежняя, более счастливая, жизнь с Кинси. Не ошибался ли я? Как бы то ни было, она вернулась именно сюда, и здесь ее нашли. Я так и не узнал, имел ли он какое-нибудь отношение к случившемуся. Видимо, никто не знал этого. Говорили, что он был очень удручен.

РОНА МЭРСА

Ее имя воскрешает в моей памяти восхитительную весну и лето в начале последнего десятилетия прошлого века, и я вспоминаю огромное здание в финансовом центре Нью-Йорка. В ту пору я был просто начинающим писателем, напечатавшим лишь несколько очерков и один или два рассказа.

И в то время, как это иногда бывает с новичками, я очень подружился с одним молодым писателем, недавно приехавшим в Нью-Йорк. Мы были примерно одних лет и обладали одинаковыми вкусами и склонностями. Красивый, одаренный, отчасти идеалист (по крайней мере в теории), он был в то же время почти совершенно не приспособлен к практической жизни, и, однако, — возможно именно поэтому — он возбудил во мне живейший интерес. Я считал его тогда и считаю теперь неисправимым мечтателем и фантазером,

любителем невероятных романтических историй, которые пленяли меня именно своей невероятностью. Он был к тому же веселым и отзывчивым человеком, любил жизнь и развлечения (главным образом развлечения, как я понял впоследствии). Самой неприятной и раздражающей чертой его характера было безмерное самомнение, которое заставляло его воображать, во-первых, что он — величайший мыслитель и писатель, какого видел свет; во-вторых, что он в то же время весьма практичный, бывалый деловой человек. Стоит ему только сосредоточить свое внимание на любом самом запутанном вопросе — и все сразу станет ясно и понятно! Стоит ему только серьезно вдуматься — и любая философская или практическая проблема будет разрешена. Короче говоря, он любил не только спорить, но и распоряжаться и командовать. Я неизменно уступал ему, потому что он очень нравился мне, как, впрочем, и другим людям, которым приходилось иметь с ним дело. Он был слишком обаятелен и интересен, чтобы не потворствовать ему во всем.

Но, беседуя с ним о его прошлом, я вскоре обнаружил, что в личной жизни ему далеко не все удалось наладить и решить. В двадцать два года, например, он женился на очаровательной и умной девушке, а в двадцать три стал отцом; предполагалось, что теперь он — кормилец и вершитель судеб целой семьи. Но, подобно Шелли (и это можно было бы ему простить, если бы он стал знаменитым писателем), он оставил жену и ребенка на произвол судьбы. Правда, надо признать, что его жена была весьма практичная женщина и могла великолепно заботиться о себе, к чему он был совершенно не способен. Он принадлежал к числу тех идеалистов, которых непременно должен кто-то опекать.

В то время, когда мы с ним познакомились, я уже был женат, и он мог жить у меня сколько угодно, всегда мог пообедать и даже занять немного денег на поездку за город или в ресторан. К тому же у меня были знакомства в нескольких журналах. И так мы вместе жили, обедали, гуляли и беседовали. Я соглашался со всем, что он делал, говорил и думал, хотя мне и казалось по временам, что он отнюдь не прав — например, как мог он бросить жену и ребенка? Но привязанность к человеку, если не заглаживает полностью,

то по крайней мере делает незаметными очень многие его недостатки. И постепенно мы так подружились, что почти все писали вместе, за одним столом и во всем советовались друг с другом. Моя жена тоже очень привязалась к Уинни (его фамилия была Власто), и почти все субботние вечера и воскресенья мы проводили вместе. Однажды летом мы втроем отправились в те места, где он родился и вырос, на реке Мэшент в штате Мичиган, и больше месяца отдыхали и развлекались там. Мы действительно были с ним как братья в области духовных интересов, во всем, что имеет отношение к разуму, красоте, искусству, и, как говорил Уинни, нам самой судьбой было предназначено помогать друг другу в этой нудной и утомительной жизни. Да! Я как сейчас слышу его голос, вижу его голубые глаза, нахожусь под неуловимым влиянием его фантастических мечтаний и до сих пор ощущаю его присутствие рядом с собой, его неизменный оптимизм и жизнерадостность, которые как-то уравнивали мои слишком серьезные и полные глубокой внутренней неудовлетворенности размышления о путях человеческих. Он умел создать так много из ничего! Деньги? Чепуха! Они нужны только тем, кто уже утратил способность наслаждаться жизнью. Разум — вот ключ ко всем тайнам и наслаждениям. Любовь и наслаждение даются тем, кто создан для них, кто самой природой предназначен для этих радостей. Разве я этого не знал? Увы, я это знал слишком хорошо. Мне было всего труднее разобраться именно в этих сторонах человеческой жизни, да и Уинни, пожалуй, тоже, в те минуты, когда он был вынужден сталкиваться с ними лицом к лицу.

Но Уинни выработал то, что он именовал «доктриной счастья». Он очень много говорил и писал об этом, но по существу это было, как я понимал, чем-то вроде самоутешительного и облегчающего душу способа спастись бегством от тяжкого ярма долга. Ибо первое правило его новой оптимистической теории заключалось в том, чтобы быть счастливым самому, не обращая никакого внимания на других, а там будь что будет! Но для того, чтобы придать этой теории более гуманный облик, предлагалось следующее объяснение: поступая таким образом, вы даете счастье и солнечный свет окружающим. Меня всегда поражала внутренняя противоре-

чивость этой теории. Несмотря на свою доктрину, он отнюдь не был столь счастлив, хотя и прилагал все усилия к тому, чтобы самому уверовать в это. Вот, например, жена и ребенок,— он совершенно не заботился о них и успокаивал свою совесть по этому поводу всевозможными хитроумными рассуждениями. Разве он не остается верен своей жене? И он обязательно сделает для них что-нибудь, как только у него будут необходимые средства. И ведь жена, право же, в гораздо большей степени деловой человек, чем он сам. Последнее соображение было вполне справедливо.

Что касается этой верности, которой он по временам старался оправдать себя, ну, что ж, он увлекался женщинами, чуть ли не каждой молодой, хорошенькой и неглупой девушкой, и не мог понять, почему ему нельзя дружить с ними и развлекаться в их обществе. И почти все его знакомые женщины соглашались с ним. Однако, положа руку на сердце, я думаю, что до последнего времени его отношения с женщинами были вполне платоническими. Но он был такой язычник и пантеист по натуре и инстинктивно так ненавидел все цепи, узы и обязательства, в том числе и те, которые связывали его с женой и ребенком, что эти отношения не могли оставаться просто дружескими, по крайней мере для постороннего взгляда. Он становился так откровенно, так трогательно нежен. Даже женщины, обычно придерживающиеся строгих правил, казалось, не могли устоять перед ним.

Но довольно об Уинни. Оставим его и обратимся к иным картинам и обстоятельствам.

Однажды, закончив небольшой очерк, я положил рукопись в карман и вышел из дому, чтобы найти машинистку. Зайдя по какому-то другому поводу в огромное здание в деловой части города, я увидел в вестибюле напротив лифта небольшое объявление в позолоченной рамке:

РОНА МЭРСА.
ПЕРЕПИСКА НА МАШИНКЕ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТЕНОГРАФИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ,
СЪЕЗДОВ И СОВЕЩАНИЙ.
ПЕРЕПИСКА КОММЕРЧЕСКИХ БУМАГ И
ЛИТЕРАТУРНЫХ РУКОПИСЕЙ.
РАЗМНОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ
НА РОТАТОРЕ.

XVI этаж.

Вспомнив о своем очерке, я поднялся на шестнадцатый этаж, где встретил молодую и весьма привлекательную женщину, которая очень заинтересовала меня своей живостью, сообразительностью и деловитостью. По моим предположениям, ей было года двадцать четыре—двадцать пять. Она была небольшого роста, изящна и хорошо одета: превосходно сидевший, строгого покроя костюм, белый воротничок и манжеты, яркий галстук и прочные туфли. Из левого кармана жакета торчали разноцветные карандаши. Пышные иссиня-черные волосы были разделены косым пробором, а сзади собраны в красивый узел.

Но не менее, чем она сама, меня заинтересовало внешнее великолепие предприятия, поставленного на широкую ногу, в котором она явно играла первую роль. Помещение было размером не меньше чем тридцать на шестьдесят футов, и из окон, выходивших на три стороны, открывался широкий и величественный вид почти на всю северную часть Манхэттена и одновременно на Ист-Ривер и Норс-Ривер, а также на тот берег залива, где расположен Джерси-Сити. Внутри комната была уставлена скамьями, точно класс; там было десятка два или даже больше столов с пишущими машинками. За каждым столом сидела весьма прилежная, хотя и не всегда миловидная машинистка. Начальница этого машинописного бюро, как я вскоре узнал, не особенно благосклонно относилась к хорошеньким машинисткам. По ее собственному откровенному признанию, она не считала, что они способны всецело отдаваться работе. И я сразу же обратил внимание на то, что ее собственный большой квадратный стол — в высшей степени солидное сооружение — стоял между двумя высокими окнами, откуда открывался самый замечательный вид, в то время как ее подчиненные должны были довольствоваться либо лицезрением своей начальницы, либо гораздо менее интересными пейзажами.

На этот раз, как я вспоминаю, наш разговор длился недолго, и мы успели только поговорить об условиях, которые в данном случае оказались вполне приемлемыми. Она, однако, добавила, что, хотя в основном ее бюро занимается перепиской судебных документов, она охотно берет и «литературную работу»: хотя это и не так хорошо оплачивается, но ее интересуют рома-

ны и рассказы и даже такие очерки, как мой. Это меня и заинтересовало и позабавило. На мой взгляд, она была довольно наивным человеком, если бралась печатать то, что я в ту пору писал, ради удовольствия «заниматься литературной работой». Мои писания — литература! Вот как! После встреч с равнодушными или в лучшем случае непонятливыми редакторами и издателями это было приятной новостью. Я ушел, спрашивая себя, неужели кому-то доставляют удовольствие произведения неизвестного, непризнанного писателя?

Встретив за обедом моего собрата по перу, я рассказал ему об этой находке — машинистке, которая не только неглупа и недурна собой, но и берет недорого. У нее такой большой штат, что она может выполнить заказ за три или четыре часа, если сдать ей рукопись не позже полудня. И сверх того, она польщена тем, что работает для писателя!

Такая рекомендация произвела большое впечатление на моего друга, и через день или два, когда ему понадобилось отдать в перепечатку собственную рукопись, он объявил, что отправится в указанное мною место. И, к моему удивлению, после этого он исчез на несколько дней. Когда он опять появился, то сообщил, что провел эти дни с приятелем, которого давно не видел. Я удивился, не очень поверил ему, однако не настаивал на дальнейших объяснениях. Вскоре, видя, что я не дожимаю его расспросами, он сам завел разговор о мисс Мэрса. Я оказался прав. Уже давно он не встречал такой умной, отзывчивой, услужливой женщины — это подлинное воплощение энергии и деловитости. Удалось ли мне поговорить с ней как следует? Я признался, что нет. Ну, а ему удалось, и он обнаружил в ней бездну здравого смысла и к тому же умение судить о литературе и искусстве. Как он объяснил мне, с первой же встречи он нашел с ней общий язык. Короче говоря, он уже с первого раза знал ее так, словно они были знакомы много лет. Он даже был у нее в гостях и обедал в уютном доме в Джерси-Сити, где Рона, как он уже стал называть ее, жила со своей матерью и теткой, старой девой; с ними жили еще помощница Роны по машинописному бюро и старая кухарка-ирландка, которая выполняла самые разнообразные поручения. Все это меня очень заинтересовало. Однако, зная, как

Уинни ведет себя с девушками, я не слишком удивился.

Но это было только начало. Затем он снова исчез на несколько дней, из-за чего, между прочим, остановилась работа над нашим общим очерком, который должен был дать нам деньги на жизнь. Когда Уинни вернулся, то заявил, что опять провел время в обществе Роны, или, вернее, ее семьи, но только в самом чистом, платоническом смысле этого слова, чему я должен поверить искренне и безоговорочно. Разумеется, это был один из тех редких и совершенно платонических союзов, когда люди сразу достигают полного взаимопонимания. И действительно, между ними установилась глубокая внутренняя симпатия, он откровенно рассказал ей о своем материальном, общественном и семейном положении,— и, видя, что у него совсем нет денег, Рона предложила ему поселиться у нее. В доме есть несколько свободных комнат, он может выбрать любую. И, конечно, в том свете, в каком он мне это преподнес, я не увидел тут ничего плохого. Разве искусство не остается искусством? Разве художник это не дар миру? У него особые права, и его нужно всячески поощрять. Я думал именно так. Поэтому, конечно, тут и не было ничего плохого. Kismet!¹ Менее чувствительный и пылкий, чем я, он мог — я был в этом уверен — поддерживать такие отношения с женщинами и притом не переступать границ.

Но пусть так. Во всем этом меня касалось только одно: он уже успел пооткровенничать с ней обо мне, поведал ей все подробности моей интимной жизни и моих подчас совершенно необъяснимых склонностей, увлечений и связей. И она, по его словам, все поняла. И вдобавок он рассказал ей почти все о нашей дружбе — об удивительной, теперь уже нераздельной и нерушимой душевной гармонии, которая заставила нас, как это бывает в любви между мужчиной и женщиной, с первого взгляда проникнуть в истинную сущность друг друга и, подобно Дамону и Пифию (или найдите какое хотите другое сравнение), обрести неразрывное единство как в духовном, так и в общественном отношении.

¹ Судьба (турецк.).

Но я, видимо, забегаю вперед. Нужно еще рассказать о старом каменном доме в Джерси-Сити. Дом этот цел и поныне. Через много лет после того, как произошло все, о чем я рассказываю, однажды, летним вечером, мне случилось пройти мимо него. Незнакомые люди сидели на ветхом каменном крыльце, как когда-то давно в летний вечер сидели там, разговаривали и мечтали Уинни, Рона, ее мать, тетка и мы с женой. Я увидел те же коричневые ставни, те же открытые окна, куда вливалась вечерняя прохлада; и так же звучали голоса соседей, сидевших на своих крыльцах. Только теперь, может быть, новая Рона с обожанием, как рабыня, смотрела на нового Уинни. Другие люди и другие мечты, но всем этим людям так же свойственно надеяться или отчаиваться. Что такое человек и почему, о боже, ты уделяешь ему так много внимания?

Но, простите, я опять забежал вперед.

Я говорил об их встрече. Как разительно переменялось все для нас с Уинни с этого дня! Ибо, конечно, это новое знакомство, которое так захватило его, было серьезным ударом для драгоценной духовной связи между нами. Ведь дружба, как и любовь, руководствуется одним законом: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». А здесь, конечно, появился другой бог, или, вернее, богиня. И эта богиня, или по крайней мере ее мать, обладала средствами, каких не было ни у кого из знакомых Уинни. Я сам видел солидно поставленное машинописное бюро со множеством служащих — ясно было, что оно дает Роне приличный доход, а Уинни рассказал еще и о доме в Джерси-Сити, а также о других домах и землях в штате Нью-Джерси, которые принадлежали матери Роны, ее тетке и еще другой тетке. И все это должно было перейти к той же Роне после смерти вышеупомянутых родственников. И хотя, как я знаю, Рона отнюдь не желала и не ожидала смерти своих любимых и любящих родственников, она поведала об этом Уинни, а он, несмотря на весь свой идеализм мечтателя и романтические склонности, все же не так уж презирал недвижимую собственность, при условии, что она достается ему без особых хлопот и не мешает осуществлению литературных замыслов и планов. Более того, не имея никаких корыстных намерений — ибо он создавал или давал радости, мысли

и вдохновения всегда больше, чем получал,— он все же не остался к этому равнодушен. А Рона явно была рада этому и надеялась, что богатство вместе с ее неподдельным преклонением перед Уинни поможет ей удержать его. По крайней мере ее последующие поступки, как я полагаю, подтвердили это.

Но постойте! Не впадайте в отчаянье! Я продолжаю свой рассказ.

В то время Уинни объяснил мне, как будто не без грусти и смущения, что наша чудесная дружба ни в коем случае не должна быть омрачена или нарушена из-за этой новой связи. О нет! Ни в коем случае! Ни в коем случае! Ибо Рона уже поняла все. Право же, она поняла. Он с предельной ясностью довел до ее сознания, как мы необходимы друг другу. А кроме того, она настолько умна и деликатна,— это я и сам вскоре пойму,— что не захочет мешать столь многообещающему литературному содружеству. Да, да. Право же, говоря откровенно, она понимает, как глубока и благотворна для нас обоих эта дружба. В лучшем случае — как он неоднократно говорил в беседах со мной — она хотела только принять участие в нашей дружбе, так же как и моя жена, стать четвертым участником, быть полезной, чем можно. Ведь она богата! Как она сама призналась Уинни, она хотела, чтобы эти деньги помогли ей стать хоть немного счастливой. А если можно, она и других сделает счастливыми. (Я вижу теперь, насколько искренней она была, искренней к несчастью для себя.) Мы должны присхать к ней, и очень скоро (будет дан торжественный обед), а затем мы все вместе куда-нибудь отправимся — на морской или горный курорт. В доме у Роны, помимо комнаты, где поселился Уинни, были еще две свободные комнаты с ванной, прекрасно обставленные. Когда-то их занимал ее отец, скончавшийся много лет тому назад. Очевидно, эти комнаты предназначались в качестве приманки для Уинни. Но теперь он завел речь о том, что все это к нашим услугам в любое время — комнаты, стол, все, что нужно. Это было, пожалуй, слишком роскошно для нас, но разве это не звучало прекрасно? Право же, очень великодушное предложение.

Тем не менее — и, боюсь, к нашему общему разочарованию — это ни к чему не привело, кроме бесконеч-

ных разговоров: мы с женой долго обсуждали, что все это, собственно, значит. Пожалуй, нам следует относиться к этим весьма щедрым предложениям как можно более сдержанно. Конечно, я уже знаком с этой дамой. Ведь именно с моего посещения машинописного бюро и с моих рассказов все и началось. И тем не менее Рона интересуется по-настоящему не нами, даже не мною, а одним только Уинни. Правда, она очаровательна, и радушна, и все что угодно — ее отношение к нам, да и отношение Уинни тоже обещают в дальнейшем близкое и приятное знакомство, — а все же не лучше ли, с точки зрения здравого смысла, подождать, не спешить? Пусть эти дружеские отношения развиваются постепенно, сами собою. Нам казалось, что так будет лучше. К тому же нас беспокоило, что где-то ведь существовали жена и ребенок Уинни. А Уинни уж слишком легкомысленно к этому относится, он просто не желает думать о своей прежней семье. Ведь положение его жены сейчас далеко не блестящее! Я думал и об этом. И право же, перед нами в высшей степени интересная и своеобразная влюбленная пара, которая, как все влюбленные пары, скорее стремится к уединению, чем к обществу посторонних; ясно, что нам лучше быть сдержанными, ненавязчивыми и осторожными и не надоедать им. И мы искренне старались быть как можно сдержаннее, но нам не всегда удавалось устоять перед уговорами и обаянием Уинни. Возражать ему было невозможно. Пришлось принять приглашение на обед, а потом подумать и об ответном приглашении. Затем мы все вместе отправились в загородную поездку, а потом провели субботний вечер и воскресенье на одном из соседних морских курортов. Ведь я встретился с Ронной весной, а теперь наступило лето.

А тем временем мы напряженно изучали друг друга. Ибо хотя Рона была обаятельная женщина и притом щедра сверх всякой меры, когда дело касалось Уинни, но, как всегда бывает, мнения о ней расходились, — все зависело от благоприятной или неблагоприятной точки зрения наблюдателя. Что до меня, то Рона мне нравилась, как умная, очень тактичная и привлекательная женщина, которая простодушно увлекалась «литературой», или «беллетристикой», или тем, что она сама вкладывала в эти понятия. Конечно, мне вовсе не каза-

лось, что она такой же свободно и оригинально мыслящий и тонко чувствующий человек, как сам Уинни. Однако он как будто видел или хотел видеть ее именно в этом свете. Судя по его описанию, такой она и была, и даже больше того. И, наоборот, моя жена, видевшая именно в самой себе источник чувства и поэзии, обогащающий нашу жизнь, встретив Рону, мгновенно решила, что описания Уинни сильно преувеличены. Она сказала и ему и мне, не переходя, однако, границ дружеской и мягкой критики, что Уинни, по обыкновению, настроен слишком восторженно. Рона, конечно, очень мила; не красива, но привлекательна и, несомненно, великодушна, когда дело касается Уинни, на нас же она распространяет свою любезность только ради него. И я должен иметь это в виду. Хоть Уинни и бредит платонической дружбой, которую не способна поколебать обычная, всем людям свойственная любовь или чувственное влечение, хоть необыкновенная щедрость Роны, граничащая с сумасбродством или даже безумием, и распространяется (или может распространиться) на всех нас, все же, утверждала моя жена, Рона — женщина и для нее важно только одно — Уинни, ее любовь или увлечение им, и ничего платонического тут нет. Жена считала что она прекрасно разбирается в этом. А кроме того, нельзя забывать и о другом: о жене и ребенке Уинни. Нам следует вести себя осторожнее, вот что!

В результате мы так и не поселились в одном доме. Мы только навещали друг друга, иногда ходили вместе в театр или еще куда-нибудь. Но я постоянно с тревогой думал о том, чем все это кончится. Ибо при всем моем желании разделять оптимизм Уинни, восторженно уверявшего, что все в нашей жизни идет как нельзя лучше, я вовсе не ощущал спокойствия и благополучия. Разве может мужчина (не кто иной, как я) состязаться с женщиной (Роной) в борьбе за привязанность другого мужчины (Уинни)? Хотя, если взглянуть на вещи с иной точки зрения, никакой борьбы или соперничества с моей стороны вовсе и не было. Какое мне дело до того, насколько близки станут Рона и Уинни, до их взаимной привязанности и страсти, лишь бы наше с ним духовное содружество, наше личное и литературное единение осталось непоколебленным. Но сохранится

ли это содружество? Возможно ли это? Я сразу заметил, что Рона ясно отдает себе отчет в том, насколько прочно связывают нас с Уинни внутреннее родство, способность одинаково мыслить и чувствовать. Это был союз, который не так-то легко мог разрушиться или хотя бы отчасти пострадать, даже под влиянием их взаимных отношений. Уинни мог вести себя сейчас как угодно — считать, что он расстался со мной навсегда, ссориться со мною, минутами даже ненавидеть меня, но никогда, никогда я не стану ему безразличен. Нам обоим чутье подсказывало это с самого начала. Ни один из нас не мог ясно представить себе или определить это ощущение, однако оно существовало, оно было так же реально, как стена, или дверь, или, короче говоря, как та абсолютная субстанция, из которой делаются стены и двери или из которой они первоначально возникают. Теперь отношения Уинни с Роной угрожали нашей дружбе, и это очень тревожило меня.

Но я любил Уинни, а потому старался ему верить. Кроме того, благодаря технической и деловой помощи Роны,— она могла, если нужно было, снова и снова перепечатывать нам рукописи очень быстро и притом почти бесплатно,— мы должны были работать быстрее и создавать больше. И, наконец, хотя я очень осторожно и сдержанно относился к гостеприимству Роны и Уинни, нам постоянно предлагали всякие развлечения, а чаще всего приглашали к ней домой. Я убедился, что это был действительно очень приятный дом. Отец Роны, как выяснилось, был полковником и во время Гражданской войны командовал Нью-Йоркским полком — лихой солдат и обаятельнейший человек, который, как рассказала нам Рона, превосходно знал литературу и право. Его дед был офицером во время американской войны за независимость. Во всем доме чувствовались традиции старины. А Рона, ее мать и тетушка были, право же, очень достойными женщинами, мягкими в обращении, скромными и ненавязчивыми. Мать и тетя, улыбаясь, объяснила нам Рона, чрезвычайно набожные катлички и весьма ревностно исполняют все обряды. А сама она ничуть этим не интересовалась. В отношении религии она была, как и ее отец, белой вороной в семье и всегда верила только в то, что считала разумным. Мало того, она была поклонницей литературы

реализма, философии и искусства, потому-то ее и заинтересовал Уинни, говорила она смеясь. А в церкви она бывала редко, только для того, чтобы не ссориться с родными. Но приходила она в церковь веселая, сияющая, точно на прогулку. Бедные мама и тетя! А отец Дули, приходский священник! Он уже давно махнул на нее рукой как на неисправимую грешницу. Ее мать и тетка ценили ее главным образом за то, что она была весьма практична и умела успешно вести их дела. Поэтому они были рады переложить все на ее плечи.

Но какая борьба шла между мной и Роной! Ведь теперь не только Уинни приезжал работать ко мне, но и я ездил работать к нему; часто мы вместе обедали, вместе развлекались по воскресеньям, причем Рона непременно хотела сама платить за все. Нельзя сказать, чтобы я этого хотел! В сущности, если бы Уинни способен был сделать решительный выбор, я бы, не споря, примирился с его решением. Ясно было одно: несмотря на сильное и внезапное увлечение Роны и то, что сам Уинни охотно принимал ее материальную и духовную поддержку, он был, однако, уверен, что его творческая, если не эмоциональная жизнь нераздельно связана со мной. И так как я не мог жить с ним в Джерси-Сити, а навещал его лишь изредка и ненадолго, он приезжал ко мне и оставался иногда на несколько дней, особенно когда у нас была спешная работа. В таких случаях, насколько я знаю, он просто оставлял ей записку или по-том звонил по телефону в бюро, чтобы объяснить свое отсутствие. Бывало так, что я приезжал к Уинни, мы с ним запирались в комнате и занимались неотложной работой. Мы не выходили и тогда, когда Рона возвращалась домой, и ей приходилось подолгу ждать нас. Иногда, как я мог уловить это из телефонных разговоров, она была недовольна. Иногда она даже пробовала сама скрыться на день, на два, но всегда быстро сдавалась и посылала телеграмму или записку с нарочным, прося позволения прийти или приглашая нас на обед. А иногда из самолюбия она делала вид, что у нее очень много работы и ей нужно до позднего вечера задержаться в своем бюро,— тем самым она давала Уинни возможность уехать, не прибегая к отговоркам и не обнаруживая слишком явного невнимания к ней. Делала она это с веселой улыбкой.

И, однако, интерес Уинни к Роне, как я заметил, с самого начала носил какой-то двойственный характер: наполовину, если не больше, это был чисто практический интерес, а в остальном — искренняя, платоническая симпатия, но не более того. Он вообще был человек не слишком чувственный. И действительно, насколько я мог заметить, Рона и все связанное с нею интересовало его в значительной степени потому, что близкое знакомство с нею могло как-то помочь нам — ему и мне (содружеству двух писателей, пытающихся пробить себе дорогу), доставить какие-то удовольствия и удобства. И это было не последней из причин, заставлявших его дорожить отношениями с Роной. Я уверен, что Уинни ставил Рону гораздо ниже нас обоих и по умственному развитию и по душевному складу; он знал, что она его во многом не понимает и только одержима неукротимым стремлением стать чем-то для него: пусть он сделает из нее, что пожелает, все равно что, лишь бы это соответствовало его идеалу. А Уинни (я это понимал, и она сама тоже понимала) больше всего ценил ее за то, что она богата и готова разумно и практично тратить свои деньги ему на пользу.

С другой стороны — и мне часто думалось, с какими, наверно, терзаниями, — он не раз задумывался о том, как плохо и трудно пришлось бы нам одним, то есть без помощи Роны. Что касается меня, то я писал такого рода вещи, которые вряд ли можно было скоро продать издателям и которые не обещали большой материальной выгоды. Помимо этого, в нашей совместной работе я всегда старался ускорять темпы, Уинни же, особенно теперь, склонен был работать с прохладцей. А почему бы и нет? Ведь у Роны есть средства. Она постоянно говорила о развлечениях и то затевала загородную прогулку на субботу и воскресенье, то уговаривала нас поехать к морю или в горы. Поездки эти доставляли большое удовольствие Уинни и нам с женой, хотя сама Рона иногда не могла оставаться с нами до конца. Не все ли равно — лето или осень? Почему бы не наслаждаться, пока есть возможность?

При всем том я чувствовал тогда, как, впрочем, чувствую и теперь, что Рона бывала с избытком вознаграждена, когда ей, хотя бы и недолго, удавалось побыть в обществе Уинни — этого обаятельного, жизнера-

достного мечтателя и поэта. Где и когда еще могла она найти человека, подобного ему, наслаждаться его присутствием, слушать его речи, видеть его улыбку? Как она восхищалась им! Какой красивый у него лоб! Какие ясные, синие глаза! А щеки и губы румяные, как у херувима! И при этом он был настоящий философ, убежденный оптимист, прямо второй Платон; слушая его, самый отчаявшийся человек воспрянул бы духом. Поистине этот юноша был гипнотизером,— мелодией своего голоса, красками и музыкой своей фантазии он, словно магическими заклинаниями, убаюкивал разум и вводил в царство мечты, в область непостижимого и таинственного. Но и в область трагедий, да, да, ибо, как у самого Шелли, его светлый путь шел через трагедии... других людей.

С самым искренним сочувствием я вспоминаю теперь тревогу Роны, ее попытки извлечь все, что можно было, из создавшегося положения. Все ее усилия тогда и позднее, казалось, были направлены на то, чтобы соблазнить Уинни перспективой постоянного комфорта и даже роскоши. Она даже решила помочь его жене и ребенку,— по-моему, она хотела таким образом привязать к себе Уинни. И вскоре последовало очень великодушное предложение: пусть он разрешит ей дать воспитание девочке, отдать ее в школу, а жене можно посылать ежегодно известную сумму денег. В первую минуту оба эти предложения были решительно отвергнуты, но потом, если я не ошибаюсь, были приняты,— во всяком случае семья Уинни получила какую-то материальную поддержку. Кроме того, как я вскоре заметил, Уинни завел себе новые костюмы, новые ботинки и новую шляпу, и притом гораздо лучшего качества, чем все, что он мог позволить себе раньше. Я не преминул сделать из этого некоторые выводы.

Однако, попав в такое затруднительное положение и оказавшись перед выбором — причем у него не было ни желания, ни воли разорвать отношения ни с ней, ни со мной,— Уинни стал придумывать способ, как удержать нас всех вместе. И когда прошла зима и наступила вторая весна нашего знакомства с Роной, он, наконец, нашел этот способ. В один прекрасный день он внезапно объявил с веселым, решительным видом, который всегда придавал такое своеобразие и убедил-

тельность его открытиям и загеям, что вокруг Нью-Йорка ведь немало прекрасных уголков на море и в горах; стоит только нам четверым выбрать подходящее место (впрочем, Рона, вечно занятая в городе, сможет бывать с нами лишь урывками), и мы могли бы немедленно отправиться туда и восхитительно провести время, продолжая при этом усиленно работать. Правда, я с грустью вспоминаю, что с тех пор, как появилась Рона, мы стали работать гораздо меньше. Плохо то, что Рона и на этот раз, по обыкновению, хотела платить за все, а это было уже слишком. Я сразу же отказался. Но Уинни и Рона продолжали настаивать. Они все обсудили. Это так просто. Она собиралась снять или построить где-нибудь на лоне природы маленький домик. Ну мог ли я отказаться от этого? Ведь в то время мы оба мечтали написать по роману. А где могли мы найти более идеальные условия для совместной работы? Предложение было действительно слишком заманчивым, чтобы отвергнуть его, тем более что Уинни и Рона так настаивали. Я призадумался. Как часто я мечтал пожить у моря! А теперь... шепните полуголдному писателю с Граб-стрит о поездке в горы или на берег моря летом — и вы увидите, как трудно будет вырвать у него отказ. Это предложение таило в себе безграничную романтическую прелесть.

Дальше — больше. В начале весны Уинни объявил мне, что они с Ронной, наконец, нашли островок недалеко от берега в Коннектикуте, близ восточной оконечности Фишер-Айленда. Истина заключалась, конечно в том, что Рона, которой он подсказал подобную мысль сама отыскала этот маленький островок, принадлежащий одному миллионеру, владельцу хлопчатобумажных фабрик, и взяла его в аренду на несколько лет. По словам Уинни, они с Ронной уже заключили договор с местным подрядчиком на постройку маленького домика, причем Уинни немедленно описал мне все подробнейшим образом, чтобы получить мое одобрение. Наконец несколько недель спустя, в один прекрасный день он явился и сообщил мне, что дом уже построен, все готово и мы оба можем туда переселиться. Рона сможет приезжать к нам лишь раз в две или три недели на субботу и воскресенье. Остальное время мы будем там вдвоем. «Вот увидишь,— уверял он меня,— там велико-

лепно! Эдем! Рай земной! Нет, подожди! Мы сможем гулять, кататься на лодке, работать, мечтать, лежать в гамаке или сидеть в удобном кресле и глядеть на проходящие мимо корабли. Ого-го! А чайки-то! А маленькие парусники! А легкий прохладный ветерок! А великолепные виды! И не вздумай отказываться. Это было бы просто глупо — не поехать в такое место».

И все-таки меня мучили сомнения. Я относился к этому критически прежде всего потому, что тут был явный привкус паразитизма. Как могли мы — и он, и я, и моя жена — так легко принять приглашение Роны, не имея возможности хоть в какой-то мере отплатить за него? Мало того: ведь Рона не любила меня, и мы с ним оба знали это. Да и как могла она меня любить, ведь я был ее соперником, я оспаривал у нее привязанность Уинни! Да разве она не приготовила этот уютный уголок для себя и для него? Это все добром не кончится. Тем не менее Уинни твердил, что я совершенно не прав. Рона относится ко мне очень хорошо. Правда, она ревнует его ко мне, но это пройдет. Время сгладит все шероховатости. Она поймет, наконец, что мы необходимы друг другу, что врозь мы не можем работать. Нам нужно держаться более тактично, и мы это оба сделаем, он и я.

И вот, когда все было устроено, я в конце концов отправился туда; Рона не могла приехать раньше, чем через три недели, моя жена тоже (ее задержала поездка на Запад). Я попал в настоящую страну чудес — синее море, чайки, паруса, корабли, все удобства и даже роскошь, какие только можно найти в маленьком домике на острове: плетеные стулья, деревянные качели между скал, гребная шлюпка, четырнадцатифутовая парусная яхта и прелестный песчаный пляж с подветренной стороны острова, где можно было купаться. А на другой стороне, в какой-нибудь миле или двух от нашего порога, по проливу шли океанские пароходы и другие суда.

Бывали дни и ночи, когда во время шторма волны свирепо вгрызались в скалы, грохотали и гремели под самым нашим окном. Пасмурные, туманные ночи, когда этот пустынный, крохотный островок лежал как бы окутанный саваном, отделенный от всего остального мира. Слышны были только заунывные колокола бакенов

да мрачные сирены береговых маяков — Рейс Рок, маяка на Фишер-Айленде, на Галл-Айленде и Уотч-Хилл. Но как великолепно было море в хорошую погоду — и на рассвете, и на закате, и в полдень! Вода, освещенная солнцем, колебалась, словно в танце, и весело журчала; ветерок ласково гладил волны, наши щеки и волосы; и облака проплывали, как невесомые корабли по прозрачному морю. Только иногда у скал, где теперь играла легкая зыбь, мы находили выброшенный волнами рангоут, или носовую часть, или штурвал с маленького суденышка, разбитого бурей. А однажды на скалах под самым своим окном я увидел целую штурманскую рубку, на которой ясно видно было название судна: «Джесси Хэйл».

Но никогда нас не покидало ощущение, что море — опасно, неумолимо и коварно. Оно могло быть тихим, как пруд, но вот проходят какие-нибудь полчаса — и перед тобою яростный и окутанный мраком мир: темные дождевые тучи, туман, дождь, град, огромные валы бешено кидаются на скалы этого крошечного материка и наносят ему могучие удары, швыряя пену и соль в наши окна. Иногда, если бы не кустарник, или валун, или сломанное ураганом деревцо, за которое можно было уцепиться, нас совсем унесло бы ветром в открытое море. Сам домик, к счастью, был прочно укреплен тросами, и все же мы не могли отделаться от острого чувства опасности, особенно по ночам, когда бушевал ветер и шумели волны. Что касается Уинни, то он, по-видимому, относился к этому спокойно и даже весело и с восторгом вспоминал острова Греции, мореплавателей и героев древности.

Как это ни удивительно, я никогда не чувствовал себя вполне счастливым на этом островке, я даже не был спокоен и доволен собой, хотя и проводил много времени с Уинни и на море. Ведь та, кому все это по-настоящему принадлежало, оставалась в своем бюро, в Нью-Йорке или в душном доме в Джерси-Сити. А почему я здесь? Потому что этого хочет Уинни, а не она. Потому что он хочет работать со мною и радуется, что я соглашаюсь работать с ним, хотя платит за все она. Все это было так неприятно! Я понимал, что она могла думать обо мне в Нью-Йорке. Я просто физически воспринимал ее мысли. А когда

я говорил об этом Уинни или хотя бы пытался заговорить, он только отмахивался. По его словам, я просто не знал Рону: она такая добрая, великодушная, самоотверженная! А кроме того, ведь они оба и раньше мне объясняли, что работа не дает ей сейчас возможности уехать из города, — это чистая правда.

Тем не менее в иные часы он сочинял и затем отправлял ей длиннейшие послания. Наконец наступил день, когда кое-что из намеченной нами работы было закончено, и мы пригласили Рону и мою жену приехать на остров. Но поверите ли, Рона все еще была робкой и неуверенной в себе. В первый раз она приехала только на субботу и воскресенье и объяснила, что дела заставляют ее вернуться в город. Но через неделю или полторы, окрыленная успехом первого приезда, когда все прошло довольно мило, она уже приехала на две недели и задержалась на целых три.

Однако во время второго приезда у всех нас возникло какое-то неуловимое ощущение неловкости, принужденности — ощущение смутное, неясное, и, однако, мы не могли от него отделаться. И все потому, как я понял впоследствии, что где-то глубоко в основе наших отношений скрывались ложь и самообман, — это отражалось на всех нас, и этого нельзя было исправить или хотя бы отчасти изменить, так как слишком различны были наши характеры и желания. Впрочем, внешне все было хорошо, и, глядя на нас, всякий сказал бы, что тут собралась дружная и веселая компания. День за днем мы купались, ловили рыбу, катались на лодке, мечтали и фантазировали. Разговоры, споры, смех, приготовление еды и уборка посуды, планы прогулок и поездок, удачи и зловключения. Быть может, наиболее явно портил все сомнительный, хотя и подчеркнутый платонизм в отношениях между Уинни и Роной: предполагалось, что никакой иной близости, кроме задушевнейшей дружбы, между ними нет, да и не может быть — разве что они когда-нибудь поженятся. Однако иногда эта платоническая дружба казалась мне лишь довольно прозрачной ширмой, прикрывающей более интимную близость.

Ну и что ж из того, думал я. Хоть Рона и ревновала Уинни ко мне, я искренне радовался, видя их вместе, глядя, как они держатся за руки, как он целует

ее, как она кладет голову ему на колени и он играет ее волосами. Однако при этом в Уинни совершенно не заметно было той пылкости и, главное, стремления остаться с нею наедине, которое вернее всего свидетельствует о подлинной страсти. Нет, этого не было. Уинни не так уж хотелось оставаться вдвоем с Роной. Если ему представлялся удобный случай пойти куда-нибудь с нею, Уинни почти всегда настаивал, чтобы с ними пошли и мы с женой — особенно я. А Рона — явно ради него — тоже настаивала на этом. В конце концов я почувствовал, что он просто пренебрегает ею. Чего ради он старается, чтобы я всегда был вместе с ними? Почему он не хочет уделить ей больше внимания или уж совсем расстаться с нею? В этом была какая-то жестокость.

Может быть, именно поэтому я вдруг обнаружил, что Рона нравится мне больше, чем прежде. Иногда она уж слишком настойчива в том или ином вопросе, думал я; немного рисуется и по временам слишком подчеркивает свое богатство и щедрость, столь резко контрастирующие с нашими скудными средствами. Впрочем, что из того? Конечно, бывали минуты, когда меня раздражала ее способность уж слишком энергично и деловито разрешать всякие материальные затруднения. Она заставляла нас поступать так или иначе. Принимать от нее то одно, то другое. Хочется нам где-нибудь побывать, поехать куда-нибудь? Раз-два! Она тут же вызывает Лору Тренч, свою помощницу, которая неотлучно находилась при ней, точно верный Ахат в женском облике или неотступная тень, и даже жила у нее; этой Лоре Тренч отдавались соответствующие распоряжения и указания, и все, чего бы мы ни пожелали, исполнялось. Я часто думал, что было бы приятнее довольствоваться меньшими благами, но зато оставаться свободным. Но Рона каждую минуту была готова проявить щедрость и великодушие. Она отлично умела все предвидеть и рассчитать заранее, поэтому все шло очень гладко и приятно. Стоило ей приказать — и сейчас же на сцену появлялись корзины с едой, серебряные ложки и вилки, ножи, блюда, кофейный или чайный прибор; всем этим ведала упомянутая Лора, у которой был лишь один недостаток: ее никак нельзя было назвать приятным спутником или товарищем. В то время

я часто думал, что таков уж характер Роны и ее взгляды на жизнь: ей просто необходимо о ком-нибудь заботиться, кого-нибудь опекать, это подлинно широкая и отзывчивая натура. Но мне ли судить ее? Поэтому я иногда невольно жалел ее. Я чувствовал, что она и сама не может понять, как попала в такое нелепое, неестественное положение. На каком основании я отрицаю у Уинни столько времени, которое он мог бы проводить с нею? Почему я не уеду и не оставлю Уинни в покое?

Не будь я внутренне связан, я бы, конечно, так и поступил, но пока что я был не более свободен в выборе, чем Рона. В этом жалком и глупом положении я оставался так долго только потому, что хорошо знал: я нужен Уинни не меньше, чем он нужен мне, не меньше, чем ему нужна Рона, даже больше. Я знал, что именно в нашем сотрудничестве, а не в ней, спасение для его ума и таланта. Боюсь, что и она понимала это. Но для нее, как и для меня, он был воплощением света и веселья — обаятельный, жизнерадостный, он спасал нас от свойственных, видимо, не только мне, но и ей мрачности и уныния. Однако в эти дни внешне Рона была со мной неизменно мила и приветлива. А Уинни всегда оставался самим собой — яркий, своеобразный, настоящий поэт и мечтатель, он увлекал нас в область красоты и мысли. Быть рядом с ним — значило носиться по сверкающему океану фантазии. Его душа, подобно крылатому гению фантазии, словно порхала вокруг всего прекрасного и обаятельного и старалась избегать и не замечать всего темного и печального.

И, однако, несмотря на все это, или, вернее, именно поэтому, Уинни, строивший такие великолепные планы и обещавший, что мы будем здесь много работать, теперь и слышать не хотел о работе. Как, писать здесь, сейчас? «Ах, оставь, пожалуйста. Не будем слишком торопиться. Нельзя создать шедевр, пока не пришло подлинное вдохновение. Давай-ка еще немного поразмыслим. Еще не все откристаллизовалось в нашем сознании». И с этими словами он отгонял от себя творческую энергию и решимость, овладевшую было им или мною, и взамен отдавался тому *dolce far niente*¹, ко-

¹ Сладостное безделье (итал.).

торое, по правде говоря, и являлось его излюбленным занятием. И вот, прожив там вместе с ним больше месяца,— теперь я вижу, что это было драгоценное время, хоть и потраченное даром,— я пришел к убеждению, что уже нельзя заставить его подолгу над чем-нибудь работать. Он предпочитал валяться на песке, или в гамаке, или растянуться в тени на скале и мечтать и грезить, любуясь морским простором. А я, наблюдая за ним, готов был думать, что лучше бы сама природа, или жизнь, или еще что-то избавило его от необходимости трудиться, и тогда ему довольно было бы одной Роны.

С другой стороны, когда Рона была около него, я не всегда так чувствовал. Ведь ей совершенно не была свойственна характерная для него влюбленность в красоту. Наоборот, для Роны, мне кажется, вся красота мира была заключена в нем, и только в нем. Благодаря ему она узнала счастье, но счастье это было мучительно. Ныне ты вознес меня в рай! Но как он мог удержать ее там? Стоит ему отпустить ее руку, и она оступится и полетит вниз на землю из этих хрустальных чертогов. Я был уверен в этом. Вот откуда голод, безмерная тоска в ее глазах, отчаянное, безнадежное стремление к нему. Я прекрасно понимал, к чему это может привести. И я думаю, она смутно сознавала, что я понимаю все, и ненавидела меня за это. Я был для нее вечной угрозой, змеей, притаившейся в траве, Мефистофелем, насмешливо поглядывающим из-за цветущих и душистых виноградных лоз.

Некоторое время спустя у нас с Уинни произошел разговор, во время которого я пытался внушить ему, как это все недостойно и некрасиво. Мы не работаем. Почему бы мне не уехать? Но нет, он не хотел и слышать об этом. Как, я собираюсь покинуть его? Неблагодарно! Несправедливо! «Боже мой,— воскликнул я однажды про себя,— до чего все запуталось!»

Какая досада, ведь все было так хорошо — и оборвалось так скоро, может быть, навсегда!

И вот я остался, и на моих глазах менялось его отношение к Роне. Он становился все более беспокойным, резким, нетерпеливым и явно уже не был счастлив и доволен, как прежде. Однажды я увидел, как Рона плакала,— она была одна и думала, что поблизости ни-

кого нет. Причиной была морская прогулка. Мы часто выходили в море на лодке под парусами; Рона плохо переносила качку и не раз говорила, что предпочитает оставаться на берегу. Но Уинни не оставлял ее в покое. Напротив, именно тогда, когда разыгрывался свежий ветер и волны бились в борта и швыряли нашу маленькую лодку во все стороны, Уинни бросал свое место у руля и требовал, чтобы Рона сама управляла лодкой. Но к каким печальным результатам это приводило! Рона всегда тщательно следила за своей наружностью, и если ветру случалось растрепать ей волосы или у нее оказывались в беспорядке шарф, юбка, чулки, она вдруг начинала заниматься своим туалетом и отпускала руль. И тогда беспомощная лодка оказывалась во власти волн, кренилась на борт или зарывалась носом в воду, и нам всем угрожала опасность перевернуться и утонуть. Уинни приходил в ярость!

— Рона, да что же вы делаете? Что я вам говорил? Вы не должны отпускать ни руль, ни шкоты. Здесь не место поправлять прическу. Что, вы не можете подождать, пока мы причалим к берегу или пока я возьму руль?

К моему удивлению, в голосе его звучали теперь металлические нотки строгого и раздраженного наставника. Он, по-видимому, совершенно не обращал внимания на то, как очаровательно выглядит в такие минуты Рона.

Я вспоминаю летний вечер, когда мы плыли к острову Бадж, находившемуся в миле с небольшим от нашего островка. Мы шли на четырнадцатифутовой парусной яхте, которая была нашим единственным средством сообщения, помимо гребной шлюпки. Треугольный парус стремился выскользнуть из своих гнезд, а руль был привешен не очень точно. Мимо нас неслись и пенились гребни волн, и нос яхты высоко поднимался в воздух. Рона, как обычно, захватила с собою весь свой набор туалетных принадлежностей и сумочку, которая была прикреплена к поясу золотой цепочкой. Уинни все время донимал ее упреками, спрашивал, как она будет править и почему не оставила дома всю эту дребедень. Она отвечала, что сожалеет об этом, но постарается быть осторожной. И она действительно была осторожна, пока яхта неслась мимо скалистой оконечности ост-

рова и выходила в пролив с такой быстротой, что у нас звенело в ушах. Ветер стремительно гнал по небу огромные облака.

Потом мы заговорили о чем-то, и вскоре Рона забыла о парусе. Она занялась своими безделушками и слишком сильно натянула шкот. Яхта резко изменила курс.

— Рона! — сердито крикнул Уинни. — Следите за тем, что вы делаете.

Рона, испуганная его окриком, вместо того чтобы исправить свою ошибку, слишком сильно дернула шкот, ветер наполнил парус сзади, и неожиданно повернувшийся гик пронесся над нами; мы едва успели нагнуть головы. Шкоты вырвались у Роны из рук, и яхта стала бортом к волне; огромный вал подхватил нас, а следом вздымался новый вал. «Очень мило, — подумал я, — если дальше пойдет в том же духе, то все мы скоро очутимся в воде». И все же мне было жаль Рону. Она и сама заметно огорчилась. Изо всех сил она потянула за шкот, а именно этого и не следовало делать. Парус захлопал у самого носа яхты, она сильно накренилась и закачалась. Я сидел впереди всех и теперь пытался дотянуться до паруса и исправить дело; Уинни схватил весло и усиленно работал им, выравнивая яхту, пока я, наконец, не поймал парус. Когда шкот снова очутился в руках у Уинни, он обрушился на Рону.

— Сумасшедшая! — яростно зашипел он. — Когда вы научитесь управлять яхтой?

Рона вся вспыхнула, глаза ее засверкали.

— Я не хочу, чтобы вы говорили со мною таким тоном, — сказала она. Затем тише, но очень решительно добавила: — Тогда правьте сами. — Видимо, она была глубоко оскорблена.

— Нет! — настаивал Уинни. В его голосе появились визгливые нотки. — Или вы научитесь, наконец, управлять яхтой, или я вас больше никогда с собой не возьму!

«Ого, — подумал я, — сильно сказано! Как будто все здесь — и яхта, и домик, и остров, и сама Рона — его собственность!» Но, поймав ее растерянный взгляд, я отвернулся, а она, закусив губу, снова попыталась взяться за управление яхтой. Но и на этот раз — теперь уже просто от волнения — она замешкалась и, од-

ной рукой держа шкот, другой старалась разложить у себя на коленях свои любимые безделушки, чтобы не растерять их. При этом опять на какую-то долю секунды шкот натянулся сильнее, чем следует, и руль снова перестал ей повиноваться. Уинни пришел в ярость; дотянувшись до Роны, он схватил ее за руку, вырвал у нее все эти вещицы — кошелек, коробочку с красками и помадой, карандаш для бровей, маленькую записную книжку с золотым карандашиком, какие-то позолоченные флакончики — и швырнул все это за борт, причем Рона даже и не пыталась протестовать.

Едва мы пристали к берегу, Рона быстро пошла прочь; она была бледна как полотно. Надо отдать справедливость Уинни, он почти сразу же догнал ее, и вскоре мир был восстановлен. Слезы ее высохли, и обычная улыбка вновь заиграла на губах. А потом, в полночь, когда он самым поэтическим образом разостлал на скале свой соломенный матрац, Рона подошла и устроилась по соседству, притащив с собою изящное шелковое одеяльце. Она была рядом с ним и, поверьте, чувствовала себя счастливой — или почти счастливой.

То же самое происходило и во время рыбной ловли. Рона делала вид, что ей нравится ловить рыбу. Но трепетанье пойманной рыбы, необходимость насаживать приманку на крючок, а потом, пачкая руки в крови, извлекать его из рыбьей глотки — ко всему этому она испытывала непреодолимое отвращение. Иногда я просто поражался тому, как упорно она притворялась, что ей все это доставляет удовольствие, но радость быть рядом с Уинни вознаграждала ее за все. Однако в целом атмосфера постепенно становилась не только неприятной, но прямо гнетущей. Во всем этом не осталось и следа той красоты, ради которой мы сюда приехали.

Поэтому теперь, видя, как переменялся Уинни и как Рона от этого страдает, я решил уехать. Что толку оставаться? Жизнь здесь не приносит мне внутреннего удовлетворения. Не испытывают его и Уинни, и Рона. Да и работа наша не двигается с места. И вот, не слушая их возражений, я подыскал благовидный предлог и возвратился в Нью-Йорк.

Но невеселые мысли одолевали меня. Разумеется, Уинни, у которого совсем нет денег, пока что не рас-

станется с Роной, как бы он ни был ею недоволен. А она, как бы ни была недовольна тем, что я с ним (когда думает о себе), или тем, что я уезжаю (когда думает об Уинни; притом, огорченный, он, пожалуй, станет хуже относиться к ней!), все равно сама ничего не предпримет, если Уинни этого не пожелает или своим поведением не вынудит ее решиться на какой-то шаг. Короче говоря, возникло совершенно ненормальное положение, и его нельзя было ни облегчить, ни разрешить с помощью доброй воли кого-либо из нас или всех вместе, как бы мы себя ни вели.

И вот всему этому пришел конец. Уинни объявил, что он намерен вернуться в Нью-Йорк вместе с Роной. Наши планы остаются в силе, нас ждет совместная работа. И она должна быть выполнена. Но она так и осталась невыполненной. Правда, Уинни несколько раз давал о себе знать. Может быть, я вернусь? Он и Рона хотят повидать меня.

Но я не вернулся. Мне нужно выехать из Нью-Йорка по заданию редакции — так я объяснил свой отказ. Уинни, должно быть, обиделся, хотя я в этом не уверен; но, решив, по-видимому, всецело посвятить себя Роне, он совсем перестал писать, и я ничего не знал о нем до поздней осени, когда он явился ко мне и сообщил, что они с Роной поженились. Он все обдумал и решил, что иначе поступить не может. Жена дала ему развод, — как я потом узнал, при посредничестве Роны, которая ездила на Запад, чтобы повидаться с нею. Была улажена и материальная сторона, конечно, с помощью той же Роны. Теперь они поселились в Джерси-Сити, в старом доме, где издавна жила семья Роны. Оба они будут рады видеть меня у себя (услышав это, я с трудом удержался от улыбки). И между нами все будет по-прежнему, — так я должен был понять его. Мы ведь собирались вместе работать над нашими романами: каждый над своим, но помогая друг другу. Кроме того, он больше не будет беспокоиться о деньгах. Он намекнул, что, если я только пожелаю, мне тоже не придется больше беспокоиться об этом, по крайней мере пока я буду писать свой роман.

Но, будучи щепетилен в таких делах и вдобавок сомневаясь в том, насколько хорошо относится ко мне Рона, я отказался. Кстати, побывав несколько раз

у них в доме, я убедился в своей правоте. Внешне Рона была по-прежнему дружелюбна и настойчиво поддерживала просьбы Уинни, но за ее веселой улыбкой скрывалась тревога: видимо, она считала, что мое возвращение не обещает ей ничего хорошего. Как бы Уинни не охладил к ней. И зачем это нужно, чтобы я бывал у них? Зачем Уинни настаивает на том, чтобы я был здесь третьим, разве ему недостаточно ее общества? Рона никак не обнаруживала свое настроение, я только ощущал его, но не подавал виду, напротив — притворялся, что во всем согласен с ними. И в то же время я думал — как странно, что именно недостаточно пылкое чувство Уинни к жене в конечном счете отдалило нас друг от друга: если не внутренне, то внешне мы стали почти как чужие. Навряд ли придется нам снова работать вместе. Ей это не нравится, и она постарается этого избежать.

Все же еще некоторое время и Уинни, и я нет-нет да и пытались восстановить наше творческое содружество. Бывали дни, когда он приезжал ко мне или я к нему. Но снова и снова я чувствовал, что Рона относится к этому со страхом и враждебностью. Я хочу отнять его у нее. Только я один и омрачаю их супружеское счастье. Но в действительности все было гораздо хуже, и она сама это понимала. Дело было не во мне, а в Уинни или в самой жизни. И тут Рона не могла ничего изменить. Ибо, как я начинал понимать, таков уж был характер Уинни, что при всем своем обаянии, при умении ярко и красочно рассуждать он нуждался в какой-то кристаллизующей или движущей силе, которая помогла бы слить его многообразные порывы в законченное литературное произведение. И к тому же, чем больше я работал вместе с ним, тем больше убеждался, что гораздо лучше смогу работать один. Теперь я уже понимал, что он слишком большой фантазер, слишком рассеян и неустойчив. Он не мог, да и не хотел сосредоточиться на своей работе. И раз Рона все равно никогда не будет хорошо относиться ко мне, чего ради я стану беспокоиться? Он создал себе собственный мир. Рона уладила все его материальные затруднения, и я, в сущности, ему совершенно не нужен. И вот в конце концов, поняв мое настроение, он, видимо, решил идти своей дорогой.

Затем последовало несколько месяцев молчания. Мне даже становилось грустно, когда я думал, что наша яркая дружба оборвалась навсегда. Хорошие были времена! Какой я был идеалист, каким значительным и важным казалось мне все, связанное с нашей дружбой! А потом я случайно встретил на одной из нью-йоркских улиц Лору Тренч — секретаршу и помощницу Роны, ту самую, что сопровождала нас в загородных поездках. Я с интересом выслушал ее рассказ о том, как изменилось отношение Роны к ее любимому делу, в котором она прежде проявляла столько энергии, находчивости и рвения. Рона и Уинни поженились, это верно, — рассказывала секретарша. И Рона очень довольна и счастлива, даже и теперь, наверно, будет счастлива и впредь, лишь бы Уинни вел себя разумно. Но вот в чем загвоздка: он слишком непрактичен, все время подбивает Рону на разные авантюры, которые, кроме вреда, ничего ей не приносят. Вот, например, несмотря на возражения ее матери, Рона уже потратила огромные деньги на переделку их старого дома в Джерси-Сити и на устройство рабочего кабинета для Уинни. Остров им тоже надоел, — впрочем, Роне там никогда не нравилось, — и теперь они обзавелись домиком в горах Кэтскил и по временам отправляются туда. Мало того, они еще задумали расширить и улучшить там свой участок, потому что он не вполне отвечает вкусам Уинни.

— Но как же это они вдруг решили пожениться? — спросил я. — Я-то думал, что они просто хорошие друзья.

— Добрые друзья, как бы не так! — отвечала моя собеседница, подавляя вздох. — Он, может быть, и считал себя просто добрым другом. Но Рона смотрела на это иначе. Она с самого начала была влюблена в него, а теперь ее прямо не узнать. Никогда бы я не поверила, что женщина может так перемениться. Да еще такая самостоятельная и сильная женщина! Рона совсем помешалась на нем, и он помыкает ею, как рабыней. Она ни в чем не может ему отказать. Если бы только мать ей позволила, она продала бы дом в Джерси-Сити и уехала оттуда, потому что Уинни там не нравится.

— Но... любовь... вы же понимаете, — вставил я.

— Да, да, любовь. Конечно, любовь! — продолжала Лора. — Бывало, каждый день с самого утра и до позднего вечера Рона в бюро, а с тех пор как они пожени-

лись, она ни разу не приходила раньше десяти, да и то готова бросить все и бежать, едва он ее позовет. О себе-то я не беспокоюсь, у меня всегда будет работа. Но если бы не я и еще некоторые девушки, которые давно у нее работают, право, не знаю, что было бы теперь с бюро. Знаете, после того, как вы уехали с острова, она оставалась там еще целых полтора месяца, и все вопросы решались у нас по телеграфу, да я ездила туда на субботу и воскресенье, чтобы поговорить о делах. А теперь Уинни подбивает ее вложить деньги в ферму в Ньюарке,— он, видите ли, воображает, что разбирается в сельском хозяйстве.

В словах моей собеседницы звучала обида,— наверно, Уинни держался с нею как хозяин, как диктатор. Но меня больше заинтересовала нарисованная ею картина теперешней жизни Роны. Прежде, до знакомства с Уинни, Рона была всецело погружена в деловые интересы и заботилась только о своем бюро. А теперь она почти все время занимается разными литературными делами. Когда-то бюро было для нее всем, а теперь, выйдя замуж, она мечтает отделаться от него, чтобы посвятить себя книгам. Каждый вечер, рассказывала Лора, с девяти часов и до полуночи, а иногда и позже, Рона слушает, как Уинни читает вслух, или же сама что-нибудь ему читает, или стенографирует, если ему вздумается диктовать ей свои рассказы, а чаще главы из романа, над которыми, объяснила Лора, он все еще пытается работать.

И подумать только, что он работает над этим своим первым романом, может быть, заканчивает его, в то время как я со своим романом, попросту говоря, топчусь на месте! Эх!

Из дальнейших объяснений Лоры я понял, что дела ее начальницы идут неважно: некоторые крупные заказы, прежде поступавшие к ней и сохранявшиеся за нею, потому что она сама об этом заботилась и тщательно следила за их выполнением, теперь попадают в руки конкурентов. Короче говоря, ее предприятие уже совсем не то, что было. Только за это лето пришлось уволить нескольких машинисток. И все-таки Рона ни на что не обращает внимания и говорит, что сейчас главное и основное — это роман Уинни, а остальные дела могут подождать.

Все это меня изумляло.

Больше я ничего не слышал об Уинни и Роне до конца февраля следующего года, когда сам Уинни приехал ко мне и привез рукопись своего незаконченного романа,— он написал примерно две трети. Он сказал, что всю зиму упорно работал, но так и не смог довести дело до конца. К тому же, напрямик заявил он (нельзя было не любить его за эту простоту и откровенность, за полное отсутствие литературных претензий), он боится, что отдельные места написаны без вдохновения. Не прочту ли я рукопись? Он хотел бы посоветоваться со мной. Потом, узнав, что я тоже все еще работаю над романом, он стал упрашивать меня показать ему написанное. Он прочтет и честно выскажет свое мнение. Мы могли бы, просто обязаны, как он выразился, поработать над этими вещами вместе. Почему бы и нет? Мы же всегда были самыми близкими друзьями. Но я вспомнил, как относилась Рона к моему предполагаемому влиянию на Уинни; это отношение, вероятно, не изменилось, вот почему я колебался и прямо сказал ему об этом. Тогда Уинни объявил, что раз этот узел все равно не распутать (Рона и в самом деле немного ревнует его ко мне, и наша привязанность друг к другу ей не очень нравится), то не лучше ли просто не обращать на это внимания? Разве наша работа не важнее всего?

В эту минуту я понял — да и все время понимал,— что Уинни по-прежнему дорог мне и всегда будет дорог. В наших отношениях было что-то, стоявшее выше всех наших собственных и чужих ошибок, настроений и капризов. Мы могли и должны были работать вместе.

Итак, еще одна попытка, благодаря которой появились в конце концов два романа: сперва мой, потом его. Но для этого потребовалось, чтобы он приезжал ко мне тайком, в дневные часы. И все же он по-прежнему старался доказать мне, что нет на свете женщины более отзывчивой и преданной, чем Рона: она исполнена добрых намерений, готова на все, лишь бы оказаться по-настоящему полезной ему в литературных трудах. Она обладает не только практическим опытом, но и воображением, только, к сожалению, недостаточно близка ему по духу. Печально, но факт. Рона не умеет по-на-

стоящему вдохновлять его, она ни разу не подсказала ему те нюансы и оттенки, которые совершенно необходимы в его работе. Зато в менее важных вещах она прекрасная помощница: перепечатывает все, что надо, на машинке, пишет под диктовку и тому подобное. Помимо того, он слишком привязан к ней, слишком благодарен за все, что она сделала и делает для него, чтобы обращать внимание на отдельные ее недостатки. Она такая щедрая, любящая, милая... Разве я сам этого не знаю?

Однако весной планы его переменялись, еще ни одна из законченных книг не успела выйти в свет, а он отправился в горы, в домик, выстроенный для него Роней: какие-то новые переделки требовали его присутствия. Отчего бы и мне не поехать туда? Как будто он сам не знал отчего!.. Но в это время мои денежные и литературные дела изменились, и мне пришлось уехать на Запад, а потом на Юг. Более того, запрещение, наложенное на мой роман, и жестокая критика, которой он подвергся в печати, поставили меня в такие тяжелые моральные и материальные условия, что некоторое время я был не в состоянии взяться за какую-нибудь серьезную работу. А между тем Уинни, завязавший новые знакомства, понемногу совсем отдалился от меня. Довольно долго я не получал от него вестей и, угнетенный, почти больной, тосковал об ушедших светлых днях. Еще позже, когда он написал и напечатал несколько новых книг, мне довелось слышать о Роне, как о жене писателя, подающего большие надежды, и о том, что она, тяготясь своим машинописным бюро, полностью передала его другому лицу. Этим лицом оказалась Лора, которая решила сохранить долю Роны в предприятии, оставив за ней несколько паев.

Кроме того, мне сообщили, что после всех литературных успехов Уинни, он и Рона переселились в свой домик в горах если не навсегда, то по крайней мере на некоторое время и что Уинни уже работает над новой книгой — три книги одна за другой! А я что делаю? — спрашивал я себя. — Плыву по течению? Стало быть, я неудачник?

Что касается книг Уинни, то первый роман был, по-моему, довольно интересный, написанный в реалистической манере, но, насколько я понимаю, совершенно

не в его духе: чрезмерный, подчеркнутый реализм только разрушал целостность впечатления. Уинни не умел видеть жизнь такой, как она есть. Следующим его произведением было красочное (но для меня, хорошо знавшего Уинни, явно романтизированное) описание его самого в роли фермера, вернее, джентльмена-земледелаца, причем удачливого и энергичного фермера и джентльмена-земледелаца, которому его тридцать—сорок акров, расположенные в горах, приносят недурной доход. Но слишком много было здесь неопределенного, слишком часто автор, сам того не желая, намекал на ошибки и неудачи своего героя, и от этого вся книга становилась неискренней, неправдивой. Это заставило меня задуматься. Третьей книгой была яркая, но романтически приукрашенная повесть о самом себе, о его жизни в городе, в семье Роны; здесь было много подробностей, мне известных, но тон такой преувеличенно хвалебный и восторженный, что цена этой книге, как правдивому художественному произведению, была невелика. Только одно заинтересовало меня во всех книгах: восторженно и с большим изяществом написанный портрет Роны — жены и верной помощницы как в творческой работе, так и в практических делах; этот портрет, как я чувствовал, должен был очень польстить Роне. Уинни неизменно рисовал ее женщиной доброй, умной, терпеливой и нежной, вдумчивым критиком, умеющим дать дельный совет. Вполне возможно, что так оно и было. Но счастливы ли они по-настоящему? — думал я. Мне как-то не верилось. И все же я готов был поверить, что безграничная щедрость Роны могла в конце концов изменить его отношение к ней.

Примерно через год я вернулся в Нью-Йорк и снова встретился с Роной, а потом и с Лорой Тренч. С Роной я говорил всего несколько минут; вид у нее, как всегда, был цветущий, но при этом она казалась беспокойной и озабоченной. Они с Уинни, торопливо рассказала Рона, по-прежнему проводят лето в горах, а зиму в Нью-Йорке. На остров они наведываются очень редко. Мать ее умерла, дом в Джерси-Сити продан, старая тетушка поселилась у дальних родственников. Они с Уинни задумали совершить поездку по Новой Англии. Но когда вернутся, я обязательно должен побывать у них. Она скажет Уинни, и он напишет

мне — когда именно. Потом она ушла. Но во время этого разговора я почувствовал, что в Роне по-прежнему сильно беспокойное, напряженное недоверие, с которым она относилась ко мне с самого начала.

Следующей осенью, так и не получив ни слова ни от Роны, ни от Уинни, я случайно встретился с Лорой и тут же узнал все новости. Рона и Уинни вернулись в свою городскую квартиру: Централ-Парк Уэст, ни больше, ни меньше! Лора довольно часто виделась с ними в связи с делами переданного ей бюро. Именно она помогала им устраиваться сперва в горах, а потом на новой городской квартире, она и до сих пор многое делает для них. Но роль доброго вестника плохо подходила Лоре, она все видела в самом черном свете.

Уинни — джентльмен-фермер? О боже! Рона — счастливая жена? Ах, какая чушь! И что говорить о творческой индивидуальности Уинни! Это надо видеть и слышать!.. А как терпеливо и даже смиренно переносит Рона его претензии и капризы! Короче говоря, по словам Лоры, Уинни был наихудшим экземпляром фермера-джентльмена, какой она когда-либо встречала. Если верить ей (а эта молодая женщина всегда недолюбливала его, но была очень предана Роне), Уинни был самый «зеленый» и в то же время самый рьяный, упрямый, несговорчивый и самоуверенный фермер из всех фермеров-джентльменов! И вот, донельзя избалованный Роной, которая во всем ему потакает, он вздумал устроить свой собственный земной рай, который приносил бы доход, и хороший доход! Только дохода почему-то не было! А сколько нелепостей он при этом затевал, как командовал Роной! Прямо удивительно, что она еще жива и здорова. Во-первых, ферму или поместье — как хотите, так и зовите — нужно было привести в образцовый порядок, который обошелся очень дорого. Рона только и знала, что платить по счетам: инвентарь, скот, служебные постройки — то одно, то другое, и все это ради земельного участка довольно сомнительного качества, за который с самого начала заплатили дороже, чем следовало! А потом все эти соседи-фермеры, строители, поставщики! Поняв, что они имеют дело с простофилей, который ничего не смыслит в хозяйстве, они начали сбывать ему всякий хлам и да-

вать вздорные советы. Коттедж, который в то время должен был стоить не больше двух тысяч долларов, тем более что все строительные материалы есть на месте, обошелся им в семь тысяч! Больше тысячи долларов Уинни потратил на орудия и машины, которые ему совершенно не нужны; купив их, он сразу терял к ним всякий интерес, не пытался использовать их по назначению и не проверял, как пользуются ими наемные работники; уйму денег он потратил на покупку скота и о нем тоже совсем не заботился.

А все эти люди, которые работали или делали вид, что работают на него? Одни с помощью местных батраков выкопали колодезь и погреб, другие построили теплицу, скотный двор, проложили дорогу, возвели всякие заборы и ограды — и все это было сделано плохо, а главное — все было ни к чему, так как сельским хозяйством он почти не занимался. Его свиней и кур силки болезни и растаскивали воры. Одну из коров поккалечили: кто-то напустил на нее собаку. Сам Уинни, пытаясь свалить дерево, подрубил его не с той стороны, так что оно, падая, повредило угол крыши. Так шло четыре года, причем — особенно первое время — Уинни пытался еще и писать, но последние год или два стал жаловаться, что обязанности земледельца мешают ему заниматься литературой. И вперемежку со всем этим — поездки то в Нью-Йорк, то на остров, а однажды даже к брату Уинни; брат обосновался в штате Орегон и занялся там разведением яблоневых садов; глядя на него, Уинни тоже заинтересовался садоводством и, возможно, отправится туда, а ферму бросит на произвол судьбы.

«Счастливица Рона! — подумал я. — По крайней мере у тебя есть кто-то, о ком надо постоянно тревожиться, так что некогда думать о тщете бытия!»

Однако Лора была очень озабочена судьбой Роны. Ведь, помимо всего, о чем она рассказала, было ясно, что Рона нестерпимо надоела Уинни и что он если не прямо, то косвенно показывает это всеми возможными способами.

— Если б я не знала, как она его любит, я бы просто не поверила, что она способна все это терпеть. Кто угодно, но не Рона! У нее самой был всегда слишком властный нрав.

К тому же — Лора прекрасно видела это — Уинни заставлял Рону разделять с ним все его увлечения, а они постоянно менялись: то земледелие, то разведение молочного скота, то куроводство или огородничество. И всегда он заставлял ее делить с ним ответственность за неудачи, заранее требуя, чтобы она одобряла все его затеи. И чтобы все не пошло прахом, Роне самой приходилось работать не покладая рук — следить за людьми и делами, которые ее ничуть не интересовали, но которыми кто-то должен был заниматься, раз этого не делал Уинни. А стоило ей выразить недовольство или пожаловаться, как Уинни приходил в ярость, или погружался в угрюмое молчание, или уезжал в Нью-Йорк, а это, по словам Лоры, было для Роны всего мучительнее. Боязнь потерять его — вот что преследовало ее неотступно!

Ведь какие ходят слухи! В том же доме, где они снимают квартиру в Нью-Йорке, живет какая-то литературная дама, и Рона ревнует к ней Уинни. Прежде она была актрисой и написала книгу. И вот с этой-то женщиной, ничуть не более интересной, чем Рона, Уинни танцует и ездит по ресторанам. А однажды — и это хуже всего — Рона нашла письмо, которое Уинни написал мне, но забыл отправить; в письме упоминалось о встрече со мной и о совместной работе, — раньше Рона об этом ничего не слышала. И это открытие оказалось для нее самым тяжким ударом.

— Хотите — верьте, хотите — нет, — добавила Лора, — но вы больше всего отравляете ей жизнь. Она все еще думает, что вы каким-то образом настроиваете Уинни против нее. Я уверена, ей кажется, что, если б вас не было, он бы лучше относился к ней. Вы ее никогда не любили, говорит она, а всегда внушали ему, что она недостойна.

Я всплеснул руками. Ведь из всего, рассказанного мною, ясно, что я мог оказывать влияние на Уинни не более, чем на движение Сириуса или Нептуна по их орбите. Да я давно уже и не стремился влиять на него. Все это предано забвению. К тому же, объяснил я, надеясь, что это дойдет до Роны, в последний раз ведь не я его разыскал, а он искал встречи со мной. Лора согласилась, что это верно, но поскольку Уинни опять стал неспокоен и всем недоволен, а я снова в го-

роде, Рона по-прежнему боится моего влияния. Тем более что, по словам Лоры, Уинни поговаривает о новой книге, и Рона боится, как бы он не вернулся ко мне или не уехал куда-нибудь с этой молодой актрисой.

Надо сказать, что я уже порядком устал от Уинни и его выходок и очень жалел Рону, поэтому я тут же раз и навсегда решил больше не встречаться с Уинни. И я действительно не видел его несколько лет. Но за эти годы, как я понял по рассказам разных людей (в том числе Лоры, брата Уинни — Доналда, преуспевавшего организатора Общества садоводов на северо-западе, а также нескольких общих друзей), во взаимоотношениях Роны и Уинни наступил третий и, как впоследствии оказалось, последний этап. Видимо, в ту пору Уинни почувствовал, что сельскохозяйственные опыты его не удовлетворяют, и вдохновение слишком долго не приходит, и с Роной становится скучно, а как раз в это время на горизонте появился его брат и подал ему новую мысль. Чем Уинни, в сущности говоря, занят? — спросил он. Ничем! А ведь он всегда замечал, что Уинни обладает необычайным даром убеждать людей, может искусно и ловко внушить другому все, что хочет. Так почему бы ему не вступить в это Общество садоводов? Он станет крупным дельцом. (Это, должно быть, сразу воспламенило воображение Уинни.) Он мог бы помочь распродаже огромного количества земельных участков в Орегоне. Стать магнатом. Яблочным магнатом! Тут можно нажить миллионы!

Верный себе, Уинни немедленно увлекся великолепием этой затеи и скрытыми в ней возможностями. А может быть, он увидел здесь путь к свободе, к новой, более интересной жизни. Во всяком случае, для них с Роной опять все изменилось. Ибо Уинни сразу решил, что в этом новом смелом предприятии она будет ему очень полезна. Она должна будет претворить в жизнь его финансовую мечту. А Рона, как легко угадать, охотно и даже с радостью согласилась. Ведь если Уинни уедет из Нью-Йорка, может быть, больше не надо будет опасаться всего того, что ей здесь угрожает. Да, конечно, так! И вот они стремительно снялись с места и переехали в Орегон; там построили бунгало и приобрели автомобиль, в котором для них соединя-

лось приятное с полезным, так как разработка и продажа участков требовали постоянных разъездов.

Но, как я услышал еще позже, именно Рона, а не Уинни, достигла здесь настоящего успеха. Доналд, брат Уинни, рассказал мне несколько лет спустя, что с самого начала именно Рона превосходно разбиралась в качествах каждого участка, в методах разработки и продажи и во всей технической стороне дела. Но следовало еще убедить некоторых деловых людей на Востоке вложить капиталы в яблоневые сады, и вот для этого нужны были таланты Уинни. Ибо, как однажды сказал мне Доналд, Уинни — это сама убедительность. Теперь ему приходилось часто ездить в Нью-Йорк, чтобы сбыть те или иные участки, в то время как Рона должна была оставаться на Западе, — и это больше всего ее тревожило. Снова ее стала терзать ревность. Ведь там, в Нью-Йорке, живет соперница — литературная дама. И мало ли еще соблазнов в большом городе? А их квартира, где Уинни останавливается, приезжая в Нью-Йорк?

Но истина заключалась в том, что любовь, если она и существовала когда-нибудь, уже умерла. Или, во всяком случае, умерло то влияние, которое когда-то деньги Роны оказывали на юнца без гроша за душой. Теперь Уинни общался в Нью-Йорке с людьми более богатыми. Я хорошо знал это потому, что однажды случайно встретил его в кругу людей, обычно проводивших время в Глен-Ков и Ойстер-Бэй. Это был мир больших денег, его олицетворяли биржевики, банкиры и светские бездельники. Далее, как мне самому пришлось убедиться, потому что в те дни я бывал везде и всюду, Уинни уже волочился за молодой и обворожительной богатой вдовушкой, которая только что «открыла» его и считала «просто замечательным». Да он и был во многих отношениях замечателен, особенно когда судьба ему улыбалась. Вновь встретившись со мной, он тут же начал рассказывать о своем новом предприятии. Это превосходное, великолепное дело, вернейший путь к богатству. Может быть, я присоединюсь к нему? Для этого нужно только одно — деньги. Но их-то у меня и не было. «А как Рона?» — спросил я. О, Рона... превосходно... лучше некуда. Совершенно поглощена этим новым, великим начинанием, вкладывает в него всю душу. Все бросила, ради того чтобы поехать туда и действовать,

а уж если Рона увлеклась практической стороной какого-нибудь дела, то... я ведь знаю Рону... (Да, я знал Рону. И его я тоже знал.) И не спрашивая, согласен я или нет,— а я и не думал соглашаться,— он заявил, что охотно уступит мне первый этаж своего бунгало, выделит мне десять или пятнадцать акров и постарается подольше не брать с меня арендной платы, а если и возьмет, то какие-нибудь гроши; все будет очень легко и просто, так как скоро доход с участка покроет все издержки. Однако, памятуя о Роне и об ее отношении ко мне, я отказался.

Но вернемся к вдовушке. Она была такая молоденькая, подвижная, остроумная, и собою недурна, и характер легкий. Бедная Рона,— подумал я.— Не везет тебе в жизни! Либо я ничего не понимаю в людях, либо эта женщина отберет у тебя твоего Уинни и привяжет его к себе, потому что ее чары сильнее твоих: у нее больше денег, у нее твердое положение в свете, она вхожа в круги, куда Уинни счастлив будет получить доступ. И в самом деле, здесь, на верандах и теннисных кортах различных домов Лонг-Айленда, куда ради полезных связей и знакомств ввела Уинни его новая избранница, Уинни чувствовал себя как рыба в воде,— никогда еще я не видел его таким. В то лето я и сам принимал некоторое участие в его вылазках на Лонг-Айленд.

Мне осталось рассказать то небольшое, что я узнал впоследствии от брата Уинни. Ко времени моего разговора с Доналдом ни Уинни, ни Рона, видимо, уже никак не были связаны с орегонским предприятием. Точнее говоря, благодаря молодой и очаровательной вдовушке, Уинни давно бросил Рону, которая в конце концов согласилась дать ему развод, и теперь они с прекрасной вдовушкой обретаются то в Глен-Ков, то в Нью-Йорке или Лондоне. Но, как я узнал, из-за этой истории у Доналда с Уинни было немало споров и столкновений. Оказывается, после отъезда Уинни, Доналд решил поехать в Нью-Йорк повидать брата и постараться примирить его с Роной, потому что, как он рассказывал, состояние Роны тогда было ужасное. Она была просто раздавлена. Но Доналд быстро убедился, что юная леди, покоровившая Уинни, чрезвычайно красива и симпатична. Кроме того, не без грусти говорил До-

над, может быть, Уинни и нельзя осуждать. Его так влечет к женщинам, и он так легко увлекается — конечно, не всякой, но по-настоящему умной женщиной он вполне может увлечься, так не расстрелять же его за это? Кроме того, хоть он, Доналд, сам и восхищается Роной и сочувствует ей, но, надо признать, не такая она женщина, которая могла бы удержать Уинни. Она и умная и дельная — все что угодно, — но у нее всегда не хватало светского такта, и с Уинни она встретилась, когда он был намного моложе и когда ее деньги значили для него гораздо больше, чем они могут значить теперь. К деньгам Уинни всегда проявлял такое же любопытство, как и к женщинам: ему всегда хотелось узнать, что нового они могут принести ему. И все же ясно, как дважды два, что деньги интересовали Уинни гораздо меньше, чем женщины. А так как сам он не обладал талантом ни «делать деньги», ни беречь их, то к умной и богатой женщине его, вероятнее всего, привлекала мысль о том, что эти деньги могут дать им обоим — ему и женщине, его увлекшей; он хотел быть свободным, ездить, куда захочется, жить и поступать, как хочется, но не один, а вдвоем с этой женщиной, пока они вместе. Ведь когда Уинни уходит от женщины, он не берет ее денег, и гонится он не за чужими деньгами, а за возможностью сделать лучше и радостней свою жизнь и жизнь какой-нибудь другой женщины, которая на этот раз увлекла его и заняла его мысли.

Но расскажите же о Роне, пожалуйста! Что с нею?

Ах да, Рона. Бедная Рона! Конечно, это печальная история. Ведь по натуре своей она женщина если и не высоконравственная, в строгом смысле этого слова, то все же придерживается общепринятых взглядов и правил поведения, и если не брак, то любовь в ее глазах — священна. И недаром она по происхождению ирландка: она умеет драться за то, что считает своей собственностью или на что, по ее мнению, дают ей право ее способности и сама судьба. Но по той же причине она не умеет переносить поражения. Да, да, ирландцы нередко бывают такими! Хуже того, она была чрезмерно привязана к Уинни, до безумия влюблена в него. Вспоминаю все, что произошло, Доналд просто удивляется, как она не покончила с собой. Однажды он уже подумал, что она наложила на себя руки. Но об этом после.

Во всяком случае я помню — не правда ли? — те дни, когда Уинни уехал на Восток и встретился с этой м-с... будем называть ее м-с Ангел. Я должен помнить, потому что немного погодя Уинни писал ему, что снова встречается со мной. Так вот, произошло это после того, как Уинни начал охотно и подолгу задерживаться в Нью-Йорке. Рона сразу помрачнела и захандрила, и по ее желанию Уинни ненадолго вернулся в Орегон. Но скоро он снова отпросился в Нью-Йорк, говоря, что он сумел заинтересовать там целый ряд лиц и ему предстоит продать немало участков. Да и сама Рона была в то время довольна его финансовыми успехами. Но потом, проведая о м-с Ангел или просто заподозрив о ее существовании, Рона начала настаивать, чтобы Уинни вернулся в Орегон. Или, если угодно, она бросит свою работу, пусть важную и выгодную, и придет к нему. Это ее намерение шло вразрез с теми дополнительными обязательствами, которые она взяла на себя для того, чтобы обеспечить себе и Уинни определенные права и преимущества в Обществе садоводов. Но она добилась своего: Уинни вернулся на некоторое время.

А потом, естественно, начались споры и ссоры. В частности, из-за какого-то пропавшего письма, которое должно было прибыть к нему на дом, а было доставлено в контору, — Доналд полагал, что письмо было от м-с Ангел. По словам Доналда, подействовало оно так, словно пришло от самого черта. Они были в ссоре целый месяц, Рона даже не показывалась в конторе, а Уинни ходил понурый и рассеянный. Работа валилась у него из рук; он заявил, что Рона хандрит, но как и почему — не стал объяснять. А потом в один прекрасный день он уложил свой чемодан и уехал в Нью-Йорк, видимо, и не думая о Роне, а она отправилась следом за ним. Здесь у них состоялось частичное или временное примирение, и они оба вернулись в Орегон, где и прожили вместе еще несколько месяцев среди яблоневых садов. Потом Уинни уехал в Сан-Франциско по делам Общества.

Но это тоже продолжалось недолго. Как говорится, дело не кленлось. Вместо того чтобы в назначенное время вернуться из Сан-Франциско в Орегон, он укатил прямо в Нью-Йорк и уже оттуда отправил Роне письмо, которое, видимо, окончательно убедило ее, что она

больше никакими силами не удержит его, и которое тем самым положило конец их жизни на Западе. Одновременно и Доналд получил письмо от Уинни, где тот признавался, что влюблен, что Рона его больше не интересуется и что, хотя он согласен быть представителем Общества в Нью-Йорке, но на Запад не вернется и жить с Роной больше не будет. Все это бесполезно. Оба они только страдают. Еще задолго до встречи с м-с Ангел он мечтал о свободе, но он жалел Рону и благодарно помнил все, что она сделала для него, и потому терпел. Но теперь с этим кончено. Ему очень жаль. Может быть, Рона согласится дать ему развод. Она ничего не выиграет, если откажет. Тогда он обойдется без развода. С полгода Рона молчала, рассказывала Доналду, но в конце концов согласилась на развод.

И все же какое крушение мечты — для Роны по крайней мере! Когда Уинни скрылся и потом прислал упомянутое письмо, она не заболела и не сошла с ума, но это было для нее тяжким ударом, душевной катастрофой. Ведь, по словам Доналда, съездив в Нью-Йорк и помирившись там с Уинни, Рона вернулась повеселевшая и работала усерднее, чем когда-либо. Но, получив письмо от Уинни, — письмо, о котором Доналд сперва ничего не знал, — она неожиданно и без всяких объяснений совсем забросила свою работу в Обществе и все свои обязанности. Ни слова не сказала даже своим стенографисткам, которым пришлось обратиться за указаниями к Доналду. Он решил навестить ее, но ему никто не открыл и не ответил, дом словно вымер. Пока Доналд сам не получил письмо от Уинни, он думал даже, что Рона уехала в Сан-Франциско. А получив письмо, решил, что она в Нью-Йорке. Но кассир на станции не смог подтвердить его предположений. Да и машина ее стояла по-прежнему в гараже.

И только спустя неделю раздался телефонный звонок: Рона звонила из дому, там она и была все время. Да, она заболела. Может быть, он зайдет? Он зашел. Но увидел не прежнюю Рону, а какую-то бледную тень. Да, сказала она, Уинни бросил ее. Между ними все кончено. Теперь она это понимает и не собирается делать новых попыток. Сейчас у нее только одно желание — освободиться от всех дел и обязанностей, какие были у нее в Орегоне. Ее акции, дом и прочее — пусть

все это продадут. Она уедет (она даже не хотела сказать — куда). Местный банк возьмет на себя ликвидацию ее имущества. Потом — не меньше, чем на неделю, если я правильно припоминаю рассказ Доналда, — она снова заперлась в своем бунгало, не обменявшись больше ни словом с Доналдом, ни с кем-либо другим, и, наконец, уехала, не простясь, так что Доналд узнал об этом от случайного человека.

Но он хочет рассказать еще об одном многозначительном и трогательном случае. На третий или четвертый день ее вторичного затворничества он однажды вечером подошел к двери ее дома и несколько раз постучал; не получив никакого ответа, он некоторое время постоял в раздумье. И вот тут-то, сперва чуть слышно, а потом все более и более отчетливо, до него донесся звук шагов, раздававшихся, как он понял, в спальне на втором этаже. Там были книги Уинни, его письменный стол, бумаги и чемоданы. Стоя у двери, Доналд ясно слышал шаги Роны: так ходила она целыми часами взад и вперед, взад и вперед. Вдоль, а может быть, поперек этой комнаты, где больше не было Уинни.

— Ах, эти шаги! — с искренним волнением закончил Доналд. — Никогда я не думал, что звук шагов может быть таким скорбным и полным значения. Точно шаги призрака. Я потом долго не мог простить Уинни, хотя хорошо знаю, что все мы рабы своих страстей, они управляют нами и в них — объяснение наших поступков.

Вернемся еще раз к Уинни. Время от времени я встречал его с новой супругой то в одном фешенебельном месте, то в другом. Еще несколько лет кряду он был все так же весел и жизнерадостен. Потом опять что-то случилось, но это уж сюда не относится. Наконец-то, говорил он мне, у него такие условия, как надо, и теперь мы с ним можем многое сделать. Например, писать пьесы. Я улыбнулся про себя, хотя и знал, что одну книгу он мог бы написать. Небольшая часть ее заключена здесь, в этом рассказе.

А теперь о Роне. Прошло три года с тех пор, как Уинни ее бросил, и однажды я услышал от Доналда, что она, по слухам, укрылась в каком-то теософском убежище в южной Калифорнии, — в этом своеобразном

убежище иной раз ищут спасения от бед и тревожный суетного мира те, кто много претерпел и ищет одиночества (как вы понимаете, не без влияния католической церкви).

Позже, спустя семь лет, мне как-то пришлось заглянуть в адресно-справочную книгу по Нью-Йорку. Разыскивая в разделе «Стенография и переписка на машинке» нужное мне имя, я натолкнулся на следующие строки (причем указан был адрес хорошо известного здания, где помещались учреждения и конторы, в районе Уолл-стрита):

М-с УИНФИЛД ВЛАСТО.
ПЕРЕПИСКА НА МАШИНКЕ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ.
СТЕНОГРАФИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ,
СЪЕЗДОВ И СОВЕЩАНИЙ.
ПЕРЕПИСКА КОММЕРЧЕСКИХ БУМАГ.
РАЗМНОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ
НА РОТАТОРЕ.

Я едва поверил своим глазам. Но сходить по указанному адресу и убедиться, правильно ли я понял объявление, у меня так и не хватило решимости.

А почему же нет? В сущности, именно это занятие всегда было ей по душе.

Но вернуться к этому через десять лет!

И с какими воспоминаниями!

ИДА ХОШАВУТ

Образ ее навсегда слит в моих воспоминаниях с тем сельским краем — землей млека и меда, где я с ней встретился. Когда я вспоминаю ее или тот скучный, грязно-коричневый фермерский дом, на пороге которого я впервые ее увидел, или ту маленькую чистую комнатку, где я в последний раз смотрел на ее лицо, успокоенное навеки, — перед моими глазами тотчас встает мягкая линия холмов, вздымающихся большими зелеными волнами; широкие и глубокие долины, где, кажется, хватило бы места для тысячи фермерских усадеб; круглые, как шар, пышные кроны деревьев, не тревожимых ветром; бесчисленные стада коров и овец, рассыпанные по холмам черными, белыми, красными пят-

нами; просторные амбары, в которых хранится зерно и сено и которые похожи скорее на ангары для каких-то огромных летательных машин. Да, поистине это край плодородия! До самого горизонта простираются там тучные поля пшеницы и кукурузы, овса и ржи; а среди них разбросаны молочные хозяйства или фермы, где разводят какой-нибудь один вид овощей — помидоры, кукурузу или бобы. Их хозяева живут, кажется, побогаче остальных жителей округа.

Вспоминается мне и ее отец, «Фред» Хошавут — так по крайней мере он сам себя называл; это имя было написано огромными черными буквами над широкой дверью его большого красного амбара. Этот Хошавут был грубый, неотесанный человек — настоящий медведь, коренастый и жилистый, с обветренным красным лицом, белесыми волосами и неприветливыми серыми глазками. Всегда, даже по воскресеньям, он носил одни и те же коричневые штаны, коричневый свитер и высокие сапоги. Словом, он был из той отвратительной породы работяг, что весь век копят по зернышку, боясь хоть одно истратить для своего удовольствия, и после жизни, проведенной в неустанных трудах, оставляют все детям, чужим с юных лет, которым безразлично, жив ли, нет ли их родитель, а интересно только одно — то состояние, что он ухитрился сколотить. Но Хошавут даже и в этом не слишком преуспел. Недалекий от природы, он только и умел что припрятывать деньги, прикупать иногда немного земли или скота да вкладывать свои скромные сбережения в банк под низкие проценты. Хозяйство он вел согласно обычной своей поговорке: «У меня ни одна животина не разжиреет», — и был известен во всей округе самыми тощими, самыми заморенными и костлявыми лошадьми, которых он загоочал чуть не до смерти.

У него было три сына и две дочери, и, вероятно, все они ненавидели отца; так по крайней мере было с теми, которых я знал. Старший сын еще до моего приезда перебрался куда-то на Дальний Запад, предварительно пырнув отца вилами и послав его ко всем чертям. Второй сын, которого я хорошо знал, так как он жил по соседству с моим родственником, был уже женат. «Старик» еще до свадьбы выгнал его из дому за то, что он не проявлял достаточного усердия в рабо-

те. Однако этот нерадивый работник вот уже семь лет арендовал сорок акров плодородной земли, аккуратно платил за нее и даже купил по случаю автомобиль,— эту новомодную затею отец его именовал не иначе как «коляской бездельников».

Младший сын, Сэмюэл, тоже ушел из дома. Он поссорился с отцом,— тот не мог простить сыну вполне естественного желания жениться и жить по-своему. Однако Сэмюэл, корыстолюбивый в отца, вскоре с ним помирился в надежде получить побольше после его смерти. Они даже подружились, насколько вообще могли дружить такие люди,— ходили друг к другу в гости, обменивались поздравлениями; впрочем, они все-таки жили как кошка с собакой — месяц ладили, а месяц грызлись; разность характеров и интересов давала повод к вечным ссорам и пререканиям.

Было у Хошавута и две дочери. Одна из них, Эффи, двадцати одного года, убежала от отца,— он не разрешал ей иметь поклонников. Теперь ей было уже под тридцать. Она жила в соседнем городе, работала в прачечной и ни разу с тех пор не побывала дома. И, наконец, Ида — предмет нашего рассказа. Когда я с ней познакомился, ей было только двадцать восемь лет, но чувствовалось, что время ее уже ушло. И неудивительно! Старик был крут не только с «животинной», но и с людьми; в каждом он видел лишь рабочую машину, вроде самого себя.

Сам он вставал еще до зари, с первым криком петуха, и спать шел последним. Генри Хошавут, второй сын, тот, которого я хорошо знал, рассказывал мне, что старик ругался, бывало, на чем свет стоит, если не все в доме были уже на ногах через пять минут после того, как он сам встал. Его жена, измученное, запуганное существо, умерла сорока трех лет. Второй раз Хошавут не женился, но уж, конечно, не из верности жене. К чему еще работница в доме, ведь у него была Ида. Не верил он ни в бога, ни в черта и знал только одну заповедь: «Не лезь в чужие дела, копи денег побольше да прячь их подальше». И вот ведь странное дело! Дети его не пошли в отца, это были скорее мягкие, чувствительные натуры — в этом, может быть, проявлялось их противодействие той гнетущей среде, из которой им удалось в конце концов вырваться.

Но вернемся к Иде. Познакомился я с ней вот каким образом. Мой родственник, о котором я уже упоминал, собрался как-то к Хошавуту узнать, не продаст ли тот сена, и пригласил меня с собой.

— Я тебе покажу там одного старика,— сказал он,— это, знаешь, сюжет, достойный пера художника-реалиста.

Но, когда мы подъехали к дому, в ответ на громкий наш оклик на пороге показалось существо женского пола. Это и была Ида. Передо мною стояла рослая женщина, старообразная не по летам или, быть может, преждевременно увядшая от тяжелой работы, впрочем, видимо, крепкая и выносливая, с приплюснутым носом и маленькими робкими глазками на красном от загара лице. Ее большие руки тоже были красные; выгоревшие рыжеватые волосы небрежно скручены в узел на затылке. На наш вопрос, где отец, она указала на амбар и добавила: «Только что вышел свиней кормить». Мы свернули в узкие ворота и оказались в обнесенном крепкой изгородью дворе. Около загона, где толклось десятка три свиней, стоял сам Хошавут в своих неизменных коричневых штанах, заправленных в сапоги. Держа в каждой руке по ведру, он с удовольствием созерцал свое хрюкающее хозяйство.

— Хороши свинки, а, мистер Хошавут? — начал мой родственник.

— Ничего! — с заметным акцентом ответил тот, не слишком дружелюбно, а пожалуй, даже и чуть насмешливо поглядывая на меня.— Только пора уже их продавать. Теперь их корми не корми, цена им не прибавится. Так чего же зря корм тратить? Чистый убыток.

Я оглянулся на своего родственника,— эта сценка забавляла меня,— но тот продолжал с невозмутимой вежливостью:

— Сенца для продажи у вас не найдется, а, мистер Хошавут?

— Почему думаете покупать? — хитровато спросил старик.

— Как на рынке. Там сейчас, кажется, семнадцать долларов тонна.

— Не пойдет. За семнадцать я всегда продам. А постоит такая погода еще недельку-другую, сенцо-то

на пять долларов и подорожает.— И он окинул взглядом пересыхающие серовато-зеленые луга — дождя не было уже с месяц.

Мой родственник улыбнулся.

— Ну что ж, вы, пожалуй, правы. Если, конечно, не пойдет дождь... А за восемнадцать не отдадите?

— И за двадцать не отдам. В октябре-то, небось, до двадцати двух долларов дойдет, а нет, так на другую зиму оставляю.

Я внимательно приглядывался к хозяину фермы. Крепкий старик, и хоть прост, а, видно, себе на уме. Его дом и амбар подтверждали все ходившие о нем слухи. Дом, небольшой, грязно-коричневый, без крыльца и веранды, выглядел до крайности негостеприимно; дорожки, ведущие к дому, были не расчищены и не обсажены цветами. Тощая собака и несколько куриц бродили в тени дерева, украшавшего один из углов двора. В загоне возле амбара паслись лошади. Сегодня бедные животные могли не работать, — было воскресенье, а в тех краях строго соблюдался день субботний. Лошади были отменно худы и только что не валялись с ног от голода. Но вид Хошавута, краснолицего и самодовольного, стоявшего у своего большого свежеекрашенного амбара, показывал, во что старик вкладывал всю свою душу. Отличный это был амбар, прочный, просторный, без единого изъяна. Амбар и его содержимое — вот чем старик Хошавут дорожил больше всего на свете.

На обратном пути мы разговорились об Иде.

— Этот старик настоящий деспот, он, можно сказать, загубил ей жизнь, — говорил мой родственник. — Красоткой ее, конечно, не назовешь, особых надежд на замужество у нее никогда не было, но ведь Хошавут и подойти к ней никому не давал. А теперь уж, пожалуй, поздно. И чего она не убежала, как ее сестра, удивляюсь. Ну подумайте, как она тут живет? Как проводит время? Работа, работа, с утра до ночи одна только работа — и ничего больше. Старик и газет-то, наверное, никогда не покупает. Года три назад ходил тут про нее слухок — Хошавут тогда батрака держал, ну и будто бы поймал он этого парня, когда тот часа в два ночи тихонечко стучался к Иде в окошко. Старик чуть не до смерти избил его палкой от мотыги. Было

ли там что между ними или нет, этого никто не знает. но только с тех пор Ида совсем одна, и вряд ли она теперь выйдет замуж.

Потом я лет пять работал в других местах и ничего не слыхал об этой семье. Но как-то летом я опять приехал туда отдохнуть и узнал, что старик умер. не оставив завещания, так что наследство поделили согласно закону. И бедная Ида, которая лет тридцать безропотно служила отцу — готовила, стирала, убирала, гладила, помогала косить и скирдовать сено, получила ту же пятую часть, что и остальные наследники, — пятнадцать акров земли и две тысячи долларов. Землю она сдала в аренду своему преуспевающему брату, тому, что с автомобилем, деньги положила в банк. После смерти отца жизнь Иды, по-видимому, не стала легче. Чтобы как-то прожить, она зимой работала в прачечной в Саут-Биксли (главный город округа), летом на консервном заводе. Потом была экономкой в семье одного зажиточного фабриканта консервов. Замуж она так и не вышла. Любовника у нее тоже не было. Но поговаривали, что теперь, когда у нее появились земля и деньги в банке, к ней начали свататься. Одним из женихов был Арло Уилкинс, болтливый парикмахер-неудачник из Шривертауна, некогда гуляка и пьяница, теперь уже несколько присмиривший, потрепанный субъект лет пятидесяти. Другим — Генри Уиддл, тоже неудачник, но с более мирным характером, ибо для кутежей и скандалов у него не хватало ни сил, ни смелости. Он был сыном безземельного фермера, который весь век работал на других. Лет пять назад этот Уиддл, не обладая ни нужными знаниями, ни опытом, вздумал было продавать деревья для посадок. Он объехал чуть не весь Техас и, по его словам, «погорел начисто». Потом он работал на мебельной фабрике в Чикаго, но, найдя это занятие слишком для себя тяжелым, отправился в Колорадо, где поступил на железную дорогу. («Я отслужил свое в компании «Денвер — Рио-Гранде», — говаривал он впоследствии.) Здесь, однако, оказалось не легче. И наш бродяга вернулся, наконец, домой к своей прежней и, как ему казалось издавека, такой легкой жизни. Но, увы, он вконец увидел, что дома так же трудно, как и везде. Ко времени нашего знакомства он работал возчиком у местного

подрядчика. «Самое легкое, что можно было найти», — ехидно заметил сын моего родственника.

Как-то я снова целое лето провел в этих местах. Обычно я устраивался работать в рощице на вершине холма, недалеко от шоссе, проходившей по склону. По этому шоссе, давая о себе знать скрипом колес, каждый день тащился фургон Уиддла, груженный песком, лесом или камнями. В провинции все друг друга знают, и мы с Уиддлом тоже быстро познакомились. Картофельное поле, на котором работали сыновья моего хозяина, тянулось вдоль холма, и я часто слышал, как они что-то кричали проезжавшему Уиддлу, видимо, потешаясь над ним, — он почему-то служил для них неиссякаемым источником развлечения. Услышав однажды смех, я сбежал вниз и присоединился к их компании, — меня соблазнила возможность узнать сельские новости.

Уиддл оказался человеком без стержня, без характера, без воли. Он жил, не ставя себе никаких целей, словно плыл, куда понесет волна, не догадываясь о сложных законах, управляющих жизнью, не замечая ее глубоких внутренних процессов. И все-таки он меня заинтересовал. Чем? — трудно сказать. Как я скоро заметил, внимание его задерживалось, да и то довольно поверхностно, только на тех явлениях, с которыми он непосредственно сталкивался, и только об этом он мог, да и то весьма невразумительно, разговаривать. Он беспрестанно рассказывал о том, что видел во время своих скитаний, — о горах Запада, о долинах Техаса, где он пытался продавать деревья; или же расхваливал свои родные места, но и то и другое получалось у него до крайности расплывчато и несвязно. Горы Колорадо всегда были у него «ужасно высокие», виды «ужасно красивые», в Техасе было «ужасно сухо и жарко, и деревьев ужасно мало, а покупать их все-таки никто не покупал». Люди, с которыми он встречался, проходили мимо него, словно неясные, тусклые тени. Как будто все, на что падал его взгляд, тотчас расплывалось в мутное пятно. Сохранилось ли у него в памяти хоть одно определенное, яркое впечатление, мне так и не удалось установить. И этот-то человек намеревался выступить в роли претендента на руку нашей многострадальной Иды! Он сам в этом признался, когда мы начали над ним

подтрунивать. И не прошло и года, как он в самом деле женился на ней, одержав победу над более пожилым и, без сомнения, более опытным Уилкинсом.

Немного позже мне написали, что молодые строятся на Идиной земле и на ее деньги, надеясь к весне уже перебраться. Оба сами работали на стройке вместе с плотниками. Уиддл возил бревна, кирпич и песок. Ида орудовала молотком и гвоздями. А еще немного спустя я узнал, что они с удобством устроились в новом доме, завели корову, лошадь, кур, свиней, купили кое-какие машины — все на Идины деньги. И теперь оба работали в поле.

Но вот что больше всего заинтересовало меня. Заполучив, наконец, мужа после стольких лет одиночества, наша романтическая Ида готова была его боготворить. Даже и такого беспутного, как этот Уиддл. Она буквально молилась на него.

Следующее лето я снова отдыхал в тех краях.

— Эх, и повезло же этому Уиддлу,— начал как-то один из сыновей моего хозяина,— теперь уж ему нечего жаловаться на тяжелую жизнь. Чуть свет, а Ида уже на ногах, кур, свиней покормит, коров подоит и завтрак ему в постель подаст. Правда, он пашет иногда, но Ида и тут поспекает...

— Что говорить,— добавил его брат.— Я сам видел, как она сено в амбар убирала, точь-в-точь как при отце.

— Так, да не так,— иронически вставил мой хозяин.— Раньше она все делала не по своей воле и любовь не поддерживала ее силы, ну а теперь...

— От любви сено легче не станет,— мудро заметил один из сыновей.

— И пахать от этого не легче, а я вот видел, как она пашет,— добавил сидевший здесь же батрак.

— Что ж, вы поэзию совсем, что ли, отрицаете? — поддразнил я их, решив встать на защиту романтических чувств.

Так или иначе, а Уиддл в эти дни поражал своим благодушным, даже развязно шутливым настроением. Раньше, когда он ездил с фургоном, у него был такой подавленный, убитый вид, как будто мысль о загадке жизни, или, вернее, о борьбе за существование, угнетала его не меньше, чем всех нас. Но теперь, когда к нему пришла, наконец, удача, в нем появился даже какой-то

лоск, не в одежде (одевался он, как все фермеры), а в манерах. Иногда, обычно после полудня, когда Уиддл заканчивал свои хозяйственные дела или когда Ида сама бралась за них вместо него, он приходил ко мне на холм в мой лесной приют, откуда открывался широкий и живописный вид. Как-то раз он начал, слегка конфузясь, расспрашивать меня о моем писательском ремесле. Можно ли на это прожить? Много ли приходится работать? Пишу ли я что-нибудь для журналов — ну этих вот, новых-то, с картинками? Я признался со вздохом, что пишу и для журналов, когда заказывают, и вообще я постарался его уверить, что путь скромного писателя достаточно тернист, хотя очень уж жаловаться тоже не приходится. Затем разговор перешел на его ферму, и тут я, надо сказать, почувствовал себя на более твердой почве. Как он живет? Много ли выручил за свой первый урожай? Каковы виды на новый? Не трудно ли ему хозяйничать на пятнадцати акрах? Как здоровье жены? На последний вопрос он отвечал, что хорошо, спасибо. На предпоследний, что ничего, справляется.

— Конечно,— задумчиво продолжал он,— машины у нас пока так себе, неважные, да и здоровье жены в этом году похуже стало, но, слава богу, живем помаленьку. Осенью соберу, наверно, мешков пятнадцать картошки да зерна бушелей триста. Мне-то, по правде сказать, больше нравится курей разводить. Конечно, у нас еще не все по-новому, как бы надо, но на будущий год, если ничего не случится, построю новый загон, расширю курятник, заведу побольше цыплят.

И все только о себе — я заведу, я построю,— ни слова о жене. А мне, пока я его слушал, вспоминались рассказы о том, как Ида подает ему завтрак в постель, как она убирает сено, пашет, доит коров, ходит за курами, пока «хозяин» отдыхает.

О бедная Ида и ее великая любовь!

Как-то я полюбопытствовал взглянуть на их хозяйство, и Уиддл пригласил меня и моего родственника к себе. Их жилище выглядело довольно приветливо — не большой, еще не покрашенный домик из двух комнат с пристройкой для кухни и новым крыльцом, выстроенным этой весной специально для того, чтобы «хозяин» мог любоваться, мечтая и покуривая, на заросшую тмном долину, зеленеющие поля, далекие холмы. Я еще из-

дали заметил, что на ферме необыкновенно чисто, везде — на дорожках, у входа. Во дворе на одинаковом расстоянии от кухни находились амбар, закрома, копильня, курятник и колодец с небольшим навесом — все новенькое, чистенькое, свеженькое, а вокруг нежная зелень травы. Уиддл водил нас по двору и, слегка смущаясь, показывал свои сокровища.

— Побелить бы еще надо, да руки не доходят. К осени либо к весне авось и с этим управлюсь, то есть если, конечно, жена будет здорова. С курами вот тоже хлопот не оберешься. Да на будущей неделе поросят надо покупать, да вторую корову...

Я слушал и невольно вспоминал о тех печальных для него днях, когда он возил песок и камни в своем поскрипывающем фургоне.

Вышла Ида, большая, угловатая, с обветренным и загорелым до красноты лицом, молчаливая и робкая. Ей, без сомнения, этот мирок в пятнадцать акров казался раем. Наконец-то к ней пришла любовь! И Уиддл — *le grand* — был для нее воплощением этой любви. Взгляд мой невольно обратился к нему, потом к ней. В ее лице читалась не только любовь — туповатая и бессловесная, но и глубокое почтение к мужу. Он все говорил и говорил, а она открывала рот, только когда ее о чем-нибудь спрашивали. Ни разу она не заговорила первой. Отцовская выучка, — подумал я.

Был воскресный вечер — самое подходящее время для визитов, час, когда все труды за неделю окончены и наступает отдых. И Уиддл, как полагается, благоденствовал на крылечке. Но Ида все еще хлопотала на кухне среди горшков и кастрюль. Впрочем, немного погодя появилась и она и, выполняя свой долг гостеприимной хозяйки, застенчиво принялась нас упрашивать: «Не присядете ли? Не выпьете ли молочка?» Достойный Уиддл едва замечал ее, курил, размышлял о чем-то и обзирал свои владения. Он наслаждался. А его жена, по-видимому, находила в этом высшую радость. Она молча улыбалась, пока мы разговаривали с Уиддлом, или, когда мы обращались уже прямо к ней, роняла односложные ответы. Вышколенная отцом, она, казалось, почти совсем разучилась говорить.

Еще дома мой родственник посоветовал мне обратить внимание на одно любопытное обстоятельство:

Ида уже на седьмом месяце, а работает по-прежнему не покладая рук. Да вот сам увидишь. И я это увидел. Ида, несомненно, была на сносях и, однако, пока мы у них сидели, то и дело бегала по хозяйству — то задавала корм свиньям, то возилась с курами. А ее супруг и повелитель тем временем покуривал трубку и разглагольствовал. Тема у него всегда была одна — как он поведет хозяйство, расширит курятник, построит новый хлев, да хорошо бы еще прикупить пять акров, вот тут с восточной стороны, они как раз сейчас продаются — совсем бы другая усадьба стала, и так далее, и тому подобное. Попутно он вспоминал о своих путешествиях по Западным штатам, и о том, что он «отслужил свое в компании «Денвер — Рио-Гранде».

После этого посещения я не раз еще возвращался мыслью к Уиддлу, ибо он, на мой взгляд, служил прекрасной иллюстрацией той истины, что все в этом мире случайно и несправедливо: богатство, сила, красота, слава, талант, здоровье — все достается человеку даром, без всякой заслуги с его стороны, а сам он часто даже и пальцем не ударит для того, чтобы как-нибудь развить и умножить то, что ему дано. Взять хотя бы такое безвольное ничтожество, как этот Уиддл. Какое-то шестое чувство — неясное влечение к лучшей жизни — привело его совершенно случайно в здешние края, после того как он везде потерпел неудачу, а тут его ждала эта, только что освобожденная из-под отцовского ига, жертва, жаждавшая на свой крохотный капитал купить себе долю счастья. И она действительно обрела счастье в любви к нему. Но мог ли он ответить ей таким же чувством? Способен ли он был понять ее и оценить, как того требует всякая настоящая любовь? Едва ли! Едва ли...

События ближайшего месяца как будто бы дали ответ на эти вопросы. И все же — кто знает! Жизнь полна странностей. И любовь у многих людей такое неопределенное чувство...

Я спал в большой комнате, расположенной по фасаду дома, из окон которой открывался вид на склон холма и живописную долину у его подножия. Перед домом росли падубы и каштаны. Их листья шептались и шелестели от малейшего ветерка. Однажды, в тихую лунную ночь, часу уже, должно быть, во втором или

в третьем, я услышал стук и чей-то голос внизу под окнами:

— Миссис К.! Миссис К.!

Опасаясь, что хозяйка может не услышать, я подошел к окну, но в эту минуту дверь внизу распахнулась и до меня донесся сначала голос хозяйки, потом голос Уиддла — значит, это он стоял перед домом, хотя в бледном свете луны я не мог его разглядеть. Уиддл, казалось, был чем-то встревожен и просил хозяйку пойти к его жене.

— Очень она плоха, миссис К. Всю неделю прихвораывала. А теперь ей и вовсе худо. Уж будьте такая добрая, пойдите со мной. Мисс Агнес звонила доктору, да его, похоже, дома нету...

Ах, вот что! Иде пришло время родить! Еще одно дитя на пороге жизни — и у таких родителей! Что будет с этим ребенком? Что из него выйдет? Сможет ли Ида перенести роды? Ведь она уже старовата для материнства — да еще такая тощая, нескладная. Выживет ли она? Сможет ли выкормить ребенка?..

Через несколько минут раздался звук мотора — миссис К. отправилась с сыном к Уиддлу. Происшедшее, видимо, сильно встревожило ее. До следующего утра я не узнал ничего нового. Потом вернулась хозяйка и сказала, что миссис Уиддл действительно очень плоха. Еще три дня назад она работала в поле, а всего за день до родов затеяла недельную стирку. Она ни с кем не советовалась, ни разу не была у доктора. А Уиддл, занятый только собой, как и прежде, проводил время в мечтах. Вероятно, он выполнял свою часть работы на ферме, но не больше, и до последней минуты, не задумываясь, принимал все попечения жены и все ее жертвы. Теперь уже ясно было для всех, что роды будут нелегкие. Все девять месяцев Ида не обращала на себя ни малейшего внимания. Доктор, вызванный, наконец, моим родственником, печально качал головой. Может, и обойдется, но беда в том, что с почками у нее не ладно. Он посоветовал взять сиделку, но Ида, как ни была больна, не захотела о ней и слышать. Слишком дорого! Конечу пришел быстро, на следующую ночь, с большими страданиями. Истощенный организм не вынес. Попытка вызвать искусственные роды, при наличии уремии, ускорила

роковой исход. Дали эфир. Не приходя в сознание, она умерла, ребенок тоже.

Последний раз я увидел ее, когда мы с моим хозяином и его семьей пошли смотреть покойницу. Я знал, что у Уиддла не было друзей ни среди родственников, ни среди соседей. Его вялый, скучный, бездеятельный характер никого не располагал к дружбе, да и общих интересов у него ни с кем не могло быть. Чаще всего он молчал, а если говорил, так только о том, что его одного интересовало. Поэтому на похороны пришли всего двое-трое соседей, и те лишь приличия ради, а из родни только двое Идиных братьев. Для отпевания — при участии тех соседей, которые пожелали оказать помощь вдовцу, — была приготовлена гостиная — святая святых Идиного дома. Здесь, в гробу, невиданном по великолепию, возлежала покойница. Что это был за гроб! Какие краски, какая пышность! Снаружи он был обит бледно-лиловым плюшем, внутри — розовым шелком, по бокам торчало шесть позолоченных ручек. Гроб этот прямо-таки поражал воображение. Впрочем, и сама гостиная, воплощавшая, очевидно, эстетический идеал ее хозяев, была в своем роде не менее примечательна. Середину ее занимал дубовый стол пронзительно желтого цвета, сдвинутый сейчас немного в сторону, вдоль стен стояло несколько тяжелых и неудобных стульев с сиденьями из красного плюша, камин был отделан никелем и загорожен экраном с красными слюдяными оконцами. На стенах, оклеенных ярко-розовыми обоями, висели два назидательных изречения в ореховых рамках, фотография Уиддла с женой, тоже в красивой ореховой рамке, под стеклом и в веночке из восковых цветов, и тут же, словно контраста ради, ярко раскрашенный календарь с белокурой кинозвездой в вызывающей позе. На столе лежала Библия и обитый желтым плюшем альбом, в котором не было ни одной открытки, — я нарочно заглянул в него. Надо полагать, что хозяев соблазнил именно желтый плюш — старинный, почтенный символ роскоши.

Но этот гроб! Я отнюдь не хочу впадать в легкомысленный тон, когда речь идет о смерти, тем более что этим, говорят, можно накликасть на себя беду. И я не могу не уважать то смутное, почти бесформенное влечение к красоте, которое живет в каждом человеке, — хотя во многих из нас еще так слабо! — и даже в каждом жи-

вотном. Я знаю, что именно этому чувству мы обязаны такими созданиями человеческого гения, как Акрополь, или Карнак, или «Ода греческой вазе». Но оно же породило то странное явление, которое мне довелось наблюдать в описываемые здесь годы в беднейших кварталах наших больших американских городов, равно как и в наших глухих сельских уголках, и, вероятно, оно существует и донныне — я имею в виду стремление облечь последнее пристанище человека в невероятную, умопомрачительную пестроту. Гроба, обитые желтым, голубым, зеленым, сиреневым, серебристо-серым плюшем, с шелковой отделкой контрастных тонов, с блестящими ручками — серебряными, черными, золотыми! Есть чем усладиться глазу, жадному до ярких красок! Наши Барнумы из похоронных бюро в погоне за прибылью напали на верный прием для утешения простых душ в час их скорби по умершим. Красота — сообразно доступному их клиентам идеалу — вот что они предлагают как лекарство от всех печалей.

Так или иначе, а Иду, покоившуюся в своем пышном гробу, убрали, кроме того, садовыми цветами, и в руку ей вложили надгробные вирши, сочиненные Уиддлом (о них речь еще впереди). Однако сама она имела вид столь жалкий и невзрачный, что вся окружающая пышность казалась поистине нелепой. Даже просто смешной. Неожиданный результат! — если принять во внимание, что гроб был выбран именно за его великолепие, со специальной целью смягчить горе безутешного вдовца, почтенного Генри Уиддла. Я подозреваю, впрочем, что Уиддл в данном случае воспользовался благовидным предлогом для того, чтобы дать волю той жажде роскоши, которая всегда жила в нем, но никогда не получала удовлетворения, хотя сам он, быть может, вполне искренне, принимал это побуждение за потребность пролить бальзам на свое скорбящее сердце.

Но эта фигура в гробу! Бедная Ида, вот когда привелось тебе, наконец, отдохнуть — и на каком роскошном ложе! Но как поздно пришел этот отдых! Всю жизнь ты работала, сначала на отца, потом на мужа, и в награду получила всего один-единственный год счастья — год любви, а может быть, просто покоя, называйте, как хотите. Твои рыжие волосы, такие жесткие и непокорные, теперь гладко причесаны и убраны, кост-

лявая голова с большим ртом и маленьким носиком откинулась на подушку, словно изнемогая от усталости. Но сильная рука все еще крепко прижимает к груди и широкому истомленному лицу крохотного, так и не начавшего жить младенца, а в пальцах другой руки зажата поэма Уиддла.

Я отвернулся потрясенный, подавленный, даже устрешенный этим новым свидетельством неумолимого упорства жизненной силы. Слепой, чуждый разума импульс, породивший столько бессмысленного, жалкого и ужасного на нашей планете! Смешно? О нет! Выражен- нис, застывшее на лице Иды, убивало всякий смех. В нем читалась не радость и не печаль, только безответное согласие со своей судьбой, какая-то неизъяснимо мрачная покорность. «Спи! — подумал я, отходя.— Спи! Так лучше».

Теперь мое внимание привлек дом — ее дом, эта раковинка, в которой она пыталась укрыться от нищеты и одиночества. Сколько раз она терла, скребла, чистила все углы, окна, полки, кастрюли. Кухня, столовая — все блестело почти раздражающей чистотой. Все здесь было как при ней — убрано, чисто. А на крыльце, любуясь окружающим и приветствуя своих немногочисленных гостей, сидел сам Уиддл с безмятежным спокойствием на челе и чуть ли не с улыбкой на устах. Еще бы, разве теперь он не был безраздельным владельцем всего, на что падал его взор? Пятнадцать акров земли, дом, амбар, сарай, скотина... Хозяин!

Одетый в парадный костюм по случаю прискорбного события, он держался с такою важностью, как сановник во время приема или распорядитель на каких-нибудь высоких торжествах.

Мне очень хотелось узнать, что он думает о смерти, о своей духовной и физической утрате, о будущем, теперь, когда заботы о земном существовании — на время с него снятые — снова грозили обступить его. И всякий, кто признает механистическую или химическую теорию жизни и стремится понять, как сказывается действие этих сил в поведении живого организма, заинтересовался бы этим человеческим экземпляром.

Наблюдая Уиддла, я пришел к убеждению, что все его поступки были просто бледным отражением обычаев и традиций его среды и времени. Существовал обычай

носить в подобных случаях черное — и он носил черное; он слышал или где-то видал, что похороны обставляются со всевозможной пышностью, — отсюда этот роскошный гроб в их убогом доме; он замечал раньше, что люди скорбят по умершим, — поэтому ходил теперь с вытянутым лицом и пытался строить печальные мины, хотя без особого успеха.

Когда, после обычных соболезнующих фраз, я заговорил с ним о будущем, он не мог скрыть своего глубокого удовлетворения при мысли, что все, принадлежавшее его жене, должно теперь перейти к нему. Если, конечно, не возникнут какие-либо препятствия. А так как он почему-то считал меня — хоть я и не подавал к тому никакого повода — своим другом и доброжелателем, он тотчас осведомился, видел ли я его новый сарай, и когда я сказал, что нет, повел меня его осматривать. По двору он выступал медленно и важно, словно участвовал в погребальном шествии. Но, придя к сараю, заметно оживился — «отошел малость», по его выражению — и принялся без умолку болтать о своих дальнейших планах.

— Эта лошадь не так уж плоха, да ведь одному мне не управиться, придется кого-то нанять, значит, вторую лошадь нужно. Жена мне здорово помогала, теперь без батрака не обойтись. Что поделаешь, хозяйство!

Затем мы перешли к свиньям и осмотрели их с величайшим вниманием.

— Жена считала, что пока и четырех свиней довольно, ну, а я думаю на тот год штук шесть либо восемь завести, — коли уродит кукуруза, так кормов хватит. А вот еще доходное дело — молочное хозяйство, если держать коровки этак три-четыре; да возни много — пасти, доить, телят выхаживать, боюсь один браться, жена-то в этом больше меня понимала.

Потом он спросил, знаю ли я, какие есть законы о собственности жены и правах мужа на эту собственность. Я признался, что ничего в этом не смыслю, но выразил готовность разузнать все, что ему нужно.

— Понимаете, — говорил он, прислонившись к стенке свинарника, — родные жены меня почему-то не любят. Может, считают, что хозяйство им должно достаться. Но ведь когда мы с Идой что покупали, у нас все общим считалось. «Я хочу так устроить, что если

кто из нас умрет, то имущество и деньги чтоб другому достались», — вот что она сказала, когда мы после свадьбы в Шривертауне поехали к юристу. Мы тогда вместе это и подписали. И документ у меня есть. Ясно ведь, да? Вы разрешите, я как-нибудь принесу вам документики эти поглядеть. По-моему, никто не может вмешаться. А? Как вы думаете?

Я согласился и даже обещал, раз это его так волнует, поговорить со знакомым юристом. В начале разговора он еще, видимо, чувствовал себя не совсем ловко, но потом разошелся. Мы осмотрели курятник, свинарник и остановились у забора. За ним начинались те пять акров, которые Уиддл надеялся присоединить когда-нибудь к своей земле. Поговорив еще немного о достоинствах почившей, я простился и ушел.

После этого я виделся с ним только раз. Недели через две после похорон, когда печаль убитого горем Уиддла несколько утихла, он пришел ко мне на холм в мой зеленый приют — пофилософствовать, как я было решил. Но оказалось, что он просто захотел еще раз потолковать со мной о своем новом положении хозяина и вдовца.

Был прекрасный летний день. Море хрустального света затопляло холмы и долины. Лучи солнца лились сквозь густую листву над моей головой и ложились пестрой сеткой на траву. Пели птицы. Два сурка, подстрекаемые любопытством, заглянули в мое убежище. Вдруг затрещали кусты, и боком, боком, непонятно откуда, выкатился Уиддл.

— Вот где красота!

— Да, здесь чудесно. Присаживайтесь сюда, на пенек. Рассказывайте, как дела.

— Спасибо, ничего. Я думал, вам интересно будет почитать мои документы. Вот я их и принес.

С этими словами он полез в карман пиджака и вынул пачку бумаг. Я развернул одну. Это было завещание Иды, в котором говорилось, что Ида Уиддл, урожденная Хошавут, владелица такого-то и такого-то состояния, завещает в случае своей смерти и при отсутствии детей все вышепоименованное состояние своему мужу, Генри Уиддлу, в полную и нераздельную собственность, что и засвидетельствовано нотариусом Дриггсом из Шривертауна.

— Что ж, по-моему, это очень солидно,— сказал я.— Мне кажется, что любой юрист на основании этого документа сможет защитить вас от чьих бы то ни было посягательств. Давайте я сниму копию и узнаю поточнее, что и как. А впрочем, почему бы вам самому не обратиться к какому-нибудь юристу? Или к судье Дриггсу?

— Оно бы можно,— начал Уиддл, медленно поворачиваясь ко мне и так же медленно складывая завещание,— да не люблю я этих юристов. Дерут они много. Да и боюсь я их. Сам-то я в ихних делах не разбираюсь, того и гляди оплетут. Нет, уж буду сидеть смирно, пока меня не трогают. Сам первый ничего заводить не стану. Но я думал, может, вы в этом понимаете, так сможете присоветовать.

Я отложил перо и предался размышлениям о его судьбе — о том, какую великую услугу оказал ему случай. Ну, и сам он, надо сказать, не без хитрецы, отлично соображает, как нужно поступать. Юристы люди опасные, судьи и родственники тоже, все это ему совершенно ясно. Мы помолчали несколько минут. Уиддл сидел, погруженный в задумчивость,— может быть, вспоминал свою многострадальную жену. Потом, порывшись в карманах, он достал еще один сложенный листок. «Опять какой-то документ»,— подумал я. Повертев эту бумажку в руках, Уиддл осторожно развернул ее и сказал:

— Я вот сочинил стихи о жене и принес вам, вы же писатель. Может, скажете, что о них думаете. Это те самые, что я ей в гроб положил, ну только с тех пор я еще кое-что добавил. Хочу их в «Баннер» послать, в бикслейскую газету.

«Вот оно что,— подумал я.— Те самые стихи, что я видел в руке покойницы!» Мои хозяева уже рассказывали мне, что Уиддл написал несколько чувствительных строк на смерть жены, и обещали при первом удобном случае попросить у него эти стихи для меня. А теперь он сам их принес!

С трудом скрывая любопытство, я почтительно спросил:

— Напечатать их думаете? — И протянул руку.— Можно взглянуть?

— Пожалуйста. Только, может, лучше я сам прочту? Почерк у меня не того, разобрать трудно. Ну, а я-то читаю.

— Отлично, но сперва давайте поговорим. Вы говорите, это стихотворение посвящено вашей жене. Вы его сами написали?

— А как же. Вчера весь вечер сидел и позавчера. Всего, пожалуй, дня три потратил. Начал-то я еще, когда она только умерла. И в гроб ей положил самое начало.

— Понимаю. Ну что ж, это очень трогательно и очень похвально с вашей стороны. Значит, в «Баннер» хотите их послать?

— Да, сэр. Там их напечатают.

— Но почему вы знаете, что их напечатают? Вы уже им показывали?

— А они всегда печатают такие стихи,— неторопливо пояснил он.— Платишь десять центов за строчку, и тебе их печатают. У нас все так делают, если кто близкий умрет — жена или муж.

— Ах, вот что! — Меня, наконец, осенило.— Здесь такой обычай, и вы не хотите им пренебрегать.

— Ну, конечно, сэр, лишь бы только не слишком дорого.

— Что ж, читайте.— Я приготовился внимательно слушать. Косой луч скользнул по Уиддлу, по бумаге. Уиддл аккуратно разгладил ее и принялся читать:

Моя любимая жена, ты умерла
И счастье наше с собою унесла.
Нет ласки и любви, заботы ежечасной.
Ищу тебя повсюду, но напрасно!

Ты делала столько добрых дел,
Их нет — и я осиротел!
Ищу тебя повсюду, только тщетно..
И слезы падают как ливень беспросветный.

Не слышу больше шагов твоих в дому,
Тебя рядом уж нет,— мне грустно одному...
Но пусть я одинокий, отец наш всемогущий
Тебя заботливо укрыл в небесной куще!

Я радуюсь, что ты блаженство обрела,
И мне лишь одному утрата тяжела...
«Не плачь, мой милый муж, не сетуй в укоризне...»
Я с неба вижу тебя, каким ты был при жизни.

Я вижу, ты скорбишь, от горя изнемог,
О если б ты со мной вкусить блаженство мог!
Ты был таким добрым, заботливым и честным,
И столько претерпел от людей — все господа известно!
Не забывал никогда ты долга своего
И помогал жене — так не бойся же ничего.

Мужайся, дорогой, не страшись осужденья,
И пусть тебя не тревожит ни страх, ни сомненье.
Быть может, милый муж, осудит свет тебя,
Но твою доброту поймет господь, любя.

Ты воздаянья не знал в труде безвестном,
Но все должны признать, что ты был добрым и честным.
Пусть злые люди тебя чернят,
Ты отврати от них свой слух и взгляд.
Ведь я, твоя жена, на небе помню ежечасно,
Что ты дал мне любовь, ласку, заботу и счастье,
И если Всеблагой соединит нас вновь,
Мы вкусим вновь с тобой и счастье и любовь»,—

закончил он и поднял на меня глаза. Должен признаться — я слушал его буквально разинув рот от удивления. Какое простодушие! Какая непостижимая наивность! Ему и в голову не приходило, что это произведение постороннему человеку может показаться неуместным, что оно может вызвать иронические толки и насмешки. Да неужели он сам не видит, до чего все это смешно? Возможна ли такая тупость? Я изумленно глядел на Уиддла, а он сидел, терпеливо ожидая моего одобрения.

— Скажите, — промолвил я наконец, — вы все это сами сочинили?

— Понимаете, — начал он объяснять, — здешние газеты каждую неделю печатают такие стихи. Я почитал их и взял оттуда кое-что — так, немножко, самую малость. А остальное все сам придумал.

— Очень хорошо, — ободрил я его. — Прекрасно! Но не много ли получилось строчек? Ведь цена — десять центов за строку. Придется дорого заплатить.

— Да, — огорченно согласился он, почёсывая затылок. Его, видимо, вдруг взяло сомнение. — Об этом я и не подумал. Ну-ка, посмотрим. — И он принялся считать. — Три доллара сорок центов, — объявил он, наконец, и замолчал.

Ах, подумал я, вот она, бренность всех земных привязанностей! Ибо, глядя, как этот Уиддл подсчитывает цену своего поэтического вдохновения, я снова вспомнил его жену, ее беспросветную жизнь, тяжкий труд до последней минуты, заботливо составленное завещание, — и вся тщета их жалкого, никчемного существования предстала предо мной с необычайной яркостью. Я снова задумался над загадкой, которую мы называем жизнью, над тем, в какую бессмыслицу превращается подчас человеческое бытие. Я вижу над головой огромный пылающий шар, называемый солнцем. Окруженный планетами, он медленно вращается в мировом пространстве. А здесь, на «земле», — мы, занятые собой, своими ничтожными делишками. Везде, под нами, над нами, вокруг нас — бесконечность и тайны, тайны, тайны. За все века никто еще не сумел объяснить хоть сколько-нибудь разумно, что такое мы, и что такое это солнце, и эта земля, и для чего мы копошимся на ее поверхности. И, однако, наперекор всему, всюду вокруг нас — любовь, страсть, жадность, и красота, и тоска о чем-то, и стремление к чему-то, — бесконечная возня, восторги и муки, и все ради того, чтобы сохранить в мировом пространстве это призрачное, туманное нечто — «жизнь», «себя», «наше». Порхающие птицы, шелестящая на ветру листва, тучные поля, таинственным образом рождающие все на потребу человека, — и тут же рядом эта трагедия скудости. Жизнь, пожирающая другую жизнь, люди и животные в вечной борьбе между собой, в вечных усилиях вырвать что-то друг у друга, как будто в мире только и осталась что одна-единственная горсточка пищи, да и та уже захвачена кем-то другим.

Здесь, на холме, вокруг нас, несмотря на все тайны, страдания и горести, сиял летний день, прекрасный сам по себе. Кудрявые деревья, синие горы — чудная, умиротворяющая картина. Красота, красота, красота — влекущая, исцеляющая, примиряющая с жизнью. А в центре всей этой благодати — Ида Хошавут, ее отец со своей поговоркой: «У меня ни одна животины не разжиреет», сын, чуть не поднявший отца на вилы, и этот жалкий проstack со своими надгробными стихами, которые, кажется, влетят ему в копеечку, со своим страхом потерять те крохи, что ему достались. Его любовь? Его утрата? О, какой вздор! Его выгода! Его желание оп-

равдать себя перед людьми! Ха, ха! Хо, хо! Вот ведь что было в его стихах. Вот что его беспокоило.

Но так ли уж он виноват? По-моему, нет. Имеет ли он право на то, что получил? Не меньше, чем всякий другой имеет право на свою собственность. А он вот мучится от беспокойства, взвешивая свою выгоду и свои убытки, решая в уме, стоит ли заплатить три доллара сорок центов за эти стишки — свою попытку самооправдания — и послать их в убогую газетку, которой никто не знает и не читает.

Mesdames и Messieurs, уж не сошли ли мы все с ума? Или, быть может, только я один? Или сама жизнь? Неужто вся она до такой степени бессмысленна и бесцельна и все в ней — сплошная путаница и неразбериха? Мы пытаемся разгадать старые тайны и слагаем из них новые — машины, методы, теории. Но для чего? Что скажете вы обо всех этих хошавутах и уиддлах — прошлых, настоящих и будущих, об их сыновьях, дочерях, родственниках, об их борьбе, жестокости, напыщенности и глупости? Несчастливая Ида — тупая, забитая! Этот жалкий бестолковый плут со своими стихами! И я сам, пишуший эти строки и размышляющий о том, чего никто мне не разъяснит.

Несколько лет спустя я получил письмо от жены моего родственника. Она писала:

«Думаю, вам интересно будет узнать дальнейшую судьбу Уиддла. Он теперь ударился в религию, читает Библию, толкует ее презабавным образом и приходит иногда за разъяснениями ко мне. Занимается хозяйством и размышляет о боге, ожидая каждую минуту его появления. Бога он представляет себе не то драконом, не то каким-то гигантом, который вот-вот придет и погубит его и всех людей. Конец света наступит, по его мнению, так: явится бог в образе дракона или великана и начнет шагать по земле. Куда ступит его нога, там все умрут. Когда он всех перетопчет, это и будет конец света. Уиддл понятия не имеет, что мир несколько больше Соединенных Штатов. Я как-то сказала ему: «Послушай, ведь богу придется очень много ходить, чтобы всех уничтожить». Он ответил: «Так-то оно так, но, может,

у него ноги побольше наших: может, каждая величиной с амбар. И ходит он, наверно, побыстрее, чем мы». Словом, он весь ушел в Библию, все читает, и все о чем-то думает, и все прочитанное связывает со своим хозяйством. Живет один, сам себе готовит, второй раз не женился, боится, наверно, что вторая жена все у него отнимет. Но притязаний на его наследство никто не заявлял. Люди, кажется, жалеют его. Питается он главным образом кукурузной кашей, которую, сварив, размазывает по блюдам или мелким тарелкам, чтобы получилась тонкая лепешка,— должно быть, просто не додумался, что можно вылить в глубокое блюдо, а потом нарезать ломтями».

Трагическая Америка



АМЕРИКАНСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ¹

Спешка и гонка — вот что определяет темп жизни в этой обширной стране.

Пусть как можно больше будет скорость автомобилей, мощность машин, высота небоскребов, сооружаемых в рекордные сроки, как можно головокружительней бег поездов по туннелям подземки! Побольше городов, побольше бизнеса, побольше дел и забот,— как будто именно мы, из всех народов, призваны не только механизировать, но и заселить весь мир! Но зачем все это делается? Для какой-то определенной цели? Ради создания каких-то высших духовных ценностей? Мне кажется, что наоборот, в такой обстановке человек неизбежно «выдыхается» и физически и морально; и с миллионами людей это либо уже произошло, либо должно произойти в ближайшем будущем. Они живут и умирают, так ничего и не испытав, ради чего стоило бы жить. Жизнь среднего человека превратилась в сплошную муку: так она ничтожна и бессмысленна, до такой степени сам он сбит с толку и заранее обречен на поражение!

Короче говоря, самые условия жизни в наших промышленных городах и поселках таковы, что не только отнимают у человека покой, но и вконец разрушают его нервную систему, а людей более впечатлительных, случается, даже доводят до самоубийства. Число тех, кто в смерти видит единственное избавление от жизненных тягот, не только не уменьшается, но неуклонно растет.

Больше того: теперь уже совершенно ясно, что на Америку и на страны, связанные с ней в финансовом отношении, надвигается катастрофа. Во время нынешне-

¹ В настоящем издании печатаются отдельные главы из книги «Трагическая Америка».

го мирового кризиса¹ Англия вынуждена была отказаться от золотого стандарта и временно закрыть лондонскую биржу. Аналогичные явления происходят и в других странах: Норвегии, Швеции, Дании. Египту тоже пришлось отказаться от золотого стандарта. Мировой кризис все углубляется. Стараясь его предотвратить, наши частные банки в последнее время ссужали Германии большие суммы. И хотя было постановлено, что репарации Соединенным Штатам Германия выплачивает в первую очередь, теперь наши банкиры сами требуют, чтобы платежи по репарациям были отсрочены на год. Они опасаются за судьбу займов, выданных ими под залог определенных обеспечений, понимая, что претензии по этим обеспечениям подлежат удовлетворению лишь во вторую, а не в первую очередь.

Катастрофа в сущности уже разразилась в Америке; и первый ее признак — безработица, охватившая сейчас миллионы людей. Те, кто потерял работу, терпят жестокую нужду и страдают от голода. А те, у кого еще есть работа, живут под постоянной угрозой снижения заработной платы. Когда компания «Юнайтед Стейтс стил» снизила зарплату своим рабочим, в газете «Нью-Йорк таймс» на первой странице появился жирный заголовок такого содержания: «Снижение зарплаты продолжается — акции поднялись на четырнадцать пунктов». Это уже прямой сигнал бедствия. В данной книге я ставлю себе задачей выяснить причины нынешнего экономического положения. Что привело нашу экономику к тому состоянию, в котором она находится сейчас?

В настоящее время в Америке ясно ощущается все растущее недовольство рабочих масс и близость кровавых классовых боев.

«Нью-Йорк таймс» выражает опасение, что в некоторых округах штата Кентукки борьба труда и капитала может перерасти в гражданскую войну. В округе Харлан крупные угольные компании, контролируемые Морганом, Инсуллами, Фордом, Меллоном и проч., создали для своих шахтеров совершенно нечеловеческие условия существования. Полиция шахтовладельцев в борьбе со стачечниками прибегает к незаконным террористическим действиям, попирая все права, гарантированные им конституцией и законами штата. Шахтеров арестовывают

¹ Имеется в виду мировой кризис 1929—1933 гг.

сотнями — исключительно для того, чтобы их запугать. Родственники окружного судьи сами являются владельцами шахт. Выборы фальсифицируются. И все это, включая такие действия полиции, как взрыв бесплатной столовой для бастующих или автомобиля, развозящего им продовольствие, незаконное вторжение в квартиры стачечников и незаконное их избиение, а также расстрел безоружных шахтеров из пулемета, — все это говорит о крайнем обострении борьбы труда и капитала, причем теперь рабочим приходится бороться уже за самое свое существование.

Этот звериный индивидуализм, эти типично капиталистические формы борьбы и делают нашу жизнь столь мрачной; это-то и лишает нас всякой уверенности в завтрашнем дне. Под словами: «На господа уповаем», выбитыми на нашем долларе, следовало бы написать: «И к черту тех, кто слабее», — то есть в данном случае рабочих. А правительство, не считаясь более с общественным мнением, уже не находит нужным заботиться обо всех и опекает только самых сильных (предоставляя им, если на то будет их добрая воля, позаботиться в свою очередь об остальных). Миллионы людей в Америке живут сейчас в постоянной тревоге, не зная, будет ли у них завтра кров и пища. И на эту тревогу они обречены до последнего своего дня, пока смерть не положит конец их мучениям. Ибо как может рабочий и даже мелкий предприниматель — по существу жертва крупных трестов и банков — обеспечить свое будущее?

Один предприниматель борется против другого, одна группа против другой группы, один трест против других трестов, — а страдает везде «маленький человек»; и вся наша жизнь служит подтверждением научной теории, гласящей, что там, где мельчайшие частицы энергии находятся в движении и сталкиваются между собой, суть процесса сводится к тому, что одна частица теряет некоторую долю своей силы, а то и всю, а другая ее присваивает. Но откуда это неистовство, эта глухота ко всем доводам рассудка, из-за которой миллионы мужчин и женщин вынуждены работать так много и получать так мало? Какие особенности американской жизни породили свирепствующую ныне борьбу между трудом и капиталом, отдельной личностью и трестом, правительством и народом?

Последняя война, как мы знаем, дала толчок к огромной деловой активности. Боеприпасы, обмундирование, провиант — все это поставлялось для армии в невиданных до той поры количествах. Но кому от этого была польза? Только акционерам таких крупных компаний, как Дюпон, «Стандард ойл», «Ботэни уорстид миллэ» и другие им подобные: те действительно обогатились, а в это самое время американская молодежь отдавала жизнь на фронте или работала в тылу за какие-нибудь тридцать долларов в месяц. Продукция заводов и сельского хозяйства, грузооборот железных дорог возросли во много раз против прежнего, хотя миллионы рабочих выбыли с производства и находились за океаном, сражаясь на фронтах. Больше того, в самой Америке имелся в это время значительный резерв рабочей силы: часть рабочих была вовсе не занята, а часть занималась делами, не имеющими отношения к промышленности. Но таков всегда эффект сосредоточенного усидия. Выпуск продукции возрастает, несмотря на то, что тысячи рабочих уходят в армию. Подобная же картина наблюдалась во время Гражданской и испано-американской войн. Этот подъем промышленности, хотя и вызванный необходимостью, но не подготовленный всей экономикой страны, привел к временному «процветанию», чему способствовало также всеобщее увлечение автомобилями, радио, кино и т. д. Сейчас в Соединенных Штатах автомобилей чуть ли не больше, чем телефонов. Но, увы, все эти замечательные изобретения и увлекательные новинки — автомобили, радиоприемники, фонографы, телефоны, кинофильмы, театральные постановки — имеют одно неудобство: мы не в силах потребить их в таком количестве, в каком производим, ибо у тех, кто их создает, нет денег, чтобы все это покупать.

Но что же дал нам этот бум в промышленности? Увеличил наше благосостояние? Упрочил пресловутое «процветание»? Обеспечил кому-нибудь, кроме ничтожного меньшинства, достаточную долю тех экономических и социальных благ, которые, казалось бы, должна была создать столь усиленная деятельность? Присмотритесь к тому, как у нас живут люди, и вы получите ответ!

Корпорации, банки, держательские компании и тому подобные организации становятся все сильнее, а отдельный человек все слабее — и экономически и духовно.

В школе его учат салютовать американскому флагу и хвалиться стопроцентным патриотизмом, которого он, может быть, в себе вовсе и не чувствует; за ним шпионят, проверяя его нравственность; ему силой навязывают определенные взгляды на воспитание, и определенные политические воззрения, и даже способы развлекаться. Еще во время войны представители некоторых влиятельных группировок — да и просто люди радикальных взглядов — предсказывали, что весь этот военный бум в промышленности приведет лишь к мнимому «процветанию», от которого «маленькому человеку» станет только хуже; что он обогатит тресты, но обеднит и оглупит среднего американца. Так оно и получилось.

Трестирование, охватившее всевозможные предприятия, от заводов до банков, приняло гигантские масштабы; тресты присылают в контролируемые ими предприятия свой административный и служебный персонал; а местный житель, который раньше мог все-таки надеяться, открыв собственное маленькое дело, скопить себе что-нибудь на старость, оказывается теперь в полной зависимости от корпораций, которым нет никакого дела до его будущего. Да и его настоящее обеспечено не лучше: его в любую минуту могут уволить, — и чем дальше, тем эта угроза становится неотвратимее. Каждый лишней седой волос, каждый год его жизни, проведенный на службе компании, приближает роковую развязку. И на помощь государства ему нечего рассчитывать: помощь получает только эксплуатирующая его компания. Короче говоря, ни крупные тресты, ни мощные финансовые объединения, ни само правительство, которое так любовно их пестует, не имеют никаких обязательств перед отдельным человеком. Его предают в руки демона нищеты.

К началу первой мировой войны из 117 миллионов населения Соединенных Штатов 14 миллионов составляли лица, родившиеся за пределами США, а 21 миллион — родившиеся в Америке, но от родителей-иммигрантов. Война нарушила их благополучное, или по крайней мере заполненное мирным трудом, существование; на их судьбе тяжело отразился тот факт, что немцы начали истреблять бельгийцев, русские, французы и англичане — драться с немцами, австрийцы, итальянцы и балканские народы — уничтожать друг друга и так далее. Но позвольте, ведь в Америке столько говорилось

о том, что нужно американизировать иммигрантов путем предоставления им равных возможностей с коренным населением, равных прав и свобод; о том, что Америка — это гигантский плавильный котел, в котором все национальности сплавляются в единый американский народ. Да, а война всему этому положила конец. Плавильный котел? Глупая, сентиментальная выдумка, о которой давно пора забыть. Свобода? Никаких свобод — кроме тех, что вашей новой родине будет благоугодно вам дать. Законы военного времени, направленные против свободы слова, подавляют общественное мнение. Дальнейшей иммиграции чинятся такие препятствия, что муж не может вызвать свою жену с детьми в Америку. Так лопнула вся наша хваленая американизация. Погоня за наживой и черствое деячество, согласно моральному шаблону, изготовленному Уолл-стритом, — вот что выставляется сейчас как идеал, а банки и корпорации заботятся о его осуществлении. Наша новейшая американская философия, которая, кстати сказать, есть не что иное, как идейное отражение этого новоявленного господства банков и трестов, занимается главным образом тем, что восхваляет и проповедует предпринимательство в грандиозных масштабах. Побольше денег и поменьше свободы, побольше деспотизма и поменьше образования для масс! Такая идеология всегда сопутствует режиму, утверждающему абсолютную власть немногих лиц над большинством народа. Олигархия!

Но против этой кучки власть имущих теперь поднимаются миллионы рабочих, вынужденных работать за гроши, питаться кое-как, терпеть подчас грубое обращение и вечно тревожиться о своем завтрашнем дне. А с ними заодно и те, о ком я уже упоминал, — люди, встающие против капиталистических войн, и те американские граждане иностранного происхождения, которых война заставила почувствовать себя иностранцами и которые теперь невольно обращаются мыслью к своей старой родине: они начинают задумываться над тем, как правительство разрешает там экономические проблемы, — например, как их разрешает Советское правительство в России, — и соображать, нельзя ли использовать этот опыт в Америке для борьбы против алчных и эгоистических корпораций. Да и вообще рабочие сейчас уже начинают понимать, что войны ведутся ради выго-

ды капиталистов. Это слишком уж очевидно. А облик тех господ, которые устами своих правительств объявляют войну, для того чтобы предотвратить падение своих прибылей или выжать новые прибыли (и какие!) из чужих стран, а также из своей собственной, все яснее вырисовывается как облик самых доподлинных грабителей, международных пиратов. (Достаточно вспомнить наши собственные, американские, войны начиная с войны 1812 года.) Короче говоря, в настоящее время и рабочий и фермер начинают понимать, что им самим война и подготовка к войне не сулят никаких благ, а только кровавые жертвы и еще большую нищету, и потому они объединяются для совместной борьбы против капиталиста.

Зато банки и тресты Соединенных Штатов всегда готовы финансировать и даже разжечь войну в любой стране, где интересы капиталистов оказываются под угрозой. Так, многочисленные перевороты в странах Южной и Центральной Америк, несомненно, субсидировались капиталом Соединенных Штатов. И такие банки, как, например, «Дж. П. Морган энд компани», орудуют сейчас во всех частях света — от Азии до Южной Америки. Когда требуется защитить свои капиталовложения или капиталовложения своих наиболее крупных акционеров, они имеют полную возможность расправиться с населением почти что любой страны либо косвенным путем, действуя через свое собственное правительство, либо подкупая солидную ссудой капиталистическое правительство или диктатора этой же страны, ибо те и сами не прочь учинить подобную расправу. Как пример могу привести хотя бы Кубу и ее диктатора Мачадо, которому американские финансисты и промышленники оказывают всяческую поддержку в его стараниях поработить 3 миллиона кубинских граждан, влачащих голодное существование в своих жалких хижинах. Эти несчастные восстали — и единственно по той причине, что подобную нищету никакой человек не в силах вынести. Однако наши финансисты и промышленники не только взяли в свои руки таможни Кубы, — они диктуют свою волю правительству этого независимого государства, превращая его, таким образом, в настоящий протекторат. А не то они посылают свои ультиматумы через наш государственный департамент, — ультиматумы тем более веские,

что они вручаются под прицелом пушек американских военных кораблей. Это уже доподлинный империализм того же сорта, что и английский или германский,— яркий пример тому мы недавно видели в Панаме. Такая политика глубоко противна всем американцам любого круга и слоя общества, кроме капиталистов, но именно эту политику проповедают консерваторы известного типа, всегда готовые кричать о необходимости вооружаться и защищать наших граждан за границей. А тем временем тут же, у нас под боком, растет и крепнет империализм Уолл-стрита.

Американские деньги не только расходятся сейчас по всему миру в виде капиталовложений, но и состояния, нажитые, главным образом, в Соединенных Штатах, уходят во все концы земного шара в виде «даров», в то время как миллионы американцев продолжают голодать. Взять хотя бы к примеру те «дары» в сотни миллионов долларов, которыми Джон Д. Рокфеллер «облагодетельствовал» Токио, Париж и Китай. Огромное состояние ставится, таким образом, на службу интересам только одной семьи и используется исключительно для того, чтобы избавить от забот более или менее безмозглых потомков денежного магната. Вот и выходит, что одна девушка развлекается, насколько у нее хватает изобретательности, на свои восемьсот миллионов долларов, а другая работает с утра до ночи за восемь долларов в неделю. Или возьмите, к примеру, покойного Рассела Сейджа: не найдя применения для своих миллионов, он оставил их жене, столь же мало смыслящей в общественных делах, как и он сам; и та, в свою очередь не зная, куда девать деньги, передала их в ведение «Фонда имени Рассела Сейджа», который теперь и занимается всякими нелепостями, ничуть не лучше тех, что творят господа Рокфеллеры, Харкнессы и другие им подобные. Или вот вам еще пример: наследник миллионера строит идиотически пышный дворец посреди столь же идиотически пышного поместья.— и все только для того, чтобы его собственные наследники потом без конца тягались из-за этого поместья в суде. Вспомните одержимого манией величия сына миллионера Соу и бесчисленные судебные процессы, которые велись этим семейством! А есть ли от всего этого хоть какой-нибудь прок? Хоть малейшая реальная польза?

Беда вся в том, что у нас в Америке принято считать, будто одаренного и сильного человека, каким бы эгоцентричным, корыстным и антиобщественным существом он ни был, тем не менее нельзя ни в чем ограничивать, ибо он составляет часть государства, которое было создано для того, чтобы обеспечить своим гражданам право на равные для всех возможности. Но ведь понятие равных для всех возможностей уж никак не может означать неограниченную свободу действий для хитрых и сильных, которые, прикрываясь, как щитом, этим лозунгом, стремятся установить лично для себя особые, или, иначе сказать, неограниченные права и привилегии и захватить проистекающие отсюда власть и богатство, тогда как остальные девяносто или девяносто пять процентов американских граждан живут в нужде. Однако именно к этому мы пришли в конце концов: хитрые и сильные сумели ловко расправиться со страной «равных для всех возможностей» — с самого начала они захватили ее огромные богатства и присвоили их (я говорю сейчас не только о тех миллионах акров земли, которые правительство раздавало влиятельным лицам, но главным образом о природных ее ресурсах — лесах, рудных богатствах, нефти, а также о различных привилегиях и концессиях — на железные дороги, на пересылку грузов, на телеграф, на освещение и так далее, — которые они ухитрились получить или украсть). А теперь, пользуясь своим богатством и экономической силой, которую дает богатство, а также властью, которая ему сопутствует, они уже начинают диктовать свою волю правительству — тому самому правительству, которое, исходя из принципа «равных для всех возможностей», позволило им приобрести эту власть.

Но это такой процесс, который не может нарастать бесконечно. Высшая точка уже почти достигнута. Ибо из начальной стадии, когда отдельный человек мог наживать миллионы и сотни миллионов долларов, снова вкладывать их в дело и единолично ими управлять, мы уже перешли в следующую стадию, когда такой капиталист неизбежно объединяется с другими, и они сообща учреждают и контролируют банки, тресты, корпорации, через посредство которых (и тратя на это гораздо меньше труда, чем раньше) они уже могут оказывать давление на государственную власть. В самом деле, кто ре-

шает все дела в конгрессе и вне конгресса, в отдельных штатах и городах, как не тресты и банки? Тресты и корпорации, пуская в ход все находящиеся в их распоряжении орудия — политиков, суды, полицию, адвокатов, — могут теперь не только охранять и умножать свои миллионы или миллиарды, но еще и подавлять всякую конкуренцию как законными, так и незаконными способами, — но всегда, заметьте, с согласия правительства; они даже ухитряются теперь заставлять правительство и народ, на чьих глазах и благодаря чьему попустительству или недомыслию, или тому и другому вместе, они приобрели столь большую силу, помогать им в их действиях. Взять хотя бы такие объединения, как «Стандард ойл компани», или «Юнайтед Стейтс стил компани», или большие железнодорожные компании, банки и корпорации предприятий общественных услуг, — все они сейчас облагают данью, грабят и обсчитывают то самое правительство и тот самый народ, который в свое время — возможно, и не предвидя, что из этого получится, — позволил этим хищникам отрастить себе зубы!

Но мало того, что у нас всем верховодят денежные мешки (и это под благосклонным взором правительства, которое было поставлено вовсе не для того, чтобы это терпеть); у нас существует еще и господство целых семейств, настоящая династическая власть князей капитала — Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов; их наследники и преемники, их дети, которые сами ничего не создали и не усовершенствовали, а только получили от отцов имя и капитал, претендуют, однако, на этом основании на право решать, кому быть первым и кому последним в общественной и финансовой иерархии. Одновременно протекают два процесса: семья капиталиста возносится на недосягаемую высоту, а семья рабочего, под давлением безработицы и нищенской зарплаты, скатывается все ниже и ниже. Это характерная черта загнивающего капитализма. Короче говоря, сейчас в Америке идет спор между богатыми и бедными, спор о том, сохранит ли рядовой американец свое достоинство и жизнь, как бы мал и беден он ни был, или же финансовая олигархия окончательно заберет власть в свои руки и будет диктовать остальным ста двадцати пяти миллионам, что им делать, и что им думать, и на какую минимальную (непреренно *минимальную!*) сумму им жить, пока

горсточка других (сильных и хитрых) делает, что им нравится и живет в полное свое удовольствие. Вот из-за чего разгорается борьба!

Посмотрим же теперь, какими методами действуют эти олигархии, а также их корпорации, которые так хорошо окопались с помощью закона и теперь уже норовят указывать всему народу, во что ему верить, за кого голосовать, на кого работать, сколько получать за свою работу, что думать, и так далее. Мне кажется, не стоит — ибо это слишком уж не ново! — подробно рассказывать о том, как организуются предвыборные кампании с целью провести в президенты угодного трестам и банкам кандидата; как государственная политика определяется интересами финансовых объединений и стоящих за ними крупных промышленных корпораций; как просвещение, печать, религия, публичные выступления — все подчиняется выгоде тех, у кого в руках власть и кто постоянно стремится эту власть расширить и укрепить.

Все это оказалось возможным только потому, что масса не способна на такую хитрость, изворотливость и бессовестность, как те единицы, которые стараются эту массу поработить и использовать к своей выгоде. Масса всегда доверчива и склонна принимать за чистую монету то, что ей преподносят, пока, наконец, какая-нибудь очень уж явная форма эксплуатации не пробудит ее сознания, — но, как правило, слишком поздно.

Вот и сейчас в Америке кучка захвативших власть магнатов стремится обратить в рабство наш великий народ — и в этих целях она прежде всего старается духовно растлить его. Именно это, и только это побудило меня вмешаться в происходящую борьбу.

Любопытно проследить, какие для этого употребляются средства. Одно время считалось, что религия (да здравствует потребность человеческого сердца в вере!) будет покорно склоняться перед любой формой господства и власти. Оказалось, что это не совсем так. Ибо в Америке поборники и служители религии — священники, епископы и кардиналы — сами стремятся приобрести власть наряду с денежными магнатами и даже подчинить себе денежного магната, его правительство и его рабов. Они сумели завладеть прессой и заставляют ее служить себе. В тысячах американских газет и журналов вы найдете статьи и передовицы, прославляющие поль-

зу и утешительность религии,— и немалое их количество писано католиками или по крайней мере инспирировано католической церковью и представляет собой плод ее ловкой пропаганды. А эта церковь, самая могущественная, самая хитрая и самая вредоносная из всех, никогда не оставляла мечты о верховной власти для себя, и только для себя. Но об этом после.

В нынешней войне капитала против народа, правительства против народа, церкви против народа образование и общественное мнение поставлены на службу интересам трестов и церкви. И от этого образование, разумеется, чахнет и хиреет. Да и как ему не хиреть, когда люди лишены возможности говорить правду; это неизбежно приводит к тому, что они перестают даже искать ее.

А тем временем наши нынешние господа и повелители — капиталисты — изобретают разные бессовестные и хищнические способы повышения прибылей и совместно с банками наживаются на спекуляциях своими акциями и облигациями, обесценивая тем другие ценные бумаги. Разводненные акции! Дивиденды в сорок или пятьдесят на сто! И, стало быть, прибыли в несколько тысяч процентов на основной капитал. Да не только это, а еще и разные другие манипуляции, как, например, выдача на каждый основной пай в сто долларов трех новых акций по цене ниже номинала. Это лазейка на тот случай, когда компания, нажив грандиозные прибыли, не смеет объявить слишком уж высокий дивиденд; это способ снова пустить в оборот сверхприбыль. Но если это новое капиталовложение, эти деньги, которые, будь они объявлены в виде дивидендов, акционеры не имели бы права получить полностью, не принесут в свою очередь дивиденда ввиду установленных правительством ставок налога, то правительство сейчас же обвинят в «изъятии частной собственности».

И все эти блага распределяются среди небольшой группы привилегированных акционеров. Так, «Коммонуэлс Эдисон» — одна из наших самых богатых корпораций — постановила выпустить новые акции на сумму в несколько миллионов долларов, и акционеры-учредители получили «право» приобретать эти акции по цене на 15 долларов 65 центов ниже номинала; иными словами, им был сделан подарок в 22 миллиона долларов только потому, что они являлись старыми акционерами. Вот

вам один из способов удержать контроль в руках немногочисленной группы!

И в других компаниях — весьма и весьма многих — директора также стремятся раздуть основной капитал фирмы или корпорации до, можно сказать, невероятных размеров. Возьмем только один пример: «Филадельфия электрик компани» получает сейчас восемь процентов прибыли с капитала, в четыре раза превышающего истинную стоимость ее активов. Но, в то время как доход она получает с капитала в 428 миллионов долларов, согласно оценке комиссии по обследованию предприятий общественных услуг, налоги она платит всего со 113 миллионов долларов, каковая сумма установлена, скажем деликатно, благорасположенными к компании оценщиками налогового управления. Для того чтобы завысить размеры основного капитала, директора компании не брезгают самыми хитроумными и бесчестными уловками: в счет идет и возросшая стоимость прилежащей к предприятиям земли, и рост города, и падение покупательной способности доллара. В настоящее время все американские корпорации добиваются, чтобы постоянная торговая клиентура, оборот и даже будущие доходы учитывались судом как «собственность», не подлежащая изъятию. Иными словами, они стараются все, что можно, превратить в воображаемую «собственность», чтобы спасти от изъятия то, что еще даже не существует. И наиболее авторитетные американские суды уже разрешили при оценке имущества корпораций в целях установления ставки налога учитывать расходы по переоборудованию. А между тем установить истинную сумму этих расходов не так-то легко. Был, например, случай, когда частные экономические или оценочные компании, вызванные в качестве экспертов, разошлись во мнении на целых сто миллионов долларов.

А сколько зла принесла такая погоня за прибылью! Ибо именно это экономическое лицемерие и озлобляет среднего американца. Не угодно ли еще пример. Один промышленник из Ниагара-Фолз в штате Нью-Йорк выступил в конгрессе с требованием снизить тариф на пользование электроэнергией. Он мотивировал свое требование тем, что электроэнергия, которой он пользуется, стоит ему непомерно дорого и он не в силах конкурировать с канадскими фирмами по ту сторону реки,

где электроэнергия стоит дешевле. Вслед за этим выступил Флойд Л. Карлайл, директор энергетической корпорации «Ниагара — Гудзон», который дал совсем иное освещение того же вопроса: нимало не задумываясь, он утверждал, что тарифы его фирмы на промышленную электроэнергию гораздо ниже, чем те, что устанавливает канадская комиссия провинции Онтарио по ту сторону рубежа.

Как уже сказано, я считаю главным злом неудержимую погоню корпораций за наживой. *Чистоган* — это высшее мерило разлагающегося капитализма, как говорит Маркс, — стал воистину главной действующей силой всей нашей современной практики. Иначе откуда брались бы такие факты, как иск на 11 миллионов долларов, возбужденный правительством против «Вифлеемской судостроительной компании» в связи с ее чрезмерными военными доходами? А «Вифлеемская судостроительная компания» оправдывает свои двадцать один процент прибыли тем, что, мол, «Юнайтед Стейтс стил корпорейшн» получала пятьдесят один процент прибыли. Это типичный пример высоких прибылей, наживаемых крупными корпорациями. В Америке считается, что огромная прибыль — неперемное и обязательное следствие деятельности корпораций. Приведенные цифры прибылей сравнительно еще не очень высоки, хотя и они в достаточной мере иллюстрируют финансовые махинации монополистического капитала.

Вернемся, однако, к предприятиям общественных услуг, — прибыли этих компаний растут с каждым днем, а те, кто платит им за электричество, газ и так далее, бродят по улицам в тщетных поисках работы! Доход этих компаний за первую половину 1930 года составил 1 миллиард 191 миллион долларов, то есть на пять процентов больше, чем за первую половину 1929 года. Компания с таким доходом приобретает влияние, которое я считаю совершенно недопустимым. Ныне покойный Джордж Ф. Бейкер, бывший председатель Первого национального банка, давая в 1913 году показания перед комиссией Пуджо, заявил во всеуслышание, что достаточно было ему и Дж. П. Моргану санкционировать крупную финансовую аферу, чтобы она была успешно завершена, и что за эту власть над жизнью и промышленностью страны ни его, ни мистера Моргана нельзя

привлечь к ответу. И, конечно, нельзя! Потому что они — сила. Именно поэтому Бейкер и Морган ускользают от кары закона, а никак не потому, что их действия юридически оправданы. Недаром Бейкер, понимавший это еще восемнадцать лет тому назад, признал тогда, что положение в стране действительно «неприятное» и что дальнейшую концентрацию промышленности следовало бы прекратить. Но прекратилась ли она? Наоборот, она и сейчас продолжает расти. Те, кто ее проводит, надо полагать, рассчитывают, что все более широкие объединения капитала будут способствовать их личной славе или позволят направить мир по какому-то полезному пути. Но куда? И к чему все это нас приведет? Если не к финансовой диктатуре одного лица — так сказать, финансового Цезаря, то единственная другая возможность — это антитеза первой: центральный комитет народа, как в России, полновластно руководящий всеми начинаниями и их осуществлением и ставящий себе первой и единственной целью благо всего народа, а не какой-нибудь отдельной группы. Либо то, либо другое будет непременно результатом нынешней борьбы масс против олигархов. К такому выводу нас неуклонно толкают действующие ныне силы борьбы и разрушения, которые необходимо изучить и понять.

Все связанное с этим вопросом и составляет тему данной книги, написанной исключительно для тех, у кого есть достаточно терпения и желания разобраться в том, что происходит сейчас в Америке и куда она идет.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В АМЕРИКЕ — ВЛАСТЬ СИЛЫ

Я утверждаю, что весь американский бизнес осуществляется и всегда осуществлялся через насилие. Я считаю всю эту систему отсталой и варварской, неспособной удовлетворить нынешним общественным требованиям и не соответствующей нынешней стадии общественного развития. Капиталистический строй в настоящее время отнюдь не единственное возможное устройство общества и уж никак не наилучшее. Основной принцип — что все материальные блага, накопленные благодаря высоко-

му уровню современной техники, должны справедливо распределяться между всеми гражданами, пропорционально труду и общественной полезности каждого — у нас находится в полном пренебрежении.

У нас с самого начала нашей истории все происходит как раз наоборот. Сперва люди, имевшие влияние в наших законодательных органах, захватили огромные естественные богатства страны; затем, с появлением железных дорог и развитием всех других видов транспорта, стимулировавшим рост нашей промышленности, эксплуатация естественных ресурсов пошла полным ходом; и огромные капиталы, сложившиеся в результате этого процесса, сейчас сконцентрированы в руках немногих лиц. Эти лица или их наследники и правопреемники подчинили себе, если не духовную, то во всяком случае политическую и экономическую жизнь Америки. И, как ближайшая перспектива, уже вырисовывается фигура диктатора, единовластного хозяина страны. Но этим диктатором будет не Герберт Гувер.

Начну с самого начала — это необходимо для того, чтобы дать исчерпывающую картину. Первые наши капиталисты — господа, которые раньше всех начали частную эксплуатацию общественного достояния, спекулировали землей. Земельная компания была первым по времени средством накопления богатства. В 1792 году конгресс издал закон, закреплявший 100 тысяч акров за Земельной компанией Огайо. В дальнейшем эта компания, пользуясь своим влиянием, неоднократно приобретала еще землю — и очень хорошую — почти что задаром. Так, например, она купила 892 900 акров всего за 642 856 долларов. В те годы это был самый легкий путь к личному обогащению. В 1795 году законодательное собрание штата Джорджия продало четырем земельным компаниям несколько миллионов акров земли. Правда, следующее законодательное собрание в 1796 году аннулировало этот договор, как заключенный при помощи «недопустимого воздействия», то есть попросту подкупа, но верховный суд США решил, что это ничего не меняет и сделка все равно остается законной. Ну уж и законность!

А когда в том же 1796 году был издан закон, который давал поселенцам право приобретать землю в кредит, крупные компании захватили через подставных лиц

огромные земельные угодья, и затем эту землю (полученную ими в кредит и свободную от налогов) они принялись распродавать по такой цене, какую им было угодно назначить, тем самым поселенцам, чьи интересы был призван охранять этот закон.

Изданный в 1878 и дополненный в 1892 году закон «о лесах и каменоломнях» повел к еще худшему злоупотреблениям и мошенничествам: компании получили возможность продавать государственную землю, оставляя лес себе. А мелкий фермер ничего не получил, ибо он уже и тогда был целиком в руках финансовых хищников, которые всегда могли добиться своего, опираясь на закон; сила была на их стороне, в законодательных органах сидели их приятели и пособники. Закон о «приобретении земли за наличные», вышедший в 1876 году, опять-таки послужил им на пользу, так как разрешал продажу неограниченного количества государственной земли любому лицу или компании по 1 доллару 25 центов за акр, лишь бы уплата была произведена наличными деньгами. Под покровом этого закона капиталисты захватили богатые рудоносные земли. А немного позже закон «об обмене земель», имевший целью создать заповедные леса, дал возможность тем же аферистам обменивать негодную землю на ценную и плодородную; так что и он повел к обогащению ловких мошенников. Сам по себе это был неплохой закон, но крупные компании ухитрились и его использовать для личной выгоды, а именно — для повышения ценности своих земельных владений.

Далее я хочу показать, что большинство наших железных дорог строилось мало того что на государственной земле, но еще и на государственные деньги. Железнодорожные компании получали от правительства крупные участки земли и крупные субсидии, а выплачивать их и не думали. Об этом следует рассказать несколько подробнее. Все это с большой убедительностью изложено в книге Густава Майерса «История американских миллиардеров» — автор изучил огромное количество официальных документов, относящихся к той эпохе, и сообщает достоверные факты; поэтому исторические данные, касающиеся нашей экономики и финансов как в этом случае, так и в других, я буду, ради сбережения времени, заимствовать из его книги.

Майерс пишет: «Почти все наши железные дороги получали из государственных средств щедрые субсидии, и только очень малая их доля была возвращена государству». За короткий период с 1850 по 1872 год конгресс выпустил ряд законов, по которым железнодорожным корпорациям предоставлялись земельные участки, составившие в общей сложности 155 504 994 акра. За один лишь год (1856) вышло свыше тридцати таких законов. О субсидиях тоже имеются точные данные. В одном только штате Нью-Йорк железные дороги получили в долг 40 миллионов долларов из денег, внесенных налогоплательщиками, а уплатили всего четвертую часть этого долга. Иными словами, им был сделан подарок в 30 миллионов долларов! А в те годы 30 миллионов составляли огромную сумму, на которую можно было приобрести неограниченное количество материалов и нанять целую армию рабочих. Подумайте также о тех колоссальных барышах, которые кучка частных лиц получала от железных дорог, и о тех высоких тарифах, которые каждый член общества должен был платить ради выгоды все тех же немногих частных лиц! Майерс в своей книге цитирует Парсона, который сообщает следующее: «Земельные участки, отведенные железным дорогам в штате Миннесота, в совокупности вдвое превышали всю территорию штата Массачусетс; в Канзасе — вдвое превышали территорию штатов Коннектикут и Нью-Джерси; в Монтане и Вашингтоне земельные участки были равны по территории Мэриленду, Нью-Джерси и Массачусетсу вместе взятым» и т. д.

Обратимся теперь к истории первых наших финансовых магнатов на Тихоокеанском побережье. Их было четверо — Леланд Стенфорд, Коллис П. Хентингтон, Чарльз Крокер и Марк Гопкинс. Они образовали железнодорожную компанию, но весь их капитал составлял всего 200 тысяч долларов. Мало, чтобы построить железную дорогу, но достаточно для того, чтобы добиться крупных субсидий, которые наши законодательные органы щедрой рукой черпали из государственных средств! Вот что эти четверо предпринимателей получили на постройку железной дороги «Сентрал пасифик» в добавление к своим 200 тысячам: 400 тысяч долларов от города Сакраменто; 400 тысяч долларов от округа Плейсер; 2 миллиона 100 тысяч от штата Калифорния; 25 мил-

лионов долларов и 4 миллиона 500 тысяч акров земли от конгресса. Кроме того, как сообщает Майерс, правительственная комиссия по расследованию злоупотреблений на железной дороге «Сентрал пасифик» констатировала в 1887 году, что хотя расход на прокладку 1171 мили пути был показан этими четырьмя финансистами в 75 миллионов долларов, на самом деле их издержки составили всего 25 миллионов. Та же самая комиссия пишет в своих отчетах о железной дороге «Саузерн пасифик»: «Значительная доля этих 4 миллионов 800 тысяч долларов была израсходована на подкуп законодательных собраний и фальсификацию выборов». А сенатская комиссия Уилсона по расследованию деятельности «Юнион пасифик» указывает, что эта дорога, получив большие субсидии от конгресса, истратила часть этих средств, а именно 436 тысяч долларов, на то, чтобы добиться в 1864 году нового закона, который гарантировал ей дальнейшие государственные субсидии из расчета от 16 до 48 тысяч долларов на каждую милю пути (*figurez vous!*¹) и дальнейшие земельные наделы — уже не на 20, а на 40 миль вглубь от полотна. Так было на Западе. А на Востоке в это самое время старый Корнелий Вандербильт сперва прибрал к рукам все железные дороги в штате Нью-Йорк (построенные на государственные деньги!), потом расширил свою железнодорожную сеть, так что в его владении оказался участок сквозного пути от Нью-Йорка до Чикаго; а его сын, Уильям Г. Вандербильт, приобрел в 1880 году еще линию «Чикаго — Северозападная» — 4 тысячи миль пути, которые тоже были построены на государственной земле и на деньги налогоплательщиков!

Вот вам еще один герой того времени — Джей Гулд, настоящий Джек Потрошитель середины XIX века, который прикарманил железную дорогу «Эри» (выстроенную на деньги, взятые у государства и ему не возвращенные). Этот тоже сопричислен к лику наших финансовых гениев, долженствующих служить нам примером и образцом. Он сыграл на общественном мнении, которое тогда было возмущено беззакониями непобедимого финансового колосса Вандербильта. Выставляя себя

¹ Представьте себе! (франц.)

другом и союзником народа в борьбе против монополии Вандербильта, он надвинул на глаза черную маску и принялся за дело. В этой роли защитника народных интересов он подвизался до тех пор, пока железная дорога «Эри», выстроенная и оборудованная на государственные деньги, не стала его частной собственностью. После чего, как сообщается в отчетах следственной комиссии штата Нью-Йорк, созданной в 1873 году, Гулд вместе с другими директорами компании «Эри» ухитрился всего за один год (1868) истратить миллион долларов на оплату «особых юридических услуг», ибо, как пояснено в отчете, «они ежегодно расходовали значительные суммы с целью воздействия на законодательные органы и на исход выборов». Для того чтобы «легализовать» свои незаконные действия в период между 1868 и 1872 годами, Гулд стакнулся с «боссом» Твидом, этим бесстыжим и насквозь продажным вожакom шайки политических и финансовых бандитов, орудовавшей тогда в муниципалитете города Нью-Йорк. В своих показаниях перед следственной комиссией законодательного собрания штата Нью-Йорк в 1873 году Гулд имел дерзость заявить, что он столько раз давал деньги Твиду и разным другим лицам в разных округах штата Нью-Йорк с целью добиться избрания в сенат и законодательное собрание нужных ему людей, что упомнить все это он не в силах, так же как не в силах он, например, вспомнить, «сколько товарных вагонов курсировало в тот или другой день по железной дороге «Эри»!

Разрешите привести еще несколько примеров для того, чтобы полнее развернуть перед вами картину деятельности наших железнодорожных компаний и наших финансовых патриархов — основоположников нашего финансового бизнеса — тех, кто закладывал традиции и задавал тон нашей экономической жизни, то есть всему, что сейчас почитается истинно американским и справедливым! Гулд и Сейдж, блестяще владевшие методами коррупции и обмана, приобрели, в числе прочих, железную дорогу «Миссури — Тихоокеанская». Эта дорога состояла из многих мелких линий, в постройке которых участвовал штат Миссури на сумму в 25 миллионов долларов. Как раз в это время Федеральная комиссия по торговле между штатами обнаружила, что Гулд, владевший уже целой системой железных дорог на Западе,

ухитрился, приобретая участки через подставных лиц и сгоняя с земли ее законных владельцев, захватить почти все залежи каменного угля в штатах Вайоминг, Юта и Оклахома. Но было ли что-нибудь предпринято против него? Нет! Пострадал ли он хоть в какой-нибудь мере? Нет! И разве сейчас вам не предлагают взирать на него с почтением, как на одну из самых замечательных фигур доброго старого времени, когда совершали свои подвиги наши финансовые пираты? О да! Он осенен славой, так же как коммодор Вандербильт, Джим Фиск, Рассел Сейдж, Дж. П. Морган и еще десяток других.

Подобный грабег государственного достояния был в то время делом столь обычным, что невозможно даже перечислить все такие случаи. Джон Уорк Гаррет и Джон Гопкинс, владельцы железной дороги «Балтимора — Огайо», к 1876 году успели подкупить все законодательные органы, суды и муниципалитеты в штатах Мэриленд, Виргиния, Западная Виргиния и Пенсильвания, что дало им возможность получать крупные ссуды из государственных денег (и не возвращать их, так как долговые обязательства потом аннулировались), а также разводнять свой капитал и не платить налогов с имущества стоимостью в 88 миллионов долларов. Как финансисты смотрели на свои обязательства перед государством, которое столько для них делало, видно хотя бы из такого факта: когда Джон Инсли Блэйр из Блэйрстауна в штате Нью-Джерси продал принадлежавшую ему железную дорогу «Суикс-Сити — Тихоокеанская» железнодорожной компании «Чикаго — Северозападная», то по договору, заключенному им с этой компанией, она брала на себя все долги дороги «Суикс-Сити — Тихоокеанская», кроме ее долгов государству. Все — кроме долгов государству! Меж тем дорога «Суикс-Сити — Тихоокеанская» в свое время немало получила от государства, а именно — по 100 квадратных миль земли и по 16 тысяч долларов государственными облигациями на каждую милю пути. Более того: из свидетельских показаний перед комиссией по обследованию железных дорог на Тихоокеанском побережье выяснилось, что Блэйр в четыре раза завысил стоимость строительства. Но то же самое творилось тогда по всей Америке; описывать все такие факты нет возможности. Поэтому продолжаю свой рассказ.

Думаю, что будет небезынтересно и даже бесполезно, если я вкратце опишу те методы, при помощи которых наши капиталисты закладывали основы своего будущего богатства. Это поможет рассеять ложные представления, которые сейчас усиленно внушаются на этот счет народу; это поможет нам лучше уяснить себе самые корни (исторические и прочие) нашей финансовой системы, нашей морали и религии. Как обычно изображается начало карьеры миллионера? Этот усердный труженик откладывает копейку за копейкой, пока не скопит достаточно, чтобы построить железную дорогу. Одним словом, не лодырничай и не зевай, трудись в поте лица своего, и успех увенчает твои труды! Действительность — увы! — совсем не такова. Первый из наших финансовых тузов, коммодор Корнелий Вандербильт, начал с того, что был матросом на небольшом пароходике; потом сам приобрел пароход, потом целую флотилию паровых судов и открыл пароходное сообщение с Калифорнией, чем он в дальнейшем воспользовался для того, чтобы содрать солидные отступные с конкурирующих пароходных компаний — сперва 480 тысяч, а затем даже 612 тысяч долларов в год. И те платили, ибо если бы Вандербильт не был удовлетворен, он при своем богатстве и полной деловой беспринципности сумел бы довести их до разорения. Таким путем он собрал достаточно денег для того, чтобы пуститься в железнодорожные спекуляции (см. Майерс, «История американских миллиардеров»). Примерно в это же время выступили на сцену два более молодых хищника — Гулд и Сейдж. Каждый из них успел уже до этого провести по весьма сомнительной афере — Гулд в кожевенной промышленности совместно с двумя нью-йоркскими фирмами Сейдж — в торговле сельскохозяйственными продуктами; обоим очистилась изрядная прибыль. Сейдж подвизался в городе Трой, в штате Нью-Йорк; он стал там членом городского управления, затем казначеем округа Ренселер, в состав которого входит Трой. Доверия общества он отнюдь не оправдал, ибо, нимало не мешкая, воспользовался своим положением для того, чтобы подкупить тройский муниципалитет и при его пособничестве приобрести за ничтожную сумму небольшую железнодорожную линию, построенную на государственные средства, причем эту линию он уже заранее, с большой вы-

годой для себя, запродав железнодорожной компании «Нью-Йорк сентрал». С этого он и пошел в гору, как я покажу далее. Но пока оставим его.

У Дж. П. Моргана, этого прославленного финансово-го пирата добрых старых времен, биография несколько иная. Он сам был сыном миллионера, банкира Джуниуса С. Моргана. Но методы у него были те же самые. Вот какая сделка послужила ему первой ступенькой на пути к дальнейшим успехам.

Дело происходило в самом начале Гражданской войны, и на ружья был, разумеется, большой спрос. В каком-то арсенале в Нью-Йорке были сложены старые негодные ружья, которые правительство распорядилось снять с вооружения по причине их опасности: бывали случаи, что при выстреле у солдат отрывало пальцы. Морган скупил пять тысяч этих ружей всего за 17 486 долларов. А немного погодя он продал правительству эти же самые ружья как новые за 109 912 долларов. Правительство, обнаружив обман, отказалось платить. Тогда Морган обратился в суд, и суд постановил уплатить ему 55 550 долларов за эти старые, негодные и в высшей степени опасные ружья. Иными словами, он получил 300 процентов барыша! Но и этого ему показалось мало. Он вчинил правительству новый иск и действительно добился, что ему и его компаньону было уплачено еще 58 175 долларов. Факты эти взяты мною из книги Майерса «История американских миллиардеров».

Я уже говорил, и здесь я это докажу, что эти, да и все прочие финансовые магнаты, которые заправляли прежде и заправляют сейчас деловой жизнью нашей страны, применяют совершенно незаконные методы, не заслуживающие иного названия, как насилие. Некоторые формы этого насилия можно охарактеризовать как заговор в пределах законности, хотя он так мало отличается от преступного и караемого законом заговора, что по существу сводится к тому же. Так, например, Гулд употребил доходы от своих железнодорожных мошенничеств на то, чтобы скупить огромное количество золота, стремясь забрать в свои руки весь золотой запас, необходимый банкам и промышленникам для их операций. И они вынуждены были покупать у него золото по той цене, которую он назначал, ибо опасались, что цена может еще возрасти. Так продолжалось вплоть до зна-

менитой «Черной пятницы», когда все полетело вверх тормашками: курс акций и цены на золото стали стремительно падать, и тысячи людей разорились — в их числе и те, кто покупал золото у Гулда. Но сам Гулд тоже попал в ловушку: он, правда, успел уже нажать огромные барыши, тайком продавая по высокой цене золото и вообще все, что можно было продать, однако для того, чтобы поддерживать на золото высокую цену, ему приходилось не только продавать, но и покупать; и теперь, в условиях им же созданной паники, у него оказалось на руках большее число ранее заключенных договоров на покупку золота по очень высокой цене. Если бы эти договоры вступили в силу, ему пришлось бы проститься со всеми своими барышами! Это он сообразил очень быстро и пустил в ход новую уловку. За один день он ухитрился добыть от подкупленных им судей целых двенадцать судебных предписаний, коими ему, Гулду, воспрещалось выполнять помянутые договоры на покупку золота. Следственная комиссия конгресса установила в 1870 году, что этим способом он сберег или, вернее, прикарманил 11 миллионов долларов.

Приведу еще один или два примера подобных же заговоров, имеющих целью обчистить чужие карманы и все же не выходящих за пределы законности, ибо таковы ныне существующие у нас законы! Примеры эти взяты из биографии старого Вандербильта, достопочтенного коммодора. Был некогда такой случай. Группа политиков, банкиров и биржевых маклеров получила сведения (а источником этих сведений, говорят, был сам Вандербильт), что готовится постановление суда, по которому принадлежащая Вандербильту концессия на городскую железную дорогу (она подходила к вокзалу его Харлемской железной дороги) будет объявлена недействительной. Если бы такое постановление состоялось, акции городской железной дороги, разумеется, упали бы в цене. Упомянутые банкиры и маклеры намотали это себе на ус и немедленно заключили ряд договоров на продажу акций вандербильтовской городской железной дороги из расчета по 90 долларов за акцию с обязательством доставить их покупателю через месяц. Расчет у них был очень простой: в промежуток между постановлением суда и той датой, когда они должны доставить акции покупателю, их можно будет купить по гораздо более

дешевой цене. Когда же Вандербильт узнал об этой комбинации, — а есть мнение, что он знал о ней с самого начала, — он сам принялся скупать все акции своей дороги, какие были на рынке. И когда настал срок выполнения договоров, пришлось банкирам и маклерам идти на поклон к самому Вандербилту, — а он взял с них, сколько захотел, и за одну неделю нажил несколько миллионов.

Вандербильт повторил тот же трюк, когда ожидалось аналогичное постановление законодательного собрания штата Нью-Йорк. Только на этот раз он выжал своих противников досуха — требовал с них по 285 долларов за каждую из тех акций, которые они мечтали продать с выгодой. В истории американского бизнеса такие случаи отнюдь не редкость.

Другой широко распространенный прием состоит в том, чтобы при помощи уже существующих предприятий оказывать давление на другие предприятия — одним помогать, а другие разорять и потом скупать за бесценок. Такая тактика приводила к вымораживанию мелкого вкладчика, ибо разоряла его вконец. Так поступали наши крупные железнодорожные компании для того, чтобы захватить находящиеся в их районе богатые угольные залежи: с независимых шахтовладельцев они взымали такой колоссальный фрахт, что те не в силах были конкурировать с компаниями, которым покровительствовали железные дороги. Во время возникших на этой почве судебных процессов выяснилось, что независимые компании не могли выполнить свои контракты по доставке угля и по другой причине: железные дороги не давали им вагонов под тем предлогом, что свободных вагонов нет. Это, конечно, было чистой ложью. А затем эти же самые железные дороги или их дочерние общества скупали акции разоренных независимых компаний и становились их хозяевами. Такие действия иначе не назовешь, как насилием. Но ведь над независимыми предпринимателями было совершено еще и другое насилие: им было отказано в праве пользоваться транспортом, который является формой общественного обслуживания. Отнимать у кого-либо такое право есть преступление. Так что по-настоящему многим директорам наших железных дорог давно уже следовало бы сидеть в тюрьме.

Еще один пример обогащения путем насилия — махинация, которую около 1900 года Морган и Вандербильт произвели с железной дорогой «Филадельфия — Рэдинг». Эта дорога владела богатыми залежами каменного угля, а наши денежные короли стремились захватить эти залежи. И вот Морган и Вандербильт принялись всячески подрывать кредит упомянутой железной дороги. Излюбленный их прием состоял в следующем: распускался слух о предстоящем издании важных законов, неблагоприятных для железных дорог, стало быть, косвенно и для железной дороги «Филадельфия — Рэдинг». Курс ее акций немедленно падал, — настолько, что эти акции уже не могли служить обеспечением для новых, необходимых железной дороге, займов. Когда же курс упал еще больше, Морган и Вандербильт скупили контрольный пакет этих акций и поделали его между собой.

Угольные залежи, над которыми Морган и Вандербильт получили теперь контроль, номинально находились в руках нескольких самостоятельных компаний, ибо по конституции штата Пенсильвания железные дороги не имеют права владеть угольными месторождениями. Они также не имеют права владеть и угледобывающими компаниями. Но в наших далеко не беспристрастных законах совершенно не учтен тот факт, что одна компания может влиять на другую благодаря переплетению их директоратов, что одна компания может иметь контроль над другой. А что означает этот контроль для среднего американца? Как он сказался на жизненном уровне тех американских граждан, которые не были ни финансистами, ни директорами угольных трестов? Антрацит сразу же вздорожал на 1 доллар 30 центов за тонну. Потом он еще вздорожал, потом еще — за первые годы двадцатого столетия цена на уголь повышалась несколько раз, так что в конце концов потребитель вынужден был платить за уголь в семь раз дороже, чем стоила его добыча и доставка. И примерно в эти же годы комиссия конгресса по торговле между штатами выяснила, что лица, владевшие залежами угля, сознательно ограничивали его добычу для того, чтобы вздуть цены.

Вот еще аналогичные случаи такого же характера, хотя из другой области: Гулд и Сейдж, двое самых отъявленных финансовых пиратов, подвизавшихся в десяти-

летие между 1870 и 1880 годами, построили телеграфную линию вдоль железной дороги «Юнион пасифик». Сделано это было исключительно для того, чтобы заставить Вандербильта либо выкупить у них эту линию, либо продать им принадлежавшую Вандербильту телеграфную компанию «Вестерн юнион». Путем конкуренции они добились своего: Вандербильт купил у них линию за 10 миллионов долларов. А несколько позже Гулд ухитрился разными манипуляциями снизить курс акций вандербильтовской телеграфной компании и тогда уже приобрел контроль над обеими.

В те годы, когда Джон Ф. Рокфеллер начинал свою карьеру, существовала независимая нефтяная компания «Тайдуотер», имевшая свой нефтепровод и занимавшаяся поставкой нефти заводам. Для Рокфеллера она была бельмом на глазу, ибо мешала ему осуществить свои планы по установлению монополии на нефтяном рынке. Разумеется, он повел войну против этой компании; были пущены в ход всевозможные средства для того, чтобы подорвать ее кредит как в Америке, так и в Европе. Нефтеперегонные заводы, на которые компания «Тайдуотер» поставляла нефть, Рокфеллер скупал через своих агентов и закрывал; или же их объявляли вредными для здоровья населения и вынуждали перебазироваться в другие места. В конце концов финансовое положение компании «Тайдуотер» пошатнулось; тогда Рокфеллер скупил ее акции — после чего уже мог диктовать ей свои условия.

Финансисты такого типа, как Гулд, Сейдж и Хилл, доводили до разорения не только те железные дороги, которые представляли собой государственную собственность, но и те, которые принадлежали частным лицам, если эти лица являлись их соперниками. Цель и тут была та же самая — силой вырвать контроль у законных хозяев и завладеть чужим имуществом. Естественное или, вернее, противоестественное течение событий бывало, как правило, таково: подкупались директора компании, с тем чтобы они сдали дорогу в аренду за ничтожную долю ее истинной стоимости; или же грузовое и пассажирское движение отводилось на другие линии — пока акции железной дороги не падали до такой степени, что скупить их можно было за бесценок, или пока дорога не терпела окончательного банкротства, и тогда уже

ее можно было приобрести за ломаный грош. Эти деловые методы не мешают разобрать подробнее, ибо они применяются и поныне. Вот один из них, весьма популярный в те славные годы (какими они сейчас представляются некоторым тупоумным американцам): строительная компания, ведущая прокладку пути, предъявляет такие счета, что железная дорога терпит крах. А тогда наши финансовые капитаны Кидды¹ приобретают ее за ничтожную сумму. Так сделал Сейдж с дорогой «Миннесота — Тихоокеанская». А дорогу «Норсерн пассивик», доведенную тем же способом до банкротства, купил другой железнодорожный магнат, Джеймс Дж. Хилл. Рокфеллеровские компании сходными приемами доводили до банкротства нефтеочистительные заводы, а затем их скупал трест «Стандард ойл». Вот какие методы процветали тогда в Америке; железнодорожные и другие магнаты пользовались ими совершенно безнаказанно, а избиратели каждый год или каждые четыре года являлись к урнам и выбирали новую шайку взяточников и жуликов, которые в теории должны были блюсти общественные интересы, а на практике блюли только свои собственные. Очень большую пользу приносила нам наша избирательная система!

Еще один метод грубой силы, применяемый в американском бизнесе,— это метод тайных сговоров. Сводится он к тому, что одно лицо или группа лиц играет на руку другому лицу или другой группе. Например: с самим собой нельзя заключить сделку — такая сделка была бы противозаконной и недействительной. Но директора одной корпорации могут заключить сделку с другой корпорацией, в которой они тоже состоят директорами. Это возможно, потому что наш закон не считается с таким реальным фактором, как совмещение директорских постов, и официально признает все корпорации независимыми, конкурирующими между собой, предприятиями. Благодаря этому открывается широкое поле для самых разнообразных мошенничеств. Ибо директора от имени своих корпораций закупают сами у себя те или иные материалы по несообразно высоким ценам, предъявляют сами себе огромные счета за выполнение тех или иных работ и выплачивают (себе же) огромные суммы;

¹ Капитан Кидд — известный в XVIII веке пират.

и все это делается для того, чтобы в конечном счете заставить широкую массу населения платить высокий налог или высокие тарифы и тем окупать расходы и убытки, которых на самом деле вовсе и не было. Это очень удобный способ быстрого обогащения, и все наши корпорации им пользовались и продолжают пользоваться до сих пор.

Блестящий пример такой махинации показал нам Уильям Г. Вандербильт, сын нашего не признававшего никаких законов коммодора. Он владел железной дорогой «Нью-Йорк сентрал», и когда понадобилось протянуть от нее боковую линию — Южно-Пенсильванскую железную дорогу, — он же создал отдельную строительную компанию и поручил ей постройку этой линии. Иными словами, он заключил контракт сам с собой и получил от этого такой барыш, что смог вложить 30 миллионов долларов в ценные бумаги. А незабвенный, ныне увенчанный ореолом финансовой святости Рассел Сейдж проделал то же самое с дорогой «Миннесота — Пасифик». А вот еще пример: Гулд и Сейдж, владевшие железными дорогами «Канзас — Пасифик», «Денвер — Сауз-парк — Пасифик» и рядом других помельче, продали все эти линии железной дороге «Юнион пасифик», которая тоже принадлежала никому другому, как им же, Гулду и Сейджу; то есть опять-таки продали эти железные дороги самим себе и заработали на том 20 миллионов долларов, каковой факт они, впрочем, предпочли не оглашать. Да что тут говорить! Закон, который рассматривает наши переплетающиеся компании и корпорации как отдельные и самостоятельные единицы и разрешает им заключать между собой сделки, — для капиталистов сущий клад; а вот для широкой массы американцев, которые платят налоги (и подчас отрывают у себя последнее, чтобы их заплатить), этот закон истинное бедствие и обходится он им в миллиарды и миллиарды долларов. Достаточно сказать, что в 1887 году финансовая группа, о которой рассказано выше, выпустила на 84 миллиона долларов разводненных акций.

А что это значит с точки зрения интересов народа? Это значит, что народ ограбили на эту сумму — и за какой короткий срок! Немного позже конгрессом была создана комиссия по обследованию железных дорог Тихоокеанского побережья. Она занялась этим вопро-

сом, и вот что мы читаем в докладной записке, которую подали члены комиссии, оставшиеся при особом мнении: «Накопленная железной дорогой «Юнион пасифик» нераспределенная прибыль и доход от продажи земли составили за последние 18 лет сумму в 176 миллионов 294 тысячи 793 доллара, и если бы ее акционерный капитал был полностью оплачен (как того требовал конгресс и как утверждали под присягой директора компании), то почти вся эта сумма могла бы пойти на погашение долга компании правительству. Но компания выплатила в качестве дивиденда по акциям 28 миллионов 650 тысяч 770 долларов, а в качестве процентов по обязательствам — 82 миллиона 742 тысячи 850 долларов. Десять миллионов было истрачено на покупку железной дороги «Денвер — Сауз-парк — Пасифик». Десять миллионов было уплачено Гулду и его компаньонам за железнодорожные ветки и другие предприятия, которым на самом деле была грош цена». Но позвольте, скажете вы, после таких разоблачений, вероятно, кое-кого посадили в тюрьму и кое-кого заставили вернуть краденые деньги? Успокойтесь! В тюрьму никто не сел, и денег никто не заплатил.

Около 1900 года Джон П. Морган, теперь тоже произведенный в святые, купил Пенсильванскую угольную компанию, затем продал ее железнодорожной компании «Эри» (которую он тоже контролировал) за огромную сумму в 37 миллионов долларов. Опять-таки сделка с самим собой через посредство контролируемых корпораций; все то же преступное применение силы, которое, как я старался показать в этой книге, является краеугольным камнем нашего бизнеса и в самых широких размерах применяется монополистическим капиталом.

Есть еще другой вид насилия в сфере бизнеса. Крупная корпорация, даже не забирая другую в свои руки, может, однако, оказывать на нее давление просто в силу своей экономической мощи и своей величины — подобно тому, как крупный зверь одним лишь свирепым взглядом отгоняет от добычи зверюшек помельче. Такое беззастенчивое использование своей силы играет немалую роль в деловой жизни Америки. Многие крупные промышленные концерны благодаря своему весу и размаху своих операций добивались и добиваются разных льгот от железных дорог и других корпораций — им достаточ-

но было, например, пригрозить, что, если для них не будут установлены льготные грузовые тарифы, они все свои перевозки передадут другой железнодорожной компании. Джон Д. Рокфеллер путем таких угроз, граничащих с насилием, вынудил Приозерную железную дорогу и дорогу «Нью-Йорк сентрал» заключить с ним контракт, согласно которому с него, Рокфеллера, взимались тарифы несравненно более низкие, чем с его кливлендских конкурентов, — разница была столь велика, что только он один и мог торговать с выгодой.

Но никогда еще подобного рода насильственное воздействие не принимало столь резких форм, как в 1872 году, когда была создана «Южная нефтеочистительная компания». Ее контролировал «Стандард ойл». С помощью этой компании, о которой мне еще не раз придется упоминать, Рокфеллер провел в жизнь свою идею о превращении скидок на железнодорожные перевозки в источник дохода. Он для того и создал эту фирму, чтобы, объединив в ее недрах все мелкие нефтяные компании, огрести от скидок колоссальную прибыль. Компания эта, являвшаяся скрытой монополией, заключила контракты с Дж. Эдгаром Томпсоном, председателем правления Пенсильванской железной дороги, с Вандербильтом, владельцем дороги «Нью-Йорк сентрал», и с Гулдом, контролировавшим железную дорогу «Эри»; согласно этим контрактам Рокфеллер получал скидку в 1 доллар 6 центов с обычного грузового тарифа в два с половиной доллара. А его конкуренты платили полностью 2 доллара 50 центов, и таким образом 1 доллар 6 центов из каждого уплаченного ими двух с половиной долларов шел в конечном счете в карман Рокфеллера. Вдобавок он получал еще и точную информацию о действиях своих конкурентов — о том, что, когда и куда они отправляли — и о размерах их оборотов. Когда же один из них, Александр Скофилд, пожелал узнать, почему ему не делают скидки, ему ответили, что его перевозки не так велики, как перевозки треста «Стандард ойл». При помощи этой махинации со скидками Рокфеллеру удалось раздавить фирму Скофилд.

Затем, опираясь все на ту же «Южную нефтеочистительную компанию», Рокфеллер взялся за другого своего конкурента, небольшую фирму «Ханна, Балингтон и компания». Он уведомил ее, что теперь «Стандард ойл»

имеет полную возможность стереть всех своих конкурентов в порошок и что ей уготована именно эта участь. Однако в конце концов Рокфеллер — очевидно, по доброте сердечной — согласился за 45 тысяч долларов купить у Ханна его завод, стоивший 75 тысяч долларов. В общем до основания «Южной нефтеочистительной компании» у Рокфеллера было в Кливленде двадцать шесть конкурентов, а через каких-либо три месяца осталось всего пять: остальные двадцать один вынуждены были продать свои предприятия тресту «Стандард ойл», отчего дневная переработка нефти на предприятиях треста возросла с 1500 до 10 тысяч баррелей.

Однако, несмотря на все преступные ухищрения своего владельца, «Южная нефтеочистительная компания» существовала недолго. Истина все-таки выплыла наружу, как ни старались ее скрыть. Кто-то, не поладивший с Рокфеллером или обиженный им, вывел его махинации на чистую воду. Вначале эта история показалась всем просто невероятной, — публика в те дни была очень наивна и не имела еще понятия о волчьих повадках наших финансистов, — но затем общественное мнение возмутилось. Независимые владельцы нефтепромыслов образовали Союз нефтепромышленников, который повел борьбу против тайных скидок, за установление одинакового для всех тарифа. Кроме того, по их настоянию законодательное собрание штата Пенсильвания аннулировало патент «Южной нефтеочистительной компании»; а немного позже была создана Федеральная следственная комиссия, которая квалифицировала действия «Южной нефтеочистительной компании» как «колоссальный и наглый заговор». Но понес ли кто-нибудь наказание? О нет, наказан никто не был.

Впрочем, укротить Рокфеллера не удалось. Слишком уж мощной стала к тому времени созданная им компания, и он прилагал все старания к тому, чтобы еще увеличить ее мощь. Через месяц после того как провалилась его комбинация со скидками, он вынудил железные дороги, связывавшие Кливленд с Нью-Йорком, все-таки дать ему скидку. Только что лопнула одна его монополия, как он уже принялся создавать другую — «Национальную ассоциацию нефтеочистительных предприятий». Через несколько месяцев она уже функционировала.

Так, уничтожая постепенно своих конкурентов, Рокфеллер становился все большей и большей силой. Расправившись с ними в Кливленде, он открыл военные действия в Питтсбурге, Филадельфии и Нью-Йорке, где тоже было много крупных нефтеочистительных предприятий. И всюду он одерживал победу с помощью очень простой тактики: он уговаривал какую-нибудь одну компанию влиться в «Стандард ойл», весьма убедительно доказывая, что она только выиграет от этого, тогда как другие фирмы останутся ни при чем. Когда эта компания заключала с ним тайное соглашение, трест «Стандард ойл» добивался для нее железнодорожных скидок. Другие компании при таких условиях, конечно, не могли с ней конкурировать и вынуждены были продавать свои предприятия тресту «Стандард ойл». К 1875 году в руках Рокфеллера оказалось 95 процентов всех нефтеочистительных заводов Соединенных Штатов. И достиг он этого не чем иным, как грубой силой, чистейшим беззаконием, ибо никакой закон не разрешал подобных сделок.

А теперь поговорим опять о нефтепроводах; эту тему я уже затрагивал несколько выше. Нефтепровод вовсе не был рокфеллеровским изобретением; первым его применил некто Чарльз Хач в 1869 году. Однако, когда Союз нефтепромышленников вознамерился было провести общий нефтепровод, то есть такой, которым мог бы пользоваться любой предприниматель за одинаковую для всех плату, Пенсильванская железная дорога этому воспрепятствовала. Иными словами, монополистический капитал задушил это полезное начинание, пустив в ход противозаконные и насильственные меры. Пенсильванская железная дорога выдвинула взамен другое предложение: чтобы таким обслуживанием нефтепромышленников занялась контролируемая ею транспортная компания «Эмпайр», у которой были свои нефтепроводы и свои нефтеочистительные заводы. Но Рокфеллер, желавший, чтобы все нефтепроводы и все нефтеочистительные заводы в США принадлежали ему одному, потребовал ликвидации компании «Эмпайр». А когда эта независимая компания не подчинилась его приказу, он перестал перевозить свою нефть по Пенсильванской железной дороге, что означало для нее сокращение нефтеперевозок на 60 процентов. В результате компания «Эмпайр» была

продана Рокфеллеру. Иными словами, крупный ястреб накинулся на другого помельче и отогнал его от добычи. Рокфеллер, стало быть, и на этот раз действовал грубой силой, вне всяких законных норм. Грубая сила, не желающая признавать никаких законов,— вот та основа, на которой воздвигалась мощь наших современных корпораций, вот то оружие, которым они подчинили себе все и вся, которым они и сейчас давят на каждого из нас.

К этому же времени Рокфеллер, действуя совершенно бесконтрольно и вопреки закону, добился от Пенсильванской железной дороги огромных скидок. Там, где независимый предприниматель, владевший небольшими нефтепромыслами, платил 1 доллар 90 центов, Рокфеллер за перевозку такого же количества нефти платил всего 80 центов. То же самое было и на других дорогах. Одновременно Рокфеллер вел ожесточенную борьбу против прокладки новых нефтепроводов, точно так же как до него это делала Пенсильванская железная дорога. Кроме того, он или, что одно и то же, его «Стандард ойл», вместе с железными дорогами, позаботились о том, чтобы провалить законопроект, запрещавший скидки, который в 1875 году был внесен на утверждение конгресса. Подобный закон был ему тогда неудобен. Но к 1877 году Рокфеллер через «Объединенную компанию нефтепроводов» захватил в свои руки все нефтепроводы в стране, и ему стало безразлично, будет проведен такой закон или нет. Ибо, владея всеми нефтепроводами, он мог перекачивать свою нефть, куда хотел, не прибегая к услугам железных дорог. Скидки были ему больше не нужны. И в 1887 году, когда эта мера уже не затрагивала интересов Рокфеллера, комиссия по торговле между штатами объявила скидки незаконными.

Теперь рокфеллеровская организация так разрослась и давала такую прибыль, что у него одного было больше цистерн, больше вагонов, больше нефтепроводов и больше средств для разработки новых нефтяных месторождений в Илинойсе, Канзасе и Оклахоме, чем у всех остальных нефтяников, вместе взятых. Он стал нефтяным Голиафом. Это открыло ему новые возможности для применения силы. «Стандард ойл» сокрушал теперь своих конкурентов тем, что не давал им цистерн для перевозки нефти. Цистерны, правда, принадлежали железным дорогам, но распоряжался ими Рокфеллер. Его

власть была столь велика, что в 1888 году он не только отказал своим конкурентам в праве пользоваться цистернами «Стандард ойл», но еще заставил железные дороги повысить тарифы на перевозку керосина в бочках, тесня и тут своих соперников, вынужденных прибегнуть к этому допотопному способу перевозок.

Но вернемся к нефтепроводам. По закону нефтепровод — это вид общественного обслуживания, которым за плату может пользоваться всякий, независимо от того, кому данный нефтепровод принадлежит. Но в руках Рокфеллера была целая система нефтепроводов общей протяженностью в 35 тысяч миль, поэтому ему нетрудно было ставить свои условия. Он мог, например, предупредить владельцев нефтепромыслов, снабжавших независимые нефтеочистительные заводы, что, если они не перестанут продавать нефть конкурентам «Стандард ойл», обслуживающий их нефтепровод будет снят и перенесен в другое место. Или что его нефтепроводы попросту не станут перекачивать нефть, предназначенную для независимых нефтеочистительных компаний.

Кроме того, в руках Рокфеллера был еще такой способ нажима, как плата за пользование нефтепроводом. «Стандард ойл» мог перекачивать нефть из нефтяных районов в Нью-Йорк всего за 11 центов с бочки, но со своих конкурентов он брал 60 центов. Мелкого предпринимателя выжимали досуха. Другое дело крупная компания, например, Пенсильванская железная дорога: она, согласно коммерческим принципам того времени и всех позднейших времен, имела полное право погреть руки возле такой аферы, как доставка нефти по рокфеллеровским нефтепроводам, и делала это, нисколько не смущаясь. Она была немножко сильнее, чем независимый владелец буровой скважины, она и получала немножко больше. Большая собака загрызает маленькую, но среднюю не трогает.

А теперь, для разнообразия, посмотрим, чего может с помощью своего капитала добиться банкир. Примеров в американской истории можно найти сколько угодно, но вот один, особенно наглядный: Дж. П. Морган, пустив в ход свое огромное финансовое влияние, основал Стальной трест, который владел не только богатыми залежами железной руды мощностью в 600 миллионов тонн и угольными месторождениями мощностью

в 2 миллиарда тонн, но и самыми разнообразными предприятиями во всех отраслях стальной промышленности. За организацию этого нового объединения Морган получил пакет его акций на сумму в несколько сот миллионов долларов. Но существовала другая угольная и сталелитейная компания — «Теннесси кол энд айрон компани», настолько богатая, что в первые годы двадцатого столетия она являлась для нового треста некоторой помехой. Часть акций этой компании находилась в руках нью-йоркской финансовой корпорации — «Траст компани оф Америка»; они были вручены ей в качестве обеспечения под какой-то заем. Разразилась очередная биржевая паника (постоянное явление в нашей «процветающей» стране), и вышеупомянутая «Траст компани» обратилась за помощью к Моргану. А Моргану только того и нужно было — самый удобный случай вогнать осиночный кол в милую его сердцу независимую сталелитейную компанию «Теннесси». Он тотчас потребовал, чтобы ему были переданы все ее акции, которые хранились в сейфах «Траст компани» как обеспечение под выданную ей ссуду. И «Траст компани» немедленно их отдала. Ибо что могла сделать бедная, но честная «Траст компани»? Спорить с Морганом? Он бросил бы ее и все связанные с нею банки на произвол судьбы. Одним словом, Морган получил все акции компании «Теннесси», да еще так задешево, что Стальной трест нажил на этом не то 600, не то 700 миллионов долларов. Таков был конец независимой компании «Теннесси». Она стала скромным дочерним предприятием.

Еще одно маленькое примечание к истории Стального треста. Задолго до этого случая Стальной трест постановил не принимать на свои предприятия членов профсоюза и не заключать с профсоюзами никаких трудовых договоров (он, видите ли, считал недопустимым, чтобы рабочие организации оказывали на него какое-либо давление!). Трест этот был так велик и так силен, что смог провести свое решение в жизнь. До сих пор на его предприятиях не существует профсоюзов.

Вы видите на этом примере, что крупная корпорация всегда может силой подчинить себе более мелкую, а право и закон при этом безмолвствуют.

Скажу еще несколько слов о мистере Рокфеллере и его нефтепроводах. Это касается тех лет, когда кое-кто из

его конкурентов — правда, немногие! — пытались провести свои собственные нефтепроводы. Против них было пущено в ход открытое насилие. Нефтепровод местами приходилось прокладывать под полотном железных дорог; и вот крупные железнодорожные компании, которым принадлежали эти линии, развлекались тем, что время от времени разрушали трубы. Дошло до того, что независимым предпринимателям, проводившим нефтепровод (с соблюдением, кстати сказать, всех законов и правил, которые на этот предмет существуют), приходилось устраивать вооруженные лагеря в тех местах, где нефтепровод пересекал или должен был пересечь железнодорожную линию, и дено и ношно его охранять. Иначе срок его жизни бывал недолгий. Ну, а как же закон? Ведь закон должен был защитить владельцев нефтепроводов! Бросьте! Что такое закон по сравнению с волей или капризом крупной железнодорожной компании? Так что приходилось месяцами охранять нефтепровод от наших честных и законопослушных железных дорог, которые, как известно, вечно обивают пороги судов, взывая о справедливости и требуя, чтобы закон кого-то покарал, — например, их конкурентов или потерпевшего увечье рабочего, недовольного тем, что ему отказывают в какой бы то ни было компенсации за потерю трудоспособности. Бывало даже, что железные дороги снаряжали целую шайку (человек в сто и даже больше) с целью сорвать прокладку нефтепровода независимой компании — в тех случаях, если он пересекал железнодорожную линию. Настоящая гражданская война! Происходили форменные сражения, и в конце концов та или другая сторона одерживала верх при помощи грубой силы и вопреки закону.

В заключение еще несколько примеров для иллюстрации моего главного тезиса, а именно: что все нынешнее богатство и финансовое величие Америки основано на насилии, что американский бизнес всегда действовал под лозунгом: «Кто силен, тот и прав, а на закон наплевать!» Вот наследство, которое мы получили от прошлого, и не обольщайтесь, думая, что настоящее сколько-нибудь от этого прошлого отличается. Наши тресты и гигантские банки, наши денежные короли суть исчадия этого прошлого. В 1896 году в законодательное собрание штата Нью-Джерси был внесен законопроект

о нефтепроводах. Это был хороший, справедливый закон. Но за четыре дня до окончания сессии сенатор, ратовавший за него, вдруг бесследно исчез — вместе с текстом закона и всеми материалами, к нему относящимися. Заговорили о похищении; все открыто обвиняли «Стандард ойл» и железнодорожные компании. Но так или иначе, а закон проведен не был.

А вот другой случай. Английские акционеры железнодсржной компании «Эри», владевшие солидным пакетом акций, решили взять управление дорогой в свои руки и, забаллотировав директоров Гулда, избрали свое собственное правление. Гулд провел через суд решение об аннулировании выборов. Тогда противогулдовская группа силой завладела конторой и книгами компании. И закон не покарал их за это.

Одним словом, всюду насилне — и прежде и теперь, — и бдительность правительства (если таковая имеется) никакой пользы не приносит. Вот еще пример. Некоторые наши банкиры долгое время безнаказанно проделывали следующее: они обменивали в государственном казначействе бумажные деньги на золото и это золото припрятывали для того, чтобы заставить государство у них же его занимать и тем умножать их прибыли. Покойный Дж. П. Морган, отец нынешнего главы фирмы, был инициатором этой остроумной системы. И он проводил ее с таким искусством, что за то время, пока она действовала, — а запрещена она была в 1895 году, — он ухитрился выкачать из государства не один миллион долларов. И все ему сходило с рук. Например, в 1894 году банкиры навязали правительству два выпуска обязательств по 50 миллионов долларов каждый и еще третий на 62 миллиона долларов, на чем они, в том числе и Морган, получили, разумеется, миллионные барыши. А ведь казначейство заранее знало о том, что они запасают золото, и легко могло догадаться о целях и вероятных последствиях этой манипуляции.

Что же касается нашего милейшего «Стандард ойл», которому безусловно принадлежит пальма первенства по части всяких беззаконий, практикуемых нашими трестами, то он в свое время содержал (не сомневаюсь, что и сейчас содержит) целую армию шпиков. Именно этим способом он получал сведения о деловых операциях своих соперников. Например, об их нефтеперевозках: эти

сведения ежедневно собирали и проверяли агенты «Стандард ойл», орудовавшие на железных дорогах. А иногда сами железные дороги должны были поставлять такие сведения, чтобы «Стандард ойл» мог использовать своих молодых где-нибудь в другом месте. А иногда, если уж нельзя было добыть сведения иным путем, «Стандард ойл» подкупал служащих конкурирующей компании (например, ее бухгалтеров) и от них узнавал все, что ему было нужно.

А такие жульнические способы нажима на конкурентов, как дискриминационные железнодорожные тарифы, «Стандард ойл» не перестал применять даже после того, как они были категорически запрещены законом о торговле между штатами, вышедшим в 1887 году. В 1903 году мисс Айда Тарбел, специально занимавшаяся историей треста «Стандард ойл» и вообще деятельностью Рокфеллера, писала в своей книге: «Нет ни одной независимой нефтеочистительной компании, которую трест «Стандард ойл» не ущемлял бы так или иначе при помощи дискриминационных грузовых тарифов. Доставка нефти в те пункты, где находятся нефтеочистительные заводы треста «Стандард ойл», стоит гораздо дешевле, чем в другие; за платформы с грузом его конкурентов взимается гораздо больше сборов при их переводе с пути на путь и при стоянках. Им чинят трудности при погрузке и разгрузке, требуют уплаты фрахта вперед» и т. д.

Иными словами, в американском бизнесе деньги всегда служили средством, при помощи которого противника заставляли делать то, что угодно более могущественному из двух конкурентов, или не делать того, что ему неудобно; диктовал всегда сильнейший, сообразуясь исключительно со своими интересами, а осуществлял он свои желания всегда силой и вопреки закону. В середине прошлого столетия фирма «Лоуренс Стон и компания», добиваясь снижения пошлин на шерсть и красители, раздавала взятки на 87 тысяч долларов. Наши почтенные коммерсанты так широко применяли этот метод, что вся история нашей страны приобрела от этого некий неприятный аромат. В 1850 году они потратили грандиозные суммы на подкуп таможенных чиновников все с той же целью увильнуть от уплаты таможенных пошлин; тогдашний конгресс вынужден был признать, что

только по ~~четырем~~ городам — Бостону, Нью-Йорку, Филадельфии и Новому Орлеану — обнаружено 2062 случая неправильного взимания пошлин ввиду заниженной оценки товаров.

Как вам нравится эта честная, добрая, правдивая и, казалось бы, демократическая страна — впрочем, демократическая только по названию, а на самом деле разъеденная индивидуализмом, оседланная корпорациями, пропитанная империалистическими вожделениями и вполне созревшая для финансовой тирании. Недурная картина, не правда ли?

КОНСТИТУЦИЯ — КЛОЧОК БУМАГИ

Только факты позволяют судить о том, в какой мере интересы и права всех граждан отражены в документе, который называется «американской конституцией», — а это в сущности и есть критерий ее достоинства.

Для того чтобы разобраться в условиях, которые породили американскую конституцию и определили ее значение в жизни той эпохи, полезно оглянуться назад и вспомнить предшествовавшие исторические события. В семнадцатом веке Европа была, как известно, ареной религиозных войн. И к тому времени, когда создавалась американская конституция, религия — на европейском континенте во всяком случае — господствовала над умами, стремлениями и действиями правителей и народов. Ожесточенные раздоры между католицизмом, укоренившимся на Юге, и протестантизмом, властвовавшим на Севере, не прекращались, и хотя в это самое время Монтескье, Тюрго, Вольтер, Руссо и Лессинг провозглашали в своих творениях идеи гуманности и терпимости, — заря свободы еще только занималась. Тираническое господство церкви, против которого так яростно восставал Вольтер, уживалось с властью королей, именовавших себя «помазанниками божьими». И для тех, кто в своем духовном убожестве привык слепо подчиняться догматам церкви, эта формула была священна и неоспорима. Правда, прошло немного времени, и в Америке все это стало вызывать одни насмешки. Однако те-

перь, когда у нас на глазах торжествует деспотизм корпораций, поддерживаемый лживой пропагандой, нам уже не до смеха. Бесчестное, насильническое владычество капитала ныне окружено ореолом святости, а тех, кто дерзает оспаривать всемогущество и правоту этой власти, считают чем-то вроде «еретиков» и «богохульников»?

Первая революция нового времени совершилась в Англии, в 1640 году. Карл I сложил голову на плахе как изменник. Однако он изменил не богу, сажавшему королей на европейские престолы, он изменил английскому народу, а по убеждению самых передовых англичан того времени, короли правили милостию и волею своего народа, а не чьей-либо иной. Очевидно, люди уже уверовали, что бог и с королей спрашивает ответа. Выдающийся философ того времени Джон Локк так убедительно выразил заветные мысли своих соотечественников, что в дальнейшем его учение сыграло не последнюю роль среди факторов, породивших прекрасную, дерзновенную и в то же время исторически неизбежную французскую революцию. Но если взрыв народного возмущения и поставил в конце концов парламент над королем, то в этом парламенте осталась палата лордов — исконная цитадель аристократии, — да и членов палаты общин назначала денежная знать, а если их избирали, то избирателями являлась какая-нибудь десятая часть населения. Распространить избирательное право на широкие массы — это тогда еще никому и в голову не приходило. А уж в Испании, Франции и Германских землях, не говоря о России и Польше, знать и вовсе смотрела на народ с презрением.

Но в том же семнадцатом веке кальвинисты, эти радикалы от религии, взбудоражили Европу, провозгласив, что все верующие равны перед богом. Естественно, что у аристократии эта идея не встретила поддержки, они не замедлили услышать в ней политическое звучание. И только Кромвель со своей армией, объявивший, что государственная власть должна базироваться на принципе равенства всех людей, приблизился к созданию такой демократии, какая возможна была в те дни, то есть демократии весьма ограниченной. Но Кромвель и его армия сошли с исторической сцены, а их идеи не оставили и следа или же выродились в архивную фило-

софию. Однако в 1748 году Монтескье написал, что люди от рожденья равны (плод воображения!), Вольтер утверждал, что все должны быть равны перед законом (лучше было бы сказать, что закон должен быть для всех один), а Руссо во имя равенства готов был пожертвовать даже свободой.

Хотя живительное дыхание теплых ветров радикальной мысли заметно взволновало всех, кого оно коснулось, аристократия была этим не особенно обеспокоена; ее больше тревожила растущая мощь России, происки Австрии, вопрос о разделе Польши. Кое-кто даже находил это брожение умов вполне естественным, не придавая ему, однако, большого значения. Никому и не снилось, что власть от королей и дворов может перейти к народу. А между тем почва, на которую попали новые идеи, оказалась настолько плодородной, что самое короткое время спустя американские колонии Англии объявили себя независимыми и провозгласили, что «все люди рождаются равными и свободными».

И вот через одиннадцать лет, прошедших под знаком этих самых и только этих идей, явилась на свет американская конституция. Очистительная гроза французской революции, которая исторгла слезы радости у почтенного профессора и философа Канта, еще только надвигалась. Нигде в мире не существовало другой демократии. Американцы 1787 года, в единодушном порыве создавшие и явившие миру демократический строй, были для своего времени такими же передовыми людьми, как сегодня русские коммунисты.

Какому же старому порядку противопоставила себя эта конституция? До провозглашения независимости Америка управлялась на основе хартии властью помещиков и короля. В Массачусетсе, Род-Айленде, Пенсильвании и Делавэре заправляли крупные собственники; Нью-Хемпшир, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Виргиния и Джорджия были подчинены непосредственно английской короне. По новой конституции, необычайно передовой для своего времени (хотя бы в смысле политического равновесия), народные представители, избранные самим народом, получали право устанавливать налоги, регулировать внешнюю и внутреннюю торговлю, объявлять войну. На смену рождавшей кровавую вражду религиозной нетерпимости Старого Света, вскормленной

чудовищными предрассудками и поддерживаемой отжившими установлениями,— явилась свобода вероисповеданий, провозглашенная первой поправкой к конституции, принятой в 1791 году. На смену «непогрешимому» английскому правительству, далекому и недоступному для народа (достаточно вспомнить виргинского губернатора Беркли, заявившего: «Слава богу, здесь нет ни общедоступных школ, ни печатных станков!»), пришла новая власть, даровавшая народу свободу слова, печати и собраний, а также право непосредственного обращения к правительству с жалобами на злоупотребления чиновников. Словом, свобода после долгих лет узаконенного гнета. Вспомните, что в колониальный период по законам штатов Новой Англии насчитывалось двенадцать видов правонарушений, каравшихся смертной казнью, а по виргинским — семнадцать!

В колониальной Америке в полной неприкосновенности сохранялись все классовые и сословные перегородки, которые на старой родине столь резко отделяли привилегированную знать от прочих слоев населения. Только представителей высших классов американского общества принято было называть «мистер» и «миссис». Все простые смертные, рангом выше слуг, должны были довольствоваться обращением «хозяин», «хозяйка». Списки студентов Йельского и Гарвардского университетов составлялись по признаку родовитости семейств, к которым они принадлежали. Мелким земельным собственникам, чьи владения оценивались меньше чем в двести фунтов, запрещалось украшать свое платье золотым и серебряным галуном. Яркие шелка, цветные бархатные кафтаны с золотым и серебряным шитьем, обувь из мягкой телячьей кожи, ценные табакерки и трости с дорогими набалдашниками — все это полагалось носить только лицам аристократического сословия. Одежду фермеров и рабочих составляла домотканая блуза, грубые башмаки, в особо торжественных случаях украшавшиеся пряжками, и кожаные штаны,— для больших праздников их протирали жиром и начищали щеткой. С этой привезенной из Англии системой сословных различий конституция покончила только формально, уничтожив титулы.

Американскую конституцию обычно восхваляют за то, что она якобы выдержала испытание временем.

Однако что же это означает на деле? Не то ли, что конституция дала широчайший простор самовластию корпораций,— чего отнюдь не имели в виду ее авторы,— что, прикрываясь ею, монополистический капитал захватил господство в стране, уничтожив всякие гарантии народных прав? Конечно, два миллиона колонистов, которые не имели ни одной ежедневной газеты, которые гордились крупнейшим своим городом Филадельфией с его двадцатипятипятитысячным населением и пришли в такой восторг от дилижансов почтовой линии Нью-Йорк—Филадельфия, открытой в 1776 году, что называли эти дилижансы, совершавшие свой рейс за двое суток, не иначе, как «летательными машинами»,— конечно же, эти мирные провинциалы не могли предугадать, какое развитие получит в их стране капитализм, ныне являющийся стержнем всей американской жизни. Современное правительство Америки нисколько не заботится об интересах большинства, зато оно обеспечивает интересы незначительного меньшинства,— иными словами, интересы корпораций,— предоставляя им право все прибирать к рукам ради собственной выгоды.

Основной опорой капитализма является та статья конституции, в которой говорится о неприкосновенности частной собственности. Формулируя эту статью, авторы конституции исходили из свойственных тому времени представлений о личной собственности и недвижимом имуществе. Да и кто же мог тогда предвидеть последующий бурный рост промышленности, в результате которого слова «частная собственность» стали означать не только бесчисленные акции и обязательства всевозможных держательских компаний, трестов и корпораций, но по существу и сами эти тресты и корпорации в целом. А ведь именно такова природа большинства современных крупных состояний, дающих неограниченную власть тем, кто ими владеет. Недавно умерший Джордж Ф. Бейкер, председатель правления Первого национального банка в Нью-Йорке, оставил своим наследникам сотни миллионов долларов в виде десятков тысяч акций и обязательств железнодорожных, банковских и всяких других компаний.

Времена меняются, и наши финансисты и заправилы банков и корпораций, все больше и больше входя во

вкус власти и неограниченного влияния, не только в корне пресекали всякие попытки естественного и необходимого расширения прав народа, но и ограничивали и постепенно сводили на нет те права, которые были предусмотрены конституцией полтора века назад. Формула «власть народа и для народа» отнюдь не соответствовала их желаниям и интересам, и они не щадили усилий, чтобы лишить ее реального содержания.

Все полтора ста лет после принятия конституции наши промышленники, словно сговорившись (чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть книгу Густава Майерса «История американских миллиардеров»), пользовались любыми доступными им средствами,— будь то деньги, связи или давление на правительство,— чтобы лишать рядового американца то одной, то другой из его конституционных свобод. Вполне естественно, что кое-какие второстепенные установления прежних времен, неприменимые в условиях развитой промышленности, фактически перестали существовать. Они потеряли смысл. Я также учитываю тот факт, что создатели американской конституции, крупные землевладельцы, отнюдь не склонны были наделять властью широкие массы, ибо народу и тогда уже не доверяли. И все же в широком смысле я прав, утверждая, что американская конституция была на первых порах демократична по существу.

Если вы в этом сомневаетесь, давайте рассмотрим фактическое положение американского гражданина и сопоставим те права, которые в свое время были для него предусмотрены конституцией, с теми, которыми он пользуется ныне с соизволения корпораций, контролирующих правительство, призванное блюсти основной закон страны. Картина, я думаю, складывается достаточно убедительная, чтобы подкрепить мое мнение.

Начнем с того, что все новое в области культуры и науки, все, способное рассеять привычные косные представления и освободить ум от оков, преследуется и подавляется. Свобода слова. свобода печати? Наше радио, школа, колледжи, церковь? Достаточно осмотреться кругом, чтобы понять, что произошло и продолжает происходить у нас в Америке. В главе «Банки и корпорации — наше фактическое правительство» я уже говорил о пропаганде преимуществ частного предпринимательства перед государственным, о захвате, подкупе,

о вмешательстве в деятельность школ, колледжей, газет, о вторжении в редакционные кабинеты. Попробуйте заглянуть в любое учебное заведение, в радиоконцерн, в редакцию газеты, на кинофабрику, в библиотеку, в любое учреждение, служащее источником информации, занимающееся ее распространением или обработкой для масс, и вы увидите, что всюду и всем правят деньги, это орудие современной олигархии, цель которой — возвышение немногих за счет порабощения огромного большинства; деньги решают, что, когда, где и как должно быть сказано к вящей пользе и славе капитала. А ведь по букве американской конституции всем гражданам обеспечивается доступ ко всем источникам знания.

В самом деле, обратимся к фактам. На днях Питтсбургский студенческий либеральный клуб, которому было запрещено устроить собрание на территории университета, собрался в другом месте, чтобы заслушать доклад профессора Гарри Элмера Барнса из колледжа Смита о деле Муни и Биллингса¹. За это преподаватель философии Фред Уолтмен и два студента были исключены из университета. Итак, случай возмутительной расправы с представителями рабочего движения, заклейменный как юристами, так и всей нацией, не подлежит обсуждению в американском колледже. Но по чьему желанию или приказу?

В марте 1929 года преподаватели психологии и социологии Миссурийского университета роздали студентам анкету с вопросами, касающимися половой жизни; это послужило поводом к тому, что профессор Макс Ф. Мейер, один из старейших преподавателей университета, был временно отстранен от чтения лекций, а два научных сотрудника уволены. Между тем эта анкета не вызвала никаких возражений ни со стороны таких же специалистов в других колледжах, ни со стороны Американской ассоциации университетских профессоров. Чем же объясняются столь суровые меры? Ответ на

¹ Муни и Биллингс — руководители рабочего движения в Калифорнии; в 1916 году были приговорены один к смертной казни, а другой — к пожизненному заключению по заведомо ложному обвинению в террористическом акте против демонстрации, устроенной милитаристами. Приговор суда вызвал широкий протест рабочих во всем мире, в результате чего смертная казнь была заменена для Муни пожизненным заключением.

этот вопрос я услышал из уст других преподавателей. Университет подчинен совету попечителей. Эти не весьма образованные, но весьма нравственные (на словах) обыватели, принадлежащие к состоятельным и интеллигентским кругам, выслуживаются перед властями штата и богачами в чайники субсидий и пожертвований; и посему не только сами стремятся им угрождать, но всячески заботятся, чтобы университетские порядки во всех отношениях (в том числе и в нравственном) соответствовали местным — а по их мнению, и общепринятым — представлениям о том, чем следует и чем не следует заниматься в американском университете. Отсюда и вышеозначенные репрессии — вполне в духе наших корпораций, полагающих, что чем меньше знаний, тем лучше (еще по финансам и технике куда ни шло, но от социологии и политики упаси нас боже!).

На все эти попытки диктовать профессору, чему он должен обучать своих студентов, у меня есть только один ответ: дело писателя — писать, юриста — толковать закон, а учителя — учить согласно велениям собственной совести.

Едва ли не самой (пока что) наглой и коварной вылазкой против свободы слова и естественно вытекающей из нее свободы печати было так называемое дело о Миннесотском «законе-кляпе». Объектом травли (закончившейся поражением в верховном суде США 1 июня 1931 года, после двухлетней ожесточенной борьбы) послужила еженедельная газета «Сатердей пресс», выходящая в Миннеаполисе. В сентябре 1927 года газета выступила с разоблачением небезызвестного в городе гангстера Барнета, содержателя публичных домов и игорных притонов, причем в неблагоприятных поступках были уличены также местный начальник полиции Брэнскилл, которого газета обвиняла во взяточничестве, некий Дэвис из Лиги охраны закона и мэр города Миннеаполиса — Лич.

Думаю, что газета говорила правду, — недаром после первой же разоблачительной заметки гангстеры подстрелили — правда, не убили — одного из ее издателей, Х. А. Гилфорда. Так или иначе, в действующем законодательстве штата немедленно отыскивали постановление против предумышленной клеветы и диффамации, позволявшее закрыть неугодную властям газету. Откуда взя-

лось это постановление, так и не выяснено, но цель и смысл его очевидны. Нажав на все пружины в полиции и суде, названные газетой лица добились того, что, используя это постановление, газету прихлопнули, после чего, как водится, гангстеры сделали попытку подкупить издателей, предложив им долю в своих преступных доходах. Газета, однако, должна была остаться под запретом. В течение трех лет дело переходило из одного суда в другой, пока, наконец, пройдя все инстанции, не попало в верховный суд США, где пятью голосами против четырех (заметьте это соотношение) закрытие газеты было признано незаконным. Характерно, что все судебные инстанции штата поддержали «закон-кляп», да и в верховном суде, как мы видим, дело едва не кончилось тем же. А ведь в конституции черным по белому сказано, что никакие посягательства на свободу печати недопустимы.

Стоит призадуматься над значением этих фактов: в суверенном американском штате был принят подобный закон, и верховный суд штата оказал ему поддержку, не говоря уже о том, что издателям газеты понадобилось три года, чтобы добиться окончательного решения. А ведь если бы дело приняло другой оборот (вспомните соотношение голосов в верховном суде США — пять к четырем!), это означало бы, что правительство по первой вздорной жалобе может налагать запрет на любой печатный орган безотносительно к тому, верны или неверны опубликованные в нем сведения. И наконец, достаточно было бы объявить этот закон соответствующим конституции, и всякий другой штат мог бы на том же основании затыкать рот своей прессе.

Итак, американского гражданина, не вникая в то, прав он или неправ, не только лишают возможности печатно выражать свое мнение, но еще и причиняют ему материальный ущерб. И это решение нашло поддержку во всех судах Миннесоты, в течение трех лет оставалось в силе и только после того, как были изысканы специальные средства (по-видимому, Американской ассоциацией издателей газет и другими организациями), дело попало в верховный суд США, где оно и было отменено. Это не помешало кое-кому и в суде и в печати доказывать, что раз такие порядки существуют в

Англии, то они уместны и у нас. Однако окончательно закрыть печатный орган так, как это, не задумываясь, проделали в Миннесоте, в Англии было бы невозможно. Кроме того, в Англии не существует конституционных гарантий свободы печати, а у нас они есть. И тем не менее коварные попытки забрать в руки американскую прессу и надеть на нее намордник заходят у нас уже достаточно далеко — как мы видим на приведенном примере.

Отметим еще одно обстоятельство, которое тесно связано с этим. Американскому правительству дано право запрещать тому или другому частному лицу, фирме или печатному органу пользоваться услугами почты. Это делается на основании законов против безнравственности и против подстрекательства к мятежу. Но что получается на деле? Нетрудно представить! Стоит только влиятельному церковнику или трестовскому воротиле усмотреть в чем-нибудь политику, или критику корпораций, или подрыв общественных устоев, как тотчас же отдается соответствующее распоряжение, и двери почты для вас закрыты. А там пошли расследования, допросы и т. п. — словом, завертелись колеса министерства юстиции. А уж если речь идет о коммунизме... Неважно, что широкое изучение и обсуждение этой новой экономической теории ни в какой мере не противоречит конституции, — попробуйте-ка прибегнуть для этого к услугам почты! Только недавно был изъят из обращения ряд изданий, посвященных этой экономической теории, а много ли мы слышали голосов протеста? Все молчали, кроме коммунистов! Но и рабочему движению, когда оно выступает против корпораций, приходится не лучше. Приведу здесь два случая. Брошюра «Прекратите провокацию в Гастонии!» о судебной расправе с бастовавшими в Гастонии текстильщиками была запрещена к пересылке по почте на том основании, что в ней затронута честь штата Северная Каролина. А между тем с брошюры «Правосудие в калифорнийском духе», по заключению нью-йоркского апелляционного суда (от марта 1930 г.), был снят запрет на том основании, что закон о диффамации не предусматривает случая, когда оскорбленной стороной явился бы штат. Поскольку клевета есть правонарушение в области частного гражданского обихода и поскольку ущерб наносится отдель-

ному лицу, я во втором решении вижу куда больше смысла. Но все это только цветочки, ягодки впереди! Если газета один раз напечатала нежелательный материал, то даже в условиях мирного времени министр почты может запретить почтовую рассылку всех ее последующих номеров. Так постановил верховный суд США. А разве министр почты колдун или ясновидец, что берется судить о содержании невышедших номеров газеты? Или это для него просто способ заранее избавиться себя от хлопот?

Но как ни возмутителен произвол правительственных чиновников, его не сравнить с той борьбой против конституционных гарантий свободы слова, которую повседневно ведут корпорации. Что может быть страшнее цензуры в радиовещании, и где найдешь на нее управу? Компании, заинтересованные в сбыте радиоприемников, делают ставку на любителей дешевого зубоскальства, недоумков, которых ничто не интересует, а поэтому готовы из года в год заключать контракты с комиками-эксцентриками «Амос и Энди» или с какой-нибудь *madame Distinguée*, снабжающей своих радиослушателей полезными сведениями о том, что больше к лицу зеленоглазым брונеткам, голубоглазым шатенкам и черноглазым блондинкам. Но попробуйте предложить что-нибудь посерьезнее! В декабре прошлого года Национальная радиовещательная компания отказалась транслировать речи участников состоявшегося в Нью-Йорке конгресса по контролю над рождаемостью на том основании, что самый предмет обсуждения — грех (хотя англиканская церковь держится теперь иного мнения). А в Питтсбурге недавно было снято, под предлогом неувязки в программе, радиовыступление Патрика Фэгена, направленное против «полиции железа и угля».

Теперь обратимся к положению негров и посмотрим, какие права дала конституция неграм и к чему все свелось на деле? Резюмирую положение вкратце: хотя по конституции негры у нас свободны и пользуются правом голоса (а ныне не только они, но и их жены и дочери) — в десяти штатах из сорока восьми они этого права фактически лишены. что является вопиющим беззаконием. Далее. В тридцати штатах действует закон, воспрещающий брак между черными и белыми, а в семнадцати штатах — закон, воспрещающий черным учить-

ся в одной школе и ездить в одном вагоне с белыми, и высшие судебные органы поддерживают эти законы, не усматривая в них противоречия с теми поправками к конституции, которые дали неграм свободу и право голоса. Однако разве не записано в конституции, что «перечисление определенных прав не исключает других прав, естественно принадлежащих народу»? Полагаю, что по конституции негры вправе жениться на ком хотят и разъезжать в любом вагоне. Почему? Да просто потому, что, даровав им права гражданства, конституция гарантирует им и все прочие права. А ссылка на 14-ю поправку к конституции, в силу которой любой штат может вводить у себя всякого рода фантастические постановления, если только они равно «охраняют» всех, является чистой водой передержкой, ибо все негры — это еще не весь народ.

В настоящее время негры усиленно привлекаются к работе на промышленных предприятиях, но в силу господствующего у нас духа капитализма и индивидуализма это происходит на таких унижительных условиях, что и здесь можно говорить о попрании конституционных прав.

Кому, кроме негров, поручается у нас такая работа, как чистка канализационных труб, ремонт раскаленных доменных печей, кто еще по целым ночам обливается потом в отравленной газами атмосфере рекуператоров на сталелитейных заводах? А легко ли негру устроиться на работу иного типа? На металлургическом заводе в Спэрроус-Пойнт, штат Мэриленд, неграм платят от 25 до 30 центов за двенадцатичасовой рабочий день. На предприятиях Аллеганской сталелитейной компании в окрестностях Питтсбурга они вынуждены работать по четырнадцать часов в день. А при малейшей попытке протеста все их конституционные права летят к черту. Кого увольняют в первую очередь? Конечно, негров! И уволенному негру остается одно — уехать в деревню и арендовать клочок земли у местного землевладельца, — но при этом он попадает в такую кабалу, которая граничит с полным порабощением. Наши земельные собственники присвоили себе все права рабовладельцев, а о борьбе с ними неграм нечего и помышлять, так как тут действует круговая порука. (Нам еще придется встретиться с этим в главе «Ущемление личности».)

Хотя по условию снятый на арендованном участке урожай должен делиться пополам между арендатором и хозяином земли, последний захватывает себе львиную долю, поскольку он сам сбывает продукты и получает за них деньги. Попробуй только негр возразить, и помещик не задумается арестовать его и засудить, хотя бы за неуплату долга, — забитый, неграмотный негр все равно не сумеет отвести обвинение. Бывает и так, что негра линчуют или просто пристреливают без хлопот и шума — благо в условиях местного судопроизводства такой случай рассматривается как «убийство при оправдывающих обстоятельствах».

В 1919 году негры-издольщики в восточной части Арканзаса, добиваясь справедливых цен на хлопок, повели организованную борьбу. Однако не успели негры собраться на митинг, на что конституция дает им полное право, как приспешники местных землевладельцев открыли по ним стрельбу. Вызванный помещиками отряд милиции довершил расправу, и несколько десятков издольщиков-негров было убито. А когда дело передали в суд, арканзасские власти нашли способ добиться неблагоприятных для негров свидетельских показаний. Свидетеля-негра сажали на электрический стул и пытали до тех пор, пока несчастный не признавался во всем, чего от него требовали. Конечно, каждое слово тут же записывали и потом материалы следствия использовали против самих же свидетелей.

Однако надругательства над правами рядового американца — будь то черный или белый — далеко не исчерпываются приведенными здесь характерными примерами. Любое должностное лицо, придя к власти всеми правдами и неправдами (преимущественно неправдами, ибо все мы знаем, как проходят у нас выборы, вопреки самым честным намерениям рядового избирателя), не только начинает толковать закон вкривь и вкось — в своих собственных интересах или в интересах какой-нибудь корпорации, — но и наделяет властью угодных ему лиц, хотя это не предусмотрено ни конституцией, ни наказами избирателей. Причем все эти самоуправства и злоупотребления обычно идут на пользу корпорациям и во вред широкой публике. Так, власти отдельных штатов или же само федеральное правительство, пользуясь своим правом раздачи всяких концессий и

привилегий, разрешают промышленным корпорациям строить поселки или целые города и вводить там свои особые правила и порядки, независимо от местного законодательства. Корпорации, наделенной такой широкой властью, разрешается не подчиняться требованиям штата не только в вопросах организации полицейской службы, но и в других. Итак, выборные или назначенные правительственные чиновники, действуя вопреки конституции, ставят, по существу, корпорации выше законных властей, давая им право (само собой разумеется, за известную мзду) вплоть до мелочей регламентировать жизнь тех, кто на них работает. В таких созданных ею и словно стоящих вне закона селениях или городах корпорация всевластна: она может указывать жителям, какие газеты им читать и каких не читать, в каких лавках забирать провизию, сколько платить за квартиру, каким умственным или общественным занятиям посвящать свой досуг и т. д.

Там, где на сцену выступают американские корпорации с их самовольно присвоенными правами и привилегиями, с данной им властью притеснять, разорять, угнетать и даже обращать в рабство (вспомните труд кандалников на Юге, да и не только на Юге) или бросать в тюрьму и всякими другими путями сживать со свету людей, которые, как Том Муни, пытаются протестовать, бороться против произвола и беззакония,— там наша конституция со всеми гарантированными ею свободами немногого стоит. В суд (в тех случаях, когда дело касается корпораций и их интересов) частному лицу бесполезно обращаться: его не то что защищать — и слушать не станут. Разрешите мне по этому поводу процитировать весьма характерное заявление одного капиталиста: «Для меня достаточно того, что это человек с предосудительным прошлым; выпустить такого субъекта на волю — значит позволить ему тут же приняться за старое». Я мог бы привести здесь не десятки, а сотни случаев, подтверждающих мои слова.

Ограничусь немногими примерами — только для того, чтобы не показаться голословным (однако прошу с ними ознакомиться).

1. Дело Лохнера против штата Нью-Йорк, 1904 год. Слушалось в верховном суде США. Суть его заключалась в том, что хлебопекарня города Утика оспаривала

закон, ограничивающий рабочий день пекарей десятью часами, ссылаясь на то, что это противоречит конституции. Высший судебный орган в стране признал закон «противоконституционным» на том основании, что он не обеспечивает в равной мере защиту интересов всех сторон. Суд имел в виду интересы владельцев пекарен, интересами же рабочих он поступился не задумываясь. Мало того, большинство членов суда вслух выражало свое возмущение законом, называя его «неуместным вмешательством», говоря, что он посягает на свободу, на частную собственность и на гарантированное 14-й поправкой к конституции право свободного договора (имеется в виду право бедняка подрядиться работать по четырнадцать часов в сутки, а то и больше, если нужда заставит). Ну, а как же соответствующие права рабочих? Их можно ограничивать сколько угодно.

Итак, суд отказался от всякого ограничения «права свободного договора», ибо закон в данном случае, хотя и ограждал интересы рабочих, но мешал предпринимателям. А между тем в других случаях верховный суд США ограничивал это самое право без всяких колебаний.

Правительство никогда не колеблется сделать это там, где речь идет о правах народа. Разве когда муниципалитет или правительство штата предоставляет кому-нибудь концессию, оно не ограничивает этим права народа? В самом деле, условно говоря, мы с вами вольны купить дом у той или иной фирмы или заключить с той или иной газовой компанией договор на снабжение газом. Но когда концессия предоставлена, компания, получившая ее, становится монополистом. Вы должны обратиться именно к данной газовой компании или обходиться без газа. Вот вам и право свободного договора.

2. Дело Хэммера против Дэггенхарта, 1918 год.

Закон об ограничении детского труда запрещает перевозку из штата в штат продуктов детского труда. Закон этот был принят конгрессом на основании его конституционных полномочий, а также во исполнение возложенной на него обязанности регулировать торговлю между штатами. Существует мнение, что закон имел в виду охрану здоровья детей. Но мероприятия по охране здоровья относятся к вопросам надзора, осуще-

ствляемого полицией, а решение таких вопросов по конституции предоставлено штатам.

Верховный суд пятью голосами против четырех признал закон об ограничении детского труда противоречащим конституции на том основании, что он имеет в виду возрастное регулирование труда, а это — тоже вопрос, относящийся к полицейскому надзору. Однако многие авторитетнейшие судьи полагают, так же как и я, что закон этот имел в виду именно торговые взаимоотношения штатов, и тем не менее верховный суд лишил конгресс его права. А ведь тот же верховный суд не столь давно по другому поводу признал, что право конгресса регулировать торговлю между штатами важнее и выше права штатов осуществлять полицейские функции. Вот и разберитесь тут! Сегодня говорится одно, а завтра совершенно другое — очевидно, в зависимости от того, кто задает вопрос. Такое решение в данном случае явно соответствовало интересам капиталистов: оно развязывало им руки и позволяло нанимать сотни тысяч детей буквально за гроши. Чтобы объявить закон противоречащим конституции, суду пришлось пойти против своего прежнего решения. Все это показывает, что данное судом разъяснение имело в виду не столько заботу о полицейских прерогативах отдельных штатов, сколько охрану интересов капитала.

А став на этот беспринципный путь, суд не считался и с конституционным правом конгресса регулировать торговлю между штатами.

3. Дело Эдейра против Соединенных Штатов, 1907 год. Один из параграфов федерального закона Эрдмана об арбитражном разрешении конфликтов между рабочими и предпринимателями (принятого после всеобщей забастовки железнодорожников в 1894 году) запрещает дискриминацию по отношению к рабочим — членам профсоюзов. При рассмотрении означенного дела верховный суд объявил этот параграф неконституционным на том основании, что он противоречит «праву свободного договора» — имеется в виду, конечно, право хозяина нанимать рабочих и выгонять их по своему усмотрению. (Никогда еще при разборе трудовых конфликтов суд не становился на сторону рабочих и не беспокоился об их праве свободного договора.) Мне лично, впрочем, кажутся смешными какие бы то ни бы-

ло разговоры о свободе там, где существует узаконенная дискриминация. Но суд, видимо, держался иного мнения. Он заявил: «В свободной стране правительство не вправе утвердить подобный законопроект». На деле же это постановление суда узаконивает весьма противоречивое положение: наниматели вольны объединяться в корпорации, достаточно мощные, чтобы сломить сопротивление рабочих (и они действительно объединяются для борьбы с рабочими), а рабочие лишены возможности объединяться, ибо хозяева — теперь уже на законном основании — подвергают дискриминации рабочих — членов профсоюза. В применении к данному случаю «свобода договора» означает для предпринимателя право навязывать рабочим свои требования, а отнюдь не право обеих сторон вступать в добровольное соглашение. А ведь, казалось бы, основой любого договора должен быть принцип взаимности.

У неорганизованных рабочих свои трудности.

Во многих Южных штатах, как Флорида или Алабама, существует закон, по которому рабочий не может покинуть хозяина, если задолжал ему. Рабочего здесь заставляют подписывать разные долговые обязательства, и бывает, что он так и работает на одном месте до самой смерти за грошовую заработную плату.

В этих же штатах люди, арестованные за мелкие провинности, становятся жертвами особой системы принудительной вербовки, самое существование которой противоречит духу американской конституции. Старый способ, когда вербовщик, подпоив доверчивого матроса, отправлял его в плавание на положении неоплачиваемого раба, должен показаться еще деликатным по сравнению с той системой, с которой сегодня приходится сталкиваться безработному на Западе и на Юге. Достаточно ему попасться на глаза властям при переходе из одного района в другой в поисках работы, чтобы его схватили и заперли в тюрьму как бродягу; а там с целой партией таких же, как он, арестантов его отдадут внаймы какому-нибудь подрядчику, который на этом наживает. Порядки эти описаны мною в главе «Ущемление личности».

Беда в том, что жертвами всех этих беззаконий, широко распространенных в США, становятся главным образом люди, беспомощные в силу своей неоргани-

зованности и неосведомленности. Я пытался показать, что в нашем весьма сложно устроенном государстве, во главе которого стоит правительство, контролируемое частными интересами, первоисточником таких беззаконий являются всевластные корпорации,— либо их непосредственная деятельность, либо разлагающее влияние их методов, получивших уже широкую известность. Ибо естественно, что в стране, где частные интересы дают на правительство и где корпорации настолько сильны, что могут пренебрегать законами, в такой стране неизбежно ущемление прав личности. Кто отважится спросить с обидчика или пожаловаться на него? В самом деле, давно ли Америка была по преимуществу рабовладельческим государством? И разве грубые и бесцеремонные повадки наших корпораций и наших финансистов не должны были еще больше укрепить это неуважение к личности? А если вспомнить, что на Юге и теперь найдется немало людей, которые до сих пор не примирились с освобождением рабов, то удивляться вовсе нечему. Ибо наши корпорации, добиваясь богатства для себя и нищеты для всех остальных, стремятся к полному порабощению народа. А для этого они ведут нещадную и систематическую борьбу со всякими попытками реформ в стране, причем всегда вопреки конституции и при полной поддержке высших судебных органов.

Но спрашивается, почему же им все сходит с рук? Как это получается, что и корпорации и всегда готовое к их услугам правительство умудряются оставаться безнаказанными, даже когда их удается поймать с поличным? Это нетрудно объяснить. Существует устарелое конституционное право, в силу которого человек может отказаться от дачи показаний или от ответа на вопросы, если они хоть в какой-то мере могут способствовать его обвинению. (Впрочем, с рядовыми американцами не церемонятся, их подвергают допросам третьей степени!) Словом, если человек совершил преступление, он вовсе не обязан об этом рассказывать. И вот, когда начинается правительственное расследование, правительственные чиновники бессильны добиться показаний как раз от тех лиц, которым есть что рассказать, а в результате — улик оказывается недостаточно для того, чтобы передать дело в суд. Так было со скандальным делом о злоупотреблениях в молочной промышленности

в Нью-Йорке, а также и с другим нашумевшим делом, связанным с государственной инвентаризацией зданий и оборудования больниц, школ и т. д. (расследование было начато после публичных разоблачений по этому делу). Все попытки следователей докопаться до истины разбивались о магическую формулу: отвечать не буду, так как мои слова могут быть обращены против меня. Должностные лица штата уклонялись от показаний под тем же предлогом.

То же самое не раз бывало и с многочисленными нью-йоркскими судьями и с высшими должностными лицами, которые, совершив хищение или же покрыв других расхитителей, в расчете получить за это кое-что, преспокойно оставались на своих местах и только отмалчивались на вопросы следователей. А между тем лица, облеченные доверием народа, должны отвечать перед народом за все свои поступки и дела, исключая сугубо личные. В особенности, когда речь идет о делах, имеющих общественное значение, правительственным чиновникам следовало бы запретить ссылаться на эту своеобразную неприкосновенность. Принятие правительственного поста, на мой взгляд, должно было бы сопровождаться официальным отказом от этой конституционной привилегии. Правда, некоторые законоведы полагают, что это противоречит конституции (нельзя, мол, заставлять человека отречься от своих конституционных прав!), но я, опираясь на мнение крупнейших юридических авторитетов, заявляю, что никакого принуждения тут нет, ибо никто не заставит человека принять тот или другой правительственный пост, если он сам этого не хочет.

Как бы то ни было, вся эта комедия носит не только некрасивый, но и откровенно нечестный характер. Жизненная практика среднего американца отнюдь не основана на этом принципе неприкосновенности. Рядовому гражданину приходится отвечать за свои поступки перед обществом, и это только естественно и справедливо, независимо от того, навлекает он этим на себя обвинение или не навлекает.

Другая юридическая уловка, которая затрудняет правительственные расследования, основана на весьма туманном законе, восходящем ко временам пыток и судебных поединков. В настоящее время такому закону не

место в юридическом арсенале страны — хотя он отлично вяжется с принципами корпораций. Эта юридическая уловка гласит: «Человека не должно дважды подвергать опасности за содеянное им преступление». И вот лица, заинтересованные в том, чтобы срывать правительственные расследования, заявляют, что показание, данное совету присяжных, не может быть впоследствии использовано против человека, дававшего это показание, если он привлекается к суду. Конечно, это чистейшая передержка, даже если оставаться в пределах юридической фразеологии, потому что, пока человек не предан суду, он никакой опасности не подвергается. А совет присяжных — еще не суд. Но так или иначе, этой недобросовестной уловкой у нас частенько пользуются, чтобы освободить от наказания прожженных плутов. А огромное большинство американцев, которые едва ли одобрили бы подобные махинации, просто ничего о них не знает. Таков один из новейших образцов юридического крючкотворства. А как часто судья, драпируясь в тогу учености, отводит на процессе важнейшие и существеннейшие показания! И сколько услуг оказывают таким образом корпорациям правительственные чиновники!

Опираясь на подверженное «влияниям» правительство, корпорации, с одной стороны, не стесняются злоупотреблять конституционными правами, когда им нужно оправдать свои неблагоприятные действия, а с другой — при любом трудовом конфликте начисто отвергают эти права в ущерб рабочему, заставляя «маленького человека» вдвойне расплачиваться за то, что он «маленький». Непризнание за трудящимися элементарных прав, закрепленных в конституции, прежде всего ведет к чудовищным притеснениям рабочих. Получив огромные прибыли при помощи рабочих и за их счет, корпорации нередко тут же урезают заработную плату на 10—15, а то и на 25 процентов, снижая до предела жизненный уровень рабочих, сводя его к нищенскому существованию. Бывает и так, что тресты принуждают рабочих значительно повысить выработку, как это было на предприятиях Американской шерстяной компании в городе Лоренсе, штат Массачусетс, где рабочие, ценой огромной дополнительной затраты сил, перешли с обслуживания двух чесальных машин на девять.

Какие бы непосильные тяготы ни возлагались на ра-

бочего, бороться с ними он не может. Сошлюсь на официальные данные о числе арестов среди рабочих за 1930 год. Во время забастовок арестовано 1037 человек; на демонстрациях безработных — 1598; во время митингов — 644; за распространение листовок — 962; при различных обстоятельствах — 1598. Итого — 5935 человек! И это в стране, где забастовки не запрещаются законом и где свобода собраний и печати, а также право обращения с жалобами к правительству освящены конституцией.

Примером того, как американский суд помогает корпорациям бороться с рабочим движением, является существующая у нас практика судебных запретов. Особые судебные постановления запрещают профсоюзным лидерам вербовать новых членов в свои организации, призывать к стачке и, что особенно важно, оказывать материальную помощь. Совершенно очевидно, что эти запреты способствуют срыву стачек. Более того, бывали случаи, когда запрещались судебные разбирательства по искам рабочих! Так что же, скажете вы, неужели двери американского суда закрыты для горемычного труженика? Неужели там не защищают его конституционных прав? Да, именно так! Иначе, почему у нас сейчас, во время ужасающей безработицы, запрещены митинги и демонстрации, несмотря на предусмотренную конституцией свободу собраний, запрещено распространение газет и листовок? У рабочих отняли ценнейшее их достояние — свободу печати, в которой они, в отличие от корпораций, особенно, кровно заинтересованы. Любой американский судья в наши дни имеет — или во всяком случае присваивает себе — право издавать такого рода запреты, мотивируя их то опасностью для чьей-то жизни или имущества, то угрозой общественному спокойствию, то нарушением антитрестовского закона Шермана (хотя этот закон направлен против монополий, стесняющих свободу торговли, а не против рабочих организаций). Иными словами, для богатых и власть имущих американская конституция — не более чем клочок бумаги; но ведь для бедняков и обездоленных это не так! А между тем суд на откупе у корпораций, вся страна — достояние корпораций! Наши судьи не только устанавливают свои порядки во имя защиты собственности от несуществующей угрозы

(что является прямым нарушением конституции),— они полны лицемерия и пристрастия. Казалось бы, прежде чем издавать по указке корпораций свои ограничительные постановления (которые обычно вступают в силу задолго до разрешения конфликта), суд должен хотя бы выслушать рабочих. Но на деле американский рабочий лишен возможности высказать свое мнение перед судьей. Последнего очень мало интересует точка зрения рабочего. И «маленький человек» должен все терпеть. Борьба с практикой судебных запретов не удастся даже через конгресс. А если бы и удалось, наши могущественные корпорации нашли бы юридическую лазейку для обхода любого закона. Вы скажете — это один из неизбежных пороков капиталистической системы? Согласен! Так что же нам остается делать? Об этом мы еще поговорим.

Но это далеко не все. Наши корпорации и наше правительство готовы пойти на гнуснейший подвох, на самый грязный обман, чтобы расправиться с любым проявлением политической мысли,— если только оно не носит откровенно реакционного характера,— и это вопреки записанной в конституции свободе слова, собраний, печати и распространения печатных изданий. Так, изданный во время войны и в связи с военным положением национальный закон о шпионаже, карающий также за призыв к мятежу, недавно опять извлекли из-под спуда (уже десять лет как о нем и думать забыли). И для чего же? Для того чтобы запретить рассылку по почте таких коммунистических изданий, как «Революционный век», «Молодой рабочий», «Юный пионер», «Vida obrera»¹, «Рабочий спортивный ежемесячник». Газетам этим инкриминировалась пропаганда насилия. Здесь необходимо пояснение. Не только в Америке, но и в более консервативной Англии, откуда пришло к нам «обычное право», легшее в основу американского правового устройства, «пропаганда насилия» никогда не считалась равнозначной «призыву к мятежу», если она не заключала в себе прямой, непосредственной угрозы существующему строю.

Совершенно ясно, что наше правительство пресле-

¹ «Рабочая жизнь» (исп.).

дует всякую прогрессивную мысль в стране, всех тех, кто не мирится с реакцией, иначе говоря — коммунистов. Ведь даже во время войны, когда действовал закон о шпионаже, под призывом к мятежу понималось лишь прямое и открытое подстрекательство к насилию. Между тем ни одно из перечисленных изданий призывов к насилию не содержит. Короче говоря, как только дело коснулось коммунистических изданий, свобода печати рассеялась, как дым. И это после того, как целые поколения могли невозбранно высказываться в прессе по поводу таких актов, как убийство английских королей, — лишь бы только не имелось в виду конкретное лицо, например ныне правящий король Георг. Единственное, в чем, в сущности, повинна американская коммунистическая печать, это в употреблении таких слов, как «борьба», «боевой», «революция» или «война»; но ведь и в обиходной речи и согласно толковому словарю Вебстера слово «борьба» означает всякую борьбу, «война» — войну вообще, а «революция» — полную перемену. Это первые, основные значения данных слов, и именно в таком смысле они воспринимаются слушателями.

Ну, а как обстоит дело с пропагандой насилия против таких многочисленных общественных групп, как коммунисты, профсоюзные деятели, забастовщики или негры, — пропагандой, в которой всячески изощряется у нас реакция? А линчевание, а разгон забастовщиков пулеметными очередями и тому подобное? Этого не воспрещает никакой закон, не делается даже никаких попыток умерить подобные бесчинства! Но вернемся к нашей прежней теме. Под призывом к мятежу ныне разумеют всякое выражение недовольства правительством. В Америке существует вполне официальная точка зрения (произвольная или законная — вопрос особый), что народ, который наделяет властью своих избранников, в сущности лишь передоверяя им свою власть, не вправе потом выражать недовольство той или другой стороной их государственной деятельности. Каков бы ни был характер этой деятельности, он обязан видеть в ней высшее выражение мудрости, законности, справедливости — иначе беда ему! И в наши дни так называемый «призыв к мятежу», даже если он не связан ни с какими конкретными действиями и определяется лишь

как «слова с уклоном к измене» (самая туманность этого определения невыгодно отличает его от любого осмысленного закона уголовного кодекса), рассматривается как преступление, наказуемое долгосрочным тюремным заключением. А ведь если толковать понятие «призыв к мятежу» не в прямом, установленном значении — как высказывание, содержащее прямую и явную угрозу правительству США, — то закон этот сводится к противозаконному лишению определенной группы людей их неотъемлемых конституционных прав, которое совершается по наущению их врагов и влечет за собой все злоупотребления, неминуемо сопутствующие подобным актам произвола. Именно это и происходит теперь в Америке.

Законы о подстрекательстве к мятежу, действующие в отдельных штатах, подвергаются еще более произвольным толкованиям, чем федеральный закон о шпионаже. В штате Пенсильвания есть городок Вудлоун, где хозяйничает сталелитейная компания Джонса и Лафлина (из 2928 живущих в нем семейств 2528 так или иначе связаны с заводом этой компании, платящей своим рабочим от 40 до 50 центов в час при двенадцатичасовом рабочем дне). Недавно там были приговорены к пяти годам заключения в исправительном доме три коммуниста за хранение у себя коммунистической литературы — не оружия и не боеприпасов! — и за попытки организовать коммунистическую группу. На суде они заявили, что не только не собирались свергать правительство США, но даже никогда не считали это теоретически необходимым. Они и не пытались поднять вооруженное восстание и не призывали к нему; но их обвиняли в каких-то неосторожных высказываниях.

Законы, сходные с пенсильванским законом о подстрекательстве к мятежу, ввели у себя после 1917 года тридцать три штата. Уму непостижимо! А ведь свирепствующий в Калифорнии закон о преступном синдикализме, направленный против профсоюзов, — другие не уступают ему! — стоил свободы многим рабочим этого края, где люди не равны и не свободны не только перед лицом закона, но и во всех других отношениях. Шестьдесят пострадавших таким образом рабочих были осуждены по трем статьям: 1) за принадлежность к коммунистической партии (политические взгляды — преступ-

ление, не угодно ли?!): 2) за пропаганду насилия устно и в печати; 3) за участие в заговоре с целью ведения такой пропаганды. Третий пункт ничего не прибавляет к первому: это обычный юридический трюк, для того чтобы удлинить срок наказания. Материалом для обвинения служила найденная при обыске коммунистическая литература, а также свидетельские показания о том, будто бы обвиняемые говорили, что в случае забастовки рабочие прибегнут к массовому пикетированию и насилью: забастовщики, мол, будут иметь при себе пустые бутылки. Характерно, что свидетелями оказались шпики — из тех, что засылаются с провокационными целями в рабочие организации. На суде они признали, что сами побуждали рабочих драться бутылками, а когда защита обратилась к ним с вопросом: «Говорили вы или не говорили таким-то, что вам вменено в обязанность провоцировать коммунистов и что вы подтачивали улики, чтобы добиться обвинения?» — свидетели пришли в замешательство и только после бурных протестов прокурора отвечали: «Нет». И хотя примерно так велся весь процесс, суд приговорил всех шестерых подсудимых к заключению на сроки от трех до сорока двух лет, — а это означает, что тюремщикам дана полная возможность сгноить их за решеткой! И лишь за то, что, будучи коммунистами, они хранили у себя коммунистическую литературу.

Но ведь в Америке, если верить ее конституции, нельзя преследовать людей за убеждения. Суровые репрессии против людей, отстаивающих свои конституционные права, сугубо американская система ссылки недовольных — это порождение нового времени, ознаменованного ростом, самоутверждением и самообожествлением власти доллара, грубость, жестокость и истинно нероновский деспотизм которой ни с чем нельзя сравнить. В особенности же теперь, когда на востоке победила новая, более справедливая экономическая система, капитал, страшась за свою власть, готов еще усилить все те беззакония, о которых мы здесь говорили. Он жаждет сокрушить, изгнать из страны недовольных, вычеркнуть из памяти американцев идею равенства, растоптать конституцию, словно клочок бумаги, каким она давно уже стала.

АГРЕССИВНА ЛИ АМЕРИКА?

Молодая демократия открывает дорогу здоровой предпринимательской инициативе, и на этой стадии всем участникам состязания обеспечены примерно равные возможности. Но когда в строй вступают такие факторы, как наследование имущества, когда методы борьбы становятся все более коварными и изощренными, многие из состязающихся отсеиваются, ряды их редуют и к финишу приходят только самые упорные, те, кто в погоне за наживой не останавливается ни перед чем. Победители, объединяя силы, захватывают всю полноту власти. Это — признак загнивания.

Загнивающий капитализм несет народам порабощение.

Американские доллары — вот та почва, на которой возникает американский империализм. Куда же вывозит Америка свои доллары и как они распределены между отдельными странами? Два миллиарда приходится на Канаду, около миллиарда на Мексику и Кубу, 500 миллионов на Великобританию и примерно по 100 миллионов на Францию, Венесуэлу, Перу, Боливию и Филиппины. И если не считать природных богатств, захваченных в США частными лицами в целях своего личного обогащения, то все эти капиталы являются продуктом труда американского рабочего. Это все сверхприбыль, созданная общими усилиями служащих, рабочих, конторщиков, продавцов. Собранные в Америке (и так несправедливо там распределяющиеся), эти капиталы заправляют теперь железными дорогами и предприятиями общественных услуг не только там, но и еще в девяти других крупных странах. В шести странах они завладели всей промышленностью; они эксплуатируют нефтяные источники двадцати стран. В коммерческом отношении Америка, в сущности, перевернула весь мир вверх ногами и продолжает делать это и сейчас. За какой-нибудь год американский капитал ставит тысячи телефонных станций (не телефонов, а станций!) — в Испании, Мексике и Южной Америке. Одна из наших крупнейших компаний, «Юнайтед Фрут компани», владеет банановыми плантациями в Гондурасе (стоимостью в 24 миллиона долларов), в Гватемале (стоимостью в 4 миллиона), в Коста-Рике

(8 миллионов) и т. д. и в корне меняет всю экономику этих стран, в результате чего местные рабочие, правда, не становятся богаче, зато владельцы этой компании, и без того уже колоссально богатые, получают возможность еще приумножить свои миллионы. А это верный залог того, что и рабочие других стран и широт в самом недалеком будущем станут жертвами такой же эксплуатации.

Фирма «Фокс филмз» имеет филиалы в сорока девяти странах; Генри Форд испещрил своими агентствами всю карту мира. Нет, кажется, такого уголка на свете, где не орудовал бы американский доллар. Китай, и тот становится местом встречи старых знакомых, где собирается у камелька все та же американская финансовая клика: тут и «Бетлехем стил», и «Стандард ойл», и Ли Хиггинсон, и Дж. Морган, не говоря уже о вездесущих и всемогущих Гугенхеймах, Дюпонах, Догерти и Догени,— причем все они чувствуют себя здесь как дома. Да и немудрено: ведь их спокойствие охраняют американские пушки, солдаты и миссионеры.

Итак, американские капиталы щедро вывозятся за границу. Но что это дает американским рабочим или рабочим тех стран, куда попадают наши доллары? Повышается ли жизненный уровень этих рабочих, улучшаются ли условия их труда? Наивный вопрос! Когда «Стандард ойл» был полновластным хозяином в Мексике, переработка нефти на месте обходилась ему в шесть раз дешевле, чем дома,— однако продавал он нефть всюду (в том числе и в Соединенных Штатах) по обычным рыночным ценам. За последние три-четыре года американские компании особенно расширили экспорт капиталов — в иных случаях раза в четыре против прежнего. Дивиденды в 30 или 40 и даже в 400 и 4000 процентов лишь способствовали развитию appetitов. Но здесь я хочу остановить ваше внимание на некоторых фактах, ибо только должная их оценка поможет вам понять, какое положение Америка ныне занимает в мире и что это сулит нам в будущем.

Огромные прибыли, которые приносили США их заграничные капиталовложения, способствовали накоплению капитала. Наличие же в стране свободных средств привело к бурному развитию американской промышленности, и теперь США вывозят в Европу вдвое боль-

ше промышленных товаров, сырья и продуктов питания, чем Европа ввозит к нам. Так, во всяком случае, было до недавнего времени. Общее экономическое положение, сложившееся после мировой войны, привело к тому, что сейчас в США притекает во много раз больше золота, нежели они расходуют на свои заграничные закупки. Это приносит огромные выгоды Соединенным Штатам. Вот, например, как распределяется задолженность крупнейших германских банков на 31 марта 1931 года. Из общей суммы в 5 миллиардов 636 миллионов рейхсмарок 37,1 процента причитается Соединенным Штатам, 20,4 процента — Англии, 13,9 процента — Швейцарии, 9,7 процента — Голландии и 6,5 процента — Франции. Комитет банкиров, возглавляемый Альбертом Х. Уиггином, председателем правления «Чейз нейшл бэнк», в августе 1931 года постановил, что Германии должен быть предоставлен полугодовой мораторий по краткосрочному займу в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Правительства обеих стран специальным актом узаконили это постановление. А ведь Уиггин не занимает ни официального, ни даже полуофициального положения в правящих органах США. Разве это не наглядный пример того, как американские банки распоряжаются судьбами мира?

Большое количество избыточных товаров дает Америке возможность контролировать цены на мировом рынке. Герберт Гувер говорил о меди, нефти и хлопке, как возможных статьях американского экспорта. Здесь нелишне подчеркнуть, что между внешней торговлей и вывозом капитала есть существенная разница. Коммерсант, который вывозит товары, заинтересован в том, чтобы его заграничный потребитель обладал высокой покупательной способностью, но банкир, инвестирующий за границей деньги, очень часто только выигрывает от банкротства своего клиента.

Существует ключ к той политике наживы, которая определяет собой всю коммерческую деятельность США за границей. Дело в том, что наши иностранные предприятия находятся в ведении и управлении четырех или пяти крупнейших нью-йоркских банкирских домов. Это в первую очередь Кун, Лэб и К°, Ли Хиггинсон и К°, Дж. П. Морган и Джон Д. Рокфеллер со своим «Нейшл сити бэнк». Последний банк, действуя

под вывеской «Интернейшнл бэнкинг корпорейшн», имеет отделения во всем мире. Дж. П. Морган связан с банком «Форин файненс корпорейшн», чье назначение — финансировать американские предприятия за границей. Нетрудно себе представить, какой характер носит деятельность этих фирм и какими возможностями давления и влияния они располагают! И это, заметьте, в такое время, когда у нас особенно подчеркивается важность нормальных международных отношений, когда мы без конца твердим о разоружении и всячески напираем на лозунг «культурной и экономической помощи отсталым странам». Все это, по-моему, неопровержимо доказывает, что у нас во главе страны стоит реакционное, империалистическое правительство, — такое правительство, которое идет на поводу у небольшой группы людей и руководствуется узкими групповыми интересами. Разве не то же самое было в Англии времен Дизраэли, Пальмерстона и Солсбери? Какую позицию занимает Америка, видно хотя бы из того, что большинство американских капиталов за границей вложено в такие отрасли хозяйства, как нефть и нефтепродукты, полезные ископаемые, фрукты, мясо и сахар, а не в какие-либо другие отрасли, менее прибыльные для государства, например, в строительство или обрабатывающую промышленность, хотя и то и другое привлекает немало капиталовложений из других стран. Но для США важно захватить в свои руки основные ресурсы страны, ибо зачастую это дает им возможность полностью контролировать ее финансы. Разве этот факт не говорит с достаточной убедительностью об империалистическом характере политики США?

Для того чтобы получить в этом смысле ясное представление об Америке, полезно сопоставить ее с другими странами. В Европе есть свои финансовые короли, из которых с американскими могут сравниться разве только Кортланды (европейские Дюпоны) и Ротшильды (европейские Морганы). Вместе с другими заокеанскими финансистами эти люди, по примеру своих американских коллег, не раз толкали Европу на путь откровенно империалистических авантюр. Даже в Америке, достаточно огражденной от власти европейского капитала, наблюдается прилив иностранных инвестиций, хотя бы в таких отраслях, как нефтяная и шелковая промыш-

ленность; правда, решающего значения они здесь не имеют. В общем, можно сказать, что американский и европейский капитал вместе контролируют прибыли во всем мире. Англия не отстает от Америки по капиталовложениям в таких областях, как полезные ископаемые, железные дороги, мясо, фрукты и нефть. Германия, несмотря на потери, понесенные немецкими монополиями после мировой войны, занимает сейчас третье место по капиталовложениям в Аргентине, Чили и Бразилии. И в Берлине и в Лондоне равно всем заправляют тресты. Представители финансовой аристократии и здесь создают крайне запутанные и сложные объединения, которые с точки зрения американских антитрестовских законов надо было бы признать недопустимыми. Однако мне думается, что всем этим трестам далеко до переплетенных между собой держательских компаний Уолл-стрита.

Из всех иностранных компаний самая наглая, самая агрессивная, самая империалистическая по своим устремлениям — это, несомненно, «Ройял датч шелл». В противоположность тресту «Стандард ойл», который долгие годы довольствовался американским сырьем, объединенная англо-голландская компания «Ройял датч шелл» всегда вела разведку в других странах, стремясь прибрать к рукам их нефтяные месторождения и никого другого к этим месторождениям не подпускать. В Азии, Европе, Мексике, Южной Америке, на различных островах и, мало того, даже в Соединенных Штатах «Ройял датч шелл» опережала своих конкурентов, иногда выхватывая лакомый кусок из-под самого носа у «Стандард ойл». Одним словом, «Шелл» ухитрялась побивать «Стандард» на его же территории, и ныне все важнейшие стратегические позиции находятся в руках у мага и волшебника — Детердинга. Оба выхода из Суэцкого канала, острова Зеленого Мыса на полпути между Африкой и Америкой, одна станция у Панамского канала, другая у входа в Мексиканский залив! «Шелл» объединяет восемьдесят компаний, а ее нефтеналивной флот не имеет равного в мире. И тем не менее все это едва уравнивает влияние «Стандард ойл» на европейском рынке.

Но удовлетворяют ли успехи объединенной англо-голландской компании самих англичан, и можно ли счи-

тать этот союз устойчивым во всех отношениях? Ни в коем случае! Наперекор империалистическим устремлениям Англии, добывающейся мирового господства, «Ройял датч шелл» не только объединилась с французскими нефтяниками, но вывозит свои капиталы также и в другие страны. Заигрывая с американцами, она распространяет свои акции даже на уоллстритской бирже. Такое независимое поведение «Шелл», разумеется, не нравится англичанам: она ускользает из-под их контроля. И Англия, осторожный серый паук севера, создает для нужд своего военного флота особые нефтяные запасы с помощью «Англо-Персидской компании», находящейся под контролем правительства Великобритании. Англия не доверяет своих интересов ни «Шелл», ни какой-либо другой международной компании. А США это делают. При этом правительства, маскируя свои империалистические происки, обычно прячутся за спину трестов; лишь в немногих случаях — как это было по отношению к Турции, Польше, Румынии — они решались на неприкрытую политику захвата.

Но что же сказать о тех странах, которые попадают в кабальную зависимость к таким империалистическим державам, как США, или же к их международным трестам? Что тому виной — недомыслие или же продажность правительств, творящих волю корпораций? Ведь в этих странах, по-видимому, и до сих пор не понимают, что стоит лишь пустить такой трест на свою территорию, хотя бы заранее ограничив сферу его контроля, как он немедленно начнет хозяйничать во всей стране, постепенно приводя ее к полному подчинению. Так, в Боливии трест «Стандард ойл» не только распоряжается всей нефтью, он захватил в свои руки железнодорожное и трамвайное хозяйство, управление портами, электростанции, газовые заводы, телеграф, телефон и предприятия общественных услуг. Некоторые южноамериканские государства, которые, по неразумию своему, предоставили американским или английским фирмам преимущественное право концессий, очень скоро почувствовали всю прелесть господства монополий: их фактически вынудили закрыть доступ для капитала других стран. Но финансовые гиганты США и Англии продолжают получать в этих странах все новые и новые концессии при поддержке местных «государственных

деятелей» и «народных представителей», скрывающих под маской «патриотизма» самое гнусное вероломство. Так, недавно в Чили была организована монополия «Косач», которая охватила всю селитренную промышленность страны и поставила ее под контроль американских и европейских банков и их вкладчиков. И вот чилийское правительство, которое передало компании «Косач» 150 миллионов тонн селитры и освободило вышеуказанную компанию с капиталом в 750 миллионов долларов от экспортной пошлины в 12 долларов 32 цента с тонны, получает теперь всего-навсего 50 процентов общей прибыли; сверх этого ему в ближайшие три года будет выплачено лишь 21 миллион долларов наличными и 36 миллионов долларов обязательствами треста.

Возьмем теперь нашу компанию «Телефон энд телеграф интернейшнл», филиал крупнейшей американской монополии. Она получила в Чили концессию на пятьдесят лет по эксплуатации телефона и радио. Если к концу этого срока чилийское правительство не выкупит концессию у нынешних владельцев, все права так и останутся за ними. А если, что легко может случиться, американцы не пожелают продавать? Что тут может сделать правительство? Во всяком случае, диктовать условия будет, конечно, корпорация. А каковы будут эти условия, легко поймет всякий, кто является абонентом почтенной фирмы в Америке.

Разумеется, всякая сделка такого рода начинается с обмена любезностями. На то и дипломатия! На то и юристы! Когда 300 тысяч абонентов Аргентины, Чили и Уругвая были соединены телефоном с 20 миллионами абонентов Соединенных Штатов и Канады, американский президент Гувер и чилийский президент Ибаньес выразили друг другу по этому поводу самые трогательные чувства. Интересно, однако, как себя будут чувствовать жители этих малых стран, когда увидят лет через десять — двадцать, что платить за все им приходится по американским ценам, а жалованье получать обычное для Кубы или Аргентины, то есть нищенское, да еще постоянно слышать угрозы: вот, мол, сейчас американские войска высадятся на берег, чтобы защищать права своих соотечественников и их имущество? Не кажется ли вам, что чересчур наивным прави-

тельствам этих стран рано или поздно придется отвечать за свои ошибки? Ибо любезные корпорации, с которыми они сейчас так хорошо поладили, будут, разумеется, драть семь шкур с населения! В этом можно не сомневаться,— достаточно вспомнить, как поступают наши сверхмощные корпорации у себя на родине. Станут ли они менять свой нрав при переезде через границу? И ради кого? Подумаешь, какие-то комаринные государства! Туда же, имеют дерзость ссориться с американской корпорацией, тогда как американской корпорации стоит только приказать покорному ее вельням американскому правительству — и оно занесет свой тяжелый кулак над любой маленькой страной!

Но обратимся на минуту к Китаю. Что мы видим здесь? Американские корпорации не только захватывают в Китае монопольные права, но и заключают договоры, из которых вытекает целый ряд выгод и привилегий. Недавно нью-йоркская газета «Геральд трибюн» сообщала, что если в 1914 году в Китае было зарегистрировано 136 американских фирм, то в 1920 году число их достигло 400. А в 1924—1929 годы, в самую бурную пору американского «процветания» и американской экономической экспансии, число этих фирм еще возросло. Сейчас торговля с Китаем представляет для предприимчивого американца самую лакомую приманку¹. И если в 1914 году стоимость нашего экспорта в Китай выражалась в 24 миллионах долларов, то в 1924 году она уже достигла 124 миллионов долларов, то есть выросла более чем на 400 процентов.

Рассмотрим поближе некоторые из этих договоров. Зарегистрированная в штате Делавэр авиационная компания «Авиэйшн эксплорейшн», дочернее предприятие Кертиса, получила в Китае монополию на перевозку почты. Договор был заключен с Китайской национальной авиационной корпорацией, учрежденной нанкинским правительством, с капиталом в 10 миллионов серебряных долларов. По условиям соглашения, американская компания использует собственное оборудование и сама управляет линией. При этом китайцы гарантируют ей 3 тысячи летных миль в день и платят по 1,50 золотых доллара за милю полета легкой машины

¹ Речь идет о 1931 годе

грузоподъемностью меньше 800 фунтов, 3,75 доллара за милю при грузоподъемности самолета в 2000—2800 фунтов и по 4,50 доллара за милю при грузоподъемности в 2800—4000 фунтов. Таким образом, тысяча летних миль дает американской компании 4500 золотых долларов, а ведь это расстояние меньше, чем длина трассы Нью-Йорк — Чикаго. Интересно, кстати, сколько, собственно, стоит сам самолет? Перевозка почты, как видите, обходится китайскому правительству недешево! Но еще большее значение имеет то, что компании принадлежит монопольное право на открытие дополнительных авиалиний, то есть вечная монополия на перевозку почты. В настоящее время американская компания обслуживает четыре воздушных почтовых линии: Шанхай — Нанкин — Ханькоу, Нанкин — Цзинань, Тяньцзинь — Пекин, Ханькоу — Чанша — Кантон.

Другой договор, заключенный фирмой «Америкен радио корпорейшн» в ноябре 1928 года, предусматривал постройку Национальным советом по реконструкции Китая (орган китайского правительства) радиостанции в Шанхае — исключительно для нужд АРК. В том же ноябре 1928 года чикагская «Отомэтик электрик компани» получила концессию на устройство автоматической телефонной сети в Нанкине. Компания, выговорившая себе огромную сумму на производство работ, сохраняет, согласно договору, все права собственности на это предприятие до выкупа его китайским правительством. Интересно, что из этого получится!

А вот сделка, принесшая немало выгод фирме «Роберт Доллар и К^о». По договору, заключенному между нею и упомянутым выше Советом по реконструкции Китая, последний обязывался выстроить радиостанцию и бесплатно обслуживать морские суда радиосвязью с берегом. Американская фирма предоставила Совету ссуду в размере 95 процентов потребной суммы, но с условием возврата. В дальнейшем от компании требовалась лишь уплата аренды и жалованья служащим, а также известного процента по амортизации и погашению основного капитала и ежемесячные взносы в размере 6500 шанхайских долларов, совершенно обесцененных по сравнению с золотым паритетом, тогда как китайскому правительству обычно приходится платить американским фирмам твердой валютой.

А какие только международные осложнения не возникли в связи с капиталовложениями за границей! И еще могут возникнуть! В 1911 году компания «Бет-лекем стил» подписала с китайским правительством договор на постройку военной верфи и угольной станции и поставку судостроительных материалов. Но могла ли Япония допустить, чтобы Соединенные Штаты обзавелись на Востоке мощной базой? Конечно, нет! И договор, хотя и вошедший уже в силу, лопнул. Соединенные Штаты ничего по этому поводу не предприняли. Положение в самом деле получилось трудное: одно правительство со своими трестами — против другого правительства с его трестами! Правительство США решило, наконец, замять эту историю; велено было держать все в тайне. Но тут на сцену выступила другая империалистическая держава — Англия, тоже с предложением построить Китаю военный флот, — и это невзирая на то, что у Китая уже имелся контракт с американской компанией. Англия сумела как-то договориться с Японией — во всяком случае, особых разногласий не было, — так что все как будто благоприятствовало английскому проекту. Но тут, видимо, в Китае спохватились, что военный флот им, собственно, ни к чему и что скорее он может пригодиться тем самым империалистическим державам, которые о нем хлопчут. Во всяком случае, «спрос» со стороны Китая внезапно прекратился, и, таким образом, инцидент был исчерпан.

Но еще до этого Китай оказался ареной битвы между двумя гигантскими концернами — английским и американским, — битвы, которая заставила «Стандард ойл» впервые отдать должное своему заморскому конкуренту «Ройял датч шелл». Дело было так. «Стандард ойл», проникший в Китай задолго до «Ройял датч шелл», уже и раньше не раз прибегал к следующему методу борьбы со своими конкурентами на мировых рынках: он продавал свои нефтепродукты за границу по заниженным ценам, не покрывающим даже себестоимости, компенсируя себя за это грабительскими ценами на отечественном рынке, где эти цены поддерживались высокими таможенными тарифами, установленными (заметьте!) специально для того, чтобы защищать интересы нефтяной корпорации. Пользуясь этим преимуществом, «Стандард ойл» в течение многих месяцев после появле-

ния «Ройял датч шелл» на китайском рынке все больше и больше снижал цены, чем доставил сэру Генри Детердингу (который во время этой кампании на одном только керосине потерял около 4 миллионов долларов) немало неприятных минут. Однако противник не сдавался, и в конце концов «Стандард ойл», также несший огромные потери, вынужден был пойти на мировую: недавние противники согласились поровну поделить между собой китайский рынок.

Но не успели эти две фирмы помириться в Китае, как между ними разгорелась борьба в Мексике. Могушественный «Стандард ойл» и здесь обосновался первым, но затем подвергся нападению со стороны компании «Ройял датч шелл», которая на сей раз заручилась поддержкой нескольких независимых американских компаний, жаждавших свести счеты с Рокфеллером и его «Стандард ойл» и потому пользовавшихся финансовой поддержкой Моргана. Вот вам опять международный конфликт: американские тресты против английских трестов; мало того, американские деньги против американских же интересов. И, наконец, американский капитал, вовлеченный в фарватер английской политики, — против американского же капитала. Причем вся эта свара разыгралась на территории ни в чем не повинной Мексики.

Неудивительно, что лишенная нефтяных ресурсов Франция возмечтала сыграть на этой запутанной комбинации и, оказав поддержку одной из сторон, обеспечить себе после войны необходимый запас нефти. Когда же «Стандард ойл» (хотя, заметьте, это всего-навсего трест, а не государство!) отказался содействовать ей в этом, Франция договорилась с Англией о поставке ей нефти как для мирных, так и для военных целей. Но наш пострел везде поспел! Не успело соглашение состояться, как на сцену снова, словно из коробочки с пружинкой, выскочил американский посол во Франции мистер Хью Уоллес и потребовал от имени правительства США, чтобы Франция предоставила тресту «Стандард ойл» такие же преимущества и привилегии, какие она обещала английским компаниям.

Но не надо забывать и о более серьезных конфликтах и противоречиях. Я имею в виду то огромное расхождение в ценах, которое наблюдается между Америкой и любой из стран, ею эксплуатируемых. Было бы

наивно думать, что Америка может жить в состоянии относительной экономической устойчивости, тогда как во всем мире господствует депрессия и нужда. Труд и сырье за границей по сравнению с тем, что мы видим в Америке, до чрезвычайности дешевы. И это уже отразилось на американском судостроении. Вследствие сравнительной дороговизны рабочей силы и сырья постройка судов в Америке обходится примерно вдвое дороже, чем в Англии и других странах; поэтому американские экспортеры, вместо того чтобы строить свои суда, предпочитают фрахтовать для своих перевозок иностранные пароходы; таким образом, за границу уходят миллиарды долларов. Стараниями нашего Управления судоходства одно время в США приступили к строительству кораблей и построили некоторое количество их — впоследствии эти суда были проданы правительством по дешевке частным фирмам. Но все эти экономически и морально несостоятельные попытки облагодетельствовать наши тресты за счет американских налогоплательщиков так ни к чему и не привели: и по настоящее время только 30 процентов всех американских грузов перевозится на отечественных судах.

С другой стороны, разрыв между ценами приводит к установлению столь высоких таможенных тарифов, что иностранные государства лишены возможности выплачивать Америке долги товарами взамен денег. Недостаток же золота у большинства иностранных государств неблагоприятно отзывается на нашем экспорте. В результате вывоз избытка сельскохозяйственных продуктов из США падает, в то время как вывоз промышленных товаров растет. Американскому фермеру приходится туго. Но принимаются ли у нас какие-либо меры для оказания помощи этим людям, находящимся в бедственном положении, как это практикуется в аналогичных случаях в России? Нет, не принимаются. Наоборот, господа капиталисты хотят уверить нас, что разорение фермеров неизбежно. Это, конечно, вздор! Но некоторые иностранные государства, раздраженные нашими заградительными пошлинами, отвечают нам тем же, расстраивая этим империалистические планы и происки Америки и Англии. Борьба в этой области с каждым днем становится все более ожесточенной. Взять хотя бы Кубу. Американский Сахарный трест добился

такой пошлины на импортный сахар, которая равна себестоимости сахара на Кубе. Оберегая таким образом свои прибыли, трест ссылается на то, что эта мера необходима для защиты отечественного производства свекловичного сахара. На самом же деле получается, что американские граждане в общей сложности переплачивают за сахар такую сумму, которая с лихвой перекрывает все капиталовложения в нашу сахарную промышленность. А население Кубы терпит чудовищную нужду; в стране безработица и голод; неуверенность в завтрашнем дне толкает народ на восстание против своих угнетателей.

Вернемся теперь к вопросу о том, как наши гигантские тресты и держательские компании, нажив в Америке огромные капиталы (и, кстати, украв у труда его законную долю прибыли), вторгаются в чужие страны, захватывают здесь промышленность и естественные богатства, а потом требуют, чтобы американское правительство, не жалея сил и средств, защищало их интересы. Соблюдают ли они законы тех стран, куда являются непрошеными гостями? Помогают ли они населению приобщиться к завоеваниям культуры и вступить на путь прогресса? Если вы питаете на этот счет какие-то иллюзии, вспомните положение на Кубе, где на ролях «чрезвычайного и полномочного» посла Соединенных Штатов выступает один из Гугенхеймов (Гарри П.), доверенный советчик и покровитель Мачадо, ненавистного народу диктатора! (Передают, что на банкете в Санта-Кларе Мачадо сказал, указывая на американского посла: «Я представляю собой честное и справедливое правительство; вот со мной рядом сидит американский посол, он вам это подтвердит».) Вспомните Чили, где хозяйничанье Гугенхеймов в селитренной промышленности привело к народному восстанию и вынужденному бегству из страны диктатора Ибаньеса. Или республику Никарагуа, диктаторы которой то и дело призывают на помощь американские штыки и военные корабли. Или же Гаити, Венесуэлу, Сан-Доминго и даже отдаленный Китай, где для охраны имущества и интересов наших сограждан то и дело требуется принятие экстренных мер, вроде крейсирования у берегов этих стран американских военных судов с морской пехотой на борту...

Дело в том, что в Соединенных Штатах не только государственный департамент в целом, но и любой из чинов его многочисленных дипломатических миссий действует на основе «священного» принципа, который гласит, что главная обязанность и право Америки заключается в том, чтобы защищать имущество и особу каждого американца, проживающего за границей,— даже в тех случаях, по-видимому, когда требования американцев идут вразрез с местными законами. А посему, хотя новая мексиканская конституция и не предусматривает возмещения за имущество, конфискованное революционным народом, американский посол в Мексике, мистер Фолл, выступая от имени президента Гардинга, требовал такого возмещения во всех случаях, когда имущество принадлежало американским гражданам. Что же касается самих этих граждан, то они не только добиваются для себя привилегий вразрез с местными законами, но и вообще знать не желают этих законов. Что означает, например, пресловутый принцип «экстерриториальности»? Америка, так же как и другие империалистические государства, на основании несправедливых империалистических договоров завела свои собственные суды в Китае,— и эти суды ничуть не считаются с местными законами. Вспомните: когда китайское правительство, наивно поверив ширококвещательной декларации Лиги наций, призывавшей народы к миру, в 1919 году обратилось в Совет Лиги с просьбой о расторжении навязанного ему в 1915 году китайско-японского договора, японский представитель цинично возразил, что он не знает ни одного китайского договора последних лет, который не был бы навязан Китаю силой. И действительно, империализм рассматривает Китай как свою законную добычу. И когда Чжао Хенчу, китайский представитель в Лиге наций, выступил 11 сентября 1925 года с требованием отмены навязанных Китаю кабальных договоров, во исполнение пункта статута Лиги, гласящего: «...Рекомендовать пересмотр... всех договоров... сохранение которых представляет угрозу миру», голос его никем не был услышан. А на Вашингтонской конференции большая часть китайских претензий так и не обсуждалась.

Разрешите теперь показать вам, как американцы игнорируют или обходят законы других стран.

В своей интервенционистской политике США исходят из того неписаного положения, что на собственность, приобретаемую американцем в чужой стране, законы этой страны не распространяются. Соединенные Штаты не только нарушают суверенитет латиноамериканских стран, но в вопросах имущественных прав и отношений просто игнорируют существующие в этих странах законы. В Мексике, например, американские землевладельцы даже и сейчас не подчиняются местным аграрным законам. (Мы, видите ли, слишком сильны для того, чтобы позволить мексиканцам управлять своим государством по собственному усмотрению, — слишком сильны и слишком печемся о самих себе.) Другой руководящий принцип США, напоминающий нравы доброй старой Англии, состоит в том, чтобы заключать договоры с иностранными государствами не иначе, как держа их под прицелом своих орудий. Именно этим способом наши империалисты добились повсюду нефтяных концессий (да и не только нефтяных!) и подчинили своему влиянию целый ряд стран, ныне независимых только по названию, некоторые же страны, как, например, Филиппины, они привели к полному порабощению. Вспомним, как США соблазнили филиппинцев принять участие под предводительством Агинальдо в войне против Испании, обещая им за это независимость, и как затем, после окончания войны, США постарались утопить в крови это самое движение филиппинцев за независимость, возглавляемое Агинальдо. Можно ли назвать честной такую политику? Или возьмем еще случай: в 1898 году конгресс провозгласил «свободу и независимость» Кубы, но в 1919 году Соединенные Штаты разъяснили, что под словом «независимость» следует понимать не что иное, как американскую опеку, а свобода тоже отнюдь не означает полную свободу действий, нет, это всего лишь некий теоретический, формальный суверенитет, сводящийся к праву выступать в международных отношениях как отдельное юридическое лицо. Эта фикция не имеет ничего общего с подлинной свободой, которую давно уже отнял у Кубы американский капитал в лице своих трестов и банков. Если не верите, поезжайте на Кубу, и вы увидите, что там 95 процентов населения не желает мириться с финансируемым Америкой правительством Мачадо,

но избавиться от него не может. Для этого нужна была бы революция. И сейчас на Кубе действительно опять идет революционное брожение, но американский капитал, цепляясь за свои богатые концессии и прочие выгоды, среди которых не последнюю роль играет дешевый труд, всячески старается сломить сопротивление кубинского народа. Недаром ведь в 1900 году тогдашнее американское правительство заставило конвент Кубы принять пресловутую поправку к конституции, дающую США право в любую минуту ввести в страну войска для защиты «существующего порядка».

Итак, что будет с Мачадо — ставленником Гугенхеймов, Морганов и Хэвмейера с сыновьями? Удержится он у власти или нет? Не все ли равно! Допустим, что не удержится,— разве не постараются американские хозяева подыскать ему достойного преемника? Будьте покойны!..

А займы и кредиты, которые Америка предоставляет за немногими исключениями чуть ли не всем странам Европы, вроде, например, восьмимиллиардного займа Англии и Франции? Разве эти займы не являются средством оказывать политическое давление и разве США когда-нибудь гнушались этим средством?

В Европе это пока еще не переходит известных границ. И все же, когда у Румынии было поползновение национализировать свою нефть, это вызвало недовольство американских нефтяников, и США официально довели это недовольство до сведения непокорных румын, напомнив им, кстати, о том, что за ними числится должок.

Тут я, с вашего разрешения, перейду к нашим займам Китаю. Как вам, быть может, известно, начало ограблению Китая положила Англия в 1842 году. В это время англичане впервые наладили систематический ввоз контрабандного опиума из Индии, кстати сказать, против воли Китая. Когда же Китай попытался воспрепятствовать этой столь доходной для англичан торговле, Англия ответила войной. К этому времени обострились и другие разногласия между Англией и Китаем. В течение всего XVIII века камнем преткновения были китайские таможенные тарифы — Ост-Индская компания отказывалась платить столько, сколько требовал Китай. Кончилось тем, что англий-

ское правительство официально переслало в Кантон тарифные ставки, которые считало приемлемыми для своих коммерсантов. Китай в ответ удвоил эти тарифы. Англия, нимало не медля, открыла военные действия, и, потерпев поражение в этой так называемой Опиумной войне, Китай вынужден был пойти на уступки. Согласно Нанкинскому мирному договору, заключенному в 1842 году, Китай обязался взимать с ввозимых в страну товаров пошлину, не превышающую 5 процентов их стоимости, а для того чтобы условие это не нарушалось, Англия с тех пор постоянно держит Китай под контролем весьма значительных соединений армии и флота.

По договору от 8 ноября 1858 года тот же пятипроцентный тариф был распространен и на Шанхай. Договор, подписанный в 1900 году в Тяньцзине, освободив целый ряд товаров от обложения пошлинами, еще более расширил торговые привилегии англичан: все товары, ввозимые иностранцами для личного потребления, были полностью освобождены от пошлин — кабальное условие, от которого почти сто лет терпело ущерб все население Китая! Нечего и говорить, как губительно это вымогательство, подкрепленное вооруженной силой, отозвалось на китайской экономике и какие баснословные доходы оно принесло иностранным купцам.

После японо-китайской войны финансовое положение страны граничило с банкротством. В 1896—1898 годах Китаю был предоставлен франко-русский заем, а также два англо-германских займа в размере 54 миллионов 455 тысяч фунтов стерлингов. Эти займы обеспечивались доходами от таможенных сборов, причем китайские морские таможни должны были перейти в ведение Международного управления морских таможен. Словом, пользуясь растущим ослаблением Китая, иностранные державы уже распоряжались в нем как дома. Но мы еще увидим, какие последствия все это имело для китайского народа.

«Деятельность» европейских держав в Китае выражалась также и в территориальных захватах. Выиграв Опиумную войну, Англия потребовала себе остров Гонконг, и получила его. С 1841 года и по сей день Гонконг остается английским владением. В 1860 году Англия дополнительно получила городок Коулун, располо-

женный на материке против Гонконга, и, наконец, по договору об аренде от 1898 года — и весь полуостров Коулун, который должен был впредь именоваться «Гонконгской колонией ее величества». Франция еще до этого получила в Китае ряд концессий. Обеспокоенная успехами Франции, Англия в 1866 году добилась от Китая уступки Бирмы «в полное и бесконтрольное владение». В 1890 году она тем же порядком присоединила к своим владениям Сикким. В 1898 году, когда царское правительство, желавшее урвать свою долю добычи, получило в аренду Порт-Артур, Англия не замедлила компенсировать себя «арендой» порта Вайхэйвэй, а позднее присоединила к нему и весь полуостров Шаньдун, хотя на 150 тысяч проживающих здесь китайцев приходится всего 200 иностранцев. Ясно, что порт Вайхэйвэй понадобился англичанам не для защиты белого населения, привлеченного торговыми интересами в Шаньдун. Англия и не скрывала своих намерений построить в этом важном стратегическом районе площадью в 1650 кв. миль военные укрепления. В результате Шаньдун превратился в колонию, подвластную английской короне. Доходными статьями бюджета здесь являются поземельный и дорожный налоги, налог на вино, а также монополия на торговлю опиумом (обычное явление на Востоке).

Раздел Китая между империалистическими державами, иностранные займы, отдававшие народ в кабалу шайке иностранных захватчиков, — все это вызвало в стране в 1900 году мощное повстанческое движение, получившее название Боксерского восстания. Но Китай опять потерпел поражение, и на этот раз решено было его проучить. Конtribusiя, наложенная на Китай за то, что он хотел быть свободным, составляла 67 миллионов 500 тысяч фунтов стерлингов, то есть максимум того, что он мог выдержать; 7 миллионов 425 тысяч фунтов стерлингов из этих денег получила Англия.

На сей раз активность проявили и Соединенные Штаты; для усиления своего влияния на Китай они выставили требование, чтобы китайское правительство посылало за свой счет учащуюся молодежь Китая в американские университеты. В общем, так называемый Боксерский протокол налагал на Китай такую тяжелую контрбудию, что выплатить ее обнищавшая страна

была не в силах; чтобы добыть эти деньги, пришлось таможенные сборы на все товары (Англия была от этих сборов освобождена!) поднять до 5 процентов стоимости товара, причем собирали их все те же английские таможенные чиновники. В период, последовавший за Боксерским восстанием, политику Форейн оффис в отношении Китая всецело определяли интересы крупных английских концессионеров и английского акционерного общества «Чайна ассошиейшн». Эта политика выкачивания из Китая всех средств не только разоряла народ, она и китайское правительство довела почти что до банкротства. Годовой дефицит казны к 1911 году, накануне революции, выражался в сумме от 20 тысяч до 70 тысяч таэлей.

После революции 1911 года президентом новой Китайской республики стал Юань Ши-кай. Придя к власти, он начал переговоры с группой американских, английских, французских и немецких банкиров о предоставлении Китаю займа. Однако условия, поставленные четверным консорциумом, были так тяжелы, что Юань Ши-кай предпочел обратиться к бельгийским банкам, предлагавшим более выгодные условия. Но не тут-то было. Четыре державы, время от времени снабжавшие Китай известными суммами по ранее заключенным мелким займам, объявили ему финансовый бойкот, прекратив всякие выдачи денег; и пришлось Юань Ши-каю отказаться от переговоров с бельгийскими банками. Правительство США в то время, как и сейчас, усердно поддерживало Уолл-стрит в его спекуляциях в Китае.

Однако вернемся к вопросу о займе. К четверному консорциуму в дальнейшем примкнули Россия и Япония, и Китаю был обещан очень крупный заем. Обеспечением на этот раз должен был служить налог на соль, причем сбор этого налога опять-таки брали на себя иностранные державы. На это Китай не согласился и отказался от займа. Тогда иностранные державы опять объявили финансовый бойкот Китаю. Страна оказалась в безвыходном положении. В этом торге иностранных шейлоков с Китаем участвовали наравне с другими и американские банкиры. Однако вскоре сведения об участии американских банков в этой неблагоприятной операции стали достоянием гласности в США, и действия банкиров подверглись резкому осуждению. Во избежа-

ние скандала правительству Вильсона пришлось удерживать Уолл-стрит от этой сделки, которая в конце концов все же состоялась, но при участии только пяти партнеров. (Такое положение сохранялось до мировой войны; после войны в консорциуме приняли участие и американские банкиры.) Соляной налог взимался китайскими и иностранными чиновниками совместно; в случае же затруднений в дело вмешивалось Международное управление морских таможен. Население волновалось. Для успокоения умов правительство обратилось к населению с увещаниями: оно уверяло, что иностранный заем спасет Китай от национальной катастрофы, что, если он не состоится, правительство не сможет уплатить по ранее полученным займам, а невзнос долгов приведет к тому, что сбором налогов с населения займутся иностранные агенты. (Без иностранных агентов, как видите, нигде нельзя было обойтись.) Словом, Китай после мировой войны буквально погибал, и Америка, со своей стороны, всячески этому способствовала.

Для того чтобы показать, в каких тисках иностранный капитал держал Китай, приведу следующие данные от 1913 года:

Задолженность китайского правительства (сюда входит задолженность и контрибуция по Боксерскому протоколу, просроченные долговые обязательства, оплата казначейских обязательств, проценты по займам и оплата обязательств, которым вышел срок)	4 317 778 фунтов
Обязательства, по которым надвигаются	
сроки платежа	3 592 263 »
Провинциальные займы	2 870 000 »
Расформирование армии	3 000 000 »
Расходы по управлению	5 500 000 »
Реорганизация соляного налога	2 000 000 »

В 1920 году американское правительство энергично выступило за создание консорциума с целью предоставления Китаю займа, что и было приведено в исполнение впервые при участии Америки. Уолл-стрит не желал больше довольствоваться ролью стороннего наблюдателя. Формально консорциум считался международным начинанием, но главенствующее положение в нем занимало четверо участников: Соединенные Штаты, Япония, Англия и Франция. По условиям займа Китаю запрещалось пользоваться какими-либо другими кредитами, и он вынужден был платить высокие проценты.

Иностранные займы настолько истощали доходы страны, выжимая из нее все соки, что, когда китайское правительство в 1928 году выпустило внутренний заем на 175 миллионов долларов (семью выпусками, с мая по октябрь), оно могло обеспечить его только доходами с таможенных сборов и налогов на табак, почтовые марки, керосин (широко потребляемый в Китае для осветительных целей) и бензин — поистине последняя крайность, которая свидетельствует о явном неблагополучии в стране.

Сейчас, в 1931 году, Китай почти окончательно обанкротился. В 1925 году его годовой доход составлял всего 345 миллионов долларов. Как трудно приходится стране, видно из того, что за период с июня по ноябрь 1928 года 45 процентов ее денежных фондов слагалось из внешних и внутренних займов, обеспеченных сборами с таких жизненно необходимых статей народного потребления, как соль, мука, пшеница и керосин. И только 55 процентов представляли собой налоговые поступления. Международные банкиры (в том числе и наши, американские) безжалостно отбирают у китайского народа буквально каждый грош. Таким-то образом начиная с 1920 года США участвуют в ограблении китайского народа и в дележе добычи.

США предоставляли кредиты еще и другим странам, и всегда это было связано с принуждением. Особенно ревниво следили они (и сейчас следят) за Центральной Америкой и Вест-Индией, не позволяя им получать займы в какой-либо другой стране. Или занимай у нас, или мы не дадим тебе нигде занять! Так же ревниво следят Соединенные Штаты за малейшей попыткой чужого иностранного капитала обосноваться в этой запретной зоне. На каждую концессию, отданную не американцам, США немедленно накладывают вето. А если этот запрет как-нибудь ухитрятся обойти, США тотчас же предъявляют ультиматум, подкрепленный американскими штыками и пулеметами. В июле 1924 года США диктовали свою волю в финансовых вопросах — ни много ни мало — одиннадцати латиноамериканским странам! Но чего только не натерпелись народы этих стран! Как они протестовали против американских интервенций! За последние годы США тридцать раз посылали войска и корабли к берегам этих «суве-

ренных» государств, чтобы навязать им свою волю. Это ли не империализм! Над Кубой, Панамой, Гаити и Никарагуа США фактически установили протекторат. А сколько лет они поддерживали в Никарагуа правительство, ненавистное 80 процентам населения! Двадцать два года Соединенные Штаты блокировали порты Никарагуа. К чему же привела эта политика? Население Никарагуа поражает своей отсталостью и забитостью. В Гавайе после «замирения», стоившего жизни трем тысячам местных жителей, США взяли в свои руки таможни и переделали по своему вкусу конституцию этой страны. Подобная же судьба постигла и Колумбию. Воспользовавшись спровоцированным здесь восстанием, США установили над ней свой протекторат.

Для того чтобы показать, какую неустойчивость вносят в жизнь этих стран происки американских корпораций, достаточно отметить, что за один год, с февраля 1930 по март 1931 года, в семи из двадцати латиноамериканских республик произошла смена власти. В Аргентине, Бразилии и Перу новые правительства не получили санкции народных выборов; выборы в Доминиканской республике были признаны судом фальсифицированными. А ныне «его величество» Гувер объезжает свои королевские владения (Пуэрто-Рико), чтобы утвердить верноподданнические чувства в сердцах своих вассалов. Гувер не упускает случая им напомнить, что, «став под американское знамя, они получают свободу, независимость, самоуправление и все права личности», — а именно, право выбиваться из сил на работе для какой-нибудь американской корпорации и получать за это плату, на которую нельзя прожить. Государственный же секретарь Стимсон проводит в отношении латиноамериканских стран следующую тактику: он поддерживает их правителей даже в том случае, когда народ лишает их своего доверия. Допустим, что такого правителя свергли, — США его все равно признают: им не важно, получил он народное одобрение или нет; достаточно, если народ открыто не протестует, хотя это означает только, что у народа не было возможности высказать свое мнение — голосовать не дали, а восстать не удалось. А между тем признание США обеспечивает свергнутому правителю иностранные займы и средства для борьбы за власть. С тех пор как США избрали

эту тактику, перевороты стали так часты, как никогда раньше. Разве все это вместе не является достаточно ясным ответом на вопрос: «Агрессивна ли Америка?»»

Мало того: в протоколах конгресса записано черным по белому, что финансовые короли Уолл-стрита имеют право возражать против любых разоблачений из области американской иностранной политики. Приняв такое постановление, американское правительство само распялось в том, что оно есть не что иное, как мальчик на побегушках у американских корпораций, что оно служит интересам ничтожного меньшинства, горсточки привилегированных. Ибо у нас в Америке одни лишь тресты имеют привилегию не только желать, но и добиваться желаемого. Так, например, когда мексиканское правительство Диаса, стремясь сломить монополию «Стандард ойл», предоставило концессию англичанину Пирсону, в стране немедленно «восстал народ». (Несколько странная причина для народного восстания, не правда ли?) И, разумеется, Соединенные Штаты оказались на стороне инсургента Мадеро, который, в свою очередь, оказался на стороне интересов «Стандард ойл». (Согласитесь, что это необычная позиция для США, особенно если вспомнить, как наше правительство ныне ополчилось на революционное движение Кубы!) Как раз в это время некий мексиканский министр сообщил сенату США, что между «Стандард ойл» и Мадеро (о роли правительства США он, как видите, деликатно умолчал) было заключено соглашение, по которому Мадеро обязывался, если его сделают президентом, отнять все концессии у Пирсона и передать их «Стандард ойл». Кроме того, по свидетельству бывшего американского посла в Мексике, государственный департамент в Вашингтоне располагал данными, подтверждавшими, что восстание Мадеро было организовано на средства «Стандард ойл». Несколько позже в события вмешалась еще какая-то группа предприимчивых американцев, жаждавших урвать что-нибудь и для себя; они финансировали еще пяток мексиканских инсургентов — разумеется, с исключительной целью восстановить в стране мир³ и порядок. С другой стороны, «Стандард ойл», увлеченный борьбой с Пирсоном и с происками английского правительства, сделал новый ход: он предложил

мексиканскому правительству заем на миллиард долларов, обещая сразу же положить конец беспорядкам при условии, что ему, тресту «Стандард ойл», будут предоставлены новые нефтяные концессии. Кто-кто, а мексиканские бандиты на всем этом недурно заработали. Пирсона, однако, из Мексики выжить не удалось (за ним, видно, стоял кто-то с не менее тугим, чем у «Стандард ойл», кошельком), и в конце концов основанную им компанию «Мексикен игл» купил у него ближайший конкурент американской фирмы — «Ройял датч шелл». Произошел этот конфликт потому, что в Мексике столкнулись интересы нескольких соперничающих государств: они, понятно, не могли допустить, чтобы какая-нибудь одна страна или одна фирма заняла на мировом рынке господствующее положение. Английское правительство так горячо вступилось за «Ройял датч шелл», что это дало почву для предположений, будто само правительство негласно контролирует англо-голландскую нефтяную компанию. Эти предположения, вероятно, не совсем лишены оснований, хотя запасы нефти для своего военного флота Англия черпает из ресурсов Персидской нефтяной компании.

Нетрудно заметить, что во всех этих аферах правительство США играет роль пешки. Не само оно, конечно, затевает все эти интриги и провокации. Это делают корпорации и тресты. Но в критическую минуту они пускают в ход правительство США в качестве тяжелой артиллерии — на предмет морального устрашения противника и физической с ним расправы. Ну, а как же американский народ, интересы которого это правительство будто бы представляет и о котором (и только о нем!) оно призвано заботиться, — он-то во всем этом хоть сколько-нибудь заинтересован? Вы сами понимаете, что нисколько! Вот интересы «Стандард ойл» наше дорогое правительство действительно принимало близко к сердцу и старалось всячески его поддерживать в этом мексиканском конфликте. Оно даже решилось оспаривать один из пунктов мексиканской конституции, запрещающий иностранцам владеть в Мексике минеральными богатствами, утверждая, что этот пункт не может распространяться на американцев. Какая-то часть американцев во всем этом, конечно, заинтересована, но ведь этих людей можно перечесть по пальцам! Это

в первую очередь руководители нескольких сотен наших торговых палат, рассеянных по всем штатам,— люди, которые кричат о добрых побуждениях американских бизнесменов; это акционеры 40 филиалов «Стандард ойл» и владельцы американских вложений в Мексике, то есть 70 процентов инвестированного там капитала. Эти-то господа и принялись по прошествии времени с жаром разоблачать (на этот раз по крайней мере) тайну мексиканских событий, а наш государственный департамент, которому при этом тоже крепко досталось, попытался замять весь этот инцидент и скрыть связанные с ним материалы не только от американской, но и от европейской прессы; нечего и говорить, что считался он при этом опять-таки не с интересами широкой публики — отнюдь нет! — а только с интересами империализма, с интересами акционеров и вкладчиков.

После всего вышесказанного, мне кажется, мы уже можем ответить на вопрос: «Агрессивна ли Америка?» — и ответить утвердительно. Не будем повторять вздорных басен о том, будто все великие державы боятся Соединенных Штатов. Не следует придавать значения тому, что недавно человек, занимающий весьма видный пост, член верховного суда Германии, заявил, что его пугает американская империалистическая экспансия. Все мы знаем, что войны обычно начинаются именно с таких конфликтов, какие здесь описаны. Ясно также, что только такие империалистические страны, как Англия, Соединенные Штаты да еще, пожалуй, Япония, способны взять на себя инициативу в развязывании войны. Что их толкает на это? Всегда одно и то же: нестерпимое чванство, стремление главенствовать во что бы то ни стало, быть царями лягушачьего болота. Но история последних четырехсот лет показывает, что народы не раз объединялись против держав, проявлявших подобные стремления,— против Испании, Франции, Германии, Англии. Возможно, народы так же объединятся и против Соединенных Штатов или против группы государств, возглавляемых Соединенными Штатами. Очагов войны сейчас стало даже больше, чем прежде. В Центральной Америке, Китае, да и повсюду в мире возникли коммунистические партии, и сопротивление, которое они оказывают захватническим стремлениям наших корпораций, не может не беспокоить аме-

риканских капиталистов, так как оно является серьезнейшей угрозой для их заграничных миллиардов. Разве это не недостаточная причина для войны?

Не забывайте также, что наши американские тресты встречают все больше препятствий в своих попытках присоединиться к эксплуатации нефтяных месторождений в таких странах, как Палестина, Месопотамия, Бирма, Индия, Персия и некоторые владения Великобритании. Система преференций, существующая в ряде стран, не может не раздражать наших финансовых королей, протягивающих руку к богатствам всего мира. Долго ли они будут мириться с тем, что предпочтение оказывается не им, тем более что к их услугам имеется такой многочисленный и такой послушный народ, как американцы, всегда готовый выполнять их приказания! Вдумайтесь в значение такого, например, факта, как присутствие наших войск в данный момент в Китае или интервенция в России в 1919, 1920 и 1921 годах, о которой наш народ даже не поставили своевременно в известность (не говоря уже о том, чтобы испросить его согласия), хотя делалось все это на народные деньги, деньги американского налогоплательщика!

Однако где же та Марна, на которой разыграются кровопролитные сражения ближайшей войны? Кто на сей раз ее начнет? Где воздвигнет себе трон будущий владыка мира и какой характер будет носить его власть? Войны всегда были той почвой, на которой рос и укреплялся капитализм и империализм; война сулит крупному бизнесу неограниченные возможности для наживы. Самых вялых и инертных захлестывает спекулятивная горячка, прибыли растут! И уж если Америка решила воевать, то, конечно, самое выгодное для нее — это напасть первой и, согласно немецкой военной теории, расправиться с врагом прежде, чем он успеет расправиться с ней. Но вот вопрос: если не считать представителей «большого бизнеса», всюду преследующего свои захватнические цели и всегда готового попирать народные массы ради возвышения кучки привилегированных, то много ли найдется людей, которые хотели бы войны, и много ли у нас настоящих врагов? Думаю, что ни тех, ни других нет вовсе. Их сейчас, как и всегда, приходится искусственно создавать, — и для этого есть средства: политика насилий и самоуправства за

рубежом и военная пропаганда у себя дома. Это теперь уже должно быть ясно всякому школьнику.

Но вот что еще важнее: ведется ли уже сейчас подготовка к новой мировой войне? А если ведется, то что об этом известно американскому народу? Ибо я ни за что не поверю, что народ Соединенных Штатов хочет войны. Народ, как мне думается, не отравлен ядом империализма и, если никто не посягнет на его права и свободу, готов жить в дружбе со всеми. Зачем же он позволяет нашим корпорациям вечно соваться в чужие дела, почему не укротит их стремления господствовать во всем мире? Пора обуздать их и призвать к порядку. Ведь как бы они ни заносились, все они в руке народа и существуют лишь его милостью и соизволением. Пора показать им, кто их настоящий хозяин. Это — американский народ! А если они не хотят честно трудиться на общее благо, пусть убираются вон! Народу не нужны правители, которые могут в любую минуту втравить американскую нацию в войну, несущую гибель и разорение. И пусть бразды правления примут те, кто понимает, что организованное общество не может существовать, если все его члены не будут трудиться и если оно само не будет в свою очередь всех кормить и обо всех заботиться.

А пока суд да дело, финансовые заправилы Америки стараются во всем уподобиться своим коллегам, английским империалистам довоенного времени (впрочем, те, кажется, и после войны не изменились): они рвутся к завоеваниям, а стало быть — к войне. Но в Англии правительство может объявлять войну, не спрашиваясь у народа. Вот к этому и стремятся наши американские финансисты — им тоже хочется править. Они хотели бы сами выбирать за нас наших президентов и губернаторов, наших законодателей, судей и т. д. Собственно говоря, они уже этого добились. И не только этого: при помощи своих миллионов они пытаются уже повелевать всем миром. Но разве для нас так уж соблазнителен пример Англии, Японии и царской России? Хотя Англия и стала мощной державой благодаря тому, что ее банкиры занимались ограблением так называемых «отсталых народов», я все же не считаю ее образцом для подражания. Эта система устарела. Сейчас она уже не годится. Разве не видим мы, что миллионы англичан,

граждан могущественной империи, прозябают в нищете, в то время как члены королевской семьи и титулованные аристократы забрали себе все народное достояние. А сколько в них чванства, какое чувство превосходства! Всем этим сверхчеловекам дела нет до простых людей. Они даже говорят с ними на разных языках. Первой своей обязанностью они почитают заботу о том, чтобы всяк оставался на положенном ему месте, — простой люд внизу, а они сами наверху. Но согласятся ли с этой точкой зрения народные массы, которые с каждым днем все больше прозревают? Навряд ли! За примерами недалеко ходить. Вспомните Испанию, Кубу, Мексику, Россию. Разве сейчас не ощущается повсюду перемена — и перемена к лучшему, а не к худшему? Для меня это несомненно.

Как бы то ни было, существует, на мой взгляд, два способа покончить с американским империализмом. Первый связан с проблемой войны. Война всегда ведется ради какой-то цели. И, конечно, всегда господствующее меньшинство решает, ради чего будет вестись война. Но при нынешнем положении вещей американский народ, участвуя в войне, просто-напросто выполняет волю своих хозяев, и сам он как нельзя лучше отдает себе в этом отчет. С другой стороны, он еще склонен тешить себя иллюзиями, будто Америка свободная страна и будто американский избиратель, голосуя, в самом деле изъявляет свою волю. Но разве решение вопроса — быть или не быть войне, не является высшим волеизъявлением нации? Так кто же должен решать: ничтожное меньшинство (то есть корпорации, охотящиеся за военными прибылями) или же весь народ? Вот вопрос, который ныне заставляет задуматься даже и тех, кто не отличается широким политическим кругозором. Но ведь стоит народу постановить, что большинство, а не меньшинство должно решать в этом деле, и корыстные вождедения его правителей должны будут отойти на второй план. Личная выгода, борьба за власть, интересы класса — все такие соображения должны будут отступить, дав место более серьезным мотивам, а иначе нашим правителям придется расписаться в своей несостоятельности.

Когда я размышляю в этой связи о судьбах Америки, мне хочется сказать американцам: «Вы утвержда-

ете, что живете в демократической стране. Но заметили ли вы, что ни один вопрос нашей иностранной политики никогда еще не ставился на ваше голосование? Поэтому я предлагаю поправку к конституции; пусть в этой поправке будет сказано, что вопрос о войне может решаться только всенародным голосованием, причем решение должно быть принято двумя третями голосов!»

Но есть и другой способ, куда более надежный, ибо он позволит покончить со всеми мерзостями американского империализма, о которых я здесь рассказывал, а не только с одной его стороной. Этот способ состоит в коренном изменении всей нашей экономической системы,— изменении, которое приведет к более справедливому распределению богатства. Но для того чтобы это произошло, подавляющее большинство нации,— а не ничтожное ее меньшинство,— должно объявить войну прежним порядкам. Затем опять-таки большинство, а не меньшинство, должно установить новую систему справедливого распределения доходов — пропорционально затраченному труду,— что сейчас было бы невозможно, поскольку распределение доходов в настоящее время целиком находится в руках меньшинства. Когда же и это будет достигнуто, большинство создаст свободное от всякого империализма государство, в котором будет жить великий и счастливый народ, обладающий необходимыми экономическими предпосылками для того, чтобы каждый из его сынов мог беспрепятственно развивать свои дарования и отдаваться тому делу, которое его интересует. Вот был бы поистине прекрасный и вдохновляющий пример! Не эта ли греза носилась перед мысленным взором наших демократически настроенных отцов-основателей, когда они представляли себе будущее тринадцати американских колоний!

В подкрепление сказанного я хотел бы процитировать здесь заявление полковника Генри У. Эндерсона из штата Виргиния, члена республиканской партии, видного юрисконсульта американских корпораций, человека консервативных настроений и взглядов. Назначенный членом комиссии Уикершема, которая была создана президентом для изучения вопроса о «правонарушениях и борьбе с ними», полковник Эндерсон в результате проведенной работы пришел к следующему заключению:

«Наряду с многочисленными достижениями, которыми вправе гордиться американская цивилизация, нам пришлось познакомиться и с такими фактами, которые не делают ей чести и мимо которых не может и не должен пройти ни один исследователь наших нравов и общественных отношений.

«Американский народ получил в свое владение поистине благодатный, плодородный край, с обильными, нетронутыми человеком ресурсами. И что же? Прошло всего лишь сто пятьдесят лет независимого существования американского народа. Однако за это время новые хозяева страны почти полностью уничтожили прежних ее обитателей, а остальных, не считаясь с законными их правами, согнали с насиженных мест.

«Огромные территории, бывшие когда-то общественным достоянием, они поделили на частные владения. Несметные богатства страны они подвергли такому беспощадному разграблению, что сейчас уже приходится говорить о значительном истощении ее естественных ресурсов. Противоречия между богатством и бедностью они довели до такой остроты, какой еще не знал мир.

«В городах они создали унижительные для человеческого достоинства трущобы, сельское население обрекли на темноту и невежество и этим создали такие очаги заразы и преступления, которые представляют постоянную угрозу здоровью и безопасности общества. Подчинив себе немало сил природы и заставив их служить человеку, они вместе с тем организовали и развили промышленную систему, которая обрекает человека на роль винтика в бездушной машине, ибо ему неведомы ни радость творческого труда, ни удовлетворенное сознание своей общественной и экономической полноценности.

«Они создали неисчислимое множество законов и сложнейшую правительственную машину для контроля и надзора за поведением как всего общества, так и отдельного человека. Но чем больше они трудились, тем шире распространялось вокруг них беззаконие и преступление. Каждому поколению американцев приходилось участвовать по крайней мере в одной войне.

«Ни один добросовестный исследователь не может пройти мимо этих фактов и не сделать тех выводов, которые ими неизбежно подсказываются».

**Статьи
и
выступления**



БЕЙ, БАРАБАН!¹

Из записок покойного Джона Парадизо

Мне уже стукнуло сорок; немалый кусок жизни остался у меня за плечами. Сейчас, впав в нужду, я живу на другом берегу реки, в Нью-Джерси, напротив нижней части Манхэттена, где величественная громада Вулвортского небоскреба дерзко вонзает свой серый шпиль в самую гриву облаков. И хотя мое жилище значительно ближе к этому зданию, чем, скажем, Пятая авеню, однако я — обитатель самой нищей, самой глухой окраины города Нью-Йорка. Мои соседи — преимущественно поляки и венгры; и они говорят на странном жаргоне, которого я не понимаю, а их образ жизни мне, при всей моей бедности, кажется унижительным. У меня, в моей однокомнатной квартирке, из окна которой открывается вид на дровяной склад и на реку за ним, все-таки можно заметить кое-какие попытки человека, живущего духовными интересами, украсить свое жилище, а за стенами дома я не вижу ничего, кроме тяжелого, однообразного, изнурительного труда.

Неподалеку от нашего дома находится церковь — большое желтое здание, возвышающееся над дешевыми дощатыми домишками, разбросанными вдоль грязных немощеных улиц, которыми славятся Нью-Джерси и Хобокен. В этой церкви я, при желании, могу послушать мессу в великолепном исполнении, поглядеть на сверкающие алтари, на многоцветные витражи, на молящихся, что пришли к исповеди и, верные благочестиво-

¹ Этим очерком открывается одноименный сборник публицистики Драйзера, вышедший в 1920 году. Из этого же сборника взята и статья «О некоторых чертах нашего национального характера».

му сбегу, ставят свечи перед изображениями святых. А если я отправлюсь туда в воскресенье, чего, признаться, я почти никогда не делаю, то непременно услышу, что есть Христос, который отдал за нас жизнь и был сыном бога-отца, вечно живого и правящего миром ныне и присно и во веки веков.

Я не возражаю против этой доктрины. Ее проповедуют в сотнях тысяч церквей во всех уголках земного шара. Но я принадлежу к разряду тех чудаков, которые не способны прийти ни к какому решению. Я читаю, читаю — почти все, что мне удастся достать: книги по истории, философии, политике, искусству. Но я вижу, что один историк противоречит другому, одна философия опровергает другую. Авторы статей занимаются преимущественно тем, что отмечают недостатки и нелепости во всем, что у нас пишут или говорят; романисты, драматурги и авторы мемуаров преподносят нам либо бесчисленные описания разнообразных бедствий, либо весьма нелепые иллюзии относительно жизни, любви, долга, удачи и т. п. А я сижу у себя в комнате и — если у меня есть время — читаю, читаю и дивлюсь.

Ибо, друзья, по профессии я писатель или, по крайней мере, стараюсь им быть. Меж тем, пока я ищу ответа на вопрос, что же такое жизнь, я вожу трамвай за три доллара двадцать центов в день. Довелось мне быть и возчиком, и подручным в лавке у старьевщика, — за что только я не брался, чтобы не умереть с голоду. Красавцем меня не назовешь, и потому, должно быть, женщины не ищут моего общества, — так во всяком случае мне кажется. Короче говоря, я порядком одинок. Признаться вам, я изрядно трушу, когда мне приходится иметь дело с представительницами прекрасного пола. Слегка нахмуренные брови или чуть заметное пренебрежение, и я уже оробел, я уже вернулся к созданным моей мечтой бесчисленным прекрасным женщинам: они улыбаются мне, кивают, виснут на моей руке и шепчут о любви. Но шепот их навевает мне грезы столь восхитительные, столь блаженные, что я, увы, понимаю всю их несбыточность. Итак, в лучшие минуты моей жизни я сижу за столом и пытаюсь писать рассказы, которые, по мнению редакторов, — без сомнения столь же нищих, как я сам, — никому не нужны.

Я скажу вам, что заставляет меня думать, думать и думать: это, во-первых, мое социальное и материальное положение и, во-вторых, разница между моим взглядом на вещи и убеждениями тысяч других уважаемых граждан, которые сумели все для себя решить и которые, по-видимому, находят меня странным, замкнутым, мрачным субъектом, не разделяющим их удовольствий и интересов. Я смотрю на этих людей и думаю: «Ну что ж, слава богу, я, кажется, на них не похож!» — и тут же спрашиваю себя: «А может быть, я не прав? Может быть, я был бы куда счастливее, если бы стал таким, как Джон Спитовеский, или Джейкоб Фейхенфельд, или Вацлав Мелка — мои ближайшие соседи?» Спитовеский (если уж вы позволите мне коснуться личностей) — владелец табачной лавочки за углом, маленький, грязный, замызганный человек, который, боюсь, немедленно обратится в бегство, если вы предложите ему помыться. Он вечно курит свои излюбленные сигары по три цента пяток («Флор де Сиссел Грас»), роняя пепел главным образом в пространство между жилетом и серой в полоску рубашкой. Пучки жестких волос, торчащие у него за ушами, как бы посыпаны золотистым нюхательным табаком.

— Мистер Спитовеский, — обратился я к нему на днях. — Читали вы о беспорядках на рудниках в Колорадо?

— Я не читаю газет, — отвечал он, пожав плечами.

— Как? Совсем не читаете? — не успокаивался я.

— Да что в них — вранье одно. Летом иногда просматриваю отчеты о бейсболе.

— Так, так, — сказал я со вздохом. Потом, сам не знаю почему, может быть, потому, что меня все-таки интересуют мои соседи, спросил: — Вы католик?

— Я не принадлежу ни к какой церкви. И в политику тоже не лезу. Есть у нас такие — страсть любят драть глотку насчет политики, а у меня на это времени нет. У меня лавка.

Однако, наблюдая изо дня в день, как он стоит в дверях своей лавочки, прислонившись к косяку, или сидит перед домом на скамейке, покуривая сигару, в то время как его угрюмая тщедушная жена чистит картофель, шьет или нянчит ребятишек, я никак не могу понять, почему у него «нет времени».

Джейкоб Фейхенфельд и Вацлав Мелка в некотором смысле мои друзья, и я порой завидую им,— тому, что они так на меня не похожи. Первый — мясник, к которому я бегаю за отбивными котлетами и пороссячими ножками для моей квартирной хозяйки, миссис Вскринкуус; второй — содержатель питейного заведения, на окнах которого написано: «Вины, вотка». Джейкоб, как всякий порядочный мясник,— здоровенный, широкоплечий детина. Он окидывает меня сочувственным взглядом, справляясь: «Ну как, вот столько — хватит?» — и тут же добавляет, что у него припасен хороший кусочек свежей печенки или бычьего языка, которые, как известно, очень любит миссис Вскринкуус. Жизненная философия мистера Фейхенфельда неплохо, мне кажется, отражена в следующем любопытном факте. на каждую мою попытку завязать с ним беседу на отвлеченную тему он неизменно, хотя и вполне дружелюбно, отвечает: «А я почему знаю» или: «А я об этом что-то не слышал».

Однако, если уж искать примеры тупого, безразличного восприятия действительности, то никто, пожалуй, не может в этом смысле перещеголять Вацлава Мелку, счастливого обладателя «Вин и вотки». Летом, в те часы, когда торговля идет не слишком бойко, он тоже появляется порой в дверях своего кабака, чтобы полюбоваться на божий мир. Это темноволосый, темноглазый, смуглый, приземистый человек, поляк по национальности. Голова у него похожа на деревянную, почти плоскую сверху втулку, прочно и довольно ловко вбитую в плечи. У Мелки есть жена — неряшливое, забитое, бессловесное создание — и трое детей, которым эта кабацкая жизнь не приносит, по-видимому, особого вреда. Как-то вечером, скинув пиджак и небрежно облокотившись о липкую стойку, Вацлав Мелка следующим образом сформулировал свои правила морали: не лгать и не красть, когда имеешь дело с друзьями; не убивать и не пускать в ход кулаки... по пустякам; не поддаваться на удочку попов и сестер из Армии спасения, которые вечно суют нос не в свое дело.

— Ты когда-нибудь читаешь книги, Мелка? — спросил я его как-то раз, после того как мы во всех подробностях обсудили последнюю потасовку на нашей улице.

— Читал одну. Про парня, который убил женщину. Теперь мне некогда. Прежде я работал банщиком, тогда времени хватало. Только это давно было. Книги мне ни к чему.

Мелка, впрочем, считает, что свалал дурака, приехав сюда.

— Один парень посоветовал мне купить эту пивнушку, вот я и застрял здесь. Концы с концами свожу. Но если жена помрет, пожалуй, вернусь к старой профессии.

Я уверен, что Мелка не желает смерти своей жене. Потому что в конце концов это мало что меняет.

Но по ту сторону реки предстает моему взору иная картина, которая волнует меня сильнее, чем все, что окружает меня здесь, ибо она кажется отсюда необычайно красивой и заманчивой. Я вижу высокие стены сказочного города. Мне чудится звон неисчислимых сокровищ в банках, гудки автомобилей, фанфары кипучей, созидательной, деловой жизни. По ночам мириады огней как бы подмигивают мне, восклицая: «Почему ты так беспомощен? Так бездеятелен, так беден? Почему ты живешь в такой жалкой дыре? Почему бы тебе не переправиться через эту реку, не влиться в эту огромную бурлящую толпу, не проложить себе путь к успеху? К чему стоять в стороне от этой грандиозной игры материальных интересов и притворяться, что тебе нет до нее дела, что ты выше ее?»

И я сижу и думаю, и мне начинает казаться, что это так. Но, увы, я совершенно не способен наживать деньги, совершенно. Не для меня все эти удивительные вещи,— ими занимаются люди, обладающие способностями, которых я лишен. Во мне нет деловой, практической жилки. Я могу только думать и, до некоторой степени,— писать. Я вижу эти огромные торговые предприятия (на нашей стороне тоже есть большие магазины) — в них тысячи людей, поглощенных накоплением денег и способных к такого рода деятельности. А я... у меня нет ни малейшего представления о подобных вещах. Однако я не ленив. Я тружусь над своими рассказами или, вскочив утром с постели, мчусь на работу. И все же ни разу за всю мою жизнь мне не удалось заработать больше тридцати пяти долларов в неделю. Нет, я не обладаю никакими коммерческими талантами.

Но что особенно досаждало мне, так это нескончаемая болтовня в газетах — да и повсюду — о праве, истине, долге, справедливости, милосердии и тому подобных вещах, хотя, как я вижу, все это имеет очень мало общего с моими собственными побуждениями или с побуждениями окружающих меня людей. И еще одно: глубокая и искренняя, по-видимому, уверенность многих и многих редакторов, писателей, общественных деятелей в том, что каждый человек, сколь бы ни был он с виду слаб и туп, таит в себе некое зерно неограниченных способностей и сил, для проявления которых необходимо только, чтобы он понял, что они у него есть. Другими словами: все мы — Наполеоны, только не подзреваем об этом. Мы — ленивые Наполеоны, праздные Ганнибалы, бездеятельные Рокфеллеры. Перелистайте страницы любого журнала — вы найдете там сотни рекламных объявлений о том, «Как Добиться Успеха!». Авторы этих объявлений обещают открыть вам свой секрет чуть ли не задаром.

Так вот, я вовсе не из тех, кто этому верит. По моим скромным наблюдениям, люди совсем не таковы. Они, мне кажется, по большей части слабы и ограничены — очень слабы и очень ограничены, — как, например, Вацлав Мелка или миссис Вскринкуус, и заставить эти слабые головы уверовать (если только это вообще возможно) в свои неслыханные дарования все равно, что швырнуть их в утлом челноке в океан. Однако вот на моем столе лежит взятая из любопытства в ближайшей библиотеке глупая книга, озаглавленная: «Завоюй его!». «Его» — это значит «мир». И еще одна: «Он твой!». «Он» и на сей раз означает тот же великий, необъятный мир! Все, что от вас требуется, — это решиться и... попробовать. Может быть, я дурак, раз у меня вызывает улыбку эта весьма распространенная доктрина, раз я позволяю себе сомневаться в том, что в четырех квартах пива можно каким-то образом отыскать пятаю?

Но вернемся к вопросу о добре, истине, справедливости, милосердии, которые так упорно рекламируются в наши дни и, по-видимому, отчетливо утвердились в сознании каждого в виде некой широкой дороги, открытой перед всеми нами. Мне кажется, что большинство людей очень мало думает о праве, истине, справедливости, ми-

досердии и долге; их все это не интересует — ни как абстрактные категории, ни как конкретные жизненные правила, и я не верю, чтобы средний человек отдавал себе ясный, или даже не совсем ясный, отчет в значении этих слов. Мне думается, его отношение к этим словам сводится к следующему: он привык, что их употребляют походя, не задумываясь, для обозначения некоего общепринятого метода приспособления к действительности, который, как ему хочется верить, охраняет его от зла и бед, а потому совершенно так же, не задумываясь, он и сам их употребляет. В применении же к другим людям слова эти означают для него только то, что эти другие люди не должны наносить ему ущерб; так рассуждает и неудачливый обыватель и преуспевающий.

Миссис Вскринкуус, бедняжка, скуповата и склонна к подозрительности, хотя и ходит в церковь по воскресеньям и верит, что нагорная проповедь Христа — вечно живая истина. Она не хочет, чтобы люди делали ей пакости, и сама не делает им пакостей — главным образом потому, что у нее нет к этому ни способностей, ни призвания. Предположим, что я посоветовал бы ей «завоевать Его!», уверил бы ее, что «Он» принадлежит ей по праву скрытых в ней дарований. Что бы случилось в этом случае с добром, истиной, справедливостью, милосердием?

Или возьмем для примера Джейкоба Фейхенфельда и Джона Спитовеского, которым наплевать на все и на всех, кроме своей торговли, и отношение которых к добру, истине, милосердию и справедливости вытекает из вышесказанного. Допустим, что я бы предложил им завоевать «Его» или уверил их, что «Он» принадлежит им? К чему бы это привело? Вацлав Мелка способен оказывать одолжения только в расчете на ответные услуги. Он не любит священников, потому что они собирают доброхотные даяния. Если вы посоветуете ему завоевать «Его», то прежде всего худо придется добрым пастырям. И куда бы я ни поглядел, я вижу одно и то же — среднего человека, исполненного чувства самозащиты и стремления к личному благополучию. Истина — это то, что обязаны говорить ему. Справедливость — это то, чего он заслуживает. Впрочем, он не возражает, если и с другими будут поступать по справедливости, лишь бы ему это ничего не стоило.

Не думайте, однако, что я почитаю себя лучше, умнее или достойнее этих людей. Как я уже говорил, я не понимаю жизни, хотя и люблю ее. Могу сказать даже, что мне по душе это жадное, цепкое начало в людях,— благодаря ему они иной раз неплохо достигают цели. Ясно, что именно оно породило все эти замечательные вещи, которыми я люблю. Ведь если бы не упорное, ненасытное стремление мистера Вулворта подняться вверх и вознестись над своими ближними, как могло бы возникнуть это великолепное здание? Я только потому пишу это, что никак не могу постичь, почему люди с таким нелепым упорством цепляются за какую-то иллюзию добра, или моральный закон, якобы ниспосланный свыше, благостный и милосердный, неизменно карающий так называемое зло и вознаграждающий так называемое добро? Если он и карает зло, то далеко не все зло, которое я вижу. Если он и вознаграждает добро, то очень много добра, перед которым я преклоняюсь, не получает награды,— на этой земле во всяком случае.

Но я отвлекся. Католики верят, что Христос умер за них на кресте и что буддистам, синтоистам, мусульманам и прочим неверным уготована гибель, если они не раскаются и не обратятся ко Христу. Триста миллионов мусульман верят в нечто совершенно противоположное. Двести пятьдесят миллионов буддистов верят как-то иначе. Различные христианские секты верят еще по-другому, и каждая на свой лад. А помимо этого, есть еще ученые историки, которые вообще сомневаются в существовании Христа (Гиббон, том I, главы 15, 16). Что же это за нравственные правила, которые позволяют фальсифицировать историю, как делает это сектантская литература (при желании вы можете получить ее список), и помогают всякого рода фетишам появляться, словно грибы после дождя?

Я готов согласиться, что там, где речь идет об обмане или воровстве, можно еще проповедовать так называемую мораль в защиту наших высоких нравственных правил или добродетелей. Вы едете в трамвае — платите за проезд. Вы взяли пять долларов у этого человека — возвратите их. Вы пользовались различными одолжениями некоего лица — не злословьте о нем. Такие общепринятые и вполне очевидные выводы из тех высоких принципов, о которых мы говорим, и в подобных

незамысловатых случаях эти так называемые принципы могут вполне сносно применяться и на деле.

Но возьмем другой случай — когда темперамент, или естественные склонности человека, или его стремления приходят в столкновение с установленным порядком. Когда неукротимые желания восстают против сложившихся порядков. На одной чаше весов — созданный человеком закон, на другой — жестокая необходимость. На чьей же стороне окажется правда? На чьей стороне бог?

1) Юноша и девушка любят друг друга. Юноша глубоко антипатичен отцу девушки. Нельзя сказать, что отец хорош, а возлюбленный — плох, просто они совершенно разные люди. Девушка и юноша пылают страстью (подчиняясь закону природы, в котором они, заметьте, не повинны). Отец противится их соединению, и они венчаются тайно. Отец в ярости. По слабости характера (которым он не сам себя наградил) он начинает пить. Однажды в нетрезвом состоянии, повстречавшись с юношей, он его убивает. По закону он должен быть повешен, если не сумеет оправдаться. Дочь, солгав, оклеветав любимого мужа, может спасти отца. На чьей стороне будут в этом случае добро, истина, справедливость, милосердие?

2) У одного человека возникает превосходная деловая идея. Объединив четырнадцать компаний и сократив издержки производства на необходимый населению продукт, он сможет продавать его по более низкой цене и в то же время разбогатеет сам. С точки зрения установленных правил и порядков (добро, истина, справедливость и проч.) перед ним — поскольку его конкуренты не желают продать ему свои акции — открываются следующие возможности: а) создать акционерное общество, позволив конкурентам участвовать в барышах; б) подарить конкурентам свою идею безвозмездно, во имя блага человечества, и предоставить им самим создать объединение; в) договорившись втайне с тремя-четырьмя конкурентами, продавать товар по более низкой цене или выйти из игры; г) не предпринимать ничего, предоставив дело случаю, а покупателей — их судьбе. Следует отметить, что из всех перечисленных возможностей только во втором и в последнем случае его действия не встретят сопротивления. Человек этот

обладает умом и верит в идеалы. В чем же состоят его права, обязанности, привилегии? И какое место занимают здесь справедливость, милосердие, истина?

3) Сын одного человека совершил преступление. Отец сознает, что его собственные недостатки помешали ему дать сыну должное воспитание и направить его на верный путь. По закону отец должен выдать сына, невзирая на то, что очень его любит и чувствует свою вину перед ним. Как проявляют себя право, справедливость, милосердие в этом случае, можно ли отыскать в них какое-то согласие и гармонию?

Это всего лишь три примера из полсотни других, которые ежедневно попадают мне на глаза, когда я просматриваю газеты. Я привел их для того, чтобы показать, какая неразбериха творится, на мой взгляд, в мире и насколько немисливо подыскать для всего этого какие-то незыблемые объяснения и правила. Едва ли можно найти двух человек, которые сошлись бы во мнениях по поводу хоть одного из вышеприведенных случаев. Тем не менее ханжи, моралисты, авторы газетных передовиц проповедуют необходимость веры и наперед заданной линии поведения, которую они высокопарно именуют «истинной» или «верной», «справедливой» или «гуманной». Мои же наблюдения и опыт заставляют меня думать, что так называемых здравых, правильных, гуманных, правдивых и справедливых решений почти никогда не существует. Я знаю, что многие закричат мне в ответ: «Взгляни на этот необъятный мир! Взгляни, сколько в нем интересного, прекрасного, сколько удовольствий он сулит! Разве все это не говорит о существовании некоего высшего существа, которое разумно, добро, милосердно и неуспно печется о нашем благополучии? Можешь ли ты, наблюдая действия точнейших законов математики, физики, химии, сомневаться в существовании разумной силы, правящей миром? Силы справедливой, доброй, милосердной и тому подобное?» На это я отвечаю: да. Я могу сомневаться и с полным основанием сомневаюсь, ибо все эти законы легко можно использовать как в интересах права, истины, справедливости, милосердия. в том смысле, как мы их понимаем, так и во вред им. А если вы мне не верите и если вы, предположим, противник немцев, или японцев, или еще кого-либо, посмотрите, как эти так называемые си-

лы зла используют все, чем вы так восхищаетесь, в своих целях и наперекор тому, что вы считаете силами света и добра. И если и они ухитряются каким-то образом наклеить на свои дела ярлык справедливости и милосердия, то это уже выше человеческого понимания.

«Но ты только взгляни,— непременно воскликнет кто-нибудь,— на все эти замечательные, необыкновенные, полезные вещи, которые позаботилось дать человеку провидение, или жизнь, или высшая сила, или энергия! Железные дороги, телеграф, телефон, театры, газ, электричество, разнообразная одежда, газеты, книги, гостиницы, магазины, пожарные команды, больницы, водопровод, любовь духовная и телесная, музыка». Поистине восхитительный список, но все это — завоевания человеческого гения или же результат медленного естественного процесса, сопровождающегося катаклизмами: пожарами, смертями и родовыми муками. Помимо того, что все перечисленное может быть использовано не только в добрых целях, но и в злых (монополия трестов, войны и тому подобное), список этот легко можно дополнить. А тюрьмы, сыщики, исправительные дома, суды? Хорошим это служит целям или дурным, зависит от вашей точки зрения. Хорошим — в руках людей хороших и дурным — в руках людей дурных. Ну а природе нет дела до того, чьи это руки. В больнице негодяю окажут помощь с такой же готовностью, как и честному человеку.

Обычная пыль, унесенная в верхние слои атмосферы, создает наши восхитительные закаты и голубые небеса. Космическое пространство, как нам говорят, представляет собой хаотическое скопление стремящихся куда-то потоков пыли и камней, весьма неприглядная масса которых становится привлекательной для наших глаз, только когда некая сила сливает их в звезду. Звезды сталкиваются друг с другом и пылают, и вся эта необъятная сложная система кажется охваченной единым страшным разрушительным стремлением, и только то тут, то там проявляется порой тенденция к покою и окаменению. А наш мир, в том виде, как мы его наблюдаем,— люди и окружающий их хаос всяких живых тварей,— не кажется ли все это вам иной раз, невзирая на отдельные мгновения красоты и восторга, тупым, жестоким, бесполезным, бесцельным? А процесс появления на свет и

процесс поддержания жизни (чикагские бойни, например) — как грубы они, беспощадны, постыдны даже! Жизнь, истребляющая другую жизнь, хищник, терзающий свою жертву, голод, жажда, губительные потери и страдания и неумолимое приближение старости.

Но я говорил о Джерси-Сити и о том, как трудно мне при моем образе мыслей приспособиться к окружающей действительности. А факты, которые мне приходится наблюдать, увеличивают мое недоумение. Возьмите газеты — я читаю их, чтобы скоротать время, — и отметьте следующее:

1) Двое стариков, живших неподалеку от меня, много лет трудились, чтобы обеспечить себе материальный достаток, но вследствие банкротства банка потеряли все свои сбережения и были вынуждены искать работы. Работы они не нашли, и им пришлось делать выбор: просить милостыню или умереть. Не желая быть навязчивыми и обременять собою мир, они предпочли умереть, отравившись газом. Замкнув двери своей жалкой квартиры, они насовали бумаги и тряпья во все дверные и оконные щели, сели рядом и, держась за руки, открыли газ. Конец наступил довольно быстро, так как божественный промысел не препятствует светильному газу лишать людей жизни. Божественный промысел не нашел нужным оповестить кого-либо о тяжелом положении стариков. Равнодушный газ задушил их так же услужливо, как он освещал их квартиру. А в это время, по сообщению той же газеты, в этом же самом мире...

2) Шестнадцатилетний сын одного мультимиллионера получил свыше пятидесяти миллионов долларов в наследство от своего любящего папаши, который не мог придумать другого употребления этим деньгам, хотя его сынок ничем еще не доказал, что сумеет разумно ими распорядиться, и не сделал решительно ничего, чтобы их заслужить, если не считать, конечно, того, что ему посчастливилось родиться сыном упомянутого мультимиллионера.

3) Группа скучающих ньюпортских миллионерш дала званый обед для любимых собачек своих состоятельных друзей, на каком-то обеде один из кобельков, может быть, одна из сучек, играл, или играла, роль хозяйки или хозяйки.

4) Некий пивовар со Стейтен-Айленд, обладавший капиталом в двадцать миллионов долларов, умер от разрыва сердца, услышав радостную весть о том, что его избрали барабанщиком одной из религиозных сект (следует заметить, что перед этим он потратил десятки тысяч долларов на организацию собственного оркестра и завоевание популярности в рядах вышеозначенной секты).

5) Некий политический деятель, миллионер и завсегда скачек, воздвиг монумент, стоимостью в пятнадцать тысяч долларов, дабы увековечить память своего коня.

6) Некий непросвещенный негр, желая попасть на Север, залез на крышу пульмановского вагона и был унесен экспрессом в снежную метель; когда его в конце концов обнаружили, у него были обморожены руки и ноги и он умирал от истощения. Так он вскоре и погиб, пав жертвой неудавшейся попытки улучшить свое материальное положение.

Задача: отыщите в вышеперечисленных случаях место для божественного промысла, света, мудрости, истины, справедливости, милосердия.

В тех же самых газетах за последние несколько месяцев я прочитал следующие сообщения:

1) В день раздачи старья — узелков с одеждой, которую жертвуют те, кому она больше не нужна, — несколько человек умерли, стоя в очереди за этими обносками; вероятно, эти люди были не такие, как мы с вами, а постарше, послабее, больные, быть может.

2) Мистер Форд, фабрикант автомобилей, выразил уверенность, что он может наставить на путь истинный любого преступника или заблудшую женщину, обеспечив ему или ей работу на заводе, сносную зарплату и возможность дальнейшего продвижения по службе; он добавил, что его доходы слишком велики и он испытывает желание поделиться со своими ближними.

3) Огаст Белмонт и Дж. П. Морган-младший заявили по этому поводу, что они ни для кого ничего не в состоянии сделать — ни в материальном, ни в духовном, ни в каком-либо другом смысле.

4) Служитель богадельни для престарелых отправил на тот свет с помощью хлороформа всех вверенных его попечению стариков, которые, по-видимому, изрядно ему

надоели,— чисто языческий поступок, невысказанный в христианской стране в наш просвещенный век.

5) Некий священник убил девушку и сознался в своем преступлении, однако сан спас его от электрического стула. Люди, помощь и услуги которых он с презрением отверг, настояли, несмотря на его протесты, на том, что его следует признать умалишенным и не подвергать казни.

6) Молодой солдат отправился с молодой женой на другой день после свадьбы покупать обстановку для квартиры. Трое бандитов, вооруженных револьверами, затеяли на улице перестрелку, и, прежде чем молодожены успели скрыться, шальная пуля уложила мужа на месте. Жена с горя лишилась рассудка.

7) Почти во всех странах, участницах мировой войны, проводился день молений о божественном вмешательстве, но так как мольбы возносились, а ответа на них не поступало, воюющие стороны продолжали сражаться еще ожесточеннее; то, что христианину не положено убивать, никого не останавливало и никакой пользы от этой заповеди не было.

8) Хорошо известный в Западных штатах финансист и предприниматель, человек набожный, с филантропическими наклонностями, запроектировал и построил некую, теперь тоже небезызвестную у нас, железную дорогу, которая, после того как он понизил проездную плату, стала приносить ему большой доход. Тогда на него ополчились другие капиталисты, которым захотелось завладеть его дорогой, и по возможности даром. Через подкупленного акционера на него возвели ложное обвинение, и дорога с помощью услужливого судьи попала в руки судебного исполнителя, что совершенно подорвало финансовое положение ее владельца и лишило его возможности восстановить свои права. Конкуренты оправдывали свои действия тем, что они выступили против «понижателя», смутьяна, понижавшего проездную плату и тем смущавшего покой других железнодорожных магнатов, ибо это угрожало их карману. На смертном одре (он умер много лет спустя) человек этот заявил, что история еще докажет его правоту и что бог знает правду, да не скоро скажет, а потому не каждому удастся дожить до этой минуты!

9) В Нью-Йорке преступник был приговорен к году тюрьмы за преднамеренное зверское убийство, а в Южных штатах повесили и изрешетили пулями целую негритянскую семью только за то, что один из членов этой семьи подрался с шерифом. В это же самое время женщина, из ревности застрелившая свою соперницу (ее муж якобы оказывал этой даме знаки внимания), была оправдана, выпущена на свободу и поступила на сцену; все сошлись на том, что «нельзя же сажать женщину на электрический стул».

10) Крупнейшая благотворительная организация Нью-Йорка тратила и продолжает тратить сто пятьдесят тысяч долларов ежегодно на текущие расходы и немногим больше девяноста тысяч долларов — непосредственно на благотворительные дела, оправдывая сие тем, что за счет этих ста пятидесяти тысяч другие агентства и частные благотворительные общества получают сведения с том, где их деньги могут найти достойное применение, чего, видимо, иначе нельзя было бы достигнуть.

11) Безнравственно, грешно и противозаконно иметь ребенка, не имея мужа, однако, когда шестьсот тысяч мужчин были отправлены из Англии на континент, чтобы бить немцев, и двадцать тысяч девственниц стали «военными женами», возникло предложение узаконить незаконнорожденных детей, ибо, что бы там ни было, а прежде всего необходимо предохранить нацию от вымирания.

12) Врачу разрешается помочь женщине освободиться от ребенка, если роды опасны для ее жизни или могут ее искалечить, но заранее предохранить ее от этого тяжелого испытания, дав медицинский совет или снабдив ее противозачаточными средствами, он не имеет права. Это — преступление, за которое на него наложат штраф, и карьера его будет кончена.

13) Директор одной из крупнейших трамвайных компаний считает недопустимым, когда женщинам не уступают места в вагонах, и вполне допустимым, когда на линию пускают так мало вагонов, что места хватает только для одной трети пассажиров; ему кажется возмутительным, когда не соблюдают осторожности при переходе через улицу, при входе в трамвай или выходе из него, но он не видит ничего возмутительного в том, что в вагонах нет отопления, двери сломаны, окна и полы

немыты, хотя это вызывает у пассажиров раздражение и желание поскорее выскочить из вагона, что отнюдь не способствует осторожности и осмотрительности, он считает, что нельзя читать газету, развернув ее во всю ширь, нельзя закладывать ногу на ногу или вытягивать ноги далеко вперед, создавая этим неудобства для других пассажиров, но можно на миллионы долларов обкрадывать город, то есть этих же самых пассажиров, путем незаконного получения концессий, разводнения акций, неуплаты налогов, запрещения бесплатных пересадок на главных пересечениях трамвайных линий и, наконец,— путем устранения опасных конкурентов в лице дешевых автобусов, чрезвычайно необходимых для разгрузки транспорта. И все это без каких-либо других оснований, кроме одного: компании нужны деньги. Однако ко всему приученная публика все терпит, а если и ворчит потихоньку, то это ей никак не помогает.

14) Некий человек, осужденный на основании косвенных улик, просидел в одной из тюрем Западных штатов двадцать лет, после чего выяснилась его невинность: истинный преступник, умирая, сознался в своем преступлении.

15) Нью-йоркский домовладелец принудил целое семейство съехать с квартиры на том основании, что некоторые лица, посещавшие эту семью, были одеты в поношенное платье и, следовательно, имели недостаточно благопристойный вид, а это могло повредить репутации дома и, кроме того, причиняло сильнейшее беспокойство другим жильцам, которые, как видно, были, что называется, начеку и не желали жить в подобном соседстве. Это произошло в одном из домов на Риверсайд-Драйв.

Но стоит ли приводить еще примеры?

Вот почему так часто, сидя в своей комнатке, за окном которой открывается великолепная панорама, и пытаясь писать о явлении, именуемом жизнью, я чувствую растерянность. Я не знаю, как совместить со всем этим добро, истину, справедливость, милосердие и прочее, и вместе с тем я не уверен, что, будь все иначе, жизнь была бы так же притягательна, так же полна внутреннего драматизма и силы. В том, что я вижу перед собой здесь и повсюду,— немало красоты: солнце, луна, звезды движутся по своим путям, и в этом как будто есть и математический расчет, и великое искусство, и своеоб-

разное очарование. Я охотно допускаю, что их пути точно рассчитаны и осмысленны, но не больше. А река сверкает передо мной тысячью разноцветных огней, это — поистине художественное и поэтическое зрелище, против которого трудно устоять. Днем она то серая, то голубая, то зеленая — один волшебный оттенок, сменяется другим; ночью она сияет, словно усыпанная драгоценными камнями. Над рекой кружат чайки; весело бегут взад и вперед буксирные пароходики, распуская по ветру пышные султаны дыма. Снег и дождь, жара и холод проходят в бесконечном круговороте — извечная смена, придающая краски и сочность нашим дням.

И все же я в недоумении. Ибо, с одной стороны, я вижу Вацлава Мелку, которому наплевать на эти так называемые красоты; точно так же как и Джону Спитовскому, Джейкобу Фейхенфельду и многим, многим им подобным. С другой стороны, я вижу себя и многих, подобных мне, которые тоже сидят и размышляют и, поддавшись очарованию, едва ли особенно беспокоятся о том, где и как добыть себе хлеб. Жизнь, пожалуй, помогла мне постичь только одну истину: все, что говорится у нас о добре, истине, справедливости и милосердии, — пустая болтовня, вынужденная, хотя, быть может, и искренняя, попытка достигнуть гармонии и равновесия там, где все неуравновешенно, парадоксально, противоречиво, прилепить стертые ярлыки к явлениям, смысл которых нам еще не ясен. История научила меня, в сущности, только тому, что ничего достоверного нет, а есть только попытка сделать или сказать нечто такое, что помогло бы нам восторжествовать над хаотичностью времени и над несовершенством человеческой памяти. Современные события, мне кажется, почти всегда говорят о том же. Короли и императоры появляются и исчезают. Генералы и полководцы сражаются и сходят со сцены. Философы создали свои системы, поэты оставили нам свои творения, а я, пробираясь ощупью среди религий, философий, вымыслов и фактов, не нахожу ничего, что успокоило бы мой беспокойный дух, не вижу никакого просвета, а также — никакой возможности стать чем-либо, кроме самого скромного поденщика.

Пока жизнь сверкает и несется мимо меня, я время от времени прибираю свою комнату, навожу в ней порядок. Я смотрю на реку, которая течет сейчас среди

живого, многоцветного человеческого муравейника, как текла сотни миллионов лет назад среди пустоты и безмолвия, я говорю себе: право же, там, где так много порядка или стремления к порядку во всем и у всех, там должно существовать некое высшее начало, которое творит порядок, — какой-то порядок, во всяком случае. Уж конечно, планеты движутся по своим орбитам не просто так — сами по себе; по крайней мере я должен верить хотя бы в это. Но когда я выхожу из дома и сталкиваюсь, как это случается изо дня в день, с ненасытной алчностью и похотью, предательством и коварством, завистью и всеми проявлениями жестокости, вплоть до убийства, со всем, что строжайше запрещено нашей общественной моралью, библией и тысячью мудрых правил и законов, когда я наблюдаю изо дня в день измученные лица бедняков — жертв грандиозной системы обмана, и думаю о войнах, беспощадно отнимающих драгоценную жизнь у миллионов людей только потому, что кто-то любит власть, — тогда моя вера покидает меня. Слишком много людей находится в плену у иллюзий; и еще больше таких, которыми правят похоть и алчность — неукротимые, с мутным взором. Невежество, чудовищное и почти неистребимое, лижет свои цепи, благоговейно прижимая их к груди. Грубая сила восседает в пурпуре и багрянце и хрипло смеется.

Но вот передо мной великая река — она прекрасна; и небоскреб мистера Вулворта — странная попытка индивидуума казаться значительнее, чем он есть; и тысячи других свидетельств надежд и мечтаний — все слишком бранные, быть может, перед лицом бесконечного, неотвратимого движения к небытию, но все же утешительные и не лишенные красоты. И тут же я вспоминаю Вацлава Мелку, который хочет снова стать банщиком! И Джона Спитовеского, которому на все наплевать. И Джейкоба Фейхенфельда, который ничего не знает. И миллионы других, подобных им. Я вспоминаю, задумываюсь и становлюсь в тупик; и все так же зарабатываю свои девятнадцать — двадцать долларов в неделю, а то и меньше. И никогда и не буду больше, по-видимому.

Но в конце концов разве не поразительно, что при таких чудовищных взглядах я могу еще хоть что-то работать?

О НЕКОТОРЫХ ЧЕРТАХ НАШЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Наши самые характерные черты — это, конечно, молодость, оптимизм и преданность иллюзиям. Красной нитью проходят они через все наши действия, определяя наши суждения и пристрастия, наши жизненные теории. Пора бы нам уже покончить с этими пережитками детства, а тем более теперь, после уроков недавней войны, — но мы, очевидно, не в силах от них избавиться. И все же трудно не восхищаться оптимизмом и молодостью Америки, как бы нас порой ни раздражали ее заблуждения. В наивности американца много сердечности и добродушия — наряду с грубостью, упрямством и самодурством закоснелых невежд. Вспомните, например, как после Гражданской войны мы навязали Югу правительство авантюристов, вспомните, сколько лет после заключения мира гноили мы в тюрьме их Джефферсона Дэвиса.

У нашей колыбели, как твердили мне в юности, стояли великие люди и великие дела. Чаения угнетенных, справедливо недовольных людей — так учит нас история — заставили их бежать от ига самовластия и, покинув родину, искать свободы в новой стране. Оказавшись здесь, они готовы были бороться насмерть, только бы их прекрасная мечта не рассеялась, не испарилась в воздухе. Это для нас (в книге судеб, если не на самом деле) Колумб отплыл из Палоса по неведомым волнам; Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды, а Магеллан нашел пролив, названный его именем; Бальбоа открыл Тихий океан, а Генри Гудзон — реку Гудзон; де Сото и Маркетт открыли Миссисипи. Для нас и только для нас — хотя человеческая мысль и задолго до этого дерзала заглядывать в глубины морали, социологии и экономики — думали и мечтали Локк, Пейн, Гумбольдт, Вольтер, Фурье, Токвиль и Руссо.

Это в нашей стране, на девственной почве, выросли, как по волшебству, гиганты духа, чтобы подтвердить справедливость этой мечты, — Вашингтон, Джефферсон, Франклин, Адамс, Гамильтон, энтузиасты мысли и общественного переустройства. Казалось, светлое видение, представшее их мысленному взору, вселило в них веру в будущее, предначертанное нашему народу, а с

ним — и через него — всему человечеству. Нам, как самой молодой и сильной нации, выпала честь поднять и понести дальше знамя интеллектуальной и духовной свободы. Нам предстояли великие дела, творимые не во имя кошелька, а во имя человеческого разума и духа. Нашим детям, как и детям наших детей, предстояло жить свободной, разумной жизнью, во всеоружии душевных и умственных сил, не зная оков страха и суеверия, не зная унижений, порождаемых нищетой.

Что ж, кое-что мы сделали на своем веку: мы сражались за свои «права», даровали рабам свободу (чего Англия у себя достигла раньше нас и притом без кровопролития), «освободили» Кубу (разве не для нового угнетения?), бились над мексиканским и филиппинским вопросами (да так ни к чему и не пришли) и помогли разгромить кайзера — без всякой для себя пользы. И все же никогда, на всем протяжении нашей истории, наш идеал не был воплощен в жизнь, хотя в сердцах какой-то скромной части американцев он продолжает жить как некий манящий, воодушевляющий символ. Быть может, полное его воплощение даже и невозможно? Все мы в сущности рабы, и никому еще не удалось придумать, как достичь того, чтобы вместе с храбрыми та же почва не рождала и трусов. Но было бы бесполезно внушать среднему американцу, что демократия — недоступная, неосуществимая мечта. Он ни за что с вами не согласится. Войны сменяют друг друга. Появляются сильные люди, они вынашивают свои корыстные замыслы, побеждают — и снова исчезают. Слабые гибнут. Бедняков обманывают здесь так же, как и повсюду, и так же о них забывают и так же смеются над ними. Но, невзирая на эту грустную действительность, противостоящую любой мечте — будь то мечта о любви, небесах, о совершенном счастье или идеальной свободе, — американец продолжает предаваться блаженным грезам, и ничего вы с ним не поделаете. Быть может, ему и трудно рассчитывать на нечто лучшее, раз он так упорно верит в то, чем владеет.

Эта вера живет в сердцах миллионов американцев, как рожденных здесь, так и приехавших сюда из других стран. Их воодушевляет, как и всегда воодушевляла, животворная мысль о том, что их считают свободными, пусть даже это чистейшее заблуждение. Если не они са-

ми, то их дети и дети их детей унаследуют чудесную, благодатную страну, где мудрый и справедливый строй — плод мечтаний и гениальной прозорливости великих предков, их благородных социальных устремлений — обеспечит потомкам те благословенные дары, о которых мечтали отцы и за которые они боролись.

Ну что ж, это не так уж далеко от истины. Еще не все потеряно, несмотря на постигшие нас разочарования. Ведь у нас столько нетронутой земли и непочатых возможностей, неоскверненных войной и рабством, открывающих широкое поле как для физического труда, так и для самых заманчивых надежд, какие окрыляли наших предшественников и будут окрылять наших потомков. Их успехи запечатлены в наших песнях, в наших книгах, в речах наших деятелей и патриотов. Еще и сегодня те, кто не находит в действительности твердой опоры для своих надежд, верят в благую случайность, удачу, которая где-то их ждет. И я был таков в юности. Я видел в Америке все то, что видело в ней большинство людей, за что боролись и проливали кровь наши предки. Охранительные законы, распространяющиеся на все области жизни; свободная и бесстрашная печать; гуманная и поощрительная школьная система, открывающая доступ к знаниям самым бедным детям, помогающая им подняться на более высокую общественную ступень; подлинно народное голосование, избирательная система, позволяющая народу утверждать законы и полезные мероприятия, способствующие улучшению и очищению нравов, — все это представлялось мне вполне реальным.

И что же?

Да, я продолжаю думать, что некоторой долей этого мы все еще обладаем. Гнет сильных у нас, быть может, еще не так мучителен, и, надо надеяться, никогда не станет тяжелее, — хотя, что ни день, мы чувствуем его все больше и больше. Бедных обманывают, хотя и клянутся им в любви; их кормят пустыми посулами и лицемерными сожалениями. Властители все больше убеждаются, что бедняки здесь, как и повсюду, либо неправимо глупы, либо, будучи бедняками, не в силах защищаться. Опасная, я бы сказал, точка зрения!

Впрочем, за последние годы произошел заметный перелом в наших настроениях и взглядах. Безоблачное ут-

реннее небо заволокло тучами, которых не предвидели прекраснодушные мечтатели,— великие творцы нашей конституции, и, что еще важнее,— наших идеалов. Америка не так свободна и не так щедра, как многие полагали,— хотя это и звучит не слишком деликатно в устах человека, который достаточно в ней преуспел. Наша печать, наша школа, наши законы и политические методы — отвечают ли они смелым надеждам, воодушевлявшим тех, кто были создателями американской республики?

Давайте посмотрим.

Дело в том, что предполагаемая и подлинная история Америки весьма далеки друг от друга. Если мы как народ жаждали каких-то благ и вписали в свою конституцию, что человеку принадлежит на них неотъемлемое право, то из этого еще не следует, что мы ими действительно обладаем, хотя многие американцы, боюсь, только так это и понимают. Насколько я представляю себе американскую историю, люди, написавшие Декларацию независимости и выработавшие нашу конституцию, были, так же как и мы сейчас, охвачены стремлением к идеалу, весьма далекому от окружавшей их меркантильной действительности. Америка была в ту пору не только чужда всякому демократизму,— это было общество резких сословных контрастов, раболепствующее перед знатью, опирающееся на рабов и феодальных холопов внизу, в то время как вершину его составляли крупные землевладельцы, коим не хватало разве только дворянских титулов (Мейерс, «История американских миллиардеров»). Но наши вожди и их многочисленные последователи были захвачены духом времени, вернее, историческим движением, восходящим еще к XIII веку, когда Европа воскресила язычество и влила в него свежую струю, восстав против лживого блеска и маскарада королевских дворов, против пышной бутафории окончательно выродившейся церкви. Бэкон, Локк, Вольтер, Токвиль, Руссо и Пейн были провозвестниками идей, нашедших потом свое отражение в американской конституции. Собственно, не эти ли мыслители,— а в особенности Руссо с его «Общественным договором», с его мечтой о новом социальном строе, когда государство еозьмет на себя неслыханную дотоле заботу о своих гражданах,— были истинными авторами Декларации не-

зависимости? А между тем гипотеза или мысль, высказанная Пейном, Вольтером, Локком или Руссо о том, что человек способен сам управлять собой, весьма далека от действительности. Единственное, что можно сказать с уверенностью,— это что автократия или единовластие, осуществляемое ничтожеством и не согретое любовью к человеку, чрезвычайно родственно деспотизму, однако так называемая демократия или контроль, осуществляемый через избирательную урну, представляет еще большую опасность, не говоря уже о том, что такая система несравненно скучнее: она, ко всему прочему, лишена блеска и увлекательности. Верно ли, что личность, защищенная от произвола тирании, окажется более полезным орудием, машиной, способной подарить нам больше ярких мыслей, больше прекрасных идеалов и грез, еще неведомых человеку? Заправила Америки, ныне претендующей на господство над миром, могут дать на это исчерпывающий ответ!

Существуют ли аналогичные примеры в истории? Не думаю. Старые нации радели не столько об интересах личности, о том, чтобы гарантировать ей жизнь, свободу и право на счастье, сколько об увековечении и возвышении государства и его властителя. Так было в Афинах и в Спарте, так было и в Римской республике и сравнительно недавно в Германии. Сомнительно, однако, чтобы современная республика в большей мере гарантировала права простого человека, нежели монархия старых времен. Разве какой-нибудь трестовский магнат или финансовый барон, которые дерут семь шкур с простого человека, обсчитывая его на заработной плате и назначая на все грабительские цены, разве они в чем-нибудь уступают королям или, во всяком случае, средневековым баронам? Возьмите, например, Рокфеллера. Чем он или ему подобные — Морган, например, — отличаются от грандов, которые сообща правили Испанией, открыто издеваясь над ее королем, или от финансистов, которые ныне вершат английскую политику, подобно тому как до недавней войны заправляли всем у себя дома их русские и германские коллеги?

Но это понимают лишь немногие представители нации, да и то не всегда. Одни считают, что править должна личность, другие — что масса. И то, и другое неверно. Временами полезно, чтобы массы противостояли

личности, и — *vice versa* ¹. Но и то и другое необходимо. Иначе мы были бы обречены на смерть, на спячку. А с другой стороны, разве нация может когда-либо осознать себя как единое целое? Разве отдельные ее части способны понять друг друга?

Возьмите хотя бы такой вопрос, как наше участие в прошлой войне. Добрая часть американцев приняла на веру сентиментальный лозунг, будто мы вступили в войну, чтобы «освободить человечество от рабства» и «спасти мир для демократии». Ни больше, ни меньше! Но если судить по последнему заявлению президента Вильсона, у нас была несколько другая цель, а именно: «подавление любой деспотической державы, которая самовольно, втайне от других, решилась бы на свой страх и риск нарушить всеобщий мир». Что ж, это не совсем то же самое, что спасти мир для демократии, но все же.. А истина, очевидно, в том, что нация, побуждаемая инстинктом самосохранения, вступила в войну, чтобы обеспечить свою безопасность. Если бы не европейская война, нам, возможно, пришлось бы рано или поздно воевать с Германией. Известно, что Германия с завистью посматривала на богатства Западного полушария, на его природные ресурсы, учреждения и притязания, и вполне возможно, что Америка, сколь ни эмоциональны ее доводы, приняла сторону четырех-пяти держав первого ранга (отчасти уже давно дружественных, отчасти ни то ни се) из чисто практических соображений, имея в виду свои будущие интересы.

В то время раздавалось немало голосов, оспаривавших с более трезвых позиций декретированную у нас свыше сентиментальную точку зрения. Многие лица, стоявшие тогда у власти, высказывали частным образом мнение, что в благодарность за такую помощь Европа должна была бы обеспечить Америке неприкосновенность ее интересов в Западном полушарии. «Что касается Мексики, Канады, Вест-Индии и Тихого океана,— писало одно влиятельное лицо,— то не следовало ли бы сделать все возможное, чтобы обеспечить наши интересы там?». Канаде, говорили другие (беря себе право думать за нацию, которой, казалось бы, больше чем кому бы то ни было близки ее собственные интересы), следо-

¹ Наоборот (лаг).

вало бы предоставить суверенные права, освободив ее от английской опеки: это принудило бы ее заключить торговый и военный договор с США. Пограничные укрепления между обеими странами были бы скрыты, и канадцам пришлось бы раз навсегда отказаться от всякой попытки угрожать нам. Другие предлагали отнять у европейских колонизаторов Вест-индские острова и дать им самоуправление под нашим протекторатом, — чтобы ими не могли завладеть враги Америки. Не следовало ли бы, спрашивали некоторые, положить конец агрессии европейских держав в Китае и настоять на проведении политики открытых дверей? Надо добиться полной нейтрализации морей, чтобы Америка, наравне с другими государствами, несла в них охрану. Давно пора приступить к постройке мощного, не имеющего себе равных, торгового флота. К чему была напрасно пролита кровь и потеряны средства, если война не способствовала укреплению американских интересов, состоящих в том, чтобы Америка могла, наравне с другими нациями, увеличивать свое благосостояние и свою мощь?

А посмотрите, в чем на самом деле нашли свое выражение американские интересы. Бельгия, никогда не обладавшая правами суверенной нации, буферное, по существу, государство, завладела нашими симпатиями, как будто независимость ее по меньшей мере освящена веками. Всего лишь в 1830 году она была отторгнута от Голландии... Англия и Франция выбрали для нее правящий дом, остановившись на кандидатуре дядюшки английской королевы и срочно женив его по этому случаю на дочери французского короля. И вот, в то время как к нашему сочувствию взывают такие попираемые насилием страны, как Ирландия, Индия, Египет, Филиппины, Бурская республика и т. д., мы все свои симпатии отдаем Бельгии. Япония гарантировала нейтралитет Кореи, что не помешало ей, с благословения прочих держав, аннексировать эту страну. Англия у нас на глазах подавляла каждую попытку «самоопределения малых наций» — таких, как Египет, Ирландия, Индия, Бурская республика. Ко всему этому мы относились совершенно безразлично, во всяком случае, мы ничего не предпринимали. И вдруг участь Балкан, по совершенно непонятной причине, становится особенно близкой нашему сердцу. Казалось бы, какое дело Америке до того,

как договорятся между собой Россия, Турция и Балканы? С точки зрения старой, практической дипломатии, нас это ни в какой мере не касается,— а между тем Америка вмешивается в это, как и во все прочее, стремясь, или, во всяком случае, пытаясь оказать влияние на будущее устройство Европы (самоопределение наций!), и все это — без всякой попытки выяснить мнение американского избирателя и без его согласия. И такое пренебрежение к избирателю выдается у нас за нечто должное. А в ответ на сдавленный ропот снизу нас стараются уверить, что мы поддерживаем лишь те нации, которые духовно, умственно да и во всех прочих отношениях особенно близки нам,— нации, которые постоянно радуют и будут радовать о нашем благе. История, разумеется, убеждает нас в противном: такие союзы всегда носили временный характер и при первом же случае без всякого сожаления расторгались. Но оказывают ли подобные факты какое-нибудь влияние на наши чувства и иллюзии? Да никакого! Что касается Англии, то мы, наоборот, чуть ли не заискиваем перед ней, хотя она, пожалуй, впервые в истории выступает нашим союзником. (Вспомните 1776, 1812, 1865, 1896 годы; вспомните Бурскую войну. Во всех этих случаях мы были весьма далеки от сочувствия Англии.)

То же самое и относительно Франции 1788 и 1815 годов — мы чуть ли не объявили ей войну в интересах Англии, несмотря на то, что у Франции были все основания рассчитывать на нашу поддержку и помощь. Наши позиции в отношении Италии менялись от случая к случаю, и это же можно сказать о России: сегодня они могли быть дружественными, а завтра — наоборот. Принимая во внимание недолговечность дипломатических союзов, наши государственные деятели должны были бы следить за тем, чтобы в таких случайных комбинациях не страдали наши кровные интересы. Однако, веря в свою мощь и опираясь на свой оптимизм, мы обычно исходили из того, что наши интересы в полной безопасности,— в противном случае мы сумеем постоять за себя! И на этом успокаивались.

Ну, а предположим, что мы оказались бы не столь сильны. Можно ли с уверенностью утверждать, что бог, справедливость, милосердие, истина, прогресс и множество других прекрасных вещей, на которые мы так

охотно ссылаемся, всегда будут на нашей стороне? Неудачи, как говорят, постигают слабых и глупых. А что, если мы окажемся слабее других? Или глупее?

Рассуждая об американцах и их историческом прошлом в свете событий мировой войны, небезынтересно рассмотреть наши взаимоотношения с французами как сейчас, так и в более отдаленные времена. В самом начале войны Америка — христианская Америка — заняла резко враждебную позицию по отношению к французам на почве идейно-моральных разногласий: сколько раздалось тогда нападок на их литературу, искусство, театр, как порицались низменные натуралистические тенденции, проявлявшиеся как в их суждениях, так и в жизни. Но и в отдаленные времена, в самом начале нашей истории, когда первые колонисты, отличавшиеся вестрым национальным составом, — тут были англичане, французы, голландцы, шведы, испанцы, — были объединены под скипетром Англии, они постоянно враждовали с французами и с индейскими племенами, к помощи которых, в борьбе за господство, прибегала Франция (впрочем, так же как и Англия). Позднее, во время конфликта между Англией и ее американскими колониями, конфликта, постепенно вылившегося с нашей стороны в борьбу за независимость, сочувствие французов, вызванное их застарелой ненавистью к англичанам и непримиримой враждой ко всякой тирании, соединило нас с ними узами взаимной симпатии и дружбы. Немало генералов и адмиралов (Рошамбо, Лафайетт, граф д'Эстен, граф де Грасс) явилось из Франции оказать нам помощь на суше и на море. А между тем в 1788—1789 годах, когда Франция и Испания объявили войну Англии, и особенно позднее (после революции 1789 г.), когда французы боролись за свою независимость и за демократические завоевания революции, в то время как Англия стремилась восстановить Бурбонов на французском троне, разве американцы стали на сторону французов? Плохо вы знаете нашу историю, если так думаете. В 1788 году, когда колонии отстаивали свою независимость, между французами и американцами был заключен оборонительно-наступательный союз, и у французов были все основания рассчитывать на американскую помощь. Но они жестоко просчитались. Симпатии американцев были, естественно, на стороне союзни-

ков, но когда по всей стране стали возникать демократические клубы по образцу якобинских и когда французский посланник Жене попытался организовать в США каперский флот и в американские военные порты стали доставляться захваченные в море призы, это вызвало сильнейшее недовольство. (Почитайте историю того времени: Барджес «Средний период», Бабкок «Американская нация», Гарт «Американская история в рассказах современников».) Согласно новой точке зрения, Америка должна была прежде всего заботиться о собственных интересах. В 1793 году Вашингтон опубликовал свою знаменитую «Прокламацию о нейтралитете», предоставлявшую французам самим себе. Характерно, что уже после издания этой прокламации Жене, все еще веривший в симпатии американцев к их союзникам французам, обратился непосредственно к народу, действуя через голову американского правительства. Разумеется, его тут же отозвали.

Тогда дело приняло любопытный оборот. Французские революционеры, возмущенные официальной позицией Америки, стали нападать на американские суда, считая их пособниками Англии. Американские представители, посланные наладить отношения с Францией, не были даже выслушаны. Представители же революционной Франции (по крайней мере, так они себя именовали), прикрывшись инициалами «икс-игрек-зет», требовали взятки. Это-то и вызвало знаменитое заявление Вильяма Пинкни, американского юриста и государственного деятеля, провозгласившего: «Миллионы на оборону, ни цента на подкуп!» и это — по адресу нашего недавнего союзника, Франции!

Президент Адамс предъявил эту переписку конгрессу, и волна возмущения прокатилась по всей стране. Казалось, предстоит война с Францией, и в 1798 году Вашингтон был вторично назначен главнокомандующим. Деятельность сторонников Франции и поднятая газетами антиправительственная кампания привели к тому, что стоявшие у власти федералисты приняли (в 1798 г.) пресловутые законы «об иностранцах» и «о подстрекательстве к мятежу». Эти законы позволяли правительству изгонять неугодных иностранцев (понимай французам!) и запрещать неугодные газеты. На море между тем свирепствовала форменная война с Францией. Од-

нако новые законы, противоречившие понятиям американского народа (вот как это тогда понималось!) о свободе печати и предоставлении убежища эмигрантам, достаточно красноречиво обличали федералистов в том, что они привержены тирании, и на следующих же выборах (1800 г.) это привело к их поражению. Тем временем Виргиния и Кентукки пришли к выводу, что отдельные штаты вправе аннулировать закон, изданный федеральным правительством (речь шла о законе «об иностранцах» и законе «о подстрекательстве к мятежу»). Ввиду продолжавшихся нападений французских кораблей на наши торговые суда, конгресс предъявил «требование о возмещении убытков», и только когда Наполеон — тогда еще первый консул, согласился отказаться от французских претензий к США, вытекавших из договора 1778 года, Америка также отказалась от своих претензий, и обе стороны пришли к соглашению. Короче говоря, мы предали Францию в самую критическую для нее минуту. Двенадцать лет спустя упорные враждебные действия Англии против наших кораблей, вызванные ее желанием запретить нам всякую связь с Францией, привели нас к войне с Англией, которая продолжалась до тех пор, пока поражение Наполеона не устранило поводов для взаимного недовольства. И вот, сто лет спустя, как мы только что видели, несмотря на растущее предубеждение против Франции — предубеждение морального порядка, война с Германией вновь вызвала у нас чувства симпатии и благодарности, которые связывают нас с нашей старинной союзницей и от которых мы в 1800 году так легко отказались. Франция снова стала предметом наших нежнейших забот и попечений! Вот вам и чувства национальной симпатии и благодарности!

Другой характерной чертой нашего поведения в последнюю войну — характерной, впрочем, не только для американцев и не только для этой войны, но очень уж ярко показывающей особенности американского темперамента, — была позиция Америки на разных этапах событий, когда она то в одном, то в другом вопросе переходила от одной крайности к другой. Все помнят, как у нас на первых порах ломали копья за мир — за мир любой ценой: всякий, кто заговаривал в те дни о необходимости мобилизовать армию в целях обороны

(хотя бы!), объявлялся если не изменником, то чем-то вроде «нежелательного элемента». Мистер Вильсон, как все помнят, был избран вторично под лозунгом «Он уберег нас от войны»; зато перед нашим вступлением в войну каких только не сулили нам выгод — коммерческих, во всяком случае. Затем, когда побеждать начали немцы и над Америкой и в самом деле нависла военная угроза, нам предлагали «спасти мир для демократии» — лозунг столь многозначительный, что за границей его предпочли положить под сукно. Но для американцев эта приманка сыграла свою роль. Когда же дело дошло до объявления войны, то хотя у нас и республика и полагается, чтобы народ имел голос в решении своей участи, однако со стороны наших властей, как исполнительных, так и законодательных, не было выказано особого желания выслушать мнение избирателей.

Но вот война была объявлена, и единственное, что оставалось народу, — это хранить свои возражения про себя, ибо ему решительно возбранялось предавать их гласности или обсуждать открыто. Если вначале еще не стеснялись говорить, что референдум помешал бы нам вступить в войну, то вскоре всякое общественное изъяснение недовольства стало решительно пресекаться, а суды и власти предержавшие принялись проделывать с законом совершенно фарсовые номера. Затем, едва на очередь встал вопрос о мобилизации войск, финансов и припасов (включая продовольствие), как по первому из этих пунктов добровольный набор был весьма скоро заменен принудительным, со всеми вытекающими отсюда выводами в отношении применения силы и подавления оппозиции, а также в отношении свободы слова и свободы действий. «Общественное мнение», сфабрикованное правительственным пресс-бюро, не говоря уже о давлении иностранной пропаганды, тяготело над печатью, устанавливая систему террора, устрашающие приговоры, такие, как 40 лет каторжной тюрьмы за распространение оппозиционных (в данном, частном, вопросе) брошюр, выносились по всей стране судами, чья святость, независимость и прочее почитаются у нас оплотом свободы. Но на каком же основании? В силу каких полномочий? Неужели — по требованию беспристрастной справедливости?

Я возражаю не по сути дела: моя цель в данном случае показать, как условна грань между автократией и демократией там, где необходимость или произвол диктуют тот или другой курс. Позднее, когда «рекомендации» экономного расходования продуктов питания наткнулись на открытое пренебрежение, отеческие указания превратились в приказы. Говоря словами уполномоченного по продовольствию, «ограничения останутся добровольными, но всякое уклонение от них приведет к насильственным мерам воздействия». То же самое и в отношении займов: людям предлагали давать, давать и давать, исключительно из любви к отчизне, но (по словам ведущего правительственного органа) «пришло время (октябрь 1918 г.) отказаться от политики уговоров и просьб. Как только выяснится, что из-за недостатка средств война затягивается, то да поможет бог всем, у кого в критическую минуту карманы окажутся туго набитыми».

Но дело, разумеется, не ограничилось этим, ибо при такой постановке вопроса еще можно было бы рассчитывать на известный либерализм или снисхождение свыше, — нетерпимость нашей цензуры во время войны, подавление в стране свободного мнения можно сравнить разве лишь с порядками в царской России в самые жесткие времена реакции. Хотя американские простодушие и откровенность, якобы пользующиеся полнейшей безнаказанностью, и стали дритчей во языцех, у нас в публичном обиходе допускалось одно только мнение относительно войны — положительное. Всякие иные взгляды в корне пресекались, хотя в Англии и Франции высказывать свои мнения в безобидной форме никому не запрещалось. В Нью-Йорке была приговорена к штрафу женщина, позволившая себе сказать, что «Англии нечего задирать нос перед Ирландией». Брошюра под заглавием «Завладеет ли Морган всем миром?», показывавшая, как некоторые лица наживаются на войне, сначала благополучно прошла через министерство юстиции, а затем автора вежливо попросили изменить заглавие «из патриотических соображений». Однако на этом дело не кончилось: спустя некоторое время министерство почт и телеграфа отказалось принимать злополучную брошюру — с уже измененным заглавием — к пересылке, и автору было недвусмысленно заявлено: «За рас-

пространение этого издания вы поплатитесь десятью годами тюрьмы. Как вам известно, оно нарушает закон о шпионаже».

А чего только не пели нам о гуманности будущих войн! Бесчеловечные методы войны осуждены навеки... Такие войны больше не повторятся!.. Как ни странно, ужасы Гражданской войны, а в особенности то, что позволяли себе северяне, было начисто забыто, равно как и пресловутые «водные процедуры» и «скоропалительные методы Джейка Смита» времен филиппинской кампании, когда американский офицер, проходя по фронту выстроившихся шеренгами туземцев, палил, расстреливая всех подряд, или когда тем же туземцам лили воду в рот и в нос, пока они не задохнутся, потому что бедняги отказывались выдать то, чего скорее всего не знали сами. У народов, так же как и у людей, короткая память. До того, как мы вступили в войну, дело и впрямь выглядело так, будто воевать собираются зубочистками, столь сильно было тогда предубеждение против всяких зверств. Впоследствии нас уверяли, что нам уже не придется воевать — разве только еще разок, чтобы покончить с войнами. А немного погодя мы уже сокрушались, что не можем преподнести неприятелю какой-нибудь такой сюрпризец, до какого ему ввек не додуматься, — чего бы лучше одним махом разнести всю их нацию! Мы отказывались водить дружбу с автократиями, хотя поистине превосходно уживались с японцами, китайцами, с царской Россией до ее падения, с Англией в Индии и с Англией в Египте — да, собственно, с кем угодно, исключая тех, кто воевал не на нашей стороне. Никогда этим проштрафившимся нациям уже не занять своего прежнего места в мире! И наряду с самодовольными рассуждениями по поводу невиданного расцвета нашей торговли, по поводу объединенного, наконец, железнодорожного хозяйства и новых, усовершенствованных методов учета продовольствия, по поводу успехов земледелия и «уроков самоотречения и гражданской сознательности» — тут же, как ни странно, заявлялось, что война — это заведомое зло и что немцы кругом виноваты. «Целое тысячелетие не изгладит воспоминаний о немецких преступлениях. Германия вернет себе свое доброе имя только одновременно с Иудой» (газета «Энкуайрер», выходившая в городе Цинцинна-

ти, март 1918 г.). И это говорится сразу же после только что процитированных умильных замечаний о войне и напечатано в том же номере газеты! Как вам нравится такая национальная точка зрения? Разве это не называется сидеть между двух стульев!

Поистине было время, когда вам невольно приходило в голову, что Америка страдает размягчением мозга. Все ее самостоятельное значение, как передовой нации, нации с ясным сознанием, казалось, зачеркивалось и, подобно тому, как пчела или коралл выполняют, по-видимому, одну-две функции в планах природы — одна собирает мед и способствует опылению цветов, а другой строит коралловый остров, — так и американцы словно бы предназначены самой природой проектировать и строить механизмы; пустить же их в дело, извлечь из них максимальный эффект у них не хватает ни мужества, ни умственных способностей. Можно было подумать, что, удостоверившись в своеобразных дарованиях и умственной ограниченности американцев, природа позволила немцам, англичанам и японцам пользоваться плодами их усилий, как мы пользуемся трудами пчелы и морского коралла, предоставляя им все так же трудиться со слепотою и настойчивостью безмозглого автомата. Среднему американцу, которому ничего не стоит изобрести самолет, подводную лодку, оптический прицел для орудия, вращающуюся башню, броненосный крейсер, линкор и т. п., сначала внушали, что у него слишком слабые нервы, чтобы пустить все это в ход; затем, что «гордость не позволяет» ему снизойти до этого; наконец, что у него не хватит пороха, чтобы как мужчине встретить суровые требования реальной жизни. Потом, наоборот, его начали убеждать, что он вояка по призванию и всех заткнет за пояс. Когда же он в полной мере доказывал это, ему продолжали внушать, что его миссия опять-таки в том, чтобы спасти мир, а не в том, чтобы отстаивать свои собственные интересы. Его великие изобретения ставились на полку, как игрушки, или же продавались другим, или, на худой конец, им предстояло послужить высокой моральной цели — и только!

Ибо, заметьте, пока не грянет гром, каждый вопрос всегда рассматривался — да и ныне рассматривается — средним американцем с точки зрения морали — причем в том узкоограниченном смысле, в каком он всегда ее

понимал. Вы могли изобрести линкор — для целей самообороны, а значит, и для того, чтобы убивать других; но, если вы пускали его в ход не во имя какой-нибудь христианской или высокоморальной цели, или если им завладевал (и пользовался!) ваш противник, который знать не хотел никаких христианских принципов, то это был ужасный грех, позор, моральное преступление, которого не искупить и за тысячу лет. В глазах американца любое оружие, предназначенное для убийства, как бы ни было велико его разрушительное действие и как ни ужасна причиняемая им смерть, вполне оправдано, лишь бы где-то впереди маячила некая благая цель. И определить эту благую цель якобы призван он сам. И вот, к великому своему смущению, он убеждается, — как не раз убеждался, — что его пулемет, его аэроплан, или подводная лодка, или линкор, или химическое изобретение попали в руки дикаря, язычника, который, ничем не смущаясь, позволяет себе повернуть это изобретение против его же автора; мало того, — и христианская душа американца никак не может этого переварить, — в руках противника оружие действует ничуть не хуже, чем в его собственных руках. Природа — или бог — так же мало мешает торпеде, выпущенной подводной лодкой противника, продырявить беззащитный торговый пароход, как мало помогает она христианской подводной лодке, старающейся потопить языческий линкор. Природе, видимо, дела нет до христианства и христианской морали — и это крайне шокирует американца. Он приходит к заключению, что надо на какой-то срок отрешиться от своих прекрасных теорий и драться всеми доступными средствами, — и так и поступает. И побеждает в результате. Но тем не менее, вопреки всякой очевидности, природа, по американским понятиям, строго придерживается моральных правил. Существуют обязательные, нерушимые христианские нормы, которыми она руководствуется. И когда благоправный американец вдруг узнает, что природа ведет себя не так, как должно, что она не считается со скрижалями завета, дарованными человечеству на горе Синай, или же с нагорной проповедью, он приходит в неопишуемый ужас. Что такое? Природа отступает от десяти заповедей? Так, значит, слабые не унаследуют землю? «Не убий» — не обязательный закон для всех? «Не укради» и «не пре-

любодейству» — не химический или по крайней мере не психологический закон, которому послушно все на свете? Кто это сказал? Где же господь наш, преподавший нам это? Почему он за нас не заступается? Почему не поразит он врага в его богохульственной гордыне, не уничтожит его за осмеяние этих основных истин?

Но увы! Господь не вмешается, и вот американец, махнув рукой на все свои теории, берется за дело и, засучив рукава, вступает в драку наравне с язычниками. И только после того, как с него спала эта моралистическая и ханжеская короста и благонаправленный американец проявил себя во всем естестве своих опасных первобытных инстинктов,— только тогда в событиях происходит крутой перелом. До этого у американцев дела шли как нельзя хуже. Язычники, играя на их слабой струнке, забирала у них все их хитрые изобретения, отложенные в сторону за ненадобностью, и использовали в своих собственных «аморальных» целях. Машины и изобретения американца, которые тот почитал орудиями справедливого возмездия, с таким же успехом служили несправедливым целям язычников, как и ему самому. К полному его ужасу и к величайшему ущербу для его христианских воззрений, он снова и снова убеждался, что для того, чтобы преуспеть, ему следует не только изобретать коварное смертоносное оружие, но и применять его по назначению — в том духе, в каком задумали его он сам или другие нации,— ибо беспринципная природа проявляет себя в действиях других наций так же успешно, как и в действиях благочестивых американцев. Иными словами, природа не знает ни христианства, ни морали в том смысле, какой придают этим понятиям народ или организованное общество, пытающееся защитить свое внутреннее устройство и привычные позиции,— и никакие душеспасительные рассуждения на нее не действуют. Природа, или бог — называйте как угодно, показала, что ей дела нет до того, что станет с американцем и со всеми его теориями, как религиозными, так и всякими другими, если он не способен постоять за себя. Человек или нация должны быть богаты и сильны для того, чтобы выжить; если бы немцы были сильнее, они, несомненно, победили бы, несмотря ни на что. Десятки тысяч богов языческого Пантеона не спасли древний Рим от разлагающего пацифистского влияния, которое принесло

с собой христианство,— и он погиб. Десять миллионов христианских церквей, проповедующих мир и осуждающих войну, не могли спасти и не спасли Америку и никакую другую страну от нации, которая все свои надежды возложила на войну и на беспощадные силы природы. Только бóльшая военная мощь, достигнутая нами, могла это сделать — и сделала.

Эти столь ярко выраженные особенности американских взглядов и умонастроений проявляются и в других вопросах. Например, в отношении к неграм. К 1700 году рабство, существовавшее в колониальной Америке не как общий закон, а скорее как выражение личного произвола и деспотизма, закрепляется как экономический институт. Система подневольного труда всегда применялась в английских колониях, будь то в отношении индейцев, белых или негров, но в отношении негров оказалось, по-видимому, выгодным узаконить рабство,— хотя негр по закону был таким же свободным человеком, как и всякий другой. Позднее, когда возникло деление на промышленный Север и плантаторский Юг, рабский труд стал характерен для Южных штатов, а вскоре обозначились и границы Черного пояса. Такие штаты, как Джорджия и Южная Каролина, особенно рьяно требовали применения рабского труда на своих рисовых, хлопковых и табачных плантациях. На Севере, наоборот, система эта оказалась непригодной: здесь рано укоренилось предубеждение как против негритянского населения вообще, так и против рабства. Нельзя всецело объяснить это особыми экономическими условиями, ссылаясь на то, что на Севере было невыгодно держать рабов. Всегда и везде находятся люди, чья совесть не мирится с рабством, но был бы их голос услышан, если бы труд негров оказался так же рентабелен на Севере, как и на Юге,— это другой вопрос. Джефферсон, например, в своем первоначальном проекте Декларации независимости предусматривал отмену рабства, но, приняв во внимание выгоду рабовладельческой системы для южных колоний, впоследствии вычеркнул этот пункт. В 1712 и 1741 годах негров беспрепятственно линчевали и сжигали в Нью-Йорке — исключительно острастки ради, чтобы не вздумали бунтовать. Уже в 1709 году в Нью-Йорке был учрежден невольничий рынок.

Послушать рассуждения наших благочестивых американцев об ужасах рабовладельческой системы и о том, как мы воевали за освобождение негров,— так можно, пожалуй, поверить, что в Америке очень любят негров. Не верьте, все пустое! Хотя конгресс северян на заседании 2 марта 1867 года и пытался установить на Юге всеобщее избирательное право для всех лиц мужского пола без исключения, а в 1875 году провел закон, воспрепятствующий дискриминацию в отношении негров в гостиницах, ресторанах, театрах и других общественных местах, законы эти, имевшие главным образом в виду Южные штаты, нисколько не отразились на положении негров ни на Севере, ни на Юге. В самом деле, стоит в каком-нибудь квартале любого американского города поселиться негру, как белые жители бегут оттуда. Пусть это будет достойнейший человек,— а я знаком с неграми, заслуживающими всяческого уважения,— все равно его не станут терпеть даже в церкви, а его детям будет закрыт доступ в школы, где учатся дети белых. И положение не только не улучшается, оно год от году становится хуже. Почти не проходит дня, чтобы где-нибудь в Соединенных Штатах не сжигали негра живьем. Американцы сражались и проливали кровь за своих черных братьев, однако они предпочитают держаться от них подальше. Когда в 1917 году в Ист-Сент-Луисе забастовали рабочие и предприниматели, чтобы сломить забастовку, решили прибегнуть к черному труду, 117 негров было убито, их дома сожжены, их жены и дети изгнаны из города. Где-то на крайнем Юге негр позволил себе задеть шерифа,— и сам он и вся его семья были убиты, чтобы другим неповадно было. Американцы и поныне не знают, что делать с неграми, вернее, с так называемой «негритянской опасностью». Они предпочитают забывать об этой проблеме, надеясь, по-видимому, что время или случай подскажут решение. Вопрос — хотят ли американцы ужиться с неграми?

Но вернемся к уже возникавшему здесь разговору об эксплуатации, которой подвергает рядового американца свора праздных, алчных и лживых богачей, и посмотрим поближе, как эти соотечественники живут и уживаются рядом, в одной стране. С тех пор как некий житель колониальной Америки вписал в Декларацию

независимости, что люди свободны и равны от рождения, что человеку принадлежит неотъемлемое право на жизнь, свободу и счастье и что никто в Америке, да и во всем мире, не должен посягать на это право, с тех самых пор американец варится в котле противоречий — противоборствующих общественных и химических сил, от которых и сам он внутренне не свободен. Борясь за жизнь, в поисках свободы и счастья, он приходит в столкновение с интересами своих сограждан, ищущих того же, что и он, и убеждается, что, невзирая ни на какую Декларацию независимости, сильные, жестокие и хитрые преуспевают у нас так же, как и повсюду, и постоянно измышляют все новые козни против благосостояния, счастья и спокойствия своих сограждан, стремясь построить на их несчастьи свое собственное благополучие.

Вот несколько примеров:

1) В 1919 году федеральный суд признал, что, хотя конгресс и запретил (в 1918 г.) детский труд в хлопчатобумажной промышленности, это постановление конгресса противоречит конституции, а следовательно, разрешается принимать на работу детей с десятилетнего возраста. В результате сотни тысяч малолетних рабочих вернулись на фабрики, где им приходится простаивать у машин по одиннадцати часов в сутки.

2) Судья Гумир в штате Нью-Джерси вынес (в 1900 г.) определение, что жизнь ребенка, пострадавшего во время железнодорожной катастрофы (это распространяется и на городской транспорт), оценивается всего лишь в один доллар, так как он еще не приносил дохода своим родителям.

3) Окружной судья в штате Огайо (Вильям Тафт, впоследствии президент США) в 1893 году разъяснил, что самовольный уход с работы приравнивается к уголовному преступлению.

4) Федеральный верховный суд вынес в 1908 году решение, что третейское разбирательство трудовых конфликтов противоречит конституции, а посему ни один предприниматель не может вступать со своими служащими в подобные переговоры.

5) Верховный суд штата Орегон в 1903 году постановил, что любого арестованного властями гражданина

можно в течение месяца держать в тюрьме без суда и следствия, хотя это и категорически запрещено конституцией США.

6) Верховный суд штата Массачусетс вынес в 1906 году решение, что при конфликтах между рабочими и предпринимателями могут рассматриваться только частные, личные жалобы. Вмешательство профсоюзов, а также всякие групповые выступления противоречат конституции и закону.

7) Четверо магнатов, из коих двое владели молочными фермами, поставлявшими молоко в Нью-Йорк, а двое ведали его продажей населению, не поладили из-за того, как распределить между собой прибыль. Обе стороны пришли к решению (10 января 1919 г.) прекратить продажу молока до тех пор, пока им не удастся прийти к полюбовному согласию. В результате Нью-Йорк был на целый месяц оставлен без молока.

8) Некий Барнет Бафф, владелец оптовой фирмы, продававшей в Нью-Йорке птицу, был убит своими конкурентами за то, что он отказался вступить с ними в сговор относительно повышения цен на его товар. Второстепенные лица, сыгравшие роль простых орудий в руках истинных убийц, были преданы суду и казнены на электрическом стуле.

9) В деле «Лэenor против города Нью-Йорка» большинство членов нью-йоркского апелляционного суда признало не соответствующим конституции закон, ограничивающий рабочий день пекарей. Многие рабочие пекарен, по преимуществу женщины, вынуждены были работать по двенадцать часов в день в подвальных помещениях за нищенское вознаграждение. Суд отменил означенный закон, признав, что он противоречит праву свободного заключения договоров.

10) В деле Айвс против ж.-д. компании «Саут-Буффало рейлуэй» железнодорожный служащий, получивший неизлечимое увечье, требовал компенсации. Нью-йоркский апелляционный суд вынес единогласное решение, что закон, на который ссылался истец, противоречит конституции. Судьи согласились с тем, что приговор этот несправедлив, поскольку пострадавший остался без средств к существованию, но вину за это переложили на конституцию.

Этот перечень можно было бы продолжать до бесконечности, но, пожалуй, хватит. Мне важно было лишь установить на нескольких конкретных примерах, что, хотя средний американец и считает, будто у него куда больше прав и привилегий, чем у любого гражданина другой страны,— это, в сущности, чистейшее заблуждение. Что касается его дневного заработка и уровня жизни, то они сравнительно высоки, но и жизнь в Америке дороже, чем где бы то ни было. Федеральное министерство труда на основании изучения бюджета многих американских семейств во многих американских городах пришло к выводу (в феврале 1919 г.), что чрезвычайно возросшие цены на предметы первой необходимости особенно ударяют по тем семьям, которые живут на годовой доход в тысячу долларов и меньше,— а вы сами понимаете, что это значит, учитывая, что в Америке 5 процентов населения контролирует 95 процентов всех богатств страны. Не забудем также, что у нас все больше утверждается протекционистская система, в силу которой американский потребитель платит повышенные цены за тот самый товар, который вывозится за границу по демпинговым ценам. Такая система способствует процветанию наших трестов, но чрезвычайно бьет по карману американского потребителя, не слишком избалованного прибавками к жалованью. Протекционистская система порождает, с одной стороны, мультимиллионеров, а с другой — бедноту и те труппы, где она вынуждена ютиться. Ей же обязан своим существованием американский спекулянт. Если средний американец несколько лучше одет и лучше питается, чем средний европеец, то не забудьте, как действует на него зрелище сотен тысяч людей, живущих неизмеримо лучше. По сравнению с ними он беден, как церковная мышь. Но, пожалуй, самое оскорбительное для него — что газеты, этот, пожалуй, единственный близкий ему вид прессы, обычно молчат о его нуждах и страданиях и, наоборот, постоянно внушают ему, что он счастлив и доволен. Да и неудивительно: ведь издают их те, кому это позволяет их толстый бумажник.

Всех, кто усомнится в моих словах, отошлю хотя бы к отчету Федеральной комиссии по вопросам промышленности, работавшей по заданию конгресса (опубликован в июне 1918 г.). Согласно выводам комиссии, гра-

бительские цены и безнаказанная спекуляция позволили нашим концернам-гигантам удвоить, утроить, а зачастую и впятеро увеличить свой акционерный капитал и в то же время повысить выплачиваемые дивиденды до 100, а то и 227 процентов. Уголь, стоимость которого в земле равна пяти центам за тонну, продается в Нью-Йорке по 22 доллара за тонну — и это всего лишь в 250 милях от места, где он добывается. Цены на молоко подскочили с 7 до 17¹/₂ центов за кварту — а между тем никто и не думает о том, что пора объединить конкурирующие предприятия с их расточительной системой параллельных функций и накладных расходов, на которые и ссылаются их хозяева в оправдание своих более чем стопроцентных прибылей. В той же пропорции возросли и цены на пшеницу, картофель, мясо, растительное масло и сахар, но не возросла соответственно заработная плата, если не считать рабочих, объединенных в профсоюзы. (Только участие в профсоюзах, объединяющих всего лишь 10 процентов всех работающих по найму, позволяет рабочему бороться за более справедливую заработную плату.) Да и то за первые три года войны потребовалось 167 забастовок, чтобы вырвать у предпринимателей двадцатипроцентную прибавку. (Это — цифры Бюро труда США.)

В ответ на вызванные подобными порядками протесты не одна из принадлежащих корпорациям газет напыщенно поучала доверчивого читателя, что нельзя вмешиваться в стихийное действие законов спроса и предложения и что всякое искусственное снижение цен в корне подрывает производство. Бедняга предприниматель, лишенный священного права безнаказанно грабить покупателя, может не снести обиды и — забастовать! С другой стороны, тот же предприниматель вечно жалуется, что его прибыли стоят на точке замерзания из-за систематического повышения стоимости производства и что необходимо поднять все цены — на обувь, одежду, продовольствие, квартирную плату этак процентов на сто и до тысячи.

Все это и естественно и поучительно для того, кто смотрит на жизнь как на сочетание противоположностей, взаимно уравновешивающих друг друга, или как на стихийную борьбу, в которой выживает ловкий и сильный, а слабый гибнет. Но если в той же самой стране, где

узаконены подобные вещи, в воздухе стоит гул от трескучих фраз и славословий по адресу демократии, и если на всякого, кто осмелится изобличить спекулянта или выразить мнение, что такая демократия заражена пороками, присущими автократии, если на такого смельчака смотрят в этой стране как на врага, а то и как на «неугодного иностранца», то это — прошу прощения — чистейшее издевательство!

Мы часто с гордостью именуем себя нацией тружеников — в укор нашим европейским современникам. По установившемуся у нас взгляду, каждый уважающий себя человек должен непременно где-нибудь трудиться. С нескрываемым презрением смотрим мы на разгильдяя, который по утрам не спешит к себе в контору или на завод. Случается, правда, что наши столь усердные «рабочнички», с важным видом отправляющиеся в конторы, ровно ничего там не делают. И все же у нас широко утвердилось мнение, что долг перед обществом и перед нацией призывает американца проводить известное количество часов в деловой или фабричной части города, хотя бы он попросту протирал там кресло или поплеывал в потолок. Вот откуда столь характерное для наших городов зрелище толп, спешащих в контору или на фабрику — и обратно, домой.

Однако верно ли, что наши коммерческие достижения значительно превосходят успехи других наций? Что мы хотя бы сравнялись в этом отношении с другими нациями? Недавняя война показала, что как Англия, так и Германия выработали у себя куда более совершенные и эффективные методы торговли, чем те, что известны Америке. Таковы, например, кооперативные закупки, предпринятые Германией в общегерманском масштабе. Американец только глазами хлопал, когда убедился, с какой несравненной оперативностью и умением — не только в Германии, но даже в Англии — были мобилизованы все ресурсы — продовольствие, обмундирование, транспорт, люди — и предоставлены в распоряжение нации; он дивился умению обходиться сравнительно небольшими средствами и необычайной маневренностью, с какой потом всем этим распоряжалось государство.

В то время как члены английских и французских комиссий, сидя на наших заводах, инструктировали в це-

хах заводских мастеров и «капитанов промышленности», американские бизнесмены и администраторы часами просиживали в своих кабинетах, не выпуская из рук телефонной трубки, или носились с заседания на заседание — а в результате Америка вышла на первое место по военным долгам на душу населения, если учитывать продолжительность ее участия в войне, а также количество людей, воевавших на фронте и работавших на войну, сидя в тылу, — не исключая даже России.

Вопрос: действительно ли американский бизнесмен так оперативен, как нам представляется? Так честен? Так патриотичен? Что-то я в этом сомневаюсь.

Забавнейшей чертой американца — всегда, а особенно до войны — было его преклонение перед всем иностранным. Все, что шло к нам из-за границы, объявлялось, а может быть, и сейчас еще объявляется, превосходным, несравненным, не подлежащим никакой критике. Напротив, все родное или вообще все присущее Западу считалось невзрачным, незначительным, как, скажем, Анды или Амазонка — по сравнению с Альпами и Нилом. Бразилия, Аргентина, Мексика и канадские снега ступеньками и терялись перед Бельгией и Турцией, Ривьерой, Азией и Африкой. Нельзя без улыбки вспомнить, как мы позволяли всяким подбитым ветерком и ничем не блещущим иностранцам разгуливать по Америке с видом победителей, небрежно похлопывая нас по плечу или брезгливо щурясь на все, что ни попадется на глаза, словно это мусор какой-то. Американцы из кожи вон лезли, чтобы не уронить себя в глазах даже таких иностранцев, как французские метрдотели либо представители английского respectable среднего класса. А уж что касается какого-нибудь английского лорда, французского или итальянского графа, австрийского или даже германского барона, испанского гранда, русского князя или турецкого пашы, то было бы чистейшим безрассудством отрицать, что американец всегда приходил в экстаз — а может, и сейчас еще таит и млеет — от малейшей их любезности. В глазах американца это люди с другой планеты, люди, вхожие в тот высший свет, с которым он так мечтал бы свести знакомство. Стоит американцу узнать из объявлений, что в таком-то ресторане готовятся под наблюдением повара-француза французские блюда, что такой-то порт-

ной недавно из Англии, что там-то и там-то открылся косметический кабинет или ателье мод, коим руководит настоящий парижанин или парижанка, или прослышать, что такой-то писатель — француз, русский, итальянец или англичанин по происхождению, — как его охватывает священный трепет: хлоп — и он уже на коленях и, возведя очи горе, молитвенно восклицает: «Париж! Лондон! Рим! Санкт-Петербург! Вена! Умопомрачительно!» А сколько американских состояний перекочевало к европейским банкирам в качестве благоговейной дани какому-нибудь сомнительному титулу! Сколько миллионов брошено нашими снобами на ветер в тщетном стремлении перенять внешний лоск европейских манер и изысканного воспитания. И по сей день автомобили или часы иностранной марки, или иностранный покрой платья приводят нас в восторг, и мы отдаем им предпочтение перед всем доморощенным. Было время, когда иностранные пьесы окончательно вытеснили со сцены наш отечественный репертуар, и поделом, по-моему. Мы возвращены на иностранных книгах, на иностранных картинах, на иностранных художественных изделиях. Швейцарские, французские, австрийские Альпы вот уже сто лет как заслонили от нас все американское.

А может, это и неизбежно: ведь Америка так и не создала своей духовной атмосферы, в ней так и не проявился самобытный художественный гений, который позволил бы ей заявить о своих правах — самой себе по крайней мере. Мы скучные, чтобы не сказать тупые и ограниченные, люди, вообразившие себя глубоко верующим, нравственным консервативным народом; мы приписываем себе миллион качеств, которых у нас нет и в помине. Но для того, чтобы страна представляла известный интерес как для себя, так и для других, она должна жить богатой духовной жизнью, а вялость и равнодушие, с какими американец относится к себе и ко всему окружающему, приводят к тому, что он в тягость и себе и другим. Расшевелите американца, направьте его ум, расширьте его горизонт, заставьте его быть смелее во всех жизненных вопросах — и вы не узнаете Америки: она заиграет новыми красками и с честью выдержит сравнение с любой другой страной!

В этой связи полезно рассмотреть еще одну особенность нашей национальной психологии — последнюю,

которой я намерен здесь коснуться, поскольку об ограниченности моральных взглядов американца мне пришлось говорить в другом месте. Я имею в виду ту истую и, можно даже сказать, комическую (если бы тут не примешивалось столько печального и трагического) серьезность, с какой американец относится к своему избирательному бюллетеню, ожидая от него чудес. Вечно-вечно он за кого-нибудь голосует: каждый год приходится ему выбирать мэра и члена законодательного собрания штата, каждые два года — конгрессмена, каждые четыре года (или шесть лет) — сенатора, каждые два года — губернатора, каждые четыре года — президента,— и при этом он свято верит, что, подавая голос и выбирая того или другого кандидата, он и в самом деле управляет страной и осуществляет свои пресловутые свободы. Казалось бы, выборы, в которых ему пришлось участвовать в прошлую войну, могли бы послужить ему полезным уроком, но разве рядовой американец способен чему-нибудь научиться?! Нет, он и по сей день не понимает, что голосует, как правило, за лиц, навязанных ему интересами и силами, которые всегда были, есть и, по-видимому, всегда будут для него недостижимы и чья победа или поражение меньше всего зависят от него или от тех кандидатов, с которыми он так носитя. Мэры, губернаторы, законодатели, конгрессмены, сенаторы и даже судьи и президенты приходят и уходят, и только могущественные интересы наверху пребывают неизменно. И пожелай даже кто-нибудь из этих временщиков сделать что-нибудь — хотя бы малейший пустяк — для простого американца, большое начальство не замедлит выколотить из него эту дурь. Рядовой избиратель всегда остается ни с чем: он незаметная песчинка в вавилонской башне американской политики. Короче говоря, проницательные хозяева, наши финансовые тузы наверху, давно уже постигли ту очевидную истину, что простое большинство голосов, будь то в сенате, конгрессе или где угодно, представляет достаточную гарантию власти и что, помимо убеждения средствами здоровой логики, существуют тысячи способов подчинить народных представителей своей воле. А если вы не верите, судите сами, как могло бы иначе случиться, что 5 процентов населения владеют 95 процентами народного достояния, а 95 процентов — только пятью процентами.

Те, кто знаком с анналами американского судопроизводства, не могут не поражаться, как систематически и открыто, с какой наглой бесцеремонностью наши избираемые власти перечеркивают все мероприятия выборных властей (решение по делу Дред Скотта и первоначальное аннулирование подоходного налога, — если ограничиться двумя примерами). Какая корпорация, добываясь льгот и привилегий в том или другом американском городе, не обратится в первую очередь к местному политическому заправиле? Только сумасшедший мог бы поступить иначе! Пусть этот человек не занимает никакого официального поста, — все равно он первый человек в городе: и мэр, и городское управление, и губернатор ждут его указаний. А кому подчинен местный босс? Уж не своему ли губернатору, или, может быть, президенту Соединенных Штатов? В том-то и дело, что нет! Если на то пошло, он сам делает президентов — во всяком случае, помогает делать. Он подчинен одной только силе — деньгам, крупным финансовым интересам, и никому больше. И лишь в тех случаях, когда в финансовых верхах нет полного единомыслия, народу переппадают какие-то крохи. Так было, так есть. Повсюду проявляется закон равновесия: финансовые тузы — против масс; массы — против финансовых тузов.

Скажите, бывало ли в каком-либо американском городе, чтобы голосование за любую концессию, за любое мероприятие, сколь оно ни необходимо, привело к известным результатам, если городские заправилы заранее столковались обо всем с каким-нибудь финансовым олигархом, желательнее всего — с уоллстритовским? Это такая общеизвестная истина, что даже избиратели посмеются над вами, если вы станете уверять, что решение вопроса всецело зависит от них.

Еще до того, как правительство на время войны взяло под свой контроль железные дороги, Люшиес Татл (беру первый попавшийся пример), президент железной дороги «Бостон — Мэн», распоряжался политической жизнью штатов Мэн, Нью-Хэмпшир и Вермонт как своей вотчиной, назначая и смещая по своему усмотрению законодателей, губернаторов и сенаторов США. (Я вам не басни рассказываю, а неоспоримые факты!) Покойный сенатор Чендлер из Нью-Хэмпшира, один из самых прогрессивных сенаторов своего времени, был, по прика-

ванию Татла, отозван — за неуместную строптивость. Но мистер Татл только выполнял распоряжения мистера Чарльза С. Меллена, президента дороги «Нью-Йорк — Нью-Хэйвен — Хартфорд»; мистер Меллен, в свою очередь, выполнял распоряжения Дж. Пирпонта Моргана-старшего, финансового хозяина Уолл-стрита. А мистер Морган от кого получал распоряжения? Не иначе как от господ бога!

Разве это не общеизвестный факт, зафиксированный в анналах нашей печати и на страницах — настоящей, а не фальсифицированной — истории, что Гуллы, Хиллы, Гарриманы, Рокфеллеры, Вандербильты и такие крупнейшие банки, как «Кун, Леб и К^о», всегда были неограниченными властелинами в тех штатах, по которым проходили их дороги, заправляя всеми местными делами через своих агентов — поверенных, лоббистов, продажных законодателей, губернаторов и пр. и пр. Избирательской плотве не возбранялись невинные забавы: она могла резвиться стайками, голосуя за всякую мелочь, будь то губернатор, мэр или президент. Но стоило возникнуть действительно важному вопросу, задевавшему бумажник или священные привилегии финансовых королей, как картина резко менялась: избирательные бюллетени тысячами выбрасывались на помойку или подделывались, а народных представителей подкупали, склоняя на свою сторону. И вот забыты клятвы и заверения; суды выносят приговоры под суфлерскую диктовку денежных тузов; газеты извращают факты до неузнаваемости, прикрывая неблаговидную действительность паутиной благовидной лжи, и даже президенты и партии делают поворот на 180 градусов, забывая о простаке-избирателе или предоставляя ему все так же тешиться честолюбивыми мечтами и искать свои конституционные права на дне избирательной урны или еще в каком-нибудь столь же смехотворном и столь же безнадежном месте. Ибо Америкой всегда правили и, очевидно, будут править деньги. Попробуй жалкий цент поспорить с пятью миллионами долларов! Ни рядовой избиратель, ни мелкий делец никогда не отстают своих так называемых прав, надежд и привилегий при помощи столь негодных средств, как избирательный бюллетень и т. п. Нужды нашего избирателя не принимаются в расчет теми, кто ворушает большими капиталами. Как только не били его

и не помыкали им богачи! А все же у него есть избирательный бюллетень! И каждый раз, отправляясь на выборы, американец не грустит — разве уж очень доймут его житейские разочарования, — он и в самом деле готов вообразить, будто управляет государством.

Корень зла в том, что в Америке никогда не было, да и по сей день нет того, что можно было бы назвать истинным просвещением и культурой. У нас нет никакой разумной, видимой миру цели, если не считать таковой стремление к наживе. Та, с позволения сказать, культура, какая у нас имелась и имеется в наличии, была взята нами напрокат за границей, точнее, в Англии, которая и сама в отношении культуры нуждается в омоложении; во всяком случае, судя по тому, что говорят и пишут сами англичане, их культура страдает теми же пороками пуританского, ханжеского фарисейства и никогда не отличалась подлинным демократизмом. Если вам угодно составить себе представление об американской культуре — вернее, бескультурье, — взгляните на нашего миллионера. Деньги — сила — таков его руководящий принцип как в прошлом, так и в настоящем. И он молится этой силе и рабски ей служит, воображая, что она поднимет его на недосягаемую высоту в глазах остальных людей.

И вот плачевный результат: миллионер достиг желанной цели. Но пробил грозный час войны. И миллионер пожелал е высоты своего (воображаемого) величия осчастливить мир или по крайней мере свою страну, придя ей на помощь в годину бедствий. Но хватило ли у него разума или кругозора, чтобы понять или по крайней мере почувствовать, за какое дело он берется? Или же он оказался на поверку одним из тех миллионов растерявшихся американцев, которые в этот ответственный час открыли для себя, что меркантильные дела уже не удовлетворяют их, и оторвались от этих дел — лишь для того, чтобы мгновенно заблудиться в лабиринте сложнейших отношений и далеко идущих взаимосвязей, к которым у них нет ключа?

Форд снарядил свой «Корабль мира»! Взяв на борт живой груз из редакторов, журналистов, проповедников и тому подобной братии, он отплыл в Европу, чтобы в день рождества 1915 года кликнуть клич, услышав который «сонмы солдат встанут и покинут окопы». Наши

премудрые американские газеты, особенно на Среднем и Дальнем Западе, расточали ему комплименты и заранее поздравляли с победой. Они не сомневались в успехе! И это — перед лицом могущественного шовинистического движения и шовинистической пропаганды, которые начиная с 1813 года растут и крепнут в Германии, стимулируя завоевательные войны.

Остальные миллионеры удовольствовались тем, что по-прежнему продолжали наживать деньги.

Вот вам и замечательные достижения крупного американского дельца и его попытка осознать то, что происходит в мире!

В заключение коснусь еще одной стороны вопроса. В начале мировой войны нам уши прожужжали рассуждениями о наших «обязанностях перед миром», о «нашем долге перед цивилизацией», о том, что нам предстоит «спасти мир для демократии». И только на четвертом году войны — фактически, а также по признанию нашего главного златоуста — открылась нам программа и истинные цели нашего врага, и мы поняли, что энтузиазм, которого от нас требовали, был уместен и даже необходим. Тогда у нас заговорили о том, что «пора Америке занять свое место в ареопаге народов», — и некто Рут и Фрэнсис (поверенные и агенты корпораций, достаточно запятнавшие себя потом в глазах американского народа) были направлены для переговоров с представителями измученной войной страны, ищущей новых и лучших форм политического и социального устройства.

Во время самой войны господствовало мнение, что главное — это «люди, деньги и суда» (все то же старое представление, будто все решает количество, а не идеи и умы, которые могли бы с честью парировать самые коварные замыслы наших врагов и друзей). Но жизнь — и международная политика и дипломатическая игра — куда сложнее. Она может потребовать — да и действительно потребовала — от пацифистски и религиозно настроенного американца мобилизации новых душевных ресурсов и сил. Она заставила его, наконец, понять, что жизнь — это столкновение куда более темных и загадочных сил, чем он когда-либо предполагал, куда более прожорливых, кровожадных, скотских appetitов, чем могло допустить его робкое пацифистски-пуританское

мировоззрение. Открылась дверь, распахнулось окно, и, заглянув в разверстые глубины природы, американец увидел — достаточно смутно, надо сказать, — то, чего он и сейчас еще как следует не переварил. А именно, что природа не знает неизблемых, дарованных небом заповедей и что в мире нет ничего твердо установленного. В этом мире, где действуют неисповедимые законы равновесия, всего можно ждать — решительно всего!

Потребовалась мировая бойня, чтобы расколоть уютную раковину невежества и равнодушия, в которую с головой забрался американец.

И что же, научился он чему-нибудь? Открылось ему в жизни нечто такое, чего он не знал раньше? Трудно сказать! Я только позволю себе привести здесь одно поистине меткое, на мой взгляд, замечание:

«Свирепое, первобытное коллективное сознание Америки, подобно сознанию какого-то допотопного чудовища, сосредоточено на потребностях минуты; оно, по-видимому, даже и не подозревает о существовании своего огромного, косного, почти лишенного нервных центров тела, усеянного легионом паразитов. Когда сегодня оглядываешь необъятную ширь американского общества, чередую унылых степей уходящую на запад, просто ужас берет: каково это — жить без культурных побуждений, без культурных традиций, проникающих во все поры сознания и поддерживающих упорядоченное течение жизни и энергии над сталкивающимися в глубине приливами и отливами личных потребностей, животных инстинктов и страстей».

Деньги, деньги, деньги! Строить, строить и строить, чтобы набрать побольше денег, чтоб было чем похвалиться перед соседом, чтоб превзойти его — богатством, конечно. О Расселе Сейдже рассказывают, что он всегда держал под рукой в конторе железный сейф, где хранились его «абсолютно надежные», как он выражался, ценные бумаги стоимостью в 78 миллионов. Желая показать, что он многого достиг в жизни и с толком прожил свой век, он доставал их из сейфа и торжествующе восклицал: «Видали? Держу пари, во всей Америке нет человека, который мог бы показать вам такую кипу первосортных займов и акций! Другого такого нет во всех Соединенных Штатах!»

И он был, пожалуй, прав!

Ну, а дальше что?

Сейдж умер — и не придумал ничего лучшего, как завещать свои несметные капиталы жене (вот вам и хваленый американский финансовый гений!). Его старуха, такая же темная и невежественная женщина, как и ее муж, мечтая с пользой употребить эти деньги, пожертвовала их частично на школы различных сект, а большую часть — на учреждение «Фонда Рассела Сейджа». С тех пор «Фонд Рассела Сейджа» только и делает, что рассматривает, пересматривает, изучает и исследует один проект за другим, тщетно пытаясь найти для себя какое-нибудь разумное применение. И вот сколько уже существует «Фонд Рассела Сейджа», — а совершил ли он что-нибудь заслуживающее внимания?

Будем надеяться, что Америка когда-нибудь, на свой особый лад, выйдет на дорогу интеллектуального прогресса. Старуха-поденщица, некогда приходившая ко мне убирать комнату, любила говорить: «Я не так глупа, как кажется!» Так и Америка — вероятно, и даже наверняка — не так глупа, как кажется.

Разумеется, всякая молодая страна начинает с того, что заимствует свою культуру. Такие вещи не создаются по мановению волшебного жезла. Однако перед нами государство, которому уже ни много ни мало триста лет; оно насчитывает не менее ста двадцати миллионов жителей; его города по своему значению и богатству не уступают любым городам мира; его архитектура и сейчас поражает своим величием, а вскоре достигнет непревзойденного великолепия; его техническому оснащению могла бы позавидовать любая страна. С точки зрения материальных условий у нас есть все, что может потребоваться народу для истинного культурного развития. Так почему же, спрашиваю я, мы все еще увлечены погоней за наживой, а что до всего прочего, культивируем такие пошло-сентиментальные представления о жизни? Те немногие подлинно великие мыслители, которых создала Америка — По, Уитмен и Твен, — у нас под запретом. Только в одной области, в финансах, — не в военном искусстве, не в политике, ни в сфере мысли и изящных искусств — способны наши выдающиеся личности поспорить с заграницей. Во всем, что не касается чисто материальных интересов, мы придерживаемся ка-

ких-то фальшиво-сентиментальных представлений. Но откуда берутся эти нелепые предрассудки в отношении самых обыкновенных отвлеченных вопросов? Ни один народ не превосходит нас богатством, мужеством, трудолюбием; нигде нет такой разнообразной и величественной природы — горных цепей, озер, долин, такого морского побережья. Мы должны были бы находиться, и, как я догадываюсь, находимся (хотя подтверждений этому что-то не видно) на пороге нового расцвета искусства и литературы, достойного сравнения с величайшими вершинами человеческого прошлого. И, невзирая на это, наш народ и его признанные лидеры продолжают коснеть в предрассудках, предпочитая закрывать глаза на самые элементарные факты. По их убеждению, все люди в Америке честны, отзывчивы и правдивы (по крайней мере обязаны быть такими), а все женщины чисты, как свежесвыпавший снег (по крайней мере обязаны быть такими). Наша конституция — это Нагорная проповедь, наши законы — десять заповедей. Сами мы никому не причиняем и не желаем зла — виноваты всегда пришлые люди, зловредные чужеземцы, они бог знает откуда сваливаются на нас — ибо в нашей интеллектуальной и нравственной космогонии им нет места — и причиняют нам зло.

Придет срок, и Америка, возможно, выйдет на правильный путь. А возможно, и не выйдет. Почем знать, а вдруг Америка только машина, делающая деньги, или исполнительный сборщик меда, вроде пчелы, или беспорядочная кладовая — какой некогда был Рим, — не знающая, как распорядиться наваленными в ней сокровищами. Другие, более хитрые нации, не обладающие ни такой силой, ни богатством, быть может, когда-нибудь поведут великана за руку и станут помыкать им. Или он окажется в положении богатого наследника, не ведающего ни трудностей жизни, ни рождаемых ими колебаний. Втянутый под благовидным предлогом в расточительные аферы или увеселения своих друзей, он будет только рад в итоге уплатить по всем счетам и незаметно ретироваться.

Что ж, чему быть, того не миновать. У природы, если не у человека, свой особый норов. С ней не поспоришь. Пройдет время, и она распорядится нацией и ее мечтами, так же как человеком и его мечтами. Нации

и их горделивое достояние не меньше, чем человек, обречены на гниение и распад: природа разлагает их на простейшие химические элементы и силы и — забывает о них. Так ушел Рим, ушла Греция и много других царств и племен. Но, говоря о нации, которая хочет играть видную роль среди народов, хочет руководить или по крайней мере быть среди тех, кто руководит миром, разве мы не должны признать, что способность мыслить, то есть способность к ясному и четкому, пластическому восприятию мира, должна стать характерною ее особенностью? И разве с народами дело не обстоит так, как с человеком? Там, где нет правильных мыслей и идей, неизбежны ошибки и заблуждения. Порой, когда задумаешься о судьбе многих народов — как в прошлом, так и в настоящем, — невольно возникает мысль, что с нациями бывает то же, что и с людьми. Случается, что человек рождается дураком, живет весь век дураком и дураком умирает. Так не это ли судьба Америки?

Будем надеяться, что нет.

Однако...

ЖИЗНЬ, ИСКУССТВО И АМЕРИКА

Я не претендую на то, чтобы дать исторический или социологический анализ моральных, а следовательно, и критических взглядов американцев, хотя, быть может, имею некоторое представление о том, как они сложились; одно только для меня несомненно: взгляды эти, независимо от того, что их породило, никак не согласуются с теми жизненными фактами, которые я имел возможность наблюдать. С моей точки зрения, средний или, так сказать, стандартный, американец — это странный, однобоко развившийся характер: во всем, что касается материальной стороны жизни, он сметлив и напорист — он хороший механик, хороший организатор, но внутреннего мира у него нет, он не знает по-настоящему ни истории, ни литературы, ни искусства и совершенно запутался и духовно погряз в великом множестве чисто материальных проблем.

Моя юность протекала в небольшом городишке на Среднем Западе, и в те годы у меня не было ни малей-

шей возможности составить себе правильное или хотя бы приблизительно правильное представление о том, что может быть названо элементарными основами всякой интеллектуальной жизни. Я совершенно не знал истории, а в тех учебных заведениях, которые мне приходилось посещать, ни в одном из так называемых научных трудов — будь то по истории, естествознанию или искусству — не содержалось и намека на правильное толкование вопроса, во всяком случае на такое толкование, которое я впоследствии мог признать хотя бы относительно правильным или приемлемым для себя. Насколько я помню, в учебнике истории, написанном неким Суинтоном, поражению Наполеона — отнюдь не его деятельности — приписывалось огромное моральное и чуть ли даже не религиозное значение. Выходило так, что именно своею смертью на острове Святой Елены, а вовсе не своим кодексом или необычайно продуманной расстановкой материальных сил, принес Наполеон пользу обществу! Совершенно так же жизнь Сократа и его смерть рассматривались почти исключительно с точки зрения религиозной — если не христианской — морали. Автор не усмотрел связи между высокими нравственными убеждениями Сократа и его смертью, а увидел в ней только результат его низких поступков в личной жизни. О подлинном значении этого человека, вытекающем из дошедших до нас фактов его биографии, не было сказано ни слова.

Поскольку мой отец был католиком, меня крестили по католическому обряду, и я должен был принять все догматы и все вымыслы этой церкви на веру. А вокруг себя я видел методистов, баптистов, братьев во Христе, католиков, конгрегационалистов — всех и не перечесть. — и каждое из этих учений, по словам его последователей, давало единственно правильное, правдивое и исторически точное объяснение жизни и мира. Четырнадцатипятинадцатилетним мальчиком я слушал проповеди, из которых узнавал, что такое ад, где именно он находится и какие там применяют пытки. А за мое хорошее якобы поведение меня награждали цветными открытками с самым точным изображением рая! В каждой когда-либо прочитанной мной газете я неизменно находил и все еще нахожу моральные рецепты на все случаи жизни, пользуясь которыми любой человек может мгно-

венно и безошибочно отличить Хорошего Человека от Плохого Человека и тем спасти себя от происков последнего! Книги, которые меня заставляли читать и за пренебрежение к которым меня пробирали, были, что называется, чистыми, то есть самого наивного свойства. Читать полагалось только хорошие книги — значит, такие, в которых прежде всего не содержалось ни единого намека на плотскую любовь; само собой разумеется, что в них не было ни правдивых жизненных характеров, ни живых человеческих страстей.

Изображение обнаженного или полуобнаженного женского тела считалось греховным — как в живописи, так и в скульптуре. Танцы в нашем доме, как и вообще в нашем городе, находились под запретом. Театр был объявлен рассадником преступлений, пивная — средоточием низменных, скотских пороков. Наличие таких существ, как заблудшие или падшие женщины, не говоря уже о домах терпимости, также рассматривалось как пагубное зло, как факт, о котором не пристало даже упоминать. Существовали установленные нормы приличия и поведения, которыми мы должны были пользоваться примерно так, как пользуемся одеждой. По воскресеньям, хочешь или нет, надлежало посещать церковь. Быть членом той или иной церковной организации считалось полезным для дела, а эта торгаческая религиозность, в свою очередь, возводилась в высшую добродетель. Нам настойчиво вбивали в голову, что мы должны избегать соприкосновения со многими сторонами жизни, представляющими опасность для тела и для души. Чем меньше ты знаешь о жизни, тем лучше; чем больше ты знаешь о вымышленном рае и аде — тем опять-таки лучше. И люди жили в состоянии какого-то странного привычного отупения, одурманенные или одурманившие себя немислимыми и ложными представлениями о поведении человека, представлениями, которые возникли неизвестно как и где и словно ядовитым туманом окутали всю Америку, если не весь мир.

Мне в сущности не было бы до всего этого дела, не будь это столь глупо, столь нелепо. Можно было подумать, что на земле не существует ни одного сколько-нибудь дурного человека, пороки которого не были бы известны всему миру, или во всяком случае не подвергались бы очень быстро разоблачению и что хорошие лю-

ди тотчас полной мерой вознаграждаются за славные свои дела. Успех, обыкновенный деловой успех, служил в те дни синонимом душевного величия. Клянусь вам, до семнадцати-восемнадцати лет я был уверен, что ни один человек не способен таить в себе такие греховные, такие порочные мысли, как те, что порой мелькали у меня в голове.

Тогда я только начинал подозревать, что кое-какие истины, преподанные мне теми или другими авторитетами, неверны. Я замечал, что далеко не все так называемые хорошие люди непременно хороши и не все плохие люди безнадежно плохи. Мало-помалу я начал понимать, что не везде господствуют те доктрины, которые проповедуются в нашем городишке, и не все люди по своим воззрениям похожи на тех, среди которых я вырос. Уже тогда я сделал открытие, что моя мать, как бы я ею ни восхищался, всего-навсего обыкновенная женщина, а вовсе не ангел во плоти; а мой отец и подавно—самый обыкновенный человек, и притом с причудами. Мои братья и сестры мало чем отличались от чьих-то других братьев и сестер: они были такие же люди, как все те, кто бороздил вокруг бурные воды житейского моря, а вовсе не избранные натуры, далекие от жизни и счастливые взаимным созерцанием своих совершенств. Короче говоря, я уже начал постигать, что мир—это бурная, кипучая, жестокая, веселая, многообещающая и губительная стихия и что сильным и хитрым, коварным и ловким суждено быть победителями, а слабым и простодушным, невежественным и тупым предуготована незавидная доля, и притом—отнюдь не в силу каких-то врожденных пороков, а просто в силу некоторых мешающих им недостатков, избавиться от которых не в их власти.

Мало-помалу передо мной выявлялись такие стороны жизни, о каких я прежде и не подозревал. В гонках побеждает быстрый, в битве—сильный. Я приходил к убеждению, что всяким значительным успехом люди в той или иной мере обязаны своим дарованиям, а это противоречило учению тех, кто проповедовал моральное самоусовершенствование и торговал добродетелью. Художниками, певцами, актерами, политиками, государственными деятелями, полководцами рождаются, а не делаются. Школьные прописи, за самым редким исключени-

ем, ни к чему неприменимы. То, что мы слышим по воскресеньям в церквах и проповедуем в лоне своей семьи или в гостиных, имеет очень малое применение в реальной жизни; да и то только по принуждению, особенно если дело касается торговли или биржевых сделок. Заметьте: «только по принуждению». Я признаю существование могущественного принуждения, которое не имеет ничего общего с личными желаниями, вкусами, стремлениями человека. Это принуждение возникает в процессе уравнивания тех сил, сущность которых нам еще не ясна, управлять которыми мы не можем и находясь во власти которых мы уподобляемся песчинкам, гонимым туда и сюда с неведомой для них целью. Политика, как я установил, работая в газетах, довольно грязное занятие; религия со всеми ее догматами — мрачный вымысел тех, кто их проповедует; тут «много и шума и страстей, а смысла нет»; торговля — беспощадная схватка, в которой менее хитрые или менее ловкие и сильные погибают, а верх одерживают более коварные; труд людей свободных профессий построен на купле и продаже — тому, кто дороже заплатит, а те, кто торгует этим трудом, в большинстве своем безвольны, посредственны или корыстолюбивы.

Каждый человек, как я убедился, стремится к одному: быть как можно счастливее. У жизни же другие задачи, во всяком случае ей очень мало дела до благополучия отдельных личностей. Ты можешь жить, можешь умереть; можешь быть сыт, можешь быть голоден; можешь случайно или преднамеренно попасть в русло пресупения или же, в силу врожденных особенностей характера, неспособности или неудачи, быть обречен на прозябание; ты можешь быть слаб, можешь быть силен; можешь быть умен, или туп, или ограничен. Жизни, то есть той борьбе, которая кипит вокруг нас, нет до тебя дела. Почему так много неудачников? — снова и снова задаю я себе вопрос. Так много безвременных смертей, несчастных случаев, необъяснимых и жестоких? Так много пожаров, циклонов, губительных эпидемий? Почему так часто люди внезапно теряют здоровье или состояние — то вследствие какого-либо порока или преступления, то просто в результате преклонного возраста или упадка духа? Так много тех, кто уже ушел в небытие и ~~ни~~, ~~потерпев~~ крах, был предан забвению, и так мало

тех, кто завоевал высокое положение, к чему стремятся все, и теперь одинок в своем превосходстве? Почему, почему все это? — неустанно спрашиваю я себя. И я еще не нашел ответа ни в одном действующем своде наших моральных или этических правил, ни в одном религиозном учении.

А если вы зададите этот вопрос методисту или баптисту, пресвитерианцу или лютеранину, — или же любому представителю различных существующих в Америке сект, вы убедитесь (в наши дни это уже стало правилом без исключения), что все его представления о мире ограничиваются тем, чему его научили в школе или в церкви, да еще теми предрассудками, которыми пичкали его в родном городе. (В его родном городе! Великий боже!) И хотя мир накопил бесчисленные сокровища знаний в области химии, социологии, истории, философии, однако миллионы людей, которых мы видим на улицах и в магазинах, на шоссе и на проселочных дорогах, в поле и в домах, не имеют ни малейшего представления об этих сокровищах — вообще ни о чем, что может быть отнесено к так называемой «интеллектуальной сфере». Они живут различными теориями и доктринами, подчиняясь законам, установленным церковью, государством или общественным порядком, а законы эти ни в какой мере не ставят себе целью развитие естественных духовных запросов человека. Сзмая темная сторона демократии, так же как и автократии, в том, что она позволяет отдельным сильным личностям, если они достаточно беспринципны и коварны и вместе с тем обладают известным личным обаянием, толкать широкие массы не столько даже к непосредственной гибели, сколько к отказу от своих естественных прав и тех идеалов, которые они должны были бы исповедовать, если бы способны были размышлять, и в то же время позволяет притеснять, а в некоторых случаях даже истреблять тех, кому дороги подлинные духовные интересы нации. Вспомним Джордано Бруно! Савонаролу! Тома Пейна! Уолта Уитмена! Эдгара Аллана По!

В конце концов главное в жизни и главное в познании — это сама жизнь. Мы приходим в мир, как я это понимаю, не просто мечтать и произрастать; не мешает нам и поразмыслить немного над тем, что с нами здесь происходит, или хотя бы попытаться это сделать. А что-

бы прийти к каким-то самостоятельным выводам, мы имеем право, вопреки всем философам, доктринерам и попам, обращаться вглубь, к истокам познания, то есть — к видимому миру, к поступкам и мыслям людей, к явлениям природы, к ее физическим и химическим процессам. Именно это должно быть главным занятием человека в тех случаях, когда борьба за существование и умеренная доза развлечений или чувственных радостей не поглощают его времени целиком. Он должен стараться проникнуть в глубь вещей, познать то, что видит вокруг себя, — не отдельные явления, а все в целом, — и, стоя в центре этого исполненного противоречий неистового вихря, именуемого жизнью, доискиваться до смысла ее и назначения. Иначе зачем дан ему ум? Если бы кто-то открыл хотя бы сравнительно небольшой части людей эту возможность задуматься над жизнью и выработать свой индивидуальный взгляд на вещи или убедил их в необходимости это сделать, насколько свободней, независимей, интересней стало бы наше существование! Мы жалуемся, что жизнь скучна. Если это так, то причина в том, что мы еще не научились как следует мыслить. Но требовать от людей в массе, с их несовершенным, недостаточно развитым интеллектом, чтобы они мыслили, были личностями — да разве это возможно! С таким же успехом можно требовать от скалы, чтобы она сдвинулась с места, или от дерева, чтобы оно полетело.

У нас в Америке — стране, имеющей конституцию, построенную на отвлеченных идеалах и являющуюся скорее произведением искусства, нежели реально действующим законом, мы видим нацию, торжественно объявившую себя свободной в так называемом интеллектуальном и духовном смысле, фактически же ушедшую с головой в собирание, накапливание, распределение и использование чисто материальных благ. Несмотря на все громогласные заявления о нашей преданности высоким идеалам (заимствованным, кстати сказать, преимущественно у Англии), в мире не существует нации, чей философский, художественный и духовный вклад в дело развития человеческого интеллекта был бы столь ничтожен. Правда, мы изобрели немало различных вещей, которые должны освободить человека от непосильной тяжести изнурительного физического труда, и это, быть

может, и есть та единственная миссия, которую призвана выполнить Америка на земле и во вселенной,— ее назначение, ее конечная цель. Лично я считаю, что это не так уж плохо; подводная лодка, или самолет, или дредноут, или швейная машина, или жнейка, или хлопкоочистительная машина, или сноповязалка, или кассовый аппарат, или трамвай, или хотя бы телефон могут в конечном счете сыграть, а быть может, уже сыграли, не менее важную роль в раскрепощении человека от физического и духовного рабства, чем что-либо другое. Не знаю.

Знаю только, что Америка увязла во всем этом до такой степени, что другое ее уже не интересует. У американцев нет времени, а пожалуй, даже и желания, рассматривать жизнь в целом, с философской точки зрения или с точки зрения искусства. Но ведь в конце-то концов, когда все машины для облегчения труда человека будут изобретены и все возможные меры для продления его жизни приняты, а быть может, и парализованы теми силами, перед которыми бессильны все наши механические измышления,— разве строчка стихов, фраза, отрывок из давно забытой трагедии не окажутся тогда единственным, что останется от мира материальных вещей, которые представляются нам сейчас столь совершенными? Разве не одна только мысль пережила все другие прославленные и могучие творения человека, исчезнувшие навсегда,— мысль, донесенная чаще всего в произведениях искусства?

Однако не следует слишком далеко забираться в дебри отвлеченных рассуждений о высоком значении искусства как такового. Я в сущности хочу сказать только одно: в стране, которая так глубоко погрязла в прагматизме,— забыв о провозглашенном ею в конституции служении идеалам,— свободная мысль и искусство не могут не находиться в положении безусловно ненормальном. Торговец и монополист, то есть тот, кто явно задает сейчас тон в Америке, не имеет ни малейшего представления об основных умственных и духовных запросах человека, которые находят свое выражение в искусстве, да и нимало ими не интересуется. Если вы мне не верите, посмотрите вокруг и убедитесь, как расходуют прибыль от своих капиталов все самые богатые и влиятельные люди Америки. Неприветливые, безвкус-

ные дома, заполненные неприветливой и безвкусной старинной мебелью; сейфы, набитые ценными бумагами, — словом, лишь приобретение и накопление чисто материальных ценностей. Правда, в Америке существует около двух с половиной тысяч колледжей, школ и прочих учебных заведений всякого рода, опекаемых преимущественно американскими денежными тузами, и все эти учебные заведения ставят своей целью (так во всяком случае нам говорят) духовное развитие человека. Однако почти все они с железным упорством противятся всякому подлинно научному исследованию, всякой передовой мысли или новаторству, всякому истинному искусству. Сами педагоги так называемых высших учебных заведений вкупе с ректорами открыто заявляют, что истинная цель и сфера их деятельности — насаждение нравственности и патриотизма, а вовсе не передача знаний ради знаний, независимо от того, насколько они патриотичны.

В самом деле, вопреки американской конституции и пышным речам, произносимым по самым разнообразным поводам, любая обычная американская школа, любой колледж или университет столь же враждебен свободному развитию личности в подлинном значении этого слова, как всякая религия или секта. Им нужна не личность, им нужен механический слепок с какого-то не существующего в природе образца добродетелей, созданного то ли у нас в Америке, то ли еще где-то, в соответствии с канонами христианского учения или какой-либо другой религиозной догмы. Если вы со мной не согласны, ознакомьтесь с проспектом или обращением, в котором излагаются цели и принципы того или иного американского колледжа или университета. Ни одно из этих учебных заведений не стремится воспитать личность; они хотят вырастить по заданному наперед шаблону ряд или серию индивидуумов, похожих друг на друга и на них самих. Каков же этот шаблон? Вот, слушайте. Знакомый мне профессор одного из самых процветающих американских государственных университетов следующим образом отозвался о студентах, из года в год кончавших на его глазах это учебное заведение: «Они могут вполне удовлетворительно, наподобие машин, производить различные материальные блага и пользоваться теми или иными профессиональными на-

выками,— на это они пригодны; однако не ждите от них ни живой самостоятельной мысли, ни творческих дерзаний, ни естественных человеческих страстей и порывов. Все они на один лад — не люди, а машины, созданные по образцам и маркам своего колледжа. Они не мыслят; они не способны на это, потому что скованы по рукам и ногам железными кандалами условностей. Они боятся думать. Все это — нравственные юноши, богобоязненные, образцовые, но они не люди, ибо ничего не создают, и подавляющее большинство из них будет изо дня в день тянуть лямку в каком-нибудь акционерном обществе, если случай или необходимость не рассеет косных теорий и предрассудков, навязанных им воспитанием и средой, и не превратит их в свободных, независимых, самостоятельно мыслящих людей».

В связи с этим я считаю уместным упомянуть об одном американском колледже — весьма привилегированном учебном заведении, — из стен которого со дня его основания было выпущено в свет немало питомцев; всем им предстояло бороться на свой страх и риск с жизнью, чтобы добиться высокого положения или, на худой конец, скромного достатка. Предполагается, что все это — личности, способные самостоятельно мыслить и действовать, свободно развиваться и созидать. Однако никто из них не занялся подлинно творческой работой в какой-либо области. Никто. (Если вас интересует, о каком колледже идет речь, напишите, я вам сообщу.) Ни одна из них не сделалась более или менее заметным химиком или физиологом, ботаником или историком, философом или художником. Ни одна. Все они работают секретарями в акционерных компаниях, библиотекарями в колледжах, занимаются педагогической или миссионерской деятельностью, наконец выступают в роли «просветителей» во всех разнообразных смыслах, не всегда по праву присвоенных этому слову, которым так любят злоупотреблять. Некоторые из них стали хранителями музеев, директорами, надзирателями. Они не являются личностями в подлинном смысле этого слова. Их не обучили мыслить, они не свободны. Они не избрывают, никого не ведут за собой, ничего не создают; они либо копируют что-то, сделанное другими, либо что-то оберегают. Однако все они — питомцы вышеупо-

мянутого колледжа и сторонницы проповедуемых в нем идей, в большинстве своем ультракосных или, еще хуже, мертворожденных. Они рады носить свою мантию и побрякивать цепями навязанных им принципов и идеалов; они — автоматы, занявшие отведенное им место в той социальной системе, которая со всеми подробностями была преподана им в аудиториях их *alma mater*. Таково одно из проявлений свободы личности в Америке, довольно занятное на мой взгляд.

Но все это лишь деталь общей картины или хроники интеллектуальной жизни Соединенных Штатов Америки. Обратимся теперь, если хотите, к сфере законодательства и юриспруденции, то есть к тем высоким сферам, в которых, как принято думать, действуют лишь государственные мужи и ученые законники — специалисты по экономическим и социальным вопросам. Что же мы там увидим?

Еще в 1875 году Эрнст Геккель, известный немецкий ученый, жаловался, что современные ему судьи и законодатели Германии обладают «лишь самыми поверхностными представлениями о столь важном и своеобразном объекте их деятельности, как человеческий организм и человеческий интеллект», и что у них решительно ни на что не хватает времени, кроме «упражнений в благородном искусстве фехтования да самого пристального изучения различных сортов вина и пива». Если таков был отзыв об интеллектуальной Германии тех дней, то что же можно сказать о юристе и законодателе современной Америки? Его деятельность! Грязная неразбериха, в которую финансовая и торговая конкуренция превращает наши законы и наши законодательные органы! А интеллектуальный уровень любого рядового политика! А деятельность его приспешников — законодателя и судьи, превратившихся в мальчиков на побегушках у крупных финансистов и в покорных исполнителей религиозно-нравственных, а следовательно, чисто произвольных установлений! А каких жалких невежд видим мы на каждом шагу среди тех, кто издает законы для народа или толкует уже существующие! Геккель с горечью писал об этих вершителях суда и закона в его дни: «Едва ли кто-нибудь скажет, что они стоят на уровне современного прогрессивного познания мира». Но теперь, пятьдесят лет спустя, в Америке не прохо-

дит недели без того, чтобы не был опубликован тот или иной указ или судебное решение, узнав о котором мыслящий человек может только вздохнуть. Посмотрите, как рабски исполняется воля заинтересованных, но совершенно некомпетентных лиц, диктующих финансовые мероприятия, моральные и религиозные правила; как наши политики, законодатели и так называемые государственные деятели и судьи мечутся туда-сюда в зависимости от того, что сейчас от них требуется, чтобы на какое-то время удовлетворить или усыпить общественное мнение и сохранить за собой свои тепленькие местечки; как глубоко невежество любого конгрессмена, сенатора, законодателя, судьи или адвоката в самых элементарных вопросах биологии, психологии, социологии, экономики или истории! Вот, например, один наш президент, Теодор Рузвельт, признался, что никак не может разобраться в экономических проблемах. Однако стоит только рядовому студенту, изучающему право в одном из наших колледжей, вызубрить наизусть несколько сот параграфов, и он уже готов предложить свои услуги ближайшей организации, готов писать указы для народа, прибавлять к своей фамилии титул «достопочтенный», словом, готов приняться за дело в качестве судьи или государственного деятеля.

С другой стороны и вопреки всем этим фактам, ни одна страна в мире, насколько мне известно, не проявляет такого необычайного, такого яростного упорства в своем стремлении применять десять заповедей на деле. Наша вера в эти религиозные догмы была бы просто смешна, если бы не была так печальна. Я никак не могу понять — порождено ли это фанатизмом пуритан, высадившихся на Плимут-Рок, или природой самой страны (что сомнительно, если вспомнить индейцев, живших здесь до прихода белых), или духом нашей федеральной конституции, творцами которой были такие идеалисты, как Пейн, Джефферсон, Франклин и их предшественники — все в известной мере религиозные мечтатели от политики. Несомненно только, что ни французы в Канаде, ни голландцы в Нью-Йорке, ни шведы в Нью-Джерси, ни смешанное англо-французское население крайнего Юга и Нового Орлеана не отличались столь крайним идеализмом в вопросах нравственности.

Первый корабль с белыми женщинами, причаливший к берегам Америки, распродал свой живой груз чуть ли не на вес. Женщин высадили в Джеймстауне. Основой всех крупных состояний, заложенных в Америке, был подкуп — приобретение огромных концессий на континенте за взятки. История наших отношений с американскими индейцами достаточно ярко характеризует финансовую «добропорядочность» и прочие моральные качества первых белых поселенцев этой страны. Мы развращали местное население, потом грабили его и истребляли. Вот единственный вывод, который можно сделать из фактов, рисующих наши взаимоотношения с индейцами так, как они изложены в исторических трудах, достойных этого наименования. Что касается дальнейшего освоения страны, строительства каналов, железных дорог и многочисленных предприятий, обслуживающих наши повседневные нужды, то их история — это нагромождение грабежей, лжесвидетельств, клятвопреступлений, вымогательств, словом, любых преступлений, на которые могут толкнуть человека алчность, корысть, честолюбие. Если вы мне не верите, ознакомьтесь с деятельностью комиссий конгресса, которые, с тех пор как создано наше правительство, в среднем каждые полгода проводят всевозможные расследования, и вы сами в этом убедитесь. Мы, американцы, по своей изворотливости и неразборчивости в средствах можем поспорить с любой нацией в мире, не исключая даже англичан.

Не странно ли, однако, что эти финансовые и социальные преступления так легко уживаются у нас — по крайней мере в теории — с таким ханжеством в вопросах религии и пола, что этому трудно было бы поверить, не будь это вполне достоверно. Я не хочу сказать, что грабители и воры, которые немало потрудились над созданием наших многочисленных коммерческих и общественных предприятий, сами непременно отличались благочестием или пуританским целомудрием (хотя они очень часто старались производить такое впечатление), однако я решительно утверждаю, что в тех самых городах, штатах и государстве, где они расхищали и грабили, принято — всем вместе и врозь — в каждой строчке, в каждой фразе кричать о своей пресловутой нравственности. Почему? Мне кажется, что именно американец англосаксонского происхождения больше всех ратовал за

религию и мораль как в печати, так и с трибуны, а вместе с тем, или, быть может, именно вследствие этого, не видел и не желал видеть, насколько его повседневные и вполне естественные для человека поступки противоречат его словам. Был ли он лицемером? Остался ли он им?

Американцы, независимо от происхождения, ни в моральном, ни в умственном отношении (если не касаться, впрочем, нашего умения наживать капитал и создавать материальные ценности) ничуть не лучше других людей, населяющих землю, будь то турки, китайцы или индийцы, однако по какой-то странной причине мы мним себя выше других. По существу же разница только в том, что наши предки, оказавшись, в силу не зависящих от них условий, изгнанниками, на свое счастье попали в страну молочных рек и кисельных берегов. Природа Америки была (да и по сей день остается) добра к одинокому чужестранцу, прибывшему сюда в поисках средств к существованию, а он, как видно, не замедлил приписать это трем вещам: во-первых — своей врожденной способности распоряжаться и управлять богатством; во-вторых — особому благоволению к нему господ бога; в-третьих — своей нравственности и своему превосходству над другими людьми (простояющему, разумеется, из обладания богатством). Эта уверенность, поколебать которую еще не представилось случая ни крупному финансовому потрясению, ни какому-либо стихийному бедствию или социальной катастрофе, помогает американцу пребывать в состоянии высокоромантического самообмана. Он продолжает считать себя в нравственном и интеллектуальном отношении существом высшего порядка, неизмеримо более совершенным, чем остальные представители человеческой породы, населяющие другие страны, и разве что какая-нибудь финансовая катастрофа, которая разразится в связи с ростом народонаселения и истощением материальных ресурсов, убедит его в том, что он не прав. Нет сомнения все же, что рано или поздно он в этом убедится. Можете быть спокойным. Предоставим это природе.

Отношение к женщине, особенно в вопросах ее нравственности, ее чистоты, — наиболее примечательная черта нашего пуританства или фарисейства. Я не знаю народа, который бы так выпренне культивировал эроти-

ку, как американцы. Быть может, под влиянием легенды о непорочном зачатии (создав себе идола в образе девы Марии) наш добрый американец, способный совершать те грязные финансовые преступления, о которых упоминалось выше, ухитряется вместе с тем смотреть на женщин, особенно на тех, что занимают более высокое, чем он, положение в обществе, как на неземных, ангельских созданий, обладающих добродетелями, не свойственными ни одному живому существу — мужчине, ребенку или животному. Не важно, что в нашей стране, как и во всякой другой, царят обыкновенные земные страсти, что в наших городах и селениях целые, порой довольно обширные, кварталы населены жрицами Эроса и Венеры. Американец, способствуя процветанию домов терпимости, делает вид, что не знает об их существовании или об их назначении. Он сам, его приятели, его сыновья бывают там, но...

Только такая духовно однобокая натура, как англосакс, может исповедовать столь нелепые воззрения. Казалось бы, у нас должно хватить смелости назвать вещи своими именами или хотя бы поменьше кричать о нашей неземной добродетели. Ну, нет. Чистота, святость, самоотречение, кротость американских женщин... все эти совершенства так преувеличиваются, ими так прожужжали нам уши, что теперь любой заурядный пошляк, который способен пойти в публичный дом или взять себе женщину с улицы, вместе с тем имеет какое-то очень извращенное понятие о том, что представляет собой эта женщина; она для него не менее загадочное существо, чем какой-нибудь дикарь африканских дебрей, которого он никогда в жизни не видел. Принцесса, богиня, непорочная мать или созидательное начало... венец всех добродетелей, всех совершенств... никаких пороков, никаких слабостей, никаких заблуждений — из такой вот белиберды составляются представления среднего англосакса, или во всяком случае среднего американца, о средней американской женщине. Я не хочу сказать, что в этом иллюзорном облике нет ничего положительного, однако он слишком хорош, чтобы быть реальным, — это отвлеченная схема, миф! В действительности таких женщин, каких рисует себе рядовой американец, не существует вовсе. Женщина такое же двуногое млекопитающее, как и остальные представители человеческой

породы, однако в результате вышеозначенной иллюзии самое понятие пола в применении к женщине становится недопустимым, ибо оно разрушает миф. Правда, мы появляемся на свет далеко не изысканным способом (зачатые в беззаконии и рожденные во грехе, как говорится в библии), однако уже давно принято приукрашать это обстоятельство или закрывать на него глаза, и, для того чтобы завуалировать насколько возможно его грубую сущность, мужчина обязан ни в делах своих, ни в помышлениях не допускать ничего греховного, избегать всяких нескромных мыслей о женщинах, и даже более того — никогда не затрагивать этой темы публично: ни в речах, ни на страницах печати.

Все это мало-помалу привело к тому, что теперь уже считается не только грехом, но и позором, недопустимым нарушением нравственных устоев изображать женщину — особенно в печатных произведениях или в публичных речах — иначе, как в виде вышеупомянутого идеала. Женщины настолько чисты, а плотские отношения настолько отвратительны, что связывать одно с другим даже в мыслях недопустимо. Предполагается, что между ними не существует никакой связи. Мы должны жить в мире иллюзий или миража, мы должны попирать факты ногами и под видом развития так называемых лучших сторон своей природы давать волю пустой фантазии. Можно ли сомневаться в том, какое притупляющее влияние оказывает все это на наши творческие способности? И тем не менее именно таково сейчас наше отношение к женщинам и к вопросам пола, и именно этим и объясняется во многом то, что происходит у нас в общественной жизни, в литературе и в искусстве. Представьте себе, что пуританин или моралист вздумает создать что-то в области искусства, которое в свою очередь есть не что иное, как правдивое отражение — интеллектуальное и эмоциональное — глубокого творческого восприятия жизни. Только представьте себе! И сравните интеллектуальную или художественную ограниченность его творений с той свободой и трезвостью суждений, которые проявляются у нас в области коммерции, финансов или земледелия. В практической жизни мы хладнокровны, скептически, уравновешенны, сметливы, рассудительны и, следовательно, неплохо подготовлены к такого рода деятельности. В интеллектуаль-

ной жизни мы отличаемся набожностью, доктринерством, духовной пустотой. В итоге американцы, за исключением отдельных личностей, которые появляются вопреки любым неблагоприятным условиям (и на которых всегда будут косо смотреть), не способны познать, а еще того менее — изобразить жизнь, как она есть. В искусстве, в философии, в умственной жизни — мы немощны: в области финансов и во всех областях коммерческой деятельности — мы преуспеваем. Мы развивались столь однобоко, что в этом отношении стали чуть ли не великанами. Неправдоподобные, почти мифические характеры сложились у нас в результате этого процесса: появились люди, до такой степени лишенные гармоничности, свойственной человеческой натуре, что они похожи на чудовищ — на уродливую гримасу алчности. Я имею в виду Рокфеллера, Гулда, Сейджа, Вандербильта-старшего, К. К. Роджерса, Карнеги, Фрика.

Мне кажется, что Америку лучше всего можно представить себе как царство шекспировского ткача Основы. А Основа, на мой взгляд, — это делец, наживший состояние усердной торговлей румянами или пудрой, молотилками или углем и оказавшийся вследствие этого, а также вследствие случайно выпавших на его долю привилегий, предоставляемых демократией, в положении советчика и даже диктатора, призванного решать вопросы, которые не только не всегда ему по плечу, но в которых он чаще всего ничего не смыслит, как, например, вопросы искусства, науки, философии, морали и общественных отношений. Вы помните, конечно, Основу из «Сна в летнюю ночь»? Основу, который не подозревал, что у него ослиные уши и что он не может изображать льва, ибо для этого недостаточно уметь рычать. У нас, в Америке, он восседает теперь на троне в роли льва и является в каком-то смысле олицетворением англосаксонского характера. Основа чрезвычайно высокого мнения о себе. Он ни на секунду не подозревает о своих ослиных ушах и о том, как мало он пригоден для роли льва или, называя вещи своими именами, — для искусства. В сущности он просто невежественный ткач, превращенный «волшебством сна», некоей грезой, именуемой Конституция, в рыкающего льва... в своем собственном воображении. Никто не смеет сказать, что это не так; такой человек будет изгнан из страны, выслан или сослан. Ни-

кто не смеет понимать искусство иначе, чем понимает его Основа. А если вы осмелились,— раз, два, и его прихвостень Комсток вместе со всей своей братией живо упрячет вас за решетку. Люди, попадающие к нам из чужих земель (Англия не в счет), бывают поражены ослиными ушами Основы и его притязаниями на роль льва. В действительности же он просто воплощает в себе англосаксонскую натуру. Он убежден, что свобода существует не для Оберона или Душистого Горошка, не для Паутинки или Горчичного Зернышка, а для епископов, представителей власти, оптовых торговцев и для тех, кто нажил огромные состояния, изготавливая томатные консервы или торгуя нефтью. Основа мечтает о том, чтобы у нас у всех отросли длинные ослиные уши и чтобы мы поверили, будто он величайший актер на свете. Он недоволен миром, исполняющим роль Пирама не так, как бы ему хотелось. Айва, Миляга, Дудка, Рыло и Заморыш (вся компания, что явилась вместе с ним на корабле «Мейфлауер») признают его великим актером, но, увы, есть другие, и Основа убежден, что эти другие неправы, когда они пытаются разрушить грезу под названием Американская Конституция, принесшую ему это «волшебство сна» и превратившую его в льва с «восхитительно волосатой мордой» и длинными ушами.

Горе, горе искусству в Америке! Ему предстоит мотыжить твердую, неподатливую землю.

Но я в споре с Америкой не потому, что жизнь здесь течет в деловой, деятельной обстановке, способствующей коммерции, а потому, что только этим все и ограничивается и Америка все больше и больше становится нудной, рутинерской, ханжеской страной — миром практицизма, еще более скучным, чем ее названная мать — высокочтимая Англия. Если только внешние признаки нас не обманывают, мы скатываемся прямо в объятия олигархии торгашей, интеллектуальные мерила которых во всем, что выходит за пределы торговли, отличаются такой узостью, что о них едва ли стоит даже говорить. Посмотрите хотя бы, что случилось под владичеством коммерции с нашим знаменем, оплотом наших священных свобод и духовной независимости — с американскими газетами! Загляните в них. У меня нет сейчас возможности разобрать пункт за пунктом многочисленные и в большинстве случаев вполне обоснованные

обвинения, которые им предъявляются, — припомните сами, что изо дня в день читаете вы в своей газете. Если вы занимаетесь коммерцией, я спрошу вас: разбирается ли газета, которую вы выписываете, в вопросах торговли? В какой мере можете вы положиться на ее знания или правильность ее суждений? Если вы принадлежите к той или иной профессии, часто ли находите вы в вашей газете вполне достоверные сообщения из интересующей вас области? Если газета публикует мнение или официальное заявление какого-либо специалиста по какому-то важному специальному вопросу, доверитесь ли вы ему целиком без всякой дополнительной проверки?

Вы любите театр; верите ли вы тому, что пишут театральные критики? Вы изучаете литературу; согласны ли вы с высказываниями рецензентов, более того — интересуется ли вас их мнение? Вы художник или ценитель искусства; станете ли вы искать в газетах чего-нибудь, кроме простой информации — адресов выставок и т. п.? Сомневаюсь. Что же касается политики, финансов, общественных движений и общественной жизни, то тут вы, верно, согласитесь со мной, что мир еще не знал советчика более пристрастного, злобного, всячески затемняющего и искажающего истину, нежели газета. Все интеллигентные и образованные люди давно уже перестали воспринимать газетные передовицы иначе, как пустую или напыщенную болтовню наемных пособников торгашей, или, еще того хуже, — обыкновенных невежд. Журналист или ничего не знает, или ничего не умеет. Издатель очень этому рад и пользуется недостатком его знаний или способностей в своих интересах. Политики, государственные деятели, владельцы универсальных магазинов, крупные финансисты и прочие влиятельные личности контролируют газеты, используют их в своих интересах, заставляют плясать под свою дудку. Мои слова звучат как суровый приговор всей нашей прессе, но разве это не правда — все от слова до слова?

Вернемся снова к религиозным и коммерческим организациям Америки, которых у нас такое множество и которые распространяют свое влияние чуть ли не на всю нашу жизнь. Какое отношение имеют они к свободному духовному развитию человека, к подлинному пониманию искусства или жизни, ее сущности, ее развития, поэтических или трагических ее сторон? Можете ли вы

ждать от методистов или баптистов, от католиков или пресвитериан, чтобы они хоть чем-то содействовали свободному развитию личности, или независимости мысли, или прямоте суждений, или искусству? Разве не требуют они от всех своих последователей отказа от такой свободы во имя завета или заповеди, провозглашенных легендарным, неисторическим, вымышленным лицом, которое якобы правит нашим миром? Подумайте об этом! А ведь эти организации весьма деятельны, они влияют на правительство,— на нынешнее правительство, чтобы быть совершенно точным,— подчиняют его своему контролю, хотя оно как будто призвано охранять свободу личности,— и при этом не только в так называемых вопросах совести, но и во всех проявлениях творческой мысли и искусства.

А наши крупные акционерные компании во главе с так называемыми магнатами индустрии, которые заправляют всем? Какова их роль в таких вопросах, как свобода личности, право человека самостоятельно мыслить, духовно расти? Возьмем, к примеру, хотя бы Табачный трест, Нефтяной трест, Молочный трест, Угольный трест — в какой мере могут они, по-вашему, содействовать нашему духовному росту? Может быть, они действительно стремятся к установлению более высоких этических принципов, более широких исторических и философских концепций, более тонкого понимания искусства? Или они повседневно и неустанно заняты конкуренцией в ее самых неприкрытых и грубых формах и накоплением капитала, который потом частично высосут из них различные псевдознатоки и собиратели произведений искусства или торговцы старинными фолиантами и так называемыми древностями? Что знают они по-настоящему о жизни, о достижениях человеческого гения? Тем не менее это — демократия. Предполагается, что у нас, как ни в одной другой части света, человеку дана возможность и даже вменено в обязанность всеми доступными ему средствами добиваться духовного совершенствования и материального благополучия. Но уж если говорить об искусстве и интеллектуальном развитии личности, то вся беда нашей демократии в том, что даже самодержавие с его кастой титулованных бездельников сткрывает бóльший простор хотя бы для немногих избранных, желающих посвятить свой досуг искусству,

а потому там имеется некое ядро или группа лиц, которые покровительствуют искусству, стремятся утвердить за ним, как и за литературой, его неотъемлемые права, отводят свободной человеческой мысли подобающее ей высокое место. Я не утверждаю, что наша демократия не породит когда-нибудь такого ядра или группы. Я верю, что она способна и сумеет это сделать. Вполне возможно, что со временем она докажет свое превосходство над любой формой наследственной автократии. Но я говорю о состоянии искусства, общественных отношений и интеллектуального развития в Америке в наши дни.

Мне хочется и смеяться и плакать, когда я об этом думаю: сто двадцать миллионов американцев, баснословно богатых (многие из них во всяком случае), и почти ни одного поэта, прозаика, певца, актера, музыканта, о котором стоило бы упомянуть. Сто сорок лет (почти двести даже, если считать и колониальный период) страна развивалась при самых благоприятных общественных условиях, какие только можно себе вообразить: великолепная плодородная почва; неисчислимые залежи золота, серебра, драгоценных металлов и полезных ископаемых, запасы топлива всякого рода; природа, изумляющая своим богатством, своими горами, реками, своими зелеными долинами; могучие силы ее, обогащающие человека; и, наконец, огромные города и широкие возможности для передвижения и торговли. И что же? Артисты, поэты, мыслители — где они? Породила ли эта страна хоть одного крупного философа — Спенсера, Ницше, Шопенгауэра, Канта? Кажется, кто-то хочет поставить с ними вровень Эмерсона? Или, может быть, Джеймса? Породила ли она хоть одного историка, не уступающего по силе Маколею, или Гроту, или Гиббону? Хоть одного писателя, которого можно было бы упомянуть наряду с Тургеневым, Мопассаном, Флобером? Ученого типа Крукса, Рентгена или Пастера? Критика такой глубины и силы, как Тэн, Сент-Бев или Гонкуры? Драматурга, равного Ибсену, Чехову, Шоу, Гауптману, Брийе? Актера — после Бутса — равного Коклену, или Зонненталю, или Форбс-Робертсону, или Сарре Бернар? После Уитмена у нас был только один поэт — Эдгар Ли Мастерс. В живописи — Уистлер, Иннес, Сарджент. Кто же еще? (А двое из них навсегда покинули наши берега.) Изобретатели? Да; их можно насчитать

сотни, быть может, даже тысячи. И некоторые из них поистине замечательны, имена их завоевали мировую известность и останутся в веках. Но имеют ли они хоть какое-нибудь отношение к искусству, к подлинной свободе человеческой мысли?

Наиболее примечательным и, на мой взгляд, наиболее тревожным явлением в общественной жизни современной Америки следует считать распространение еще более узких и еще более пуританских воззрений, чем даже те, что укоренились в прошлом. Меня не перестают приводить в изумление тысячи мужчин, чрезвычайно способных в области механики или в каких-либо других узкотехнических областях, но обладающих вместе с тем мышлением ребенка во всем, что касается отвлеченных философских проблем. Мы, как нация, с полной наивностью принимаем на веру самые невероятные вещи. Я имею в виду не только основные догматы всех религий, которые в сущности ни на чем не основаны и которые тем не менее безоговорочно принимаются миллионами американцев, как и наиболее угнетенными классами других стран, но я думаю еще и о тех суровых истинах, которым учит нас сама жизнь: я думаю о неустойчивости человеческой природы, о беспощадных ударах судьбы, разрушающих все наши самые светлые мечты, о том, что человек в целом не плох и не хорош, а соединяет в себе и то и другое. Американец вследствие какой-то странной шутки, которую сыграл с ним, по-видимому, атавизм, заимствовал или унаследовал от английского мелкобуржуазного пуританства все его вздорные представления о возможности исправления человеческой природы путем указа или декрета — то есть того священного писания, без которого не обходится ни одна религия. И вот, хотя нам удалось с помощью самых грубых и жестоких средств построить одну из наиболее примечательных деспотических олигархий мира, однако мы совершенно не отдаем себе в этом отчета.

По мнению не привыкшего мыслить американца, все люди по-прежнему свободны и равны. Они от рождения наделены какими-то неотъемлемыми правами, хотя, если вы попытаетесь установить, в чем состоят эти права, никто на свете не сможет вам этого объяснить. Жизнь у нас, так же как и везде, сводится в конечном счете к крайне грубым проявлениям законов природы. Богатый

притесняет бедного на каждом шагу; бедный защищается и всеми средствами, какие диктует ему тяжелая необходимость, борется за существование. Никакие неотъемлемые права человека не могут воспрепятствовать неуклонному вздорожанию жизни, в то время как заработная плата наших идилически настроенных американцев почти никогда не повышается. Никакие неотъемлемые права ни разу еще не помешали сильным запугивать или обманывать слабых. И хотя мало-помалу средний американец начинает все отчетливее постигать, какая острая борьба за существование идет вокруг него, его вера в нелепые идеалы остается неизменной. Господь бог спасет доброго американца и посадит его одесную на Золотом Престоле.

И вот наш наивный американец, присваивая и подавляя со всею грубостью своих природных инстинктов, в то же самое время пишет восторженные пошлости насчет братской любви, добродетели, нравственности, истины и прочее и тому подобное. И обе эти стороны его натуры, в зависимости от обстоятельств, находят отчасти свое выражение в неустанном стремлении всех американцев искоренять и улучшать. Ни одна страна в мире, не исключая даже Англии — прародительницы всех самых нелепых реформ, — не проявляет такой изобретательности в различных бессмысленных начинаниях, как наше отечество. У нас проводились поочередно кампании по обращению атеистов, по исправлению алкоголиков, развратников, падших женщин, финансовых громил, наркоманов, танцовщиц, театралов, читателей романов, декольтированных женщин и женщин, злоупотребляющих ношением драгоценностей, — словом, мы обрушивались на каждую слабость и каждое пристрастие, как только они начинали проявляться с недюжинной, а потому интересной с точки зрения человеческого характера, силой. В основе всех этих мероприятий лежит такая идея: человек, чтобы достичь совершенства, должен быть бесцветным, худосочным созданием, не способным ни на какой проступок или порок. А бурные воды житейского моря кипят вокруг, и грохот их отдается у него в ушах! Вор, развратник, пьяница, падшая женщина, стяжатель, честолюбец чредой проходят мимо его порога, как было во все времена, и сколько бы ни предпринималось походов во имя их спасения, число их

никогда не уменьшается. Другими словами, человеческая натура всегда остается человеческой натурой, но нас, американцев, невозможно в этом убедить.

Я не в ладах с Америкой потому, что она не в ладах с независимой мыслью. Мне больно видеть, как наши так называемые реформаторы, словно новоиспеченные Дон Кихоты, сражаются с ветряными мельницами фактов. Нам не разрешается иметь картины, кроме тех, что получили одобрение наших пуритан и рутинеров. Нам запрещаются спектакли, фильмы, книги, выставки любого сорта, даже публичные речи, которые в чем-то противоречат их ограниченному кругозору. Наконец мы сподобились даже иметь президента, которому предписывалось не вести больше войн! Несколько лет назад был предан анафеме простой трактирщик, и собственность его подверглась уничтожению посредством топора, факела и ручной гранаты. А позже, с ростом городов, стали на каждом шагу появляться целые кварталы, посвященные культуре Венеры. Но вот родился новый крестоносец — Каратель Греха, и нашим взорам предстают толпы выгнанных на улицу женщин, которые прежде населяли эти кварталы, а теперь вынуждены промышлять в одиночку. Затем появляется м-р Комсток, непоколебимый, мстительный и с таким пристрастием и нюхом ко всему нечестивому и эротическому, какими не обладал до него еще ни один смертный. Картины, книги, театр, танцы, мастерские художников — ничто не ускользает от его бдительного ока. Сей господин благодаря своим тупым нападкам на то, в чем он ничего не смыслил, был на протяжении двадцати — тридцати лет своей деятельности в качестве государственного инспектора министерства почт Соединенных Штатов Америки в центре внимания всей общественности, чего, собственно, он и жаждал. Сегодня под удар попадали творения Бальзака или Мопассана, завтра — роман Д'Аннунцио, обнаруженный в полумраке какой-нибудь убогой букинистической лавчонки. Бедного фотографа, рискнувшего сфотографировать обнаженное тело; живописца, позволившего своему преклонению перед Рафаэлем завести его слишком далеко; поэта, сделавшего попытку воскресить Дон Жуана в современных ямбах, немедленно хватали и тащили в суд, где невежественный судья признавал его виновным в нарушении закона и приговаривал

к соответствующему штрафу. И все это повторяется снова и снова и со все большим пылом.

Затем настал день вооруженного похода против белых рабынь, и теперь в Америке не сыщется ни одного города, ни одного самого захолустного поселка, где бы не существовало тех или иных организаций по борьбе с пороком или, на самый худой конец, местного представителя или агента этих организаций, на обязанности которого лежит следить за тем, чтобы искусство, литература, печать и частная жизнь вверенных его попечению лиц соответствовали тому идеальному образцу, который только крайне тупоголовые люди могли измыслить. Когда ярость борьбы с белыми рабынями достигла белого каления, ее идейные основы нашли свое выражение в следующих фактах: все пьесы, в которых автор позволил себе слишком ярко обрисовать характер преступления, подверглись разгрому, а те пьесы, которые апеллировали только к рассудку самих вдохновителей этого похода, были разрешены. В итоге мы были свидетелями того, как по всей стране в битком набитых кинозалах демонстрировался нецензурный, но тем не менее получивший разрешение многометражный фильм, с такими подробностями изображавший сей преступный промысел и самые замысловатые способы поощрения белых рабынь, каких невозможно было обнаружить ни в одном современном произведении; а в это же самое время две куда более интересные в художественном отношении, но не дававшие такой исчерпывающей информации пьесы успешно изгонялись из одного города за другим и в конце концов вовсе исчезли со сцены.

Шекспир был также с позором изгнан из многих школ Соединенных Штатов Америки. В Чикаго разгромили постановку «Антония и Клеопатры». Японские гравюры большой художественной ценности, предназначенные для хранения в частной коллекции, были конфискованы и наиболее совершенные из них уничтожены. Один за другим подверглись нападкам: художественной работы фонтан в Нью-Йорке с изображением Генриха Гейне; передвижные выставки картин в Денвере, Канзас-Сити и других городах; произведения Стивенсона, Джеймса Лейн Аллена, Фрэнсиса Х. Бэрнетта. И если на последних обрушилась лишь аллегорическая дубинка закона, то первый погиб под самым обыкновенным уве-

систым топором. Один известный и не лишенный дарования танцовщик подвергся публичному нападению со стороны карателей порока... за бесстыдное выставление напоказ своего тела! Ни одна пьеса, ни одно художественное полотно, ни одна книга, ни одно общественное или частное празднество не застраховано теперь от нападков, если оно признано порочным.

На мой взгляд, все это — явное проявление тупоумия и свидетельствует лишь о том, как низко пали мы в интеллектуальном отношении. Но хуже всего, когда такие тенденции начинают проявляться и в области серьезной литературы. В Нью-Йорке были и продолжают иметь место попытки подлинно террористических актов. Издателю фрейдовского «Леонардо» — книги, единственный порок которой в том, что она умна и правдива, — пригрозили судебным преследованием, если он выпустит ее в свет. Роман Пшебышевского «Номо Сарипс»¹, который никак нельзя считать порнографическим произведением, был конфискован, едва только он появился на прилавке, а издателей угрозами заставили изъять весь тираж из обращения. Та же судьба постигла и «Агарь Ревелли», и «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», и «Сафо», и «Джуда Незаметного», и «Высокочтимую леди», и «Лето в Аркадии», и многие другие произведения. Вообразите себе только — изъять такую книгу, как «Лето в Аркадии», из публичных библиотек! Был наложен запрет даже на «Половой вопрос» Фореля и, разумеется, на все произведения Крафт-Эббинга. (А чтобы приобрести книгу Фрейда или Элиса, нужно теперь иметь предписание врача — так сказать, получить своего рода рецепт на лекарство для души или ума.) Подумать только — книги такого ученого, как Фрейд!

Подобного рода посягательство на серьезную литературу и науку представляется мне самым вредоносным видом слезки, какой только мог измыслить человеческий разум. Им измеряется глубина нашего невежества и нетерпимости. Если не положить этому конец, мы задушим в зародыше всякую инициативу, всякую живую мысль. Жизнь — это прежде всего то, что нужно наблюдать, изучать, истолковывать. Наши познания о ней

¹ «Человек разумный» (лат.).

не могут быть чрезмерны, так как мы пока еще ровно ничего о ней не знаем. Перед нами огромная область, которую нам предстоит изучить. Предоставим художнику свободу, и тогда мы сможем довериться ему — правильности его наблюдений, умению обобщать и передавать накопленные людьми познания в наиболее выразительной форме. Человек будет продолжать свои поиски и обретет то, что ему нужно, вопреки всем карателям на свете. Никто не читает по принуждению, напротив — за это еще приходится платить. Более того, человек должен обладать врожденным вкусом, чтобы сделать правильный выбор, умом и сердцем, чтобы понять. И когда эти качества будут стоять на страже и каждая страна даст достаточное количество критиков, способных правильно оценивать, порицать или хвалить, — к чему нам тогда цензор или десятки цензоров? Ведь любой из них менее пригоден для своей роли, чем хороший критик, однако стремится навязать нам свои личные пристрастия и предубеждения, а если мы с ними не согласны, тащит нас в суд.

Что касается меня, то я протестую. Это насилие над настоящим искусством, мыслью и умами я считаю преступлением. Я боюсь, что Америка окончательно падет в интеллектуальном смысле, — ведь, сказать по совести, мы и так уже стоим не слишком высоко по сравнению с остальным миром. А тут еще, словно осиный рой, налетают цензоры, чтобы совсем доконать искусство и литературу, которые почти утратили уже способность сопротивляться. По, Готорн, Уитмен и Торо поочередно подвергались насмешкам и глумлению со стороны невежественных американцев, пока мы сами не сделали посмешищем в глазах всего мира. К чему все это приведет? Когда выйдем мы, наконец, из пеленок, в которых держат нас нелепые предрассудки пуритан и их невежественных последователей, и станем взрослыми свободомыслящими людьми? Я думаю, что жизнь познается из книг и произведений искусства, быть может, еще в большей мере, чем из самой жизни. Искусство — это нектар души, собранный в трудах и муках. Позволим ли мы тупицам, эгоистам и честолюбцам закрыть доступ к этому роднику для нашего пытливого ума?

Сб. «Бей, барабан!», 1920 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я против всякого конфликта с Советским Союзом, от кого бы он ни исходил. Я считаю, что Советская Россия и экономически и политически уже теперь в состоянии конкурировать с западным капитализмом, а в будущем — возможно, уже в близком будущем — окажется сильнее его. Правда, до настоящего времени капитализм играл важную роль в развитии Соединенных Штатов, но некоторые признаки указывают, что он превращается в олигархию, где все подчинено интересам банков, которые выполняют только административные функции, но ничего не создают, стремясь лишь утвердить власть финансовых династий, готовых заменить недавно уничтоженные королевские фамилии.

1930 г.

ПОЧЕМУ Я СЧИТАЮ, ЧТО «ДЕЙЛИ УОРКЕР» ДОЛЖНА СУЩЕСТВОВАТЬ

Я очерчу вкратце основные политические течения нашей страны, остановлюсь на доктринах, представляемых «Дейли уоркер», и укажу, почему я считаю, что те политические взгляды, которые защищает эта газета, являются наиболее правильными и актуальными, почему именно они указывают Америке единственный выход из нынешнего экономического кризиса.

Миллионы рабочих, выброшенных с работы и лишенных в большинстве случаев всякой материальной поддержки, миллионы людей, влачащих жалкое существование на средства друзей и родных, и столько же миллионов американцев всех категорий, жизненный уровень которых абсолютно несовместим с нормальным существованием, — вот те внешние явления, которые каждый может наблюдать в любом городе, в любой местности Америки. Основной причиной этого служит то, что лица, заправляющие нашей промышленностью, заботятся лишь о своих собственных интересах.

Введя централизацию, присваивая себе огромные прибыли и предоставляя основной массе населения лишь прожиточный минимум, а в большинстве случаев

меньше, чем нужно для существования, кучка американцев настолько укрепила свое положение, что в настоящее время контролирует банки, железные дороги, промышленность — одним словом, все, что является основой всей жизни страны и широких масс. Я в этом убедился после глубокого и всестороннего изучения экономического положения Америки.

БАНКИ ДЕРЖАТ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Банки и тресты достигли такого могущества, что все выполняют только их требования и указания. Все большие газеты, все информационные агентства и даже правительство находятся у них в услужении. Обе политические партии Америки поддерживают этих капиталистических магнатов, у которых только одно желание — обогащаться и получать прибыли, несмотря ни на чьи страдания. Это достигается посредством увеличения цен на предметы первой необходимости и широкого потребления. Доказательством могут служить недавние победы телефонных компаний — нью-йоркской компании «Эдисон», компании «Нью-Йорк сентрал» и др. В настоящее время все железные дороги требуют повышения тарифов на пятнадцать процентов. Наглядным доказательством того, что тресты преследуют свои собственные интересы, является, мне кажется, и то, что они произвольно рассчитывают рабочих, не предоставляя им никакой работы и никакой поддержки, и в то же время выплачивают огромные дивиденды себе самим и своим акционерам.

В нашей стране много раз подымался вопрос о социальных реформах, направленных на улучшение положения. Сорок лет назад движение, схватившее широкие массы, заставило принять антитрестовский закон Шермана, чтобы ограничить масштабы трестирования. Затем в 1920 году был принят закон о перевозках, по которому железные дороги якобы подпадали под правительственный контроль и регламентацию. Но что дали все эти реформы американскому рабочему? Ничего. Крупным трестам с помощью различных комбинаций почти всегда удавалось обходить эти законы. Железные дороги держат сейчас массы в своих руках крепче, чем в 1920 году. Централизация их еще больше укрепилась.

А за собой они ведут крупные отрасли промышленности, многими из которых они владеют и управляют. Так же обстоит дело и с электричеством, газом и проч. Реформы оказались совершенно бессильными для подавления гигантского роста трестов.

Сотни тысяч людей приходят в настоящее время к убеждению, что в Америке не будет толку от реформ, пока она находится в руках этих нескольких тысяч богатых людей, что никакие действенные реформы невозможны без коренных перемен в самой системе. Судьба таких законов и политических организаций, вроде Фермерской лиги в Дакоте, двенадцать лет назад раздавленной финансовыми и политическими мероприятиями капиталистов, убеждает меня в том, что никакая поверхностная или местная реформа не может достичь цели.

Карл Маркс, великий немецкий экономист и философ, понял это давно. Россия также это понимает и строит новую систему, в основе которой лежит использование всех средств производства и всей промышленности страны для блага широких масс народа, тогда как у нас они используются для сверхобогатения одиночек, которые получили эти блага по наследству.

Таково в общих чертах политическое положение Америки. «Дейли уоркер» — единственная в Америке ежедневная газета на английском языке, стоящая на точке зрения коренного революционного изменения всей экономической системы и уничтожения частной собственности. Только таким способом можно будет восстановить экономическое равновесие в Америке и установить власть, которая будет заботиться о благосостоянии широких масс.

1931 г.

СТРАНА ПРОГРЕССА И ПОДВИГА

Три огромных преимущества вижу я в социальной и экономической системе Советского Союза. Эти преимущества, которыми не может похвастать никакая другая система, объясняют, хотя бы отчасти, гигантский рост советской промышленности, колоссальные темпы ее развития и ликвидацию неграмотности.

Во-первых, колоссальное стимулирующее преимущество заключается в коллективной деятельности при изготовлении тех или иных товаров и удовлетворении тех или иных общественных потребностей. В результате не возникает конфликта противоположных интересов,— конфликты неизбежны в системе жадного и тщеславного капитализма. Не устранив такого противоречия интересов, невозможно добиться чего-либо конструктивного. Достаточно взглянуть на американские железные дороги, где финансисты препятствуют созданию быстрого современного транспорта.

Далее — колоссальное оживление духовной жизни, которое наблюдается в СССР и появится везде, как только будет ликвидировано вековое невежество, порожденное религией, которая не позволяет ясно разобраться в процессах природы и жизни. Ликвидация религии открывает путь к подлинному просвещению; это-то, без сомнения, и ликвидировало невежество и предрассудки в России.

В-третьих, я имею в виду освобождение от цепей принуждения и террора, сковывающих духовную деятельность и неразрывно связанных с экономическим порабощением. Изгнание этого экономического дьявола очищает человеческую душу и освобождает ум. Это, по моему мнению, вызывает то чувство социальной благодарности, которое ускоряет темп жизни в СССР и закаляет его народ для новых подвигов и открытия истин. Коммунизм создает чувство национального товарищества в противовес индивидуальному одиночеству и беспомощности. Страна, принявшая коммунизм, неизбежно преобразуется в радостную страну подвигов, в подлинно социальную страну, где духовная жизнь прогрессирует. Такой страной, по моему мнению, является сейчас Советский Союз.

Что касается проблем, стоящих перед вами, то я считаю, что вы должны крепко держаться тех идеалов, которые вас вдохновляют. Капитализм считает, что только личная нужда и страдания заставляют людей стремиться к достижениям и что гуманные методы ничего не дают. В ответ на это вы отбросили в сторону кнут, заменив его справедливостью, просвещением и дружбой. От результата вашего ответа будут зависеть радость, мир и духовный прогресс людей на тысячелетия вперед.

Лично я хотел бы сказать вам следующее: работайте над экономическими, научными проблемами, проблемами искусства и над изобретениями и заботьтесь о том, чтобы их разрешали те люди, которые наиболее к этому способны. Когда будут найдены решения этих проблем, используйте их на благо всех людей. Я желаю вам, чтобы вами в вашей работе всегда руководили лучшие люди, воплотившие в себе вершины человеческого интеллекта и духа.

1931 г.

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ ТОМА МУНИ

Медленно, но верно решение губернатора Рольфа по делу Тома Муни поможет широким массам Америки осознать, что закон и суд у нас находятся под контролем и руководством монополий и что только коренное изменение всего образа жизни нации обеспечит справедливость каждому.

1932 г.

2. О СУДЕБНОЙ РАСПРАВЕ НАД ЖЕРТВАМИ СКОТТСБОРО

Верховный суд штата Алабама подтвердил решение местного суда, а следовательно, и смертный приговор семерым из восьми негритянских юношей в Скоттсборо. Это беспрецедентный случай: верховный суд санкционировал и одобрил акт варварства.

Хорошо известны обстоятельства, при которых протекало судебное разбирательство. Процесс происходил во время конской ярмарки, длившейся неделю, перед переполненным зданием суда стояла десятитысячная толпа. Администрация штата послала туда вооруженную милицию, опасаясь беспорядков, но беспорядки эти могли вылиться лишь в попытку линчевать негров в случае, если бы суд их оправдал. Когда был вынесен смертный приговор, духовой оркестр грянул победный туш. В кассационной жалобе защитники указывали, что

суд нарушил законные права обвиняемых, поскольку ярость толпы запугала судью, присяжных и защиту. В таких условиях было невозможно хоть сколько-нибудь серьезно рассмотреть доказательства их невиновности; однако представлялось вероятным, что высшая инстанция, занимаясь этим делом в более спокойной обстановке, проявит большую беспристрастность и уважение к закону.

Оправдалось ли это ожидание? Нет, напротив: решение, которое в Скоттсборо фактически было принято разъяренной толпой, получило подтверждение — штат Алабама в лице всей своей судебной системы с ее высшими и низшими инстанциями подтвердил к ужасу и возмущению всех порядочных людей свою врожденную ненависть к неграм, показав тем самым, что он сам недалеко ушел от тупой, по-звериному жестокой толпы.

1932 г.

ПОЧЕМУ Я ГОЛОСУЮ ЗА КОММУНИСТОВ

Почему я голосую за коммунистов, а не за демократов, республиканцев и социалистов или еще какую-нибудь партию, существующую в нашей стране?

Потому что программы республиканцев, социалистов и демократов — капиталистические программы. Все они с небольшой лишь разницей стремятся к тому, чтобы дать немногим все богатства и блага жизни, оставив на долю трудящихся невежество, голод и террор.

ПРОЖОРЛИВОСТЬ И ЖЕСТОКОСТЬ

Капитализм при всех своих колоссальных возможностях не мог использовать огромные богатства страны. Капитализм потерпел крах. Природные богатства, которыми изобилует страна и которые должны быть использованы на благо всего трудящегося народа, капитализм с хищнической прожорливостью и жестокостью отдал ничтожной кучке. *Двенадцать миллионов рабочих, которые могут и хотят работать, обречены на голод и нищету.* Восемьдесят пять процентов занятых на производст-

ве людей работают лишь несколько дней в неделю. И только на долю пятнадцати процентов выпадает удача — они могут полностью использовать свое право на труд. *Одна из каждых пяти ферм в Америке брошена на произвол судьбы.* Фермеры не в силах больше платить налогов и страховки. А лидеры буржуазных партий — их партийные агитаторы — занимаются прежде всего борьбой за отмену «сухого закона», за разрешение открыто продавать спиртные напитки, а не за удовлетворение нужд обнищавшего и ограбленного народа.

«ИХ» ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Ни республиканская, ни демократическая партия не заинтересованы в этом. Вся борьба между ними сводится к борьбе за власть. Потому что те, кто составит правительство, будут подбирать своих губернаторов, судей, шерифов и прочих чиновников, олицетворяющих власть в стране. Демократическая и республиканская партии, организованные и контролируемые крупным капиталом, обнаружили на данном этапе экономического кризиса свое полнейшее банкротство. Ни один из их политических лидеров не заинтересуется нуждами американских трудящихся. *Все они думают лишь о том, как уберечь от кризиса свои уже награбленные прибыли и как обеспечить приток их на будущее.*

Они ищут выход из кризиса ценой дальнейшего закабаления рабочих и фермеров. Мы видим, как давит их пресс на двенадцать миллионов негров, презираемых, преследуемых и терроризируемых, в то время как директора банков и трестов живут в роскоши и богатстве.

Короче говоря, капиталистический выход из кризиса — это еще большая бедность, голод и безработица, которые переживает сейчас трудящаяся Америка.

ПОМОЩЬ БАНКАМ И ТРЕСТАМ

Кто сомневается в этом, пусть обратит внимание на последнюю сессию конгресса. И демократы, составляющие большинство в палате депутатов, и президент Гу-

вер, глава республиканской партии, в трогательном единодушии ассигновали миллиарды долларов на помощь обанкротившимся богачам. Реконструктивная финансовая корпорация, учреждение с капиталом в два миллиарда долларов, создана Гувером непосредственно для помощи банкам, железным дорогам и трестам, потрепанным кризисом.

С другой стороны, и президент и конгресс единодушно отказали в правительственной помощи безработным, в страховании по безработице и в уплате долга ветеранам войны, большинство из которых осталось без всяких средств к жизни.

КАМПАНИЯ «САМОПОМОЩИ»

Все, что они предлагают,— это дутая, гигантски разрекламированная кампания «самопомощи» под лозунгом: семья помогает семье, общество — обществу. Таким образом, голодным беднякам предлагается еще один прямой налог — на самих себя. Неприятная тяжесть благотворительности перекладывается с плеч богачей, дрожащих за свои богатства, на плечи и без того обездоленных, обнищавших трудящихся.

Магазины ломятся от непроданных запасов одежды и продовольствия, но ни один из компетентных органов власти не предложит распределить эти товары среди тех, кто в них нуждается. Сотни тысяч домов пусты, а на полях, на тротуарах, на мостовых ютятся миллионы людей, которым негде жить. Одна за другой останавливаются фабрики. Останавливаются потому, что не приносят доходов своим владельцам. И стоят бесполезные, выключенные из национального богатства страны.

И меня еще спрашивают, почему я собираюсь голосовать за компартию, собираюсь поддерживать кандидатуры *Фостера* и *Форда*. Разве нужно еще объяснять это! Коммунисты говорят: «Все богатства страны должны принадлежать трудящимся». Если думать так — значит быть коммунистом, то я в таком случае коммунист. И потому буду голосовать на выборах за коммунистических кандидатов.

1932 г.

ПРИЗЫВ К ЗАЩИТЕ СССР ПОЛУЧАЕТ МОГУЧУЮ ПОДДЕРЖКУ МИЛЛИОНОВ

Состоявшийся недавно конгресс¹, на который собрались представители 30 миллионов человек, чтобы создать единый фронт борьбы против капиталистических войн, следует считать наиболее значительным шагом на пути к миру со времени русской революции.

Эта мобилизация народов мира как нельзя более своевременна. Все возрастающее соперничество капиталистических стран стало принимать форму вооруженных столкновений. В прошлом году мы наблюдали начало новой серии войн. Подобно войнам, предшествовавшим катастрофе 1914 года, они предвещают новую, еще более кровавую резню.

ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ УСИЛИВАЕТСЯ

Если в 1914 году кризис в промышленности, застой в торговле побудили капиталистический мир искать выход в войне, то в 1932 году создавшаяся обстановка с еще большей силой толкает его на этот путь временного разрешения противоречий. Орудия производства значительно усовершенствовались, а рынки сбыта значительно сузились, и потому все настойчивее выдвигается требование нового передела мировых рынков. Но дело не только в этом. Успехи, одерживаемые в России иной социальной системой, которая каждым днем своего существования наглядно показывает массам, каким путем они могут и должны идти, заставляют спешить поджигателей войны.

В настоящее время кровавая война ведется уже на нескольких фронтах — в том числе на Дальнем Востоке и в Латинской Америке. В этих войнах ясно выявляются все противоречия, раздирающие весь капиталистический мир. В Латинской Америке Боливия, Парагвай, Колумбия и Перу втянуты в вооруженную борьбу, подготовленную и развязанную соперничающими силами британского и американского империализма, каждый из которых стремится установить свой контроль над этими рынками.

¹ Амстердамский международный антивоенный конгресс 1932 г.

На Дальнем Востоке война против китайского народа таит угрозу нападения на Советский Союз, обостряя в то же время отношения между Японией и Соединенными Штатами.

НЕМЕДЛЕННО ВСТУПАЙТЕ В БОРЬБУ ПРОТИВ УГРОЗЫ НОВОЙ ВОЙНЫ

Об этих вооруженных схватках было написано и сказано достаточно, чтобы стало ясным, какую угрозу представляет создавшееся положение для свободных народов России, а также для рабочих и честной интеллигенции всего мира. Против этой угрозы необходимо немедленно начать решительную борьбу. Молодежи мира, как и всегда, пришлось бы вынести на своих плечах основную тяжесть мировой войны, молодежь должна знать, что ей уготовано и как она может отвратить нависшую опасность. Промедление в этом деле подобно самоубийству.

Перед молодыми рабочими Советского Союза поставлена ясная задача. Весь мир следит за тем, как они создают новое общество, которое процветает, следуя путем мира и свободы. Каждый уложенный ими кирпич, каждый новый успех социалистического строительства, их Магнитогорски и Днепрострой — это удары по поджигателям войны. Их бдительность, проявляющаяся в мощи Красной Армии, в разоблачении презренных интриг империалистов, служит гарантией того, что они и впредь будут вести борьбу против поджигателей войны. Энергичные и искренние предложения о разоружении, представленные лицемерным государственным деятелям советскими делегациями на конференциях по разоружению, вызвали восхищение миллионов и способствовали укреплению сил мира. Долг советской молодежи — крепить мощь Советского Союза ускоренным темпом. Выполняя этот долг, она связывает руки империалистическим бандитам.

МОЛОДЕЖЬ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА

Перед молодежью капиталистического мира стоит иная и более трудная задача. Действуя в атмосфере, отравленной ненавистью, насыщенной мерзостями прости-

туированной печати и литературы, которые служат умирающему общественному строю, сознательная молодежь должна развертывать героическую борьбу против империалистической войны, должна разъяснить тем, кто находится или может оказаться в составе вооруженных сил, что их враг не за морями, не на той шестой части земного шара, где нищета сдана в мрачный архив отжившего строя, и не на Дальнем Востоке, где китайский народ начал создавать свое управление, а в их собственном доме. Что их враг — это та кучка монополистов, тот порядок вещей, которые виновны в существовании безработицы, в истреблении человеческих жизней, в установлении террора, губящего тысячи людей, борющихся за кусок хлеба.

Здесь, в Америке, мы читаем об отцах, которые убивают своих детей, потому что они не могут видеть, как их дети умирают голодной смертью. Мы читаем о детях, умирающих с голоду, о тюрьмах, набитых молодыми рабочими. На электрический стул сажают преступников, которым едва исполнилось девятнадцать — двадцать лет. Эти преступники — порождение американского образа жизни, капиталистической системы управления обществом. Свыше пятнадцати миллионов безработных. Миллионы мальчиков и девочек вынуждены в раннем возрасте бросать школу и искать работы. Но никакой работы они найти не могут. Ни один из тех, кто окончил школу в последние три года, ни разу не переступил порога фабрики. В капиталистическом мире они никому не нужны, их способности и таланты остаются в небрежении и гибнут.

СССР УКАЗАЛ МОЛОДЕЖИ «ДОРОГУ В ЖИЗНЬ»

Когда после гражданской войны в России появились тысячи беспризорных детей, советское правительство позаботилось о них, дало им «путевку в жизнь». У нас в Америке имеется около 300 тысяч беспризорных детей; они стали беспризорными не в результате революции, а в результате кризиса капитализма. Большинство из них находится на дороге, которая ведет к религиозному изуверству, и многие — на пути беспросветной нужды.

Революционная молодежь Америки и других капиталистических стран должна повести за собой эти мил-

лионы молодых рабочих и указать им, кто их враг. Международный антивоенный конгресс — это начало; борьба коммунистов против войны приносит свои плоды.

Интеллигенция откликается на призыв выступить в защиту СССР. И когда Ромен Роллан говорит, что он «готов с оружием в руках защищать Союз Советских Социалистических Республик», его слова, словно эхо, подхватывают миллионы людей.

1932 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «ГОВОРЯТ ГОРНЯКИ ХАРЛАНА»

В угольный район Харлана (штат Кентукки) я поехал вот почему. Начиная примерно с июня и по ноябрь 1931 года американские газеты почти непрерывно печатали сообщения о грубых нарушениях прав не только бастующих горняков этого района, но и многих из тех, кто в самом штате и за его пределами пытался выступить в их защиту. Помнится, я читал, что представители различных газет и агентств — «Юнайтед пресс», «Федерейтед пресс», а также отдельные журналисты, как, например, Брюс Кроуфорд из Нортон, штат Виргиния — подвергались нападению, и, в частности, Брюс Кроуфорд был ранен в ногу, а другим угрожали расправой, если они немедленно не покинут территорию штата, словно частица штата (в данном случае — угольный район Харлана) может — я уже не говорю имеет право — независимо от штата, самовольно вводить законы военного времени и обязывать граждан других штатов, вопреки всем гарантиям, записанным в конституции, соблюдать эти законы.

Вначале я не придавал всему этому большого значения, потому что наблюдал подобного рода войны в горняцких районах Америки на протяжении всей моей жизни. Работая журналистом в Чикаго, Сент-Луисе, Питтсбурге и в других городах, я рано был втянут в эту борьбу и, разумеется, сразу столкнулся с той огромной несправедливостью, которую имущие классы в Америке не только всегда проявляли, но и продолжа-

ют проявлять по отношению к рабочим. И вот летом, в июле 1931 года, Национальный союз углекопов попросил меня приехать в Питтсбург, чтобы самому убедиться в жестокой расправе, которая была учинена над бастующими горняками в Восточном Огайо, Северо-Западной и Западной Виргинии и Пенсильвании. Того, что я там увидел, — а я увидел, как шахтовладельцы, расправляясь с углекопами, убивают их, морят голодом, шантажируют и совершают прочие злодеяния, — было достаточно, чтобы я выступил в печати с обвинением против Американской федерации труда. Но я добился только того, что Уильям Грин, нынешний председатель АФТ, написал уклончивый ответ, в котором оправдывал себя и все отрицал.

Однако в октябре прошлого года мною был получен документ на тридцати двух страницах — обвинительный акт, составленный Международным бюро труда на основе данных из различных источников. Все они свидетельствовали о преступлениях и надругательствах над бастующими горняками Харлана, совершенных местной ассоциацией шахтовладельцев. Каждая страница этого документа содержала от трех до пяти обвинений в самых различных преступлениях — от безнаказанных убийств (в общей сложности их было одиннадцать) до взрыва с помощью динамита бесплатных столовых для бастующих горняков, незаконных обысков в их домах, запрещения вступать в любой союз, кроме Объединения углекопов США, к которому углекопы питали отвращение и не хотели принадлежать, ликвидации свободы слова и запрещения представителям не местных газет и журналов приехать на место действия и лично наблюдать за происходящим.

В связи с тем, что Международное бюро труда, по его собственному признанию, оказалось не в состоянии привлечь к этим зверствам внимание общественности, оно обратилось ко мне, как председателю Национального комитета защиты политических заключенных, с предложением образовать комиссию из членов этой организации и выехать в Кентукки с тем, чтобы не только опросить представителей местной власти и потребовать у них ответа за их действия, но и посмотреть, не сможем ли мы таким путем привлечь к этим событиям внимание общественности — чтобы если не вовсе устра-

нить, то хотя бы смягчить некоторые из зол, от которых страдали горняки Харлана.

Мои возражения сводились к тому, что комиссия в составе более или менее случайных лиц, которую я мог бы создать, вряд ли сыграла бы полезную роль; к тому же она могла натолкнуться на грубое противодействие или по меньшей мере возмутительное равнодушие, с каким местные власти относились к попыткам различных газет не только собрать необходимые данные, но и вызвать общественное сочувствие. Я выдвинул другое предложение: вместо того чтобы организовать такую поездку силами Национального комитета защиты политических заключенных, я, в качестве его председателя, приглашу ряд видных общественных деятелей, известных своим мужеством и неоднократными выступлениями в защиту конституционных прав американцев, выехать в район Харлана и провести там несколько заседаний, а также опросить должностных лиц, горняков, шахтовладельцев и местных граждан, которые могли бы подтвердить справедливость всех этих обвинений; таким образом, мы получили бы возможность правильно информировать американскую общественность о событиях в Харлане и одновременно заставить должностных лиц и шахтовладельцев Кентукки поступать более справедливо.

Поскольку Международное бюро труда согласно было на все — лишь бы были приняты какие-то меры, я послал лицам, имена которых перечислены ниже, следующую телеграмму:

«Восемнадцать тысяч американских горняков и их семьи лишены всех конституционных, гражданских и самых простых человеческих прав. Они живут в условиях жесточайшего террора, в тисках которого их держат бандиты и закоренелые преступники. «Нью-Йорк таймс» сообщает: «На угольных полях Харлана идет гражданская война, округа превращена в настоящий вооруженный лагерь». Бандиты, прикрывающиеся маской закона, застрелили двух корреспондентов, чтобы воспрепятствовать опубликованию правдивых сообщений, и похитили других участников расследования. Динамитом взорван автомобиль представителя организации по оказанию помощи бастующим горнякам, взорвана устроенная для бастующих бесплатная столовая,

убиты безоружные люди. Бандиты и уголовные преступники выносят третейское решение в трудовом конфликте, а тем временем женщины и дети терпят ужасные лишения и страдают от голодных кровавых поносов. Тридцать четыре горняка обвинены в убийстве на основе нелепейших показаний и отправлены за двести миль в другие округа, где над ними будет учинен суд. Таким образом, их лишили возможности защищаться, так как у них нет ни гроша и они не могут оплатить проезд свидетелей. Право на свободу слова, право на свободу собраний, записанные в конституции Соединенных Штатов Америки, нарушены. Необходимо, чтобы в Харлан выехала делегация для расследования. Национальный комитет защиты политических заключенных приглашает вас принять участие в нашем расследовании. Делегация собирается в Лексингтоне, штат Кентукки, пятого ноября и шестого ноября выезжает в Харлан, чтобы произвести свободное и открытое расследование положения осажденных горняков. Приглашения посланы сенаторам Лафолету, Казенсу, Норрису, Шипстеду, а также Рою Говарду, полковнику Андерсону, Чарльзу Клейтону Моррисону, епископу Дюбуа, Феликсу Франкфуртеру, Чарльзу Тафту, Уильяму Аллену Уайту, Э. Линдеману, преподобному Форчуну, Артуру Брэйдену, Уильяму Хатчинсу, Дэниэлу Уилларду. Подробности письмом. Просьба телеграфировать ответ: гостиница «Ансония».

Нью-Йорк.

Теодор Драйзер, председатель».

Сенатору Роберту М. Лафолету.

Сенатору Хенрику Шипстеду.

Сенатору Джорджу У. Норрису.

Сенатору Джеймсу Казенсу.

Рою Говарду, газетное объединение «Скрипс-Говард».

Дэниэлу Уилларду, председателю.

Уильяму Аллену Уайту, «Эмпория газетт» (Канзас).

Феликсу Франкфуртеру, Гарвардская юридическая школа.

Полковнику Генри У. Андерсону, члену комиссии Уиккершэма.

Чарльзу Тафту-второму, бывшему адвокату «Гамильтон компани», штат Огайо.

Э. Ч. Линдеману, директору «Фонда Уилларда Стрейта».

Чарльзу Клэйтону Моррисону, редактору «Крисчен сенчури», Чикаго, штат Иллинойс.

Артуру Брэйдену, президенту Трансильванского колледжа, Лексингтон, штат Кентукки.

А. У. Форчуну, священнику центральной христианской церкви, Лексингтон, штат Кентукки.

Уильяму Дж. Хатчинсу, президенту Берийского колледжа, Берна, штат Кентукки.

Брюсу Кроуфорду, издателю «Кроуфордс уикли», Нортон, штат Виргиния.

Епископу Уильяму Г. Дюбуа, Севани, штат Теннесси.

Д. Ф. Мимэну, в то время редактору «Ноксвилл ньюс сентинел», Ноксвилл, штат Теннесси.

За одним или двумя исключениями, все ответили — одни в мягких выражениях, другие — более резко, но все, кроме Брюса Кроуфорда, под разными предлогами отклонили предложение. Привожу ниже некоторые из этих ответов:

К сожалению, состояние здоровья не позволяет присоединиться к делегации.

Ввиду неотложных дел поехать не могу.

Считаю, что намечаемая комиссия не может достичь желаемых результатов. Принять предложение не могу.

Поскольку нам явно не удалось заинтересовать большую группу американцев, на которых, мне казалось, мы могли рассчитывать ввиду создавшегося критического положения, а Международное бюро труда по-прежнему сообщало о фактах жестокой несправедливости, тщательно замалчиваемых в печати, я в конце концов созвал заседание Национального комитета защиты политических заключенных и спросил, кто из его членов согласен поехать в Харлан. Откликнулись следующие:

Чарльз Рамфорд Уокер.

Миссис Аделаида Уокер.

Брюс Кроуфорд.

Сэмюэл Орнитц.

Лестер Коэн.

Мелвин Р. Лэви.

Тогда, от имени вновь созданной комиссии, мы уведомили печать, что едем в Харланский округ и Восточный угольный район и постараемся, по возможности, сделать все то, о чем Международное бюро труда просило упомянутую выше более широкую комиссию. Мы телеграфировали Флэму Д. Сэмпсону, губернатору штата Кентукки, и просили его предоставить нам вооруженную охрану. Не дожидаясь ответа, мы выехали в Пайнвилл, в округ Белл, расположенный к западу от Харлана, где тоже совершались насилия, и приступили там, а также в Харлане к расследованию фактов и опросу свидетелей. На правах комиссии, мы пригласили не только шерифа, прокурора и судью округа, но и представителей местной ассоциации шахтовладельцев, а также представителей Национального союза углекопов и многих бастующих горняков из Ивартса, Стрейт-Крика и других мест, чтобы они дали показания относительно преступлений, жертвами которых были горняки, относительно того, какой экономический, политический, социальный и иной вред нанесли им и продолжают наносить шахтовладельцы и должностные лица, которые, по сообщению газет, вели против углекопов настоящую войну.

Наши заседания были широко открыты для публики, прессы, местных должностных лиц и всех желающих, мы никому не чинили никаких помех. Поскольку печать была широко представлена, часть полученных нами свидетельских показаний и данных была доведена до общего сведения. Однако то, что попадало в печать, не всегда соответствовало характеру высказываний и намерениям свидетелей и не всегда подкреплялось достаточно убедительными данными. Напротив, большинство газет, в особенности тех, которые были представлены «Ассошиэтед пресс», стремилось, как видно, смягчить, приуменьшить или вовсе замолчать факты, подтвержденные свидетельскими показаниями; хуже того, эти газеты вознамерились умалить и дискредитировать значение и даже самую цель нашей комиссии. И это далеко не все. Когда я приехал в Пайнвилл, меня встретили мэр города и судья Джонс, которые заверили меня, что в их округе частной полиции нет и в помине, а также не было ни единого случая дурного обращения местных должностных лиц с горняками, их женами и деть-

ми. И тем не менее комиссии тут же стали чинить всевозможные препятствия. Так, за вызванными свидетелями, как они сами показали, шпионила та самая частная полиция, которая, по словам Джонса, не только бездействовала, но якобы и вообще отсутствовала в округе. И это не все. Мало того, что с горняками поступали несправедливо, им пригрозили, что им придется худо, если они вздумают жаловаться нашей комиссии. Поэтому явившиеся к нам свидетели потребовали, чтобы им была гарантирована безопасность и чтобы такую гарантию дали не только местные должностные лица, но и губернатор. С этой целью комиссия послала нескольким местным должностным лицам, а также губернатору соответствующие телеграммы. Нам ответил, пообещав оградить свидетелей от преследования, только губернатор, и не ответил никто из местных должностных лиц — ни судья Д. Ч. Джонс, ни прокурор У. А. Брок, ни шериф Джон Генри Блэр. Следует добавить, что во время наших поездок из Пайнвилла в Харлан, а также из Харланского округа в Ивартс, Стрейт-Крик и другие близлежащие места за нашими автомобилями — об этом сообщали некоторые из местных корреспондентов, и однажды я сам это видел — следовала машина, в которой находилось по меньшей мере четверо полицейских. Это были частные полицейские, состоявшие на жалованье у ассоциации шахтовладельцев, но официально посланные шерифом Блэром наблюдать за нами.

И это еще не все. Мы заранее объявили, что будем устраивать митинги, чтобы проверить, дадут ли возможность бастующим горнякам воспользоваться правом на свободу слова. И вот однажды, в Пайнвилле, у гостиницы, в которой я остановился, неизвестный вручил мне записку следующего содержания:

«Если в воскресенье после полудня в Уоллинс-Крике состоится митинг, произойдет заваруха».

Во время поездок нас сопровождали майор и еще несколько военных, присланных губернатором. Я показал записку майору, и он ответил: «Поезжайте и устраивайте митинг. Все будет в порядке».

Митинг состоялся и прошел спокойно, однако на нем присутствовали представители властей Харланского округа и других округов, а также официальная стеногра-

фистка, которой было, по-видимому, поручено — каким-нибудь должностным лицом Харланского округа или шахтовладельцами — записывать все речи ораторов. Впоследствии нашей комиссии пришлось убедиться, что на основании записей этой стенографистки, произведенных по заданию шахтовладельцев или должностных лиц Харланского округа, против нас были выдвинуты и официально нам предъявлены обвинения в преступном синдикализме, то есть наши действия рассматривались как государственное преступление.

За мной лично, как я также узнал впоследствии, была установлена слежка, а когда я выехал за пределы штата, меня обвинили в том, что во время моего пребывания в Пайнвилле, в гостинице «Континентл» я нарушил супружескую верность. Кстати, в гостинице «Континентл» в это же самое время проживал и судья Джонс.

Я подробно останавливаюсь на всем этом, потому что, как я сам убедился, отношение к нашей комиссии со стороны всех должностных лиц округов Белл и Харлан, а также должностных лиц других районов и некоторой части населения, в особенности торговцев, было крайне враждебным. Все ясно говорило о том, что деятельность комиссии была для них нежелательной, что на ее членов смотрели как на самозванцев, которые вмешиваются в чужие дела, не имея на то полномочий от государственного учреждения, а следовательно, и права расследовать какое-либо из упомянутых выше преступлений, не говоря уже обо всех. Судья Джонс, к примеру, заверил меня, когда я прибыл в Пайнвилл, что он в любую минуту, с готовностью и радостью, ответит на все вопросы, какие могут быть ему заданы. Но на другой же день он решительно отказался принять нас и хоть как-то ответить на наши вопросы.

Очевидно, шериф Блэр не был своевременно предупрежден о нашем приезде или должным образом проинструктирован, потому что он оказался единственным должностным лицом, который разрешил комиссии посетить его канцелярию, где он ответил на все заданные ему вопросы. Его показания содержатся в отчете комиссии. После него мы посетили У. А. Брока, местного прокурора, и убедили его, что для всех будет лучше, если он расскажет, что происходит в округе. Его показа-

ния проливают яркий свет на то, как понимают право и справедливость мелкие должностные лица Америки и представители ассоциации шахтовладельцев — участники этой типичной схватки между трудом и капиталом.

По моему личному мнению, которое сложилось в результате посещения угольных районов и опроса различных лиц, борьба горняков Харлана является великолепным образцом борьбы американского рабочего класса против давнего гнета характерной для Америки комбинации власти и богатства. И действительно, я обнаружил здесь тот же блок мелких должностных лиц и собственников, что и во всех схватках или спорах между трудом и капиталом, которые мне приходилось наблюдать. Мелкие банкиры, торговцы бакалейными товарами, редакторы и адвокаты, полиция, шериф, не исключая и самого правительства штата, — все раболепствовали перед деньгами корпораций, хозяев этого угольного района. Их обязанностью, которая почти всегда отвечала их личному желанию, было держать сторону тех, кто мог причинить им материальный и моральный ущерб, и выступать против низкооплачиваемых и почти умирающих с голоду рабочих, против тех, кто не может постоять за себя.

Возможно, такая практика связана с идиотским представлением, будто каждый американец имеет все возможности стать денежным воротилой, Морганом или Рокфеллером, хотя статистические данные об экономической жизни сегодняшней Америки показывают, что триста пятьдесят семейств контролируют девяносто пять процентов всех богатств страны. Почти каждый американец, если он не является высшим чином или главой могущественных и всевластных корпораций, должен носить ошейник того или иного из этих крупных объединений, ибо только благодаря их покровительству он может улучшить свое материальное и социальное положение. И на ошейнике его должно быть выбито имя его владельца.

То же можно сказать и про печать, церковь и должностных лиц, избираемых теми самыми людьми, которые столько терпят от них. Не исключено, что где-нибудь вы и встретите маловластного, полуголодного, еле сводящего концы с концами редактора, который осмеливается пользоваться свободой мнения и освещать

события, подобные тем, что происходили, да и по сей день происходят, в Харлане и других местах, но такому редактору никогда не удастся достигнуть благополучия.

Вообще, в какой бы город Америки вы ни поехали, если вы начнете энергично нападать на неравенство, существующее в пользу меньшинства, вы очень скоро убедитесь, насколько это невыгодно. В Харлане, как и в других районах, я обнаружил,— но без всякого на этот раз удивления,— что церковь, печать, общественная благотворительность во всех ее формах, а именно — Красный Крест, Армия спасения, Христианский союз молодежи и любая другая родственная им организация — целиком стоят на стороне корпораций в их борьбе с рабочими. Поскольку корпорации не хотят, чтобы рабочие бастовали, добиваясь повышения заработной платы, не хотят, чтобы они вступали в профсоюз, который, в отличие от Американской федерации труда, не находится под управлением корпораций, не хотят, чтобы они читали такую газету, как «Дейли уоркер», которая не печатает по указке корпораций лживый вздор о том, что якобы необходимо для процветания страны,— эти организации, в особенности там, где рабочие бастуют и нуждаются в помощи, не желают помогать им, пока они не примут требований корпораций, а в данном случае от них требуется, чтобы они не имели ничего общего с Национальным союзом углекопов и примкнули к Объединению углекопов США; чтобы они перестали читать «Дейли уоркер» и вместо нее стали читать, скажем, «Харлан дейли кларион» или «Луисвилл курир джорнэл»; чтобы они вернулись к работе на тех условиях, какие продиктует им Американская федерация труда через подчиненное ей предательское Объединение углекопов США. А поскольку рабочие не принимают этих требований, то им нет ни продовольствия, ни одежды, ни лекарств — ничего. Вместо того, чтобы оказывать им помощь, за ними шпионят, их заносят в черные списки, сажают в тюрьму, морят голодом и даже убивают. Такой нынче в Америке порядок. Корпорации, создающие различные объединения в масштабах всей страны, такие, как ассоциация владельцев предприятий текстильной промышленности, ассоциация шахтовладельцев, ассоциация владельцев металлургиче-

ских предприятий и им подобные, стремятся к тому, чтобы установить условия своеобразного рабства, в особенности на предприятиях, где применяется тяжелый физический труд,— и достигают этого. Кроме того, все эти организации призваны воспрепятствовать, где это возможно, объединению рабочих в союзы, а там, где это невозможно, подчинить их своему контролю с тем, чтобы понизить, а не повысить заработную плату, чтобы магазины и даже целые города, а также, разумеется, идеи и даже религиозные взгляды, находились под контролем корпораций.

Все это в такой мере наличествовало в угольном районе Харлана, что о созыве, скажем, митинга не могло быть, конечно, и речи, пока мы туда не приехали; так же обстояло дело и со сбором продовольствия и одежды и распределением их помимо Красного Креста, Армии спасения и Христианского союза молодежи, которые с полным равнодушием относились к положению бастующих горняков и в то же время с деспотической настойчивостью предъявляли им свои требования. То, что произошло в угольном районе Харлана, нашло всестороннее освещение в свидетельских показаниях и различных данных, собранных для этой книги всеми членами комиссии.

В заключение я хотел бы добавить вот что. Одного я не могу понять: почему американский народ, которому с самого начала вдабливали идею о необходимости и преимуществах индивидуализма, до сих пор не уяснил себе, какой полный крах потерпела эта идея в качестве рабочей формулы организации общества?

Ведь когда мы, довольно безосновательно, полагаем, что каждый из нас вправе достигнуть, если это возможно, титанического развития своей личности, мы не думаем о том, что воспользоваться этим правом могут лишь очень немногие, а может быть, и никто. А также о том, что, достигни этого хотя бы один человек, все мы стали бы только роботами, действующими по воле и указке этой особенной личности. Если бы у нас хватило соображения, мы пришли бы к выводу, что необходимым, желательным или по крайней мере приемлемым является для нас не крайний индивидуализм, а ограниченная форма индивидуализма, гарантирующая, в пределах возможного, для всех право на жизнь, свободу и стремление

к счастью, а также на справедливую долю в распределении благ, добытых в результате совместной деятельности многих индивидуумов.

На деле же сейчас как в Америке, так и в других странах осуществляется одно лишь право — право самых коварных и властных индивидуумов обогащаться, предоставляя всей остальной массе жить на крохи, которые они не успели захватить. И если вы ознакомитесь с американской экономической системой, вы увидите, что процесс захвата продолжается. В настоящее время триста пятьдесят семейств контролируют девяносто пять процентов богатства страны, и эти семейства, их тресты и акционерные компании не только не распределяют это богатство в справедливой пропорции, но даже, появившись у них такое намерение, были бы не в состоянии этого сделать. Взятые вместе, они не представляют собою какой-либо центральной власти. И они не могут действовать иначе, как через органы правительства, которым они стремятся руководить и на самом деле руководят в интересах личного господства и обогащения. А правительство, которое якобы представляет индивидуальные интересы всех американцев, не пригодно для справедливого распределения благ. Оно, в свою очередь, превратилось в орудие этой центральной группы индивидуумов, которая управляет теперь всеми его действиями к личной и вящей своей выгоде. Такое положение лишает сто двадцать пять миллионов американских граждан с их верой в индивидуализм и его возможности самого основного — жилища, работы, сносной одежды, обуви и еды. Вера американца в этот общедоступный индивидуализм привела его к тому, что теперь другие индивидуалисты, более сильные, коварные и алчные, решают, сколько и как он должен работать, может ли он жаловаться или искать справедливости, если терпит нужду, лишения, если над ним издеваются или морят его голодом.

Вера американского гражданина в индивидуализм как лекарство от всех зол, действовала на него усыпляюще, а тем временем другие, более алчные и коварные индивидуалисты захватывали его богатство, его церковь, его законодательные органы, его полицию и все его изначальные конституционные привилегии, так что теперь он поистине боится собственной тени. Он лишен

возможности открыто заявить о том, что недоволен своим правительством или его действиями, или о том, что считает индивидуализм порочным,— если он, наконец, придет к этой мысли; он лишен возможности объединяться в профессиональные союзы, если они не подкуплены и, следовательно, не поставлены под контроль тех самых индивидуумов, от экономического гнета которых он стремится избавиться. Он не может обратиться к церкви, потому что церковь не хочет знать о его невзгодах здесь, на земле; она сулит ему рай на том свете. Земной же рай, по крайней мере его материальные блага, она скромно предоставила тем самым индивидуалистам, от которых он теперь ищет защиты. Не может он обратиться и к печати: деньгами обладают и могут ими жаловать лишь более удачливые представители дорогого его сердцу индивидуализма, и поэтому печать прислушивается не к нему, а к ним, его хозяевам. А его голос так и остается неслышанным. Он слишком беден и не может принести к дверям редакции обязательной мзды, без которой печать остается равнодушной к нуждам миллионов, чей низкооплачиваемый труд по-прежнему составляет источник богатства, находящегося в руках могущественных правителей, которые некогда были такими же рядовыми индивидуумами, как и он сам.

В общем, этот культ личного успеха в ущерб правам и благополучию всех других приводит к тому, что американский гражданин, если он беден (а он действительно беден), оказывается в Америке в положении изгоя и никак не пользуется благами «процветания», которое создается его руками. В самом деле, если он рабочий, над ним глумятся и во время волнений и трудовых конфликтов кричат с пеной у рта, что он бунтовщик, радикал, недостойный гражданин, лишенный всякого понимания и, следовательно, права жаловаться на несчастья, которые сыплются на него со всех сторон. Живет он в большинстве своем в тесных кроличьих садках, которые именуются у нас городами; за ним следят — как следили за рабами Юга до Гражданской войны — шпионы и агенты мощных капиталистических объединений, на чьих фабриках, шахтах и заводах он теперь работает; его преследуют — чтобы запугать и подчинить — целые армии наемников, состоящих на службе у тех самых «титанов», которыми он все еще

есхищается; его выбрасывают с работы, морят голодом, а если он бастует, заносят в черные списки и расстреливают; от него, как я уже говорил, отвернулись, с ним не считаются, ему не хотят оказать помощи ни церковь, ни печать, ни оплачиваемые за его счет должностные лица, ни косное вероломное правительство.

Нужно, чтобы современный американец правильно понял истинную суть индивидуализма. Он найдет его яркий образец в джунглях, где каждый за себя, каждый бродит в поисках добычи и, что ни шаг, хватает за горло более слабого.

Вопли в джунглях звучат в наши дни не громче стонов горняков Харлана, прядильщиков Гастонии, ткачей Лоуренса, батраков Импириэл Вэлли, трудящихся масс вообще. Как зебра бьется в когтях хищника, так трудящиеся массы задыхаются под экономическим гнетом гигантских корпораций, которые все еще прикрываются маской «личного успеха», хотя до зубов вооружены подкупленным законом, наемной администрацией и запуганным, контролируемым правосудием. Суды — это зубы и когти корпораций, ими они хватают и душат, и их жертвы видны повсюду, замученные голодом.

Я повторяю: американцы должны продумать до конца, к чему ведет последовательное развитие индивидуализма, потому что человеческое общество не джунгли и не может быть джунглями. Общественный организм, если он достоин этого наименования, должен быть и является средством преодоления этого чудовищного индивидуализма, который дает возможность немногим иметь все, а большинству очень мало или ничего.

Ведь организованное общество, сознательно или бессознательно, всегда влекла одна мечта: чтобы человек не только мог, но и жил с другими людьми на основах разумной справедливости и таким образом сам мог пользоваться ее благами.

Если это не так, к чему тогда вообще организованное общество? Если это не так, то почему же в каждом сердце живут надежда и мечта о государстве, в котором человека не будут душить? И почему, когда его (этого желанного государства) нет, наступает *Революция* — завершающее выражение человеческой ненависти к несправедливости, жестокости, рабству, лихому?

К чему наша теперешняя социальная структура, с ее судами, законодательными органами, администрацией, с ее так называемым всеобщим представительством?

Разве во всем этом не сказывается мечта о подлинной демократии, о товарищеской взаимной поддержке в этой слишком безотрадной борьбе за существование?

А если все это так, тогда почему бы этот хищный и раздувшийся у нас в Америке индивидуализм, который удовлетворяет прихоти и создает благополучие горстки людей и унижает и позорит большинство, не сбзудать или, как хотелось бы мне, не уничтожить совсем?

1932 г.

СССР — МАЯК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

1. «Что Вам дали существование и достижения Советского Союза?» («Как повлияла Октябрьская революция и социалистическое строительство на Ваш образ мышления и характер Вашей творческой работы?»)

Ответ: С глубочайшим интересом наблюдал я возникновение и рост СССР. Думаю, что оставаться к этому безучастным, не загореться великими и гуманными идеями и их постепенным внедрением в жизнь — невозможно. С того момента, как я аналитическим путем впервые пришел к пониманию происходящих в СССР процессов и их результатов, я не перестаю приходить в отчаяние от ужасной и все возрастающей несправедливости, которую порождает капиталистическая система, и от того, что — это очевидно для каждого честного наблюдателя — в качестве меры борьбы с капитализмом не выдвигается ничего, кроме призрачного и столь часто высмеиваемого оружия — теории.

Самое возникновение СССР и даже первые трудные годы его существования — это весьма убедительный и не вызывающий возражений довод, ныне ставший несокрушимым. На мировой арене появилась страна, обоснованно утверждающая: наша система даст не собственнику капитала, а его производителю справедливо и удобно устроенную жизнь и все блага, которые способны изобрести гений, искусство, наука и силы челове-

ческого разума. Этот светоч неизбежно стал не только маяком для России, но и могучим прожектором, безжалостно вскрывающим и разоблачающим махинации, лживость, конфликты, порожденные жадностью, темные предрассудки и мусор капиталистической системы. К этому учению, к этому светочу я обращал свой взор и находил поддержку и вдохновение для творческой работы.

2. «Ваше мнение о советской литературе?».

Ответ: Ввиду малодоступности переводов я далеко не так хорошо знаком с путем развития советской литературы, как мне этого хотелось бы. Но я знаком с наиболее значительными произведениями и за последнее время особенно интересуюсь журналом «Интернациональная литература». В числе прочего я с удовлетворением отмечаю стремление создать в Советском Союзе литературу, которая являлась бы не только средством пропаганды или, вернее, которая занималась бы не только деталями теории. Это не значит, что я ставлю под вопрос крайнюю необходимость соединения теории с практикой, ибо пока еще нужно пользоваться всеми способами для того, чтобы просвещать массы и бороться с давними предрассудками, а также с инертностью, сковывающей до сих пор большую часть вашего народа. Но сейчас, когда в этом направлении уже сделано так много и особенно, когда у вас уже есть новое поколение, целиком и безоговорочно стоящее за сохранение всех преимуществ этой системы, приятно и важно видеть, что ваши писатели могут и уже начинают переходить к литературе более свободной и менее тенденциозной, ставя перед собой задачу дать миру смело написанное полотно вашей жизни. В этом им можно только позавидовать.

Они проникнуты бодростью, сознанием необходимости выполнения ваших широких общечеловеческих планов. И они так безоговорочно протестуют против всех экономических укладов, кроме вашего, что творения их могут предлагаться миру без ненужного подчеркивания их социального происхождения, ибо читатель без труда сам угадает это.

Последнее время меня занимает один жанр в вашей литературе — жанр юмористический; более широкое знакомство с веселым и смешным, составляющим сущность

славянского юмора, немало способствует пониманию всех сторон вашей жизни.

3. «Какие явления и процессы в культуре капиталистических стран больше всего привлекают Ваше внимание?».

Ответ: Те явления и процессы, которые наиболее наглядно отражают ту или иную фазу экономического развития советской системы. Но мое внимание останавливают не столько сами явления, сколько внутренние процессы, сопровождающие их. Я имею в виду отчасти те широкие планы правительства США, которые являются источником всей теперешней шумихи в прессе. Когда даже самой буржуазии стало в какой-то мере очевидно, что ее дальнейшее существование зависит от чего-то иного, кроме собственного инстинкта жадности, она не поленилась сделать вид, будто идет на уступки массам,— прибегнуть к чарам, позволяющим надеяться на возможность предотвращения гибели.

И вот в итоге — публичное признание НРА («плана национального возрождения»), который сам по себе не лишен известных достоинств, ибо он прокламирует — подобно тому, как это существует у вас, — установление минимума зарплаты и максимального количества часов, в течение которых рабочий может быть занят на производстве, хотя в то же время не дает никаких иных привилегий рабочим. Его основная цель — обеспечить работу наибольшему количеству рабочих, но работа эта не дает заработка, достаточного для сносного человеческого существования, да и рабочий день не сокращается. И все же повсюду запестрели патриотические лозунги. В Нью-Йорке был даже устроен грандиозный парад. Но рабочие до сих пор нищенствуют, а владельцы капиталов до сих пор процветают и ждут возвращения старых добрых времен, когда они получали по тысяче процентов прибыли. Одно меня удивляет — это наивная вера масс в грядущие реальные улучшения. Я не понимаю — откуда? Разве что будет уничтожен капитализм!

Иллюстрация к сказанному: недавно была напечатана статья Джозефа Истмэна о железнодорожном транспорте. Газеты разукрасили ее заголовками, заверяющими, что он ратует за национализацию железных дорог — одну из самых ненасытных отраслей хозяйства.

Но из самой статьи, написанной сдержанным и сухим языком, явствует, что м-р Истмэн и не думает предлагать что-либо подобное; на самом деле он призывает только к более бережному и щедрому отношению к железным дорогам, чтобы удовлетворить их постоянно возрастающую алчность и жажду наживы.

Да и не только у нас, в США, но почти повсюду сущность заменяется тенью. За пределами России для масс не делается ничего реального. В Италии, во Франции, в Германии, в Англии — всюду одно и то же. В Соединенных Штатах растет активный протест против беззастенчивого снижения цен на сельскохозяйственные продукты; слышны даже голоса протеста, исходящие от студенческих организаций, против программ обучения, которые готовят их не более, не менее, как к голодной смерти на бульварной скамье; но это и все. То ли народ еще недостаточно натерпелся, то ли нет вождей? Одним словом, широчайшая потребность масс освободиться от волчьих appetитов своих угнетателей и от химер религии пока не находит отклика.

Что касается вашего постскриптума с просьбой назвать произведения, характеризующие настроения интеллигенции, то таких произведений у нас нет, да и интеллигентов чертовски мало.

1934 г.

О ПИСАТЕЛЯХ И ЛИТЕРАТУРЕ

Интервью с нью-йоркским корреспондентом «Правды»

Подчеркивая, что кризис капитализма произвел глубокое впечатление на Драйзера и заставил его по-новому узреть мир, корреспондент приводит нижеследующие высказывания писателя по вопросам современного положения

Улучшения не наступило. Проблема кризиса не решена. Корабль капитализма потерпел крушение. Он мечется в открытом море. Бушует шторм. Механики пытаются заткнуть пробоины, но спасти судно уже невозможно.

Литература в общем на кризис не отозвалась. Страдания масс не получили отражения в «большой литера-

туре». Возможность перемены строя не рисуется воображению писателей. Произошел невиданный крах, наступил «кризис кризисов», все язвы капитализма вскрыты до самых глубочайших тайников, люди проходят через адские муки. А посмотрите наши литературные журналы и прессу: там об этом почти ни слова. Если упоминается то или иное явление, то поверхностно и мимоходом, без связи с целым. Воображаю, что сделали бы с нашим современным общественным материалом Диккенс или Достоевский... А почему это так? Да очень просто. В массе буржуазной публики все еще преобладает уверенность, что существующая система — лучшая в мире. Живуча романгика наживы. Голливуд мертвой хваткой держит не только кинематографию, но и всю литературу. Идеал: человек, который никогда не работает. Вообще в ходкой американской литературе никто никогда не работает. Нет бедности, нет эксплуатации, а все трудности (большей частью любовные) разрешаются самым разлюбезным образом. Публику 150 лет воспитывали на этакой литературе любовных интриг и наживы. От этого так скоро не отучишь ни читателя, ни писателя.

Вот я побывал в Кентукки, я видел горняков, я видел батраков, я познакомился с их судьбой и написал киносценарий «Табак». Я написал о судьбе батрака, полуроба на табачной плантации. Ну и что же? Продать сценарий некому. Ни одна кинофирма не купит. Публике, дескать, такие вещи не по вкусу. Да и как сочетать этот материал с голливудской красотью? Нет у меня в картине и любовной интриги.

Американская литература спит глубоким сном. Гром кризиса ее не разбудил. Приблизительно в таком же положении, как я, находятся Шервуд Андерсон и еще несколько писателей, обладающих не только стажем, но и общественным, политическим сознанием. Мы — ничтожнейшее меньшинство среди огромного количества писателей, угодливо разрабатывающих образы преуспевающих бизнесменов.

Характерно, что, в то время как все интеллигентские профессии жестоко пострадали, на материальном положении писателей кризис сказался незначительно. Конечно, заработки теперь не такие высокие, как до 1929 года, но в общем живут писатели неплохо. Поло-

жение американской литературной братии куда лучше, чем во Франции или Англии. В Англии я лично видел одного довольно известного писателя. автора нескольких выдающихся книг, который стал приказчиком. Он вынужден служить в мелочной лавке за мизерное жалованье. У нас в США ничего подобного нет. Книжный рынок переживает депрессию, но все же книги печатаются в больших количествах. Правда, все дрянь, не имеющая никакого значения. Автору, написавшему серьезную и честную книгу, издателя найти трудно. Прощают в литературе люди, чья мысль не осознала катастрофы. Кризис не коснулся сознания подавляющего большинства наших писателей, он не встряхнул, не потряс их. Если бы они больше пострадали, они бы писали более серьезные книги.

Наша литературная критика не имеет никакой цены. Вдруг рецензенты начинают расхваливать автора без всякой видимой причины. Так было с английским писателем Майклом Арлином, так было с Олдосом Хаксли. Произведения Хаксли читаются не без удовольствия, но изюминки в них нет. Так было, между прочим, со Шпенглером, который, по-моему, не заслуживает шума, поднятого вокруг «Заката Европы». У нас открывают гения чуть ли не каждую неделю, чтобы о нем тут же забыть. А помните, как меня критика отдубасила за мою «Американскую трагедию»?

Нам нужен критик, который сумел бы сорвать маску с нашей современной литературы. Двадцать лет назад для своего времени это сделал Менкен. Он — фаталист и реакционер, но он послужил на пользу американской литературе, согнав с нее слащавость, патоку.

Далее корреспондент указывает, что кризис, по мнению Драйзера, оказал большее влияние на театр, чем на другие виды литературы и искусства. Под прямым влиянием компартии написаны такие пьесы, как «Табачная дорога», «Им нельзя умереть», «Мир на земле», «Грузчик».

Но буржуазный театр спит тем же непробудным сном, что и литература. Успех некоторых передовых пьес объясняется тем, что часть буржуазной публики заинтересовалась «радикальными» темами. Преобладает, однако,— не преобладает, а прямо господствует,— театральная пьеса, пробаляющаяся все той же легкой любовной интрижкой.

Драйзер высоко отзывается о Фолкнере, Конро, Роллинсе, Голде и других молодых писателях. При этом, однако, он прибавляет, что писатели эти его не совсем удовлетворяют.

Им не хватает способности к глубокому психологическому анализу. Чтобы написать хорошее произведение, мало отзывчивости на социальные условия. Надо видеть человека. Наши пролетарские писатели отлично видят социальную среду, они понимают пружины общественной жизни, но они не трогают зрителя глубоко, они не захватывают, не потрясают. Причина? Молодые писатели рассматривают действительность под углом зрения определенных формул, тогда как писатель должен видеть ничем не затемненную действительность, в первую очередь человека, под углом зрения своего художественного темперамента.

Чтобы проиллюстрировать свою мысль, пишет далее корреспондент, Драйзер ссылается на Гоголя и Салтыкова-Щедрина.

Эти великие писатели тоже были общественниками, они бичевали социальное зло, но какие у них получались замечательные человеческие фигуры!

Тем не менее, отмечает корреспондент, Драйзер возлагает большие надежды на молодую пролетарскую литературу и на пролетарскую критику, развивающуюся на страницах «Нью мэсиз»

Тут здоровое начало. Тут могут развиваться огромные силы.

Искусство — могучее средство исправления людского несовершенства. Даже при коммунизме не будет совершенства. Будут недостатки. Будут прорывы. Лучший корректив — свободная человеческая мысль. Очень много можно добиться скорее и лучше силою художественного темперамента, чем силою законов.

Драйзер, пишет далее корреспондент, в восторге от художественного гения русского народа

Рядом с русским средний американец похож на худое и поджарое животное рядом со слоном. У нас всегда берутся за мизерную, тоненькую темку, и всегда-то мы что-то проповедуем, и всегда мы за чем-то гонимся, а ничего у нас не выходит. Русская масса — это вроде золотой руды. Американцу не хватает универсальности, которой так богаты русские, даже простые крестьяне.

Всей душой я чувствую это богатство русской социальной почвы. Поэтому-то я и предсказываю огромное будущее новой русской литературе на новой социальной базе.

1934 г.

ЧЕМУ НАУЧИЛА МЕНЯ МИРОВАЯ ВОЙНА?

Я мог бы ответить на этот вопрос одним словом: «Многому».

Война показала мне с неотвратимой ясностью, что весь социальный строй, в недрах которого она зародилась, обветшал — больше того, прогнил насквозь. Официальная религия того времени — да и после, — каким это все оказалось чудовищным фарсом! Хваленая английская демократия — ветхие подмостки, на которых хорохорятся все те же представители развращенного и растленного правящего класса, всегда существовавшего за счет народа, — это он сражался и умирал, а тех, кого пощадила война, ныне убивают жалким пособием по безработице.

А в остальной Европе — вся эта давным-давно прогоревшая королевско-императорская шайка — кайзер, например, со своей бредовой идеей о том, что императорской фамилии Гогенцоллернов будто бы не хватает места под солнцем! А дальше? Полоумный вырождок царь, правивший Россией при помощи полоумного двора и бездельников-дворян. В Австро-Венгрии — Габсбурги, собрание умалишенных, бежавших по чьему-то недосмотру из психиатрической больницы; и вся эта свора, переряженная в герцогов, принцев и принцесс, поддерживается церковью, потерявшей стыд и совесть. В Испании — король-кретин и святейший причт траченных молью, выживших из ума прелатов! Эти гены, терзающие живое тело народа, чьей милостью они существуют, давно утратили всякое чувство действительности.

То же самое в Италии.

То же самое в Румынии.

Бездельники, кровопийцы, расточители, провозгласившие себя владыками и королями, они держатся на штыках армий и флотов и на плечах советников во фракках и рясах, а живут за счет народа, своего чуть ли не дарового работника, да еще стараются внушить ему, что облепившие его пиявки — помазанники божьи!

И, наконец, Америка! Вильсон, кричащий, что мир надо спасти для демократии, и, видимо, решивший, что он его спас, пустив на ветер сорок миллиардов народных денег! Но разве из всех его стараний не получился сплошной конфуз?

Ну а теперь у нас, в Америке, когда мы уже «спасли» демократию, что из этого вышло? Достаточно вспомнить наши тресты и акционерные компании, как они цепко держат то, что попало к ним в лапы: «Стандард ойл», Железнодорожный, Энергетический, Телефонный, Стальной, Алюминиевый, Пищевой и Текстильный тресты, точно какие-нибудь восточные деспоты, требуют всего, до чего только могут дотянуться их загибающиеся лапы, всего, что можно содрать с человека, зарабатывающего 50 центов в час, — и даже больше чем можно. И все это кричит о демократии, о верности американским традициям и об американском образе жизни. Мало того, перенимая кое-что у России, а именно — твердый уровень заработной платы и пятидневную неделю при шестичасовом рабочем дне, — они кричат, что русские установили у себя тиранический строй, какого не бывало в истории. И вы еще спрашиваете, чему научила меня мировая война!

Что ж, она научила меня, что 50 центов в час и пятидневная неделя при шестичасовом рабочем дне — недостаточное возмещение за неограниченные привилегии и монополии, захваченные нашей денежной аристократией, которая, прочно обосновавшись у нас в Америке, ставит своей целью не улучшение жизни трудящихся и даже не культурный расцвет своего, привилегированного класса, а только внешний блеск и бессмысленное, праздное существование. И пока монополии не будут сметены с лица земли, пока массы не будут должным образом вознаграждаться за свой труд, пока так называемые «высшие классы» не сольются с народом в качестве простых рабочих, я не поверю, чтобы великая война дала миру что-то хорошее — за исключени-

ем нового строя в России, на которую по-прежнему с надеждой смотрит человечество! Именно этому, если хотите, научила меня мировая война!

Р. С. Я отнюдь не считаю, что разумный строй может сделать человека ангелом, но он может помешать ему окончательно превратиться в черта!

1934 г.

ДВА МАРКА ТВЕНА

Как и многие другие, изучавшие американскую литературу, я часто задумывался над той психологической и литературной загадкой, какую является Марк Твен. Американец из Средне-Западных штатов Теннесси — Миссури, выросший на уединенной ферме, в семье мелких рабовладельцев, он до сих пор в представлении большинства американцев остался не крупнейшим и оригинальным мыслителем-пессимистом, каким был на самом деле, что доказывает ряд его наиболее ценных вкладов в американскую литературу, — но неисправимым шутником и неистощимым юмористом, который и при жизни и после смерти так забавлял читателей всего мира, что они даже теперь не могут отнестись к нему настолько серьезно, чтобы понять, сколь мрачно и механистично было его мировоззрение.

Если бы ему случилось познакомиться с Жаком Лебом!

Если бы он мог предвидеть направление научной мысли за последние двадцать лет!

Как бы то ни было, для большинства он остался насмешливым, остроумным биографом Тома Сойера, Гекльберри Финна, Простофили Вильсона и только для немногих — тонким и глубокомысленным создателем «Таинственного незнакомца» (книга эта все еще продается как рождественский подарок для детей) и «Что такое человек» — произведения, которые Леб приветствовал бы, как материал, дополняющий его механистические выводы в области биологии.

Как это могло произойти? Не было ли с самого начала двух Марков Твенгов, как предполагали некоторые критики по прочтении книг «Что такое человек» и «Та-

инственный незнакомец»? Помнится, еще в 1910 году, в редакции издательства «Харпер и братья», которое и теперь еще выпускает произведения Марка Твена, я узнал, что действительно было два писателя, носивших это имя: один — прославленный, пользующийся огромным успехом, автор произведений, которые все знали и одобряли как произведения, полные здорового юмора, хотя и несколько резко изображавшие более или менее простительные недостатки американского характера, и другой — неизвестный Твен, который приносил свои изумительные рассказы в духе Рабле тогдашним представителям издательства «Харпер и братья» — Ф. А. Дюнеку и Ф. Г. Лею. Обоим им пришлось бы пустить в ход все свое дипломатическое искусство, осмотрительность и настойчивость, чтобы, — как они говорили, — «защищать Марка» от яростного и непреклонного консерватизма американцев — если не всего мира — в том случае, если бы какой-либо из этих его рассказов дошел до читателей. В подтверждение этого у меня имеется рукопись его произведения «1601 год — Беседа у очага во времена Тюдоров» с предисловием Альберта Биглоу Пейна и комментариями Дэвида Грея, Джона Хэя и других. Этим все сказано. Те, кто в курсе дела, — поймут. Остальные — спросят.

Но мое внимание, как и внимание многих, привлекал не особый, поистине раблезианский по силе дар юмора, парадокса, преувеличения и острой шутки, преобладавший у Твена, а его менее заметный для широкой публики и, так сказать, затаенный дар, его талант изображать мрачное и разрушительное, его лирические и скорбные размышления о смысле или бессмысленности жизни, а также сила и ясность его реализма и критики. Все это находило отражение не только в таких опубликованных его произведениях, как «Жанна д'Арк», «Человек, который совратил Гедлиберг», «Таинственный незнакомец» и «Что такое человек», но и в различных отрывках и критических замечаниях, которые можно найти в его переписке и в еще не опубликованной автобиографии, — теперь читатель сможет с нею ознакомиться, так как уже прошло двадцать пять лет после смерти писателя, — срок, который, по желанию Твена, должен был пройти, прежде чем эта автобиография увидит свет.

Но будет ли это сделано? Очередной том собрания сочинений Твена, который выйдет в этом году, покажет это.

Слишком еще велика финансовая заинтересованность в его ранних, более соответствующих духу условностей произведениях.

И тем не менее в 1895 году, хотя и под псевдонимом, была опубликована «Жанна д'Арк»; Твен сам потребовал, чтобы она вышла под чужим именем, настолько отличалась она от тех его произведений, которые в то время нравились ему самому. Он опасался неблагожелательного приема и, прежде чем поставить свое имя, хотел узнать, как отнесется читатель к его книге. И если бы ее приняли плохо, книга так и осталась бы под псевдонимом вплоть до смерти Твена. Но, как ни своеобразно было это произведение, общее мнение было благожелательным, и Твен признал свое авторство. Однако «Жанна д'Арк» никогда не расходилась так хорошо, как «Простак за границей», «Гекльберри Финн» или «Том Сойер».

Вскоре после этого (1898) Твен написал две вещи, совершенно непохожие на все то, что он создал раньше; это — «Таинственный незнакомец» и «Что такое человек». Твен воздержался от опубликования их, и они вышли лишь в 1916 году — через шесть лет после его смерти. А пока они лежали в ящике его письменного стола, Твен издал — за период между 1898 и 1910 годом — годом его смерти — «Монолог короля Леопольда», «Детектив с двойным прицелом», «Дневник Евы», «Христианскую науку» и произведение более смелое, но зато более смешное, а потому и более безопасное: «Человек, который совратил Гедлиберг»; здесь впервые прорвался иной юмор, непохожий на привычный смех Твена, в котором он находил спасение от окружающего его гнусного мира. Кроме этого, вышла его не менее смешная книга «Путешествие капитана Стормфилда в рай».

Однако, кроме «Таинственного незнакомца» и «Что такое человек», имеются и другие, еще не опубликованные произведения Твена. Когда же они увидят свет? В наше реакционное время? Сомневаюсь.

Чтобы дать вам возможность составить себе мнение об этих произведениях Твена и доказать, что после его смерти были опубликованы строки, которые он никогда

не решился бы опубликовать при жизни, я приведу отрывки из его автобиографии, которая увидела свет лишь в 1924 году, но в которую не вошли, однако, все его высказывания о жизни и его эпохе (полная автобиография Твена должна появиться в 1935 году). Позвольте процитировать то, что приведено в виде факсимиле на главном листе его биографии: «Я пишу из могилы. Только при таком условии человек может быть до некоторой степени откровенным. Вполне и безгранично откровенным он не может быть *ни в могиле, ни вне ее*» (курсив мой.— Т. Д.).

Далее (также из I тома его автобиографии):

«На свете ничего не дается даром; вы платите за все, хотя бы на пятьдесят процентов дороже, в знак же благодарности — на тысячу. Благодарность — это долг, который обладает способностью возрастать, подобно требованиям вымогателя: чем больше платишь, тем больше с тебя требуют. Со временем вы начинаете сознавать, что любезность, оказанная вам, превратилась в проклятие, и вам уже хочется, чтобы ее вовсе не было».

И дальше: «*Что касается человека, то это слишком обширная тема, чтобы обсудить ее полностью, а потому на этот раз я коснусь лишь одного или двух вопросов, относящихся к этой теме. Мне хочется рассмотреть человека вот с какой точки зрения — предположить, что он не был создан для какой-либо определенной цели, ибо он не служит ни одной из таких целей, — что он, по видимому, даже не был создан преднамеренно и что когда он развился из простейшего организма и превратился в то, чем он является сейчас, то это, вероятно, удивило и огорчило Создателя.. Ибо история человека во всех странах, во все эпохи и при всех обстоятельствах дает бесчисленное множество доказательств того, что из всех живых существ он — самое отвратительное. Из всех земных существ только он один наделен коварной злобой.*

А ведь это самый низменный из всего множества инстинктов, страстей, пороков и самый омерзительный. Одно это ставит человека ниже крыс, червей, трихины. Он — единственное существо, которое причиняет боль ради развлечения, зная, что это боль. Правда, если кошка знает, что она причиняет боль, играя с перепуганной мышью, то мы должны допустить исключение для чело-

века и считать, что в моральном отношении он сравнился с кошкой. Все живые существа убивают — тут, по видимому, нет исключений; но только человек убивает ради забавы; он один убивает коварно, он один убивает из мести. Таким образом, из всех живых существ у него одного гнусная душа.

Так, значит, его следует превозносить за благородные качества, привлекательность, нежность, мягкость, ласковость, мужество, преданность, терпение, выдержку, осторожность, за разнообразные чарующие и привлекательные черты, присущие его духовному облику? Но другие животные также обладают всем этим, однако им чужды гнусность и испорченность человека».

А вот еще:

«На свете распространена ложь, сладкая, как сахар, которую все политики, по-видимому, молчаливо сговорились поддерживать и постоянно распространять. Одной такого рода ложью является утверждение, будто в мире существует независимость: независимость мысли, независимость мнения, независимость действия. Другая ложь — будто люди любят независимость, восторгаются ею, приветствуют ее. Ложь также, будто в мире существует терпимость — в религии, в политике и так далее; и это сопровождается другой ложью — о том, будто терпимостью восторгаются и приветствуют ее. От этой основной лжи, как ветви от ствола, идут одна ложь за другой: ложь, будто не все люди рабы; ложь, будто люди рады, когда другие добиваются успеха, когда они благоденствуют, достигают больших высот, и ложь, будто люди опечалены, когда эти другие падают вниз. И другая ложь — будто человек обладает героизмом, будто он не состоит весь из коварства и предательства, будто иногда он бывает не трусом, будто в нем есть нечто, долженствующее вечно существовать — на небе, в аду или еще где-то. И еще ложь, будто совесть, средоточие моральных устоев человека, не только сотворена Создателем, но вложена в человека, уже готовая, вместе с чувством справедливости и сознанием единственно верных правил поведения, и будто те же моральные устои, с такими же правилами поведения, неизменные, присущи всем нациям и всем эпохам.

И еще другая ложь, будто я это я, а вы это вы, будто каждый из нас представляет собой особую едини-

цу, индивидуальность, и обладает самостоятельным характером, тогда как на самом деле мы не что иное, как кончик хвоста ленточной глисты, последнее звено бесконечного ряда предков, непрерывной процессией уходящих в глубь времен, все дальше и дальше, к источнику нашего происхождения — обезьянам, а наша так называемая индивидуальность — прогнившая и протухшая смесь инстинктов и привычек, наследственно, атом за атомом, переданных нам всем этим рядом наших жалких предшественников, и в этой индивидуальности не найдется и крупинки нового и оригинального, хотя бы вы поместили эту крупинку на конце иглы и принялись рассматривать под микроскопом. Поэтому совершенно фантастично предполагать, будто у человека есть нечто свое, личное, оригинальное, самостоятельное, что можно отделить от всего неоригинального, и притом все это имеется в таких количествах, что наблюдатель может сказать: перед нами человек, а не бесконечная процессия живых существ».

И далее:

«Все разговоры о терпимости, к чему бы они ни относились, просто благородная ложь. Терпимости не существует. Ее нет в человеческом сердце, но бессознательно, по истари унаследованной привычке, люди продолжают бредить ею. Нетерпимость значит — все для себя и ничего для других. Основа же человеческой природы как раз в этом и состоит — в эгоизме».

Конечно, это только отдельные отрывки, подобранные с целью возбудить любопытство и заинтересовать читателя, ибо в них нашли отражение наименее известные, хотя и существенные черты этого изумительного гения. В этих отрывках меньше мягкости, грусти и даже яда и злости, чем в некоторых его более пространных и уничтожающих суждениях. Но для настоящей статьи весьма существенно то, что их идеологическая направленность именно та, о которой я здесь говорю.

«Что такое человек» — книга более глубокая и жестокая. В «Таинственном незнакомце» Твен смотрит на жизнь как бы из глубины безграничного отчаяния. Этим утверждением я всячески стараюсь показать, что Марк Твен ни в какой мере не получил еще у нас должной оценки, и я сомневаюсь, чтобы он вообще был по-настоящему оценен в Америке при ее современном интел-

лектуальном развитии. Дело в том, что с сохранением «доброго имени» Твена связаны значительные финансовые выгоды, которые принимаются и (можете не сомневаться) будут приниматься в соображение.

Для деятелей Голливуда и молодых анархо-сексуалистов в литературе и искусстве такие произведения, как «1601 год» и несколько неопубликованных рассказов, будут изданы тайком, в определенном количестве экземпляров. И несмотря на все утверждения лабораторных исследований, доказывающих механистичность мироздания и обосновывающих детерминистскую философию, ни «Таинственный незнакомец», ни «Что такое человек» никогда не получат широкого распространения и не будут серьезно обсуждаться в Америке, да и вообще где бы то ни было. И объясняется это несколькими причинами: догматической религией, социальными и моральными взглядами американцев, сознательно поддерживаемым невежеством масс — в школах и вне школ, в университетах и вне университетов, в биологических и физических лабораториях и вне их. Я подозреваю, что восстали бы и возмутились не только Милликены, но и Гельдены и даже Джулианы Хаксли. Вспомните о судьбе Ж. Леба, самой крупной фигуры после Дарвина, или, вернее, о его механистической теории, и вы поймете мою мысль. Знакомо ли вам что-либо из двенадцати томов его сочинений, описывающих механические процессы жизни, как он их понимал? Я твердо уверен, что общество «Надзор и опека», оберегающее наши библиотеки, скорее закроет их, чем будет распространять эти книги.

Что меня, однако, чрезвычайно интересует — так это кажущаяся двойственность Твена, ибо на самом деле было, конечно, не два Марка Твена, а один. С самого начала был, конечно, лишь Твен, окруженный условностями, которому до сорока лет не удалось прочитать «Дневник» Пэписа и чей напряженный интерес к Спенсеру, Дарвину, Гексли, возникший после его первого путешествия за границу («Простак за границей», 1869), привел его, хотя и не сразу, к знакомству с жрецами литературы и науки Восточной Америки, к женитьбе на девушке из консервативной и богатой семье Ленгдон, жившей в Нью-Йорке, к дружбе с такими консерваторами и моралистами, как Вильям Дин Хоуэлс, Чарльз Дадли Уорнер, Томас Бейли Олдрич и, конечно, Харпер

и братья, и к созданию таких умеренных по своему социальному протесту книг (некоторые места в них, правда, были выпущены издателем), как «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», но отнюдь не таких, как «Личные воспоминания о Жанне д'Арк» или вышедшие значительно позднее «Человек, который совратил Гедлиберг», «Таинственный незнакомец» или «Что такое человек». Как я уже говорил, последние две книги, хотя и были написаны в 1898 году, не были опубликованы при жизни Твена. И его современники не дожили до выхода в свет этих книг.

Чего же так боялся Твен? Ведь его современниками были — Золя, пользовавшийся не меньшей славой, Д'Аннунцио, Чехов, Достоевский, Мопассан, Стриндберг, Ибсен. И Твен, конечно, слышал об Уитмене и о Германе Мелвилле, подвергшемся остракизму за свой роман «Тайпи», и, конечно, о Максиме Горьком, хотя, когда в 1906 году Горький прибыл в Америку, ни Твен, ни Хоуэлс не присутствовали на приеме в честь его — им не позволяли этого их репутация и общественное положение. И все-таки Твен создал не только «1601», но и рассказы, которые, по мнению его издателей, никогда не должны быть опубликованы! И дочь Твена, Джейн, писала, что «дома он много говорил о серьезных вещах и лишь изредка вставлял шуточные замечания».

Письма его к друзьям из Восточной Америки, к жрецам науки и к сильным мира сего были другого рода.

Я подозреваю, что социальные силы и условности, во власти которых очутился Твен после своего раннего литературного успеха и женитьбы, оказали такое влияние на этого отзывчивого и чуткого, но порой, пожалуй, слабохарактерного гуманиста, что на некоторое время совершенно отвлекли его от реалистического, так сказать, по-достоевски серьезного изображения пережитков прошлого, жестокостей и человеческих страданий, которые в сущности наиболее интересовали его. Я думаю, что именно к этим темам обратился бы Твен, если бы не шумный и поверхностный успех, который создала ему как гениальному юмористу американская тупоголовая публика. (Под этим я подразумеваю почти всех американцев того времени) Твен был слишком мягко-

сердечным человеком, он был одним из самых чутких гуманистов, и, как таковой, сам являлся нагляднейшим опровержением худших обвинений, направленных им против человека.

Твен родился в 1835 году в стране, на юге которой существовало рабство, а на западе пробивали себе дорогу первые поселенцы. В Америке того времени — и это не могло не иметь влияния на умонастроение Твена — общее положение несколько смягчалось, а кое-где даже приукрашивалось благодаря неисчерпаемым природным богатствам страны, а также оптимистическому взгляду на развитие ее экономики, порожденному этими богатствами и продолжавшимся расширением ее границ. Но даже если это и так, Твен не мог не знать о развращенности нравов, о несправедливостях, лишениях и страданиях большинства окружавших его людей.

Не забывайте, что в детские годы Твена рабство было обычным явлением в Миссури, Флориде и Ганнибале и что в юности он видел, как он сам рассказывает, негров-рабов — мужчин, женщин и детей, прикованных друг к другу цепями и ожидающих на берегу Миссури парохода, на котором их должны были отправить на юг для продажи. И среди этих мужчин, женщин и детей были такие, которых разлучили с женами, мужьями и родителями. Однако во всех своих описаниях Америки, за исключением приведенных выше строк из автобиографии, Твен нигде ни разу не говорит об этом с возмущением, что не помешало ему позже трогательно писать о принце и нищем и о том, что переживал или мог переживать принц, познакомившись чисто случайно с нищей! Более того, он мог трогательно и прекрасно, даже трагически изображать страдания Жанны д'Арк, описывать, как мучили крестьян при династии Романовых! Но он не описал, например, ни одного эпизода Гражданской войны, в которой он не принимал участия, если не считать попытки организовать волонтерский отряд, ничем себя так и не зарекомендовавший. Самое большее, что он сделал для негров, это выступил против «Хижин дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу и создал образ негра Джима, который вместе с Гекльберри Финном находился на плоту, где разыгрывались мастерски описанные сцены юности Гекльберри Финна.

Но почему? Ведь несмотря на свою склонность к юмору, Твен был еще и реалистом, и притом реалистом совершенно исключительным. Стоит только перелистать такие книги, как «Простаки за границей», «Налегке», «Том Сойер», «Гекльберри Финн», «Позолоченный век», чтобы на каждой странице, в каждой сцене найти блестящие описания окружавшей его жизни, и это несмотря на бробдинггеский юмор Твена¹.

Едва ли нужно напоминать историю удач и неудач семьи полковника Селлера, где, несмотря на чрезвычайно комическое изображение честолюбивых устремлений полковника и средств, к которым он прибегал, в волнующем рассказе о судьбе его, судьбе его жены и детей отчетливо звучит печаль.

В «Налегке» Твен дает сильную, яркую картину фантастической и все же совершенно реальной эпохи американской истории. Правдивая, поразительно смешная карикатура на фоне хладнокровно изображенной действительности, трагедия охваченного серебряной лихорадкой города и в то же время весь комизм положения останутся навеки правдивой картиной для любознательного потомства. Вспомните вражду между Грэнджерфордами и Шепердсонами в «Гекльберри Финне» и весь ее трагизм, несмотря на юмористическое описание событий. Легкий поворот пера в каком-либо месте этого повествования, и получился бы рассказ, который поражал бы, ужасал, волновал и увлекал самых страстных любителей реалистической правды. То же можно сказать и о сцене, изображающей полковника Шерборна, обращающегося с речью к толпе, которая пришла линчевать его. Здесь нет юмора — только суровая, беспристрастная, правдивая картина, где показан мужественный человек, противостоящий безрассудной, обезумевшей толпе. Эта сцена могла бы быть написана и Бальзаком, и Толстым, и Салтыковым. Здесь Твен не поддается своей склонности к юмору, к преувеличенным шуткам, — в своих серьезных писаниях Твен выступал всегда как реалист, и притом великий реалист. Однако вследствие этой своей склонности к карикатуре и преувеличению, преобладав-

¹ Бробдинггеги — жители страны великанов, куда попал Гулливер во время своего второго путешествия. См. Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»

шей у него в молодые годы и в начале его зрелого творчества, он лишь постепенно переходил к более спокойной манере своих позднейших произведений. Иногда хотелось бы, чтобы Твен, подобно Шекспиру, сумел найти правильную пропорцию между подлинной трагедией и фантастической нелепостью и в увлекательном описании американской жизни правдиво передал бы современную ему действительность такой, какой он ее знал.

После тщательного исследования и размышления я пришел к следующим выводам: начать с того, что Твен получил весьма скудное — даже по условиям того времени — образование. С одиннадцати лет он перестал посещать школу. Затем его окружали американцы с Запада и Среднего Запада, положительно помешанные на религиозном вздоре и на идеях о финансовом и «моральном» преуспевании. И эти социальные и психологические факторы оказали влияние на чувствительную, отзывчивую и в то же время склонную к безудержному юмору натуру! Шутить! Шутить! А вокруг в американских газетах и на американских подмостках царили такие кумиры современной ему Америки, как Артемус Уорд, Дж. Биллингс, Билл Най, П. В. Нэсби. И все они имели такой потрясающий успех! Америка того времени могла смеяться. Она была еще достаточно свободна и счастлива для этого. А вспомните о жестокой бессмысленности той жизни, какую жили его родные города — Флорида в Миссури и Ганнибал в Миссури! Прочтите об этом в «Гекльберри Финне». Вспомните о его родственниках, фермерах, которых он так и не описал, — иные из них имели рабов, которых дурно кормили и с которыми дурно обращались, а ведь он, школьником, играл с детьми этих рабов! А потом — юношеские годы, проведенные в качестве ученика лодмана на Миссисипи, — суровая жизнь на этой средне-западной реке отразилась на чутком, чувствительном, хотя и любящем пошутить и посмеяться, двадцатилетнем мировом гении — юноше, в котором объединились Фальстаф и Диккенс. И, несмотря на все это, он никогда не был романистом — никогда. Он не мог бы написать романа. Возьмите хотя бы «Позолоченный век»! Здесь перед нами скорее анализирующий гуманист, не описавший, однако, до конца трагическую жизнь разбитого, несчастного человека, судьба

которого до глубины души трогала его. Почему? Он, который мог писать о «Таинственном незнакомце»? О страданиях Жанны д'Арк? Почему?

И вот после такой юности — быстрый успех, огромная, мировая слава. Смех Англии, Америки, Германии, Франции! И наш простой, наивный гений попадает в общество богатых, знатных, титулованных, признанных духовных авторитетов и жрецов науки. И повсюду его встречают рукоплесканиями и дружескими приветствиями. О, наш дорогой Марк — великий гений Америки и всего мира!

Вспомните его первое путешествие. И затем — «Простак за границей». И все, что было сказано мной выше. И вспомните, как на пароходе, увозящем его за границу, он увидел сначала фотографию той девушки, которая должна была стать его женой, а затем встретился и с самой девушкой, мисс Оливией Ленгдон, на которой и женился 2 февраля 1870 года, в разгаре своего быстрого и неожиданного успеха. И вместе со славой и любовью получил отлично обставленный дом и, в качестве свадебного подарка, пай в одном из газетных издательств Буффало. И вот слава, любовь, деньги посыпались на нашего юного гения, — все больше и больше славы и денег, и затем — дружба и поклонение признанных авторитетов и знаменитостей ультраизысканного литературного мира Восточной Америки: Уорнера, Олдрича, Хоуэлса, Кейбла, Гея! И бережные заботы новых родственников, которые, хотя и относились к нему с некоторой снисходительностью, все же гордились внезапно прославившимся гением, который, конечно, нуждался во всесторонней шлифовке! Чарльз Уорнер, известный критик того времени, уже в 1873 году сотрудничал с Твеном: они написали тогда поразительно плохой роман «Позолоченный век». А Хоуэлс в своей книге приветствовал Твена, называя его «дорогой Марк». Собственный дядя Твена с материнской стороны, Джемс Лептон, был увековечен в образе полковника Мелберри Селлеса.

Затем последовали другие книги Твена, имевшие большой успех: «Том Соьер», «Жизнь на Миссисипи», «Гекльберри Финн», «Принц и нищий» и др. Европа и Америка того времени делали все возможное для того, чтобы этот гений оставался неизменно таким, каким он

был им нужен, а не таким, каким он был на самом деле, по существу своей природы. Отсюда — письма и беседы, настраивающие писателя в определенном духе. Жена Твена, издавая его книги, изымает «опасные места». Хоуэлс превозносит его за нравственность — его, написавшего «1601»! И все же, несмотря на это, существовал тот Твен, который обдумывал «Таинственного незнакомца» и «Что такое человек» и в глубине души ненавидел все эти ограничения. Нужно ли просить вас еще раз прочесть цитаты в начале этой статьи?

Но так как он не любил ссориться с людьми и его издатель вложил большие средства в издание его книг, и у его добрых друзей было определенное мнение о нем,— Твен не осмелился восстать. Он боялся того, что скажут его друзья. Его ждал остракизм, как он ждет всякого, кто не хочет идти в ногу с толпой, и неприятности, и страдания. Он не мог сделать того, не мог сделать этого,— не мог, скажем, выступить с резким обличением какого бы то ни было явления американской жизни. Ибо в глазах окружающих он погубил бы этим свое искусство, пал бы с той высоты, на которой стоял, как гений смеха и забавы! И потому Твен совершенно не касался того, что действительно происходило в Америке,— ее продажных и бессовестных политиков (лишь слегка задетых в «Позолоченном веке»), ее хищников-финансистов, увенчавших свое господство созданием железнодорожной, телеграфной, нефтяной, угольной, серебряной и золотой монополий, безумной роскоши четырехсот семейств с их Пятой авеню, с их курортами в Ньюпорте и Саутхемптоне, с их яхтами, золотой сбруей, обедами для любимых собак, с их сумасбродными наследниками второго и третьего поколения. В то время они были священны и неприкосновенны. Слишком священны и неприкосновенны для Твена и для его искусства.

Я не могу требовать от Твена, чтобы он был не тем, кем он был. Ибо он все-таки рассказал все то, что боялся опубликовать при жизни, и этими своими произведениями сам сказал, что хотел бы стать другим и творить иначе. Но условность, условность, вздорное ничтожное общественное мнение — вот что сдерживало его. Из-за таких людей, как Хоуэлс, Роджерс, Гей, Олдрич, Уорнер, Ленгдон, он не сделал того, что мог бы сде-

вать. И он сам признается в этом. Он громко кричит из могилы: «Я подвергся насилию. Я потерпел поражение. Я ненавижу трусливый, лживый мир, окружавший меня. Человек плох. Он нечестен. Жизнь — ложь! Жизнь — ложь».

Прочтите «Что такое человек».

Прочтите «Таинственного незнакомца».

На самом деле, как вы видите, Твен — не два человека, а один — вдохновенный, на какое-то время отклонившийся от своего пути, гений, который все-таки стал самим собой. Твен видел мир таким, каким он был в действительности, но, увы, он попал в социальную среду, которой и по характеру и по существу своему был чужд и против которой в глубине души был озлоблен. Одним словом, этот простой, непосредственный, гениальный мальчик с речного парохода и из рудничного поселка, а затем из западноамериканской газеты растерялся и одно время был положительно ошеломлен, очутившись в том наглом, настойчивом, властном, полном условностей мире, к которому он необдуманно примкнул. И общество сбilo его с пути. Ибо в то время — но не позже — в этом обществе воплощались для непосредственного, жизнерадостного молодого человека все стремления и соблазны того мира, который он еще не ясно представлял себе, — слава, любовь, женитьба? Но позже явился угрожающий перст общественного мнения. Непослушный шалун! Веди себя смиренно! Будь хорошим! Иначе бабушка Грэнди побьет тебя! И еще как!

Я часто думал: во времена Твена жил Уитмен. Слышал ли о нем Твен? Герман Мелвилл был его современником. Слышал ли о нем Твен? Говорил он о нем? Об этом нет сведений. Эдгар По умер незадолго до того. Разве По был запретным писателем? Для Хоуэлса — да. Для Олдрича — да. Но для Твена?

У Твена был здравый смысл и яркий темперамент, и он крепко на них опирался. Это было его силой и отправной точкой, и благодаря этому, несмотря на поверхностную и пустую жизнь, окружавшую его, он в конце концов пришел к убеждению, что большая часть того, что он видел и чем был занят, — только бессмысленная суета, пестрая лживая мишура, которая отвлекает его от истинного призвания. Об этом откровенно говорит Твен в своей автобиографии и в тех действительно бессмерт-

ных произведениях, которые так и остались неизвестными его блестящим, но пустым современникам. Я опять имею в виду «Тайнственного незнакомца», который все еще продается, — трудно поверить этому, — как рождественский подарок для детей, и «Что такое человек» — книги, которые прочтет даже за год лишь небольшая кучка любителей.

1935 г.

ГОРЬКИЙ БУДИЛ МЫСЛЬ

Горький был последним представителем великой мировой плеяды реалистических мыслителей, глядящих на наше настоящее и будущее с тех духовных высот, которых так трудно достигнуть и с которых открываются самые широкие и самые ясные перспективы. Коммунизм, прогресс техники, широчайшие пути, которые сулят нам астрономия, физика и химия, успехи науки в области социологии и экономики, — все это обещает мир, в котором нет насилия, в котором свободно развиваются человеческое чувство и разум.

Только та литература, мастером которой был Горький, которая видит великие горести и радости нашей реальной жизни, — только такая литература пробуждает и направляет человеческую мысль. Человек благодаря такой литературе может найти пути для своего экономического освобождения и построения счастливой жизни. Но неужели наши писатели будут пренебрегать знанием жизни, которым так владел Горький? Я в этом сомневаюсь. Я мысленно возлагаю венок на могилу этого великого человека.

1936 г.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНАЯ ИСПАНИЯ!

На протяжении столетий испанский народ страдал под гнетом изощренно лживой грабительской церкви, загнивающей аристократии и капитализма. В наши дни этот старый враг принял новое обличье — обличье фа-

шизма. Все, кому дорога идея равенства, кому ненавистен строй, основанный на социальной несправедливости, на страданиях и преследовании человека, должны радоваться мужественной борьбе испанских коммунистов против фашизма. Победа коммунизма в Испании принесет народу новую жизнь и дарует надежду тем, кто живет во мраке угнетения. Сторонники свободы уже добились такого влияния в испанском правительстве, что ничто не могло бы поколебать прочности их позиций, если бы не помощь, оказываемая испанскому фашизму государствами, идущими по пути фашизации, и не внутренняя слабость, являющаяся результатом длительного господства упомянутых сил реакции. Помощь испанским коммунистам извне может, разумеется, вызвать международный конфликт. Но поддержка фашизма и интервенция со стороны различных государств, как раньше, так и теперь, представляют еще большую угрозу миру. Поэтому я приветствую народы России, Франции и других стран, которые оказывают испанскому народу всеческую материальную и моральную поддержку в его борьбе за освобождение.

1936 г.

БЕСЕДА С ФРАНЦУЗСКИМ ЖУРНАЛИСТОМ

...Я не думаю, что роман отжил свой век, как и повесть и рассказ. Но появились новые формы, которыми стремятся заменить роман. Кино ослабило и испортило литературную форму в Соединенных Штатах. Заранее известно, что любой роман, если он будет пользоваться успехом, немедленно купит кинематографическая фирма. Мне кажется, что постановщик фильма, режиссер приобретает большее значение, нежели автор печатного произведения. Если он истинный художник, то драма жизни интересует его так же, как писателя. Скоро наступит такое время, когда новый Шекспир кинематографии сможет взять плохую драму и превратить ее в «Макбета». В былое время книги, пользовавшиеся успехом, легко расходились в количестве ста или двухсот тысяч экземпляров. Теперь тираж в семь тысяч экземпляров считается большим успехом, тогда как

в кино ежедневно бывают семьдесят миллионов американцев.

— Вы думаете, что кино убьет литературу?

— Кино ничего не сможет поделаться с теми, кто твердо решил пользоваться печатным словом. Я не думаю, что кино окончательно убьет литературу.

Жизнь непрестанно меняется. Нет ничего постоянного и в искусстве. Работаешь для своей эпохи, для современной жизни и веришь, что труд твой не погибнет. Хочется, чтобы миллионы людей читали тебя и чтобы твои произведения были близки и понятны им. Подражать кино — этому модному и доходному искусству — в книгах, которые не будут расходиться? Зачем? Книга должна что-то давать автору. Не доллары, я не говорю о долларах. Но автор ждет поощрения, одобрения.

Мне очень хотелось бы, чтобы и роман и повесть продолжали существовать — это прекрасные литературные жанры. Но, знаете, я не уверен в том, что они выживут... Теперь следом за кино и радио идет телевидение. Я присутствовал на одном сеансе. И у меня создалось впечатление, что стоит поставить экран перед моей постелью, и я смогу видеть и слышать Рузвельта или Тосканини, дирижирующего оркестром, смотреть фильм или спектакль, лежа в постели. Это было бы так удобно. Возможно, весьма возможно, что благодаря телевидению я увидел и услышал бы столько разнообразного и интересного, что у меня не было бы уже ни времени, ни охоты читать книгу.

— Есть ли у современного писателя возможность заинтересовать читателя, найти в нем отклик?

— Во-первых, — вы сами должны это знать — большинство современных романов написано по шаблону. Вот возьмите с одной из полок моей библиотеки только что появившуюся книгу и какой-нибудь роман, вышедший лет десять, пятнадцать тому назад, — это ведь совершенно одно и то же. Молодой человек рассказывает о своей несчастной юности и не понимает при этом, что так дело обстоит во всех семьях. Некоторые делают попытки как-нибудь по-новому выразить свои наблюдения и впечатления, но великие романы редки. Так всегда было. Бальзаку удалось создать великие романы, и Гюго, и Теккерею, и Диккенсу, и Толстому, и Досто-

евскому. У нас в Соединенных Штатах была очень хорошая литература: Эдгар По, Марк Твен — великие писатели. Но у нас подлинный реализм в большинстве случаев не имел успеха, его просто отвергали. Писателей в некотором роде терроризировали. Некоторые из них начинали свою деятельность прекрасными реалистическими книгами, а кончали участием в «Сатердей ивнинг пост». Я веду борьбу постоянно, борюсь и теперь. Я писал, произносил речи; во время стачки углекопов отправился в Кентукки, и, когда я задал самый простой вопрос одному из свидетелей, наемный охранник приставил мне винтовку к животу и выгнал. Окажи я малейшее сопротивление — и он выстрелил бы в меня. Кому жаловаться? Смешно. Пресса, суд — все во власти трестов. Я написал книгу «Американская трагедия». И в сущности получилось так, что ее как бы запретили или изъяли из продажи. Ужасная страна, где происходят таинственные вещи, где группа дельцов Уолл-стрита контролирует кино, где нет возможности высказаться по радио по вопросам политическим, социальным. Меня однажды попросили выступить перед микрофоном. Я мог бы подготовить ряд докладов на интересующие меня темы. Я спросил, могу ли я свободно высказать все, что захочу. Мне ответили, что мои доклады будут предварительно просмотрены. Вот как! — ответил я. — В таком случае прощайте.

Я, конечно, очень хотел бы, чтобы коммунизм обеспечил нам мир и покой. Я сам, видите ли, начал с пустого места и добился многого, даже слишком многого. Но и теперь у меня не больше возможностей, чем тогда, когда я жил в одной комнате и писал свои первые рассказы. Сейчас в Америке столько доведенных до отчаяния людей страдают и нищенствуют, а некоторым в это время великолепно живется. Необходимы и роскошь, и игры, и развлечения, но они не должны быть привилегией немногих. Это несправедливо и ни к чему.

Я хотел бы быть очевидцем близких, грядущих перемен и посмотреть, действительно ли, как утверждают, тогда не будет ни злоключений, ни трагедий.

— А гибель «Челюскина»?

— Да, трагедии будут всегда. Но содержание их изменится. Тем лучше. Посмотрите, что делается у нас.

Американские финансисты быстро воспринимают повадки фашистов. Им хотелось бы заменить либеральную олигархию олигархией тиранической. Они уже контролируют прессу, радио, кино. Им хотелось бы завладеть школой и обучать молодежь исключительно по стандартному методу, так, чтобы легче было удержать людей в рабстве. Я хочу, чтобы мир был свободнее, разнообразнее. Фашизм грозит смертью, гибелью.

Я всегда боролся против фашизма, и если бы он одержал победу, мне, несомненно, пришлось бы эмигрировать. И не только я один — многие оказались бы в эмиграции. Вы знаете, мои книги запрещены в Германии. Меня, Теодора Драйзера, как писателя ценят люди, обладающие чувством реальности, люди впечатлительные и отзывчивые. Мои читатели — против социальной несправедливости. У меня никогда не было других читателей. Никогда не писал я для приверженцев существующего порядка. Жизнь по самому существу своему изменчива, печальна, трагична и прекрасна. И я люблю ее...

1936 г.

ТОРЖЕСТВО МАРКСИЗМА

Я особенно благодарен советской революции за то, что она впервые остро поставила в мировом масштабе вопрос об имущих и неимущих. Советский Союз в 1917 году начал великий поход в защиту неимущих. В этом — мировое значение и торжество марксизма.

Использовать труд, сельское хозяйство, промышленность, естественные богатства, технику, человеческие знания, власть человека над природой, использовать все это на благо всех трудящихся, для того, чтобы обеспечить всем зажиточную и культурную жизнь, — вот урок, который советская революция преподает остальному человечеству.

Надеюсь, я еще доживу до того дня, когда увижу торжество марксизма во всех странах земного шара.

1937 г.

БЛАГОДАРИЮ МАРКСА И КРАСНУЮ РОССИЮ

Позвольте мне вместо обычных поздравлений по случаю годовщины Октябрьской революции выразить Союзу Советских Социалистических Республик свою горячую благодарность.

Прошло двадцать лет с тех пор, как Октябрьская революция в России потрясла мир. Это были двадцать лет яростных обличений социальной несправедливости и социального неравенства, борьбы имущих и обездоленных за свои права; двадцать лет человечество живет надеждой на то, что социальная несправедливость будет ослаблена или вовсе исчезнет, и во многих странах за пределами России, а не только в самой России, существует твердое намерение добиться счастливого будущего.

Посмотрим на мир, каким он стал через двадцать лет после Октябрьской революции. Пусть в Италии диктаторствует господин Муссолини. Но даже он, этот диктатор, вынужден заявлять, что стремится к благу всех итальянцев, а не только кучки богатых и разживших бездельников да безнадёжных вырожденков королевской крови. Пусть в Германии кайзер и его наследники были выброшены в мусорный ящик истории только затем, чтобы там явился новый властитель того же порядка; но ведь и этот диктатор добился успеха только настойчивым повторением лживых заверений, что он якобы стремится к благу всего народа, что он защищает интересы масс против привилегированных классов. Конечно, хладнокровное и жестокое убийство, которым занялись Гитлер и Муссолини в Испании, где они ведут войну против законного демократического правительства, опровергает все их демагогические тирады. Но социальная демагогия стала необходимой даже Гитлеру и Муссолини: они также вынуждены неуклюже склоняться перед мнением народных масс. Почему? Почему диктаторы не в силах пренебречь этим мнением?

Даже Япония, как известно, говорит о своем «священном долге» перед китайским народом спасти его из

«лап коммунизма» и **облагодетельствовать** его «подлинным демократизмом» империи микадо.

Об искренности японского империализма вы можете судить сами.

Но японский империализм вынужден гримироваться, скрывать свое истинное лицо.

В Мексике идет подлинная гражданская война.

В Испании также.

В Южной Америке вооруженная диктатура уничтожает народное образование, ведет борьбу с грамотностью,— все это затем лишь, чтобы помешать массам броситься на своих угнетателей, на финансовых баронов, на союзницу тирании и плутократии — католическую церковь.

У нас, в Соединенных Штатах, несмотря на подрыв нашей традиционной свободы аристократией денежного мешка и ее наемниками, с 1917 года сорокачасовая рабочая неделя, установленный минимум зарплаты, планирование в сельском хозяйстве стали на повестку дня. Мы поставили вопрос о запрещении детского труда. На очереди вопросы здравоохранения, государственного страхования от безработицы и по старости, вопросы помощи потерпевшим от таких стихийных бедствий, как засуха, наводнения, неурожай и проч.

Откуда этот внезапный интерес к социализму в демократической стране, которая в 1914 году не слишком отличалась своим демократизмом даже от какой-нибудь Германии или царской России?

Откуда?

Причина этому вы, большевики...

Причина этому Октябрьская революция.

Причина этому старик Маркс, красный доктор Маркс, автор «Капитала», его самоотверженная любовь к справедливости, его требование объединить ресурсы труда в сельском хозяйстве, промышленности и государственной деятельности во имя всеобщего благоденствия.

Старик Маркс стал красным пугалом в глазах богатых наследников и богатых наследниц, жалких и пустых представителей старого мира. Их юристы и банкиры, их лакеи и маклеры приходят в священный трепет при одном упоминании имени красного доктора.

За все это я благодарю Маркса и красную Россию, и я надеюсь, вопреки диктаторам современности, дожить до того момента, когда справедливость Маркса победит повсеместно, когда наступит триумф марксизма там, где ныне антисоциалисты Европы, Азии, Африки и Южной Америки посылают свои проклятия и угрозы человечеству, там, где они подавляют природную любовь человека к труду за справедливое вознаграждение, там, где они лишают человека честных и простых радостей свободного творчества.

1937 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ, СДЕЛАННОЕ В МАДРИДЕ

Я прибыл в республиканскую Испанию совсем недавно — всего несколько дней назад. Я приехал сюда по просьбе Лиги американских писателей — Американской лиги борьбы против войны и фашизма. То, что я здесь увидел, никак не уменьшает ни той ярости, ни того негодования, которые кипят во мне уже два года. Я считаю, что поведение Англии, Германии, Франции и Соединенных Штатов безобразно. Их поведение внушает мне отвращение, и я смотрю на этот опыт как на один из худших в истории.

Отношение Америки к испанской войне определяется 60 семьями, то есть крупными концернами, контролирующими 70 процентов газет, политическими деятелями и 95 процентами богатых людей в Америке. Американский же народ — за Испанскую республику. Американцы считают эту войну пагубной, ибо она ведется, чтобы навязать Испании режим Гитлера. Они также обвиняют Англию в том, что она пытается помочь Гитлеру и в самой Англии... Американцы сочувствуют и испанскому и китайскому народам.

Замечательно ведут себя люди здесь. Я осматривал метро на протяжении многих миль и противоздушные убежища. Впечатление очень сильное. Я слышал, как люди поют и насвистывают на улицах, я видел, как они продолжают заниматься своими делами, как будто ничего необычного не происходит. Испанской республике от-

казали в праве покупать оружие и продовольствие, хотя у нее есть деньги. Во французских банках имеются деньги, принадлежащие республиканской Испании, но Франция не отдает их, потому что Гитлер, Муссолини и Франко ей это запретили.

Два года войны. Я видел солдат в госпиталях и в академиях. В академии за три месяца готовят офицеров. Почти невозможно охватить все то, что здесь организовано. После трехмесячной подготовки выходят боевые офицеры.

1938 г.

ПОЕЗДКА В ВОЮЮЩУЮ ИСПАНИЮ

В Испании все, до мельчайших черточек повседневной жизни, представляло для нас захватывающий интерес. Отчасти это объяснялось тем, что каждому из нас хотелось знать, как отражается на людях война. Война создает в стране какую-то особую атмосферу. Стоит переехать границу, и тотчас возникает ощущение притягивающей угрозы, чего-то страшного, что может произойти каждую минуту — а может и не произойти.

ВОЙНА И ЛЮДИ

Испания прекрасна. Когда въезжаешь в нее с севера, из Франции, перед тобой уходят к горизонту горы в зеленых лесах, мелькают фермы, стада овец и пасущие их пастухи, подводы, запряженные мулами, крестьяне и крестьянки, — смотришь на них, и кажется, что они такие же, какими были столетия назад. Все заняты, по-видимому, своим делом. Меня же мучит мысль, что вот-вот в ясном небе заревут неприятельские бомбардировщики, и от этого в душе какой-то неотвязный, прилипчивый страх.

Во Франции, например, птицы, реющие в поднебесье, будят в вас только поэтические ассоциации, — птицы, парящие над рекой, поющие, режущие воздух четким клином. В Испании же, завидев вдали ворону, черного дрозда, стаю галок, взлетевших над отдаленным полем или кружащих над вершинами деревьев, вы уже

думаете: вот именно так, неожиданно-негаданно, могут вынырнуть из пустоты налетевшие бог весть откуда вражеские бомбардировщики.

Мы проезжали разбомбленные города, местечки, деревни, и все они красноречиво говорили о пережитых ужасах. Мы видели разрушенные бомбами, обвалившиеся стены, груды щебня справа и слева от дороги, брошенные фабрики и мастерские. Мы побывали в местечке, значительная часть которого была сравнена с землей. Но больше всего поразила меня Герона — это порядочный городок, с обширной торговой площадью в центре, вокруг которой расположились лавки, кофейни, рестораны. Скамьи и камышовые стулья под деревьями свидетельствуют о том, что геронцы любили до войны посидеть здесь в свободные полуденные или вечерние часы. Теперь эту уютную площадь пересекает глубокий ров. Здесь построили бомбоубежище. Сюда, при первых гудках сирены, должно было устремиться все население города. Сирена за пять минут до налета предостерегает жителей об опасности. Сигнал передается по телефону из одного пункта в другой. Бомбежка может быть недолгой и очень продолжительной, в зависимости от объекта. Бомбежка Барселоны — вернее, целая серия бомбежек, следовавших одна за другой, — продолжалась три дня, причем налеты возобновлялись почти ежечасно. За это время было убито около 1500 человек. В городе уничтожено много зданий.

Бомбежки по-разному действуют на людей: на одних они наводят панику, других повергают в полнейшую апатию, в третьих рождают ярость и презрение к смерти. После каждого налета — десятки убитых и раненых; взлетают в воздух дома, мастерские, фабрики. Сколько бессмысленных разрушений и жертв!

Впрочем, ужасы войны не ограничиваются бомбежками. В стране уже властно заявляют о себе все муки бесприютности, голода и холода. Трудности и недостаток чувствуются во всем. Гражданская война тянется так долго, что иссякли чуть ли не все источники существования, питавшие население до войны. Ко времени моего приезда никаких продуктов уже не было, за исключением овощей. Ни мяса, ни сахара, ни молока, ни масла. Большинство населения нуждалось в теплой одежде.

ИЗУВЕЧЕННЫЙ ГОРОД

Барселона покорила меня своей необычайной красотой. Заново отстроенная в XX веке, она, несмотря на сравнительно скромные размеры, принадлежит к числу красивейших городов мира. Дома в большинстве новые, в деловых и жилых кварталах преобладает современная архитектура необыкновенного благородства и изящества. Немало также и старинных дворцов и исторических зданий, среди которых выделяется великолепная ратуша. Очарованию города способствует его расположение на морском берегу. До войны в Барселоне имелись многочисленные доки и обширная гавань, куда заходили огромные океанские суда. Все это увеличивало значение города как крупного торгового центра. Легко представить себе то двойное разрушительное действие, которое произвели здесь фашистские самолеты.

Большая электростанция, снабжавшая город светом, питавшая энергией его трамвай, его моторные установки, превращена в развалины — это значит, что в городе нет освещения, трамваи стоят в парках, не работают лифты. Повсюду изрытые бомбами мостовые, обнаженные пролеты лестниц, стены зияют пробоинами и трещинами, окна — пустотой. На восемь километров тянутся под городом извилистые траншеи, где жители ищут спасения от смерти. Зрелище изысканной и нежной красавицы Барселоны, поруганной и изувеченной насильниками и злодеями, заставляет сердце биться священным гневом.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

Но все эти разрушения мирных городов бледнеют перед теми бедствиями, какие приходится терпеть всему населению борющейся Испании. Ее железнодорожные пути и шоссейные дороги искорежены бомбами, ее порты блокированы, ее торговые и грузовые суда лежат на дне морском, ее магазины и склады, само собой разумеется, превращены в груды развалин. Население в подавляющем большинстве так разорено, что ни у кого нет денег на самое необходимое. Редко где можно увидеть торгующие магазины. Большинство заводов и фабрик закрыто. Одежда на всех старая, потертая; нигде ни одной частной машины — все автомобили находятся в распоряжении армии, правительства, полиции и госпита-

лей. Нигде ничего не купишь: в стране нет самых нужных товаров.

Ранним утром и в первые часы пополудни тянутся по улицам вереницы бедняков — женщин и детей, глубоких стариков и молодежи. Торжественно, с неподражаемым достоинством они выходят из города и разбредаются по округе. У каждого в руках корзина или мешок за спиной. Все спешат в окрестные деревни или на огороды, в чайнии там раздобыть то, чего уже давно не дает им город, — что-нибудь из съестного или вязанку дров. Часам к пяти вечера добытки возвращаются, кто с кочаном капусты, кто с одной-двумя головками салата, кто с охапкой дров, потому что в городе давно нет ни угля, ни керосина, ни газа. Позднее в населенных беднотой кварталах вы можете увидеть, как люди готовят себе пищу под открытым небом, на допотопных железных печурках или отдыхают от забот трудового дня, прикорнув где-нибудь у ворот или на железном балконишке. Особенно тяжело приходится старикам и тем, кого война лишила крова, — целые семьи зачастую ютятся в развалинах своего бывшего дома. Здесь они живут, готовят себе пищу и спят.

Но и зажиточной, в прошлом, части населения, так называемым средним слоям общества (богачи давно бежали из республиканской Испании), приходится немногим лучше. Правда, жизнь их протекает в укрытии стен, им не приходится выставлять напоказ свою нужду и горе, ночуя в разрушенных подъездах. Но где бы вы их ни повстречали, они неизменно производят на вас впечатление людей, которые героически борются с нуждой, еле сводя концы с концами. Я имею в виду представителей таких профессий, как учителя, преподаватели высших учебных заведений, чиновники, торговцы средней руки, мелкие служащие и их семьи.

Судя по одежде, эти люди давно уже махнули рукой на то, что называется хорошим тоном и приличиями. Как истрепано их платье, как помяты их шляпы, — впрочем, здесь почти все ходят с непокрытой головой, — как стоптаны башмаки! И все же каждый старается не показывать, до чего ему трудно. Все передвигаются, конечно, пешком — таких вещей, как автобусы, трамваи и такси, здесь давно не видно, все это, вместе с прочими жизненными удобствами, сметено ураганом войны.

ЛОЖНЫЕ И ВЕРНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Я поселился в «Рице», одном из лучших отелей города, но и здесь остались лишь жалкие следы былого величия. Сохранилась роскошь внутренней отделки, гардины,— но вы с трудом допроситесь полотенца, а уж о простынях и не помышляйте. В столовой по-прежнему прислуживают официанты в манишках и фраках. Однако такой вещи, как мыло, и в помине нет. Все в «Рице» являет собой сплошное противоречие: завтрак, состоящий из чудосочной булочки и чашки какой-то кориценовой бурды, именуемой кофе, вам подают на дорогом серебряном подносе. Сверкающие зеркалами лифты дремлют в своих клетках. В нарядных салонах, предназначенных для развлечений эlegantного, веселого общества, суетятся журналисты да озабоченно шушукуются какие-то правительственные чиновники и иностранные наблюдатели. Добавьте сюда еще кое-кого из артистической богемы и заезжих иностранцев, тех, что слоняются по всему свету, а также парочку-другую офицеров и летчиков, отпущенных в город на кратковременную побывку,— этим, пожалуй, и исчерпывается кучка избранных, от которых еще веет жизнерадостностью и беззаботностью. Только эти круги и пользуются свободой передвижения — в той мере, в какой это допускают бомбежки. Но, разумеется, не они выражают чувства и настроения народа.

Можно только дивиться необычайной выдержке и мужеству целого народа перед лицом тех тягот и страданий, какие терпит каждый рядовой испанец на своем участке фронта,— он живет под постоянной угрозой бомбежек, под страхом голода и полного разорения, зная, что в один прекрасный день может лишиться всех своих близких, преследуемый мыслью, что не сегодня-завтра у него не будет хлеба для его голодных детей. Страдания не придавили испанцев, они выковали в них твердую, негибкую волю. За все время моего пребывания в Барселоне, где населению приходилось так тяжело — а может быть, и во сто крат тяжелее, чем я описал,— ни один местный житель не обратился ко мне за помощью. Испанцам присуща горделивая сдержанность, которую не в состоянии сломить никакой упадок, никакая бедность. В этом народе есть какая-то

внутренняя красота. Испанец всегда внушает уважение. Пусть он мерзнет в лохмотьях, это не мешает ему мужественно бороться. Он не бежит от опасности. Почему это меня так восхищает, спросите вы. А вас это разве не трогает? Или вы остаетесь равнодушны? Что касается меня, то мне трудно объяснить это чувство. Я благоговею перед людьми, которые встают против несправедливости и презирают опасность. Презирают даже смерть. Их пример захватывает меня...

НЕГРИН И ДЕЛЬ ВАЙО

На третий вечер пребывания в Барселоне я получил приглашение поужинать с членами правительства. На ужине присутствовали Альварес дель Вайо, министр внутренних и иностранных дел, и доктор Хуан Негрин, премьер-министр, он же военный министр. Дель Вайо и Негрин рассказали мне о положении в Испании до фашистского мятежа и о теперешней своей деятельности, цель которой — благо испанского народа. Дель Вайо объяснил мне, что главной задачей правительства накануне франкистского мятежа было вывести Испанию на путь современного индустриального прогресса, помочь ей освоить все новейшие технические усовершенствования в области промышленности и транспорта, все достижения современной науки и техники, а также провести решительную реформу в деле народного образования. Как известно, предшествующее правительство либо открыто восставало против всяких разумных новшеств, либо потихоньку саботировало и сводило на нет любые начинания подобного рода

Дель Вайо и Негрин меньше всего похожи на политических деятелей обычного типа. Они скорее производят впечатление ученых или лиц свободных профессий. Негрин — врач, и в душе остается им по сей день. Это вполне светские люди и, несомненно, искусные дипломаты, однако в них чувствуется незаурядный ум и прямота высокоразвитых людей, чуждых мелкого политиканства. Испанский народ, сказали они мне, так горячо предан идеям демократии, что, вздумай даже правительство капитулировать, это нисколько не изменит дела — народ восстанет и найдет себе других правителей, чтобы под их руководством продолжать борьбу. Народ,

проявивший такое мужество, заслуживает победы. Он заслуживает такого правительства, какого желает.

Готовя наступление на Эбро, правители Испании с болью в душе сознавали, что республиканские войска снова идут в бой без того необходимого снаряжения, какого заслуживает их беспримерный героизм. Уже тогда им было известно, что Франко может выставить 521 самолет на том участке фронта, где они располагают лишь тремя. Если бы у них было хотя бы 25—35 самолетов, у бойцов создалось бы впечатление, что они не беззащитны в воздухе. Но помощи ждать было не откуда. И Дель Вайо пришел к выводу, что бойцы должны знать правду. Войска были размещены вдоль линии фронта небольшими подразделениями — это позволяло думать, что они получают поддержку с воздуха, как не раз бывало раньше. Все эти заботы и тревоги стоили Дель Вайо не одной бессонной ночи. Наконец перед началом наступления он отправился на фронт и на собрании представителей командования и бойцов объявил, как обстоит дело — никакой поддержки с воздуха не будет. Пусть бойцы сами подумают и решат, могут ли они, готовы ли идти в бой при создавшихся условиях, или не могут. «Ответ их,— рассказывал Дель Вайо,— потряс меня. Один за другим бойцы выходили на трибуну и заявляли, что будут сражаться при любых условиях».

Дель Вайо и Негрин с горечью говорили о том, что народу предстоят еще более тяжкие испытания. Поскольку о капитуляции не может быть и речи, война, очевидно, протянется еще год-полтора, независимо от того, как она кончится. Их вера в народ непоколебима. Негрин, обладающий незаурядным писательским даром, сам составил ряд обращений и воззваний к народу, которые широко распространяются в виде плакатов и листовок. Вот содержание одной из них:

«Испанцы! Война, которую мы ведем, близка народу. Мы сражаемся за независимость Испании. Будьте же мужественны, не давайте врагу запугать себя! Мы — правомочные наследники великих испанцев, в свое время боровшихся за волю и счастье народное. Так будем же биться до полной победы. Нам не страшны никакие жертвы, никакие испытания! Наше мужество непоколебимо. Мы победим, и Испания станет свободной!»

ЗАДАЧИ И НЕОБОРИМЫЕ ТРУДНОСТИ

Речь зашла о политической программе республиканского правительства. Я очень удивился, узнав, что церковь в Испании пользуется полной автономией и что католики не терпят никаких притеснений. Правда, испанское правительство намерено создать новую систему образования, свободную от оков религии. Оно считает недопустимым вмешательство религиозных интересов и групп в дела государства. Но это вполне соответствует и нашей, американской, точке зрения, у нас церковь тоже не должна, по идее, оказывать влияние на государственные дела. Сколько в связи с этим было наветов на республиканскую Испанию и всяких кривотолков! А между тем я теперь полностью убедился, что верующие люди Америки глубоко заблуждаются, обвиняя республиканцев чуть ли не в открытых гонениях на религию.

На самом деле испанское правительство хочет одного: чтобы церковь была строго отделена от государства. Да я и сам не вижу, что собственно теряет католическая церковь при республиканском строе, не считая земельных латифундий. Кладется конец только ее честолюбивым домогательствам. И мне, откровенно говоря, непонятно, почему религиозная организация должна владеть такими угодьями и так упорно добиваться политического влияния.

Тяжелым ударом для молодой Испанской республики явилось резко изменившееся — сразу после мятежа Франко — отношение к ней Франции и Англии. Во Франции наложен арест на полмиллиарда песет, внесенных в тамошние банки законным испанским правительством. Теперь оно лишено возможности распорядиться этим вкладом для необходимых ему закупок. Франко демагогически заявил, что в случае победы он потребует у французского правительства отчета в этой сумме. И такое чистейшей воды вымогательство оказывает действие, несмотря на то, что республиканское правительство официально пользуется признанием иностранных держав! Французы позволили себе малоуместную шутку, предложив испанскому правительству обратиться с иском во французский суд. Нечего и говорить, что любой судья затянет это дело до окончания войны.

Испанское правительство не только давно пришло к выводу, что ему нечего рассчитывать на помощь извне, но и объяснило это народу: все, что нужно стране — продовольствие, оружие, деньги, народ должен обеспечить сам, не надеясь ни на какую помощь. Это потребовало перехода на рельсы строжайшей экономии, урезывания себя решительно во всем, что и позволило республике просуществовать до сих пор. А теперь страна на грани голода.

Возвращаясь домой через Францию, я считал своим долгом побывать у французского министра иностранных дел господина Жоржа Боннэ, чтобы рассказать ему о положении дел в Испании. Но господин Боннэ не нашел нужным принять меня. Секретарь его с готовностью отвечал: «Да, да, да» — на все мои заявления, и эти бесстрастные поддакивания звучали в моих ушах приговором борющемуся и страдающему народу.

Вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать вам, — все, чему я сам был свидетелем и очевидцем.

1938 г.

ПАМЯТЬ О НЕМ СВЯЩЕННА

Ленин, за много лет до того как он получил возможность осуществить свою мечту о лучшем социальном порядке, глубоко изучил все стороны и все трудности задачи. В результате, когда отживший социальный порядок рухнул, Ленин смог возглавить великую русскую революцию и произвести социальное переустройство страны, создав советскую систему.

Не часто человек имеет возможность воплотить в жизнь свои идеалы или же обладает нужными способностями, когда эта возможность представляется. Ленин посвятил жизнь борьбе за свои идеалы, и он дожил до того времени, когда новый порядок уже упрочился, как бы знаменую плодотворность его великой и пламенной борьбы. Память о нем не только священна, но и жизненно необходима всему борющемуся миру.

1938 г.

ОБРАЩЕНИЕ К ТРУДЯЩИМСЯ ФРАНЦИИ

Я не могу поверить, что Франция Великой революции, Франция 1848 года, Франция мировой войны подчинилась военной диктатуре, которая превратит французов в фашистов. Если трудящиеся, или даже только большая часть трудящихся, восстанут против власти капитала, стремящейся поработить их, они отстоят свое дело и одержат победу.

1939 г.

ЗАРЯ НА ВОСТОКЕ

Я не верю, будто поднявшаяся сейчас в Европе буря сметет с лица земли «цивилизацию». Признаюсь, что слово «цивилизация» имеет подозрительный привкус. Оно звучит в моих ушах, как звон фальшивой монеты. Это слово употребляют столько людей совершенно различного мировоззрения, с различным жизненным опытом, различной социальной среды! Поп, высказывающий самые фантастические взгляды по поводу нашего происхождения, государственного строя и проч., безапелляционно утверждает, что его догмы являются подлинной цивилизацией. Одновременно физики, химики заявляют, что мир идет к гибели, что будущее мира в опасности, и это несмотря на то, что никому еще не удалось разгадать загадку прошлого.

Некоторые (Джинс или Эддингтон, если не ошибаюсь) уверяют, что наша земля была в свое время гигантской звездой, которая разорвалась на части. Эти части несутся с бешеной быстротой куда-то в пространство, в какой-то хаос. Но приходится признать, что мы — люди — принимаем участие в этом полете уже по меньшей мере 200—300 тысяч лет. И самое курьезное то, что в течение всего этого времени мы, оказывается, эволюционировали, прогрессировали, создавали то, что именуется цивилизацией. Я читал, что еще до этого имело место происхождение видов — нечто вроде духовного, технического прогресса, в результате которого (это не я говорю, а ученые) мы появились на земле. Во всяком случае нет сомнения, что мы существуем

и что нам предстоит выродиться или вовсе исчезнуть. Лично я, конечно, сомневаюсь в этом. Я знаю, что период с V до XIII столетия был эпохой мрачного средневековья, но только в Западной Европе. Не забывайте этого. В Китае в течение всего этого времени процветала, по всем данным, прекрасная цивилизация (Конфуций). Эта цивилизация с ее чудеснейшим искусством и архитектурой существовала до последнего времени. По сей день я отношусь к ней с любовью и благоговением.

А до Китая и Японии (Япония — производное Китая) была Индия с ее замечательнейшей философией и представлениями о происхождении жизни на земле (Брахма, Будда). Эти идеи отличались такой глубиной и человечностью, что они оказали мощное влияние на всю современную философию Европы, на Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Гете, Ницше и нашего Эмерсона. Теперь эта философия готова примириться с современной физикой и химией и хочет убедить нас в том, что источники интуиции и научного исследования не так уж далеки друг от друга.

Но еще прежде, или параллельно с Индией, существовал Египет с его Амоном Ра, Исидой, Осирисом и волнующей «Книгой мертвых», старающейся утешить человека, обреченного на «странное временное» пребывание на земле. После Египта — Греция, после Греции — Рим. А потом мрачное средневековье. И тотчас же вслед за этим — итальянский Ренессанс. Новая жизнь цветет в Англии, Франции, Германии, Нидерландах и в Америке. Затем пришла машина — научная эра и с нею — современная Европа. Французская революция, американская революция, наша Гражданская война за освобождение рабов и — недавно — Великая русская революция, которая, по моему твердому убеждению, способна вознаградить мир за все ужасы 1914—1918 годов.

Вы говорите: «дикие», «радикалы», «красные»? Это как вам угодно. Наш западный мир теперь склонен питаться одной пропагандой, как это было и в мрачную эпоху средневековья. Никто не читает советских газет, — ведь чтение такой газеты почитается преступлением! Ни одна американская газета не решается напечатать хотя бы одну правдивую строку о гигантской

работе, которая проводится в Советском Союзе, — о том, что там создается новый мир, о том, что все без исключения обеспечены там работой и живут и работают в условиях, достойных человека. Ничего не пишут о всеобщем обучении, существующем на огромном пространстве от Берингова пролива до Китая, от Архангельска до Ирана и Афганистана. Ни одна газета не решится обмолвиться хотя бы словом о новых железнодорожных линиях, автострадах, авиалиниях, о расширении телеграфной и телефонной сети, о новых, полностью модернизированных методах сельского хозяйства, о множестве университетов, научно-исследовательских институтов, о гигантских заводах и промышленных городах, выросших на всем пространстве Советского Союза.

Только теперь вы с глубоким недовольством слышите от самого мистера Уинстона Черчилля — первого лорда адмиралтейства Англии, — что СССР является в настоящее время самой мощной державой в мире. Однако никто не объясняет, как это произошло. Тем не менее, если все в СССР хаос, то чем же объяснить, что там удалось обучить, накормить, обути, обмундировать многомиллионную армию? А ведь небольшое количество бойцов этой армии смогло в боях нагнать такой страх на столь уважаемых японцев, что последние были охвачены паникой и запросили мира.

Чем же это объяснить? Неужели тем, что там стоят у власти обросшие волосами большевистские дикари или сумасшедшие?

Но если это так, то чем объяснить, что Англия и Франция посылали в Москву делегации с просьбой о помощи?

Этот самый Уинстон Черчилль заявил мне в 1928 году, когда я возвращался из СССР, что идея большевиков порочна и что все кончится крахом не позже, чем через семь лет. Однако с тех пор прошло уже одиннадцать лет, и теперь сам Черчилль признает, что СССР первая в мире держава по своей военной мощи. Чем же это объяснить? Разве Сталин все сам делает? И не объясняется ли это тем, что 170 миллионов человек живут новой жизнью, полны энтузиазма и твердо уверены в том, что когда-нибудь должен прийти конец ужасам социального неравенства, которые я видел в Англии в августе и до этого еще в 1928 и 1926 годах и еще

раньше — в 1912 году (рабочие получали всего лишь 12, 15, 18 шиллингов в неделю)? Я уж не говорю о том, что я видел прошлым летом во Франции (где рабочие получали около 60 центов в день) и до этого в Америке — в Сент-Луисе, Канзас-Сити, на юге США, в Западной Виргинии, в Питтсбурге, Чикаго, в шахтерских городах штата Юта.

Когда вы спрашиваете меня, погибнет ли, так называемая, «цивилизация», то я прежде всего должен знать, что вы понимаете под этим словом. Может быть, экономические и социальные ужасы, свидетелем которых я был в Европе, Америке, не говоря уже о Египте, Африке, Индии, Китае, Южной Америке, Мексике и в других странах? Или, так называемое, «варварство», которое, по вашему мнению, царит в СССР? Если речь идет об ужасах, которые я наблюдал в Европе, Америке и в других странах, то я согласен, что «цивилизация» действительно погибнет — цивилизация Западной Европы и алчная капиталистическая система в США, тесно связанная с капитализмом других стран...

1939 г.

ПОМОГИТЕ СПЕРВА АМЕРИКАНЦАМ!

Письмо гуверовскому комитету помощи белофиннам

Когда в 1936—1938 годах народ демократической Испании умирал от голода, под бомбами, выступил ли м-р Гувер с предложением оказать помощь испанцам? И оказывала ли им Америка какую-либо помощь? Кто в 1934—1935 годах помогал абиссинцам — жертвам Муссолини? Разве тогда кто-нибудь поднимал разговор о посылке американских денег и продовольствия абиссинцам или китайцам — старикам и молодым, женщинам и детям, которых последовательно, начиная с 1933 года и по сей день, убивают японцы? Насколько мне известно, не было предпринято ничего. Наоборот, мы вооружали и продолжаем вооружать японцев, а не китайцев, и никто не ведет против этого пропаганды.

Я хорошо помню позорный факт, который произошел в 1932 году. Когда американские ветераны мировой войны пришли в Вашингтон просить помощи для себя,

своих жен и детей (это был самый тяжелый год кризиса), м-р Гувер выслал им навстречу войска с танками и пулеметами! И с тех пор мне не приходилось слышать, чтобы он или кто-либо из его политических и экономических единомышленников выступал за оказание финансовой поддержки миллионам безработных на нашем Севере, Юге, Востоке и Западе.

А теперь эти же люди кричат об оказании экономической, если не военной, поддержки бедным финнам и о том, что необходимо помочь нашим финансистам и промышленникам — их банкам и корпорациям, их семьям. Говорят о снижении налогов, — но известно, что под этим подразумевается фактическое повышение налогов для масс. Я не раз читал выступления м-ра Гувера, предлагавшего снизить налоги, взимаемые с банкиров и трестов, но я никогда не слышал, чтобы он выступал за снижение налогов для масс.

Что же касается обложения налогом крупной промышленности, где прибыли растут, а число безработных неуклонно увеличивается, об этом никто не говорит ни слова, хотя справедливость такого налогообложения очевидна. И это гораздо важнее, чем снова и снова швырять американские миллионы на бесчисленные европейские войны, в то время как американцы голодают.

В связи с этим я прошу разрешить мне выдвинуть еще один лозунг, дополнительно к нашей, уже очень большой, американской коллекции лозунгов:

Помогите сперва американцам!

Это будет означать помощь десяти или пятнадцати миллионам несчастных американцев вместо помощи миллиону финнов, если их столько наберется. Ибо не могут же быть разорены все три миллиона финского населения. К тому же, если наши газеты не лгут, а они, конечно, никогда не лгут, то финны сделали такие успехи, что вообще непонятно, зачем им нужна наша помощь.

Искренне ваш *Теодор Драйзер.*

P. S. Позвольте мне повторить, что я отнюдь не принадлежу к числу простаков, одураченных американской (или британской) пропагандой.

ЛЕНИН

Это был человек, вся жизнь и все мысли которого были посвящены научным поискам и борьбе за лучший общественный строй, человек, который в конце концов получил величайшую возможность, какую когда-либо имели апостолы прогресса,— возможность руководить огромным, дотоле угнетенным и отсталым государством.

Я считаю, что широкое, всестороннее и ясное понимание Лениным того, что нужно и что можно сделать с огромной страной, занимающей одну шестую часть мира, страной, которая в результате царской тирании отстала на сотни лет от экономического и социального уровня жизни и научного прогресса современных ей Америки и Европы,— больше всего привлекало и всегда будет привлекать внимание всего мира. Нужно было не только свергнуть старый, деспотический режим, но и найти среди народных масс этой страны людей и средства для создания такого социального строя, который был бы и справедлив и в то же время практически осуществим. Ибо, удовлетворяя насущные потребности масс, нужно было в то же время преодолевать все порожденные тиранией предрассудки, страхи и религиозные суеверия, еще тяготеющие над людьми. Еще труднее было заставить этих людей почувствовать все значение для них самих того, что от них требовалось.

Когда я в 1927 и 1928 годах был в России, мне случалось видеть на отдаленных окраинах страны, объединенной духом Ленина, крестьян и рабочих, мужчин и женщин, благоговейно склонявшихся или обнажавших голову перед бюстом Ленина и, насколько я понял, видевших в нем (и, по-моему, совершенно справедливо) своего спасителя.

Сейчас предстоит гигантская борьба между теми, кто стремится поработить массы, и этими массами, которые больше не хотят быть рабами. Они знают теперь, что господствующие классы хотят жить в роскоши и праздности, что они хотят, чтобы так жили их дети и дети их детей. Французская революция, Гражданская война в Америке и русская революция многому научили массы. Русский народ, освобожденный Лениным, никогда не допустит, чтобы его снова превратили в раба. Он будет бороться, проникнутый духом Ленина. В ис-

ходе этой борьбы я не сомневаюсь. Ленин, его советское государство восторжествуют.

Каков бы ни был ближайший исход этой борьбы, Ленин и его Россия, гуманность и справедливость, которые он внес в управление страной, в конечном счете победят. Ибо, хотя Ленина уже нет в живых, но социальный строй, который он создал и который его соратники и преемники с тех пор привели к нынешней мощи и величию, навсегда останется для будущих поколений.

1940 г

ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ ПО ПОВОДУ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНЫ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Я выступаю и выступал в течение последних двадцати трех лет за лучшее понимание американцами сущности и целей Советского Союза. Все это время наши капиталистические правители, ратующие за то, чтобы немногие пользовались неограниченными богатствами и привилегиями за счет отказа в приличной жизни большинству, стремились с помощью своей прессы, своих школ и университетов, с помощью радио, не говоря уже о попавшей в их руки кинопромышленности, с помощью своих банков, законодательства, политических деятелей и судов, торговых палат и т. д. не только скрыть от американского народа правду о целях и достижениях Советского Союза, но и заставить американцев поверить самой беззастенчивой лжи о нем.

Разоблачить это — такова задача тысяч и даже сотен тысяч свободлюбивых американцев, которые знают и могли бы, будь в их руках свободная печать или радио, доказать, что из всех стран земного шара Россия, и только Россия, действительно защищает сейчас подлинные интересы масс — их настоящее духовное и экономическое развитие и мир. Во всех же остальных странах мы наблюдаем бешеную погоню за деньгами и властью, горстки алчных мошенников, уже и так до отказа набивших себе карманы и настолько глупых, что они воображают, будто деньги — этот символ богатства, хранящийся в банках в пачках акций, облигаций и других

ценных бумаг,— каким-то образом дают им право на почет и привилегии, которыми при справедливой общественной системе пользуются и должны пользоваться только люди, действительно что-то создающие — мыслители и изобретатели, творцы всех эпох. Ибо они, и только они, никогда не стремятся к богатству, власти, славе или легкой жизни для себя за счет благополучия других, только они имеют счастье и честь создавать то действительно великое, что двигает мир вперед: изобретения, открытия, новые системы образования, произведения скульптуры и архитектуры, поэзию, музыку, живопись и все то, что делает жизнь привлекательной, прекрасной, манящей и приятной.

Как бы то ни было, борьба идет. Мир видит перед собой один-единственный, по-настоящему сильный и могучий пример того, что может сделать всеобщее равенство и социальное благополучие,— этим вечно живым примером является Советский Союз. И теперь уже не кажется таким далеким день, когда Америке все-таки придется познать правду и, раскрыв дружеские объятия, присоединиться к Советскому Союзу, чтобы отстаивать и претворять в жизнь те принципы, которые стремилась установить и осуществить наша американская конституция, наши вожди и мыслители, начертавшие ее.

1940 г.

ЗНАЧЕНИЕ СССР В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ

Для меня значение СССР в сегодняшнем мире настолько очевидно, что я поражаюсь, как это люди, хоть в какой-то мере разбирающиеся в общественных проблемах и обладающие хоть малейшей беспристрастностью, не понимают огромного значения этой страны и не осознают ее важности.

Наши финансовые заправилы сознательно уничтожают сейчас излишки всего — и продуктов, которыми можно было бы накормить безработных и голодных, и одежды, которой их можно было бы одеть, и жилых помещений, которые могли бы служить кровом бездомным.

В Калифорнии, например, с горными хребтами соперничают воздвигнутые человеком горы из «избытков» апельсинов и картофеля, которые тщательно опрыскиваются ядом, чтобы их не могли есть голодные. В этом году в той же Калифорнии уничтожена одна треть салата, произрастающего в катастрофическом изобилии благодаря нашим успехам в области ирригации и сельскохозяйственной техники,— уничтожена для того, чтобы сохранить для американского народа свободу болеть рахитом, цингой и пеллагрой. Еще бы, ведь это помогает поддерживать необходимую пропасть между богатством и нищетой,— пропасть, абсолютно необходимую (не забудьте!) финансовым тузам. Ибо для того, чтобы что-то представлять собой, им нужно сохранить вековое различие между нищетой и богатством, между ломотьями и драгоценностями. К чему была бы роскошь, если бы некому было ей завидовать? К чему?

Однако творцы коммунизма предвидели это, иначе говоря, они понимали, что нищета миллионов сознательно поддерживается для того, чтобы горстка людей могла владеть всем, а миллионные массы — ничем. Именно поэтому они агитировали и боролись за изменение такого порядка вещей,— и повели пролетариат к захвату власти, чтобы обеспечить изобилие для всех, а не только для избранных. И наконец, хвала богу, это произошло в 1917 году усилиями одного из наиболее угнетенных народов земного шара — многомиллионного русского народа. Одержав победу в этой борьбе за изменение существующего порядка вещей против империалистических сил Европы, Азии и Америки, и особенно Англии, русские показали, как может быть достигнуто изобилие для всех, невзирая на всемирный заговор империалистов, печати, буржуазной законности. Интернационал богатых начал, конечно, наводнять Россию шпионами и вредителями-диверсантами под видом инженеров, торговых агентов, директоров и множества всяких людей, выдававших себя за доброжелателей. Потерпев, однако, в этом провал и видя, как массы русского народа устремились на заводы, фабрики, в поля, в школы, университеты и лаборатории, чтобы самим научиться, как построить для себя новый мир изобилия, агенты капитала и наемные лжецы подготовили и открыли против Советского Союза настоящую войну, поставив его под

непрерывный огонь клеветнической пропаганды. Мы и по сей день являемся свидетелями того, как денежные тузы всех стран, в чьих руках по-прежнему находятся печать и радио, кино, телефон, государственные чиновники, банки, средства транспорта, полиция и наемные агенты, обрушивают нескончаемый поток клеветы на обширные планы, задуманные Советским Союзом, который прошел уже стадию экспериментов и достиг серьезных результатов в области здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и развития почти двухсотмиллионного народа. Народ вырвался из состояния невежества, голода и деградации; он ввел у себя чудесное право, позволяющее одному работать для всех и всем для одного.

Эти успехи, закрепленные на одной шестой земного шара и — в противоположность зыбучим пескам, на которых зиждется благополучие империалистического меньшинства, — покоящиеся на твердой основе, вызывают, подобно надписи во дворце Валтасара, вопли страха и ненависти, наполняющие ныне капиталистическую и империалистическую печать всего мира, — эти вопли звучат и по радио, и в выступлениях подкупленных ораторов, и в театрах, и в кино.

Теперь империалистическое меньшинство понимает, что времена искусственно создаваемого недостатка прошли. Наука и изобретения обеспечили это. А потому, как бы ни стремилось это меньшинство лишить миллионы людей самых необходимых вещей и удобств с тем, чтобы ничтожная горстка вырожденцев могла блистать своими богатствами и привилегиями, — им не одержать верха. Их попытка обречена на провал. Уже недолго осталось им уничтожать миллионы фунтов кофе, мяса, фруктов, хлопка, пшеницы и кукурузы, чтобы меньшинство могло обжираться, а большинство голодать. Нет, недолго.

«Mene, Mene, Tekel Upharisin»¹ — начертано огромными буквами по всему небу. И эти буквы отчетливо видны всем, кто до сих пор еще нуждается в пище и крове. Уже недолго осталось этим людям прибегать

¹ Библейское изречение, означающее: «Исчислен, взвешен, разделен». Слова, появившиеся на стене во время пира Валтасара и предвещавшие его гибель.

к ножу, веревке, глубоким рекам, револьверу, яду и газу, чтобы спасти себя от невыносимо-мучительной борьбы за хлеб. Нет, недолго!

«Мене, Мене, Tekel Upharisin».

Вот каково значение России в сегодняшнем мире!

1940 г.

ПИСЬМО СОЮЗУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

*По поводу полученной в подарок книги
«Слово о полку Игореве»*

Я буду ее хранить в числе самых ценных своих сокровищ. Не могу вам описать, как воодушевляет меня то, что в России наряду с осуществлением грандиозной программы экономического развития и социального освобождения проявляется подлинно русская любовь к искусству и ко всем жанрам литературы. Для такой великой страны мои слова, конечно, большого значения иметь не могут, но я рассматриваю русский темперамент как самый выдающийся и творческий и в области мысли и в области искусства в сравнении с темпераментами других национальностей, проявляющих активность в области культуры.

Россия — гигант и в смысле интеллектуального и художественного проявления, как и в смысле экономического развития, и я вижу в ней залог того, что наступит конец ужасной несправедливости, присущей нынешнему порочному капиталистическому строю.

1941 г.

Я ОЧЕНЬ МНОГИМ ОБЯЗАН ЕМУ

Быть знакомым с Уильямом Э. Фостером — большое счастье. Простота сочетается в нем с силой ума и необычайной проницательностью, позволяющей быстро и безошибочно разбираться в современных событиях и анализировать их. Для меня он — святой, первый и единственный, с которым мне довелось войти в общение.

Я многим, очень многим обязан ему. Я хорошо узнал его десять лет назад в Сан-Франциско. Это было в те голодные годы, когда конец «радуги», обещанной Кулиджем и Гувером, окончательно превратился в серую действительность «гуверовских поселений». Фостер возглавлял тогда, как он всегда возглавляет, борьбу безработных,— из рабочих и разорившихся фермеров. Уильям Фостер никогда не забывал тех, кто забыт.

Вот почему я с особенным уважением приветствую этого замечательного вождя рабочего класса в день его шестидесятилетия, на сорок шестом году его участия в рабочем движении.

Фостер родился в то время, когда в Америке стали появляться крупные капиталистические корпорации. «Стандард ойл компани» только еще начинала душить мелких предпринимателей путем тайных соглашений о скидках с крупными фирмами и оплетать паутиной финансового контроля жизнь американцев. Одновременно начало развиваться и рабочее движение, ибо гигантские монополии сами порождают своего могильщика в лице рабочего класса

В это рабочее движение Фостер внес один из самых значительных вкладов. Везде, где только «желтые» профсоюзы притесняли народ или где орудовали их шпионы, он разоблачал обман, убеждая рабочих избавиться от этих предателей. С присущим ему блестящим организаторским талантом Фостер руководил крупнейшей забастовкой сталелитейщиков в 1919 году, в процессе которой американцы, быть может, впервые осознали истинное положение вещей в стране.

Сравните преданность этого человека народу, его деятельность по организации профсоюзов и призыв к независимым политическим действиям — с действиями карьеристов и приспособленцев из руководства Американской федерации труда, и вы увидите, какая огромная между ними разница и каким выдающимся человеком и преданным народу вождем является Фостер.

Он сделал очень много для того, чтобы Америка понимала значение дружеских отношений с великим Советским Союзом. Только те, кто боится усиления демократии, выступают против упрочения связей с Советским Союзом. Мы все должны быть глубоко благодарны Фо-

стеру за то, что он научил нас понимать, какое значение имеет для развития американского народа дружба с Советским Союзом.

1941 г.

ПРОТИВ ВОЙНЫ

Те, кто ненавидят Советский Союз добились слишком многого.

...Опасно жить без правды. А сейчас особенно опасно не знать правды о Советском Союзе. Если уж извлекать какие-либо уроки из истории Европы за последнее время, то они заключаются именно в этом.

...Газета «Нью-Йорк таймс» напечатала рецензию на мою последнюю книгу. Там сказано: «Мистер Драйзер становится уличным оратором». Да, я иду на улицу бороться против протестуемой прессы и радио, которые находятся в руках у корпораций — к их числу принадлежат и «Нью-Йорк таймс», и «Чикаго трибюн», и другие газеты. Да, это большая заслуга и честь стать уличным оратором, чтобы бороться против этой банды, которая продалась рекламодателям.

Не забывайте, что мы имеем дело с протестуемой прессой. Газеты идут на любую подлость в своих нападениях на Россию. Они, например, почти совсем прекратили публикацию рецензий на правдивые книги о Советском Союзе, зато публикуют почти любую враждебную Советскому Союзу стряпню, сколь бы фантастичной и ядовитой она ни была. Таким образом, под видом правды распространяются всякие вздорные выдумки. Как писатель я протестую против использования литературы реакционерами, в своих шкурнических целях злобствующими против Советского Союза. Я протестую и как гражданин, у которого достаточно опыта, чтобы понимать, что этот самообман опасен для Америки.

То же относится и к литературным журналам и критикам. Первые страницы предоставляются любой книге, пусть даже совсем никчемной — лишь бы она была направлена против Советского Союза. Когда же выходит книга честная, правдивая и объективная, вроде книги, принадлежащей перу настоятеля Кентерберийского собора, то ее либо игнорируют, либо дают на рецензию

отъявленному противнику Советского Союза. К моей собственной книге — «Америку стоит спасти» — относятся, как видно, так же.

Взять, например, сообщения о XVIII партийной конференции, недавно прошедшей в Москве. Первые сообщения, появившиеся в газетах, радостно возгласили «развал» советской промышленности. В действительности же дело всего-навсего в том, что конференция, по обыкновению, прошла в атмосфере самокритики, и я могу вас уверить, что русские умеют критиковать себя куда лучше любого человека со стороны.

Такая критика обычно лишь означает, что они намного ушли вперед. Так и на сей раз: когда день или два спустя появились цифры о советском производстве, мы увидели, что промышленное производство в СССР за последние три года выросло на 44 процента. В то время как в США уровень производства в 1940 году лишь на 11 процентов превысил уровень 1929 года, в СССР промышленное производство выросло на 434 процента. Теперь русские приступили к выполнению пятнадцатилетнего плана, в результате которого они надеются перегнать все остальные страны не только по размаху производства, но и по количеству продукции на душу населения.

Против Гарри Бриджеса устроен подлинный заговор. Наши заправила против него, потому что он — настоящий американец, который борется в интересах простого человека, а не в интересах этих свиней — корпораций.

Коммунисты как в России, так и в США преданы интересам простого человека. Мне не довелось принадлежать к их числу, у меня нет для этого необходимых знаний, но я сочувствую их идеям.

Это люди стойкие и верные, преданные, по-моему, прекрасной цели: они готовы пожертвовать жизнью ради того, чтобы сделать жизнь лучше, чтобы все могли жить в мире. Вот что такое коммунистическая партия.

...Мы можем сместить наше правительство и заменить его другим. В этом нет ничего противоестественного, поэтому коммунистическая партия может и должна существовать. Каждый американец имеет право требовать смены правительства, изменения его состава к лучшему, имеет право обсуждать это с другими людьми.

...Русские пытаются осуществить у себя Нагорную проповедь. Они делают все, чтобы создать приличную систему правления. Это самая замечательная страна на свете. И это самый умный, самый одаренный народ в мире. В Советском Союзе каждый имеет возможность развивать свои таланты: хочет ли он играть на флейте, или дрессировать медведя, или быть великим музыкантом, или актером, или чем угодно — все пути открыты ему. Но если он попытается накопить миллион долларов и сделать своих соседей рабами, то его либо вышлют, либо расстреляют. И правильно сделают.

Мы должны признать роль Советского Союза в мире и его мощь. Сейчас СССР — величайшая сила, выходящая за мир во всем мире... С какой бы точки зрения ни посмотреть на наши две страны — с точки зрения их схожести, их нужд и потребностей, которые они вполне способны взаимно удовлетворить, или их соседства на севере, — я считаю, что для сохранения устойчивости в мире поддержание и укрепление тесных дружеских отношений между этими странами будет иметь огромное значение.

Я знаю, простые люди в Соединенных Штатах думают точно так же. Поэтому взаимное понимание и знание друг друга совершенно необходимы.

Если бы Вашингтон, Джефферсон или Линкольн были живы сейчас, они бы дружили с Россией. Черчилль сказал мне в 1928 году: «Я даю России семь лет жизни». Теперь он вынужден признать, что Советский Союз — одна из величайших держав на земле. Ну что можно сказать о таком человеке?

1941 г.

ПИСЬМО ДРУГУ

Дорогой друг!

Уже давно меня сильно тревожит вопрос о состоянии американской печати.

Этот вопрос беспокоит в наши дни многих. Судя по тому, что сейчас творится, я не думаю, чтобы можно было ожидать каких-либо благоприятных перемен в деле печати. Пожалуй, положение американской прессы сейчас хуже, чем когда-либо.

Вот почему я и пишу Вам это письмо. У нас есть несколько периодических изданий, где печатают правду. Одним из таких изданий и, по-моему, наиболее значительным из всего, что выходит в стране, является журнал «Нью мэссиз». Я уверен, что Вам достаточно известна деятельность этого журнала, и потому не вхожу в подробности. Считаю, что этот журнал ведет замечательную борьбу против тех, кто готов послать на убой еще миллиона два американских юношей, пожертвовать ими в войне, которая ведется в чужих интересах. «Нью мэссиз» постоянно высказывает очень правильные мнения по существенно важному для всех нас вопросу защиты гражданских прав рядового члена общества. Вот уже тридцать лет, как этот журнал высоко несет знамя литературной честности. По всем этим причинам, я знаю, ему не посылают объявлений и реклам, а ведь это составляет главный источник дохода периодических изданий в наше время. «Нью мэссиз» ведет трудное существование, постоянно находясь на грани финансового краха, от которого его неизменно спасает поддержка друзей из числа наиболее честных людей Америки.

Вот почему я посылаю Вам это письмо с убедительной просьбой помочь журналу собрать нужную ему сумму в 25 тысяч долларов. Люди, подобные Вам, оказывают поддержку многим хорошим начинаниям, но все эти начинания пострадают, если такой орган, как «Нью мэссиз», перестанет существовать. Мы с Вами не можем этого допустить.

Искренне Ваш

Т. Годор Драйзер.

1941 г.

Я СЧИТАЮ ЭТО ВЕЛИЧАЙШИМ ЗЛОДЕЯНИЕМ...

*Телеграмма, направленная Иностранной комиссии
Союза советских писателей*

Ничто в истории человечества — ни безумные авантюры в поисках преходящей славы и власти, ни страшные массовые истребления народов и порабощение их Киром, Дарием, Александром, Цезарем, Аттилой, Чингисханом, Тамерланом, Наполеоном — не может срав-

ниться по своему бессмысленному варварскому разрушению и смертоносности с ничем не оправданным нападением Гитлера на Советскую Россию. Ибо Россия, Советский Союз — страна, которая столетиями терпела жестокое, тупое бесправие и гнет кучки представителей грубой силы, топтавших своими сапогами огромное большинство народа — простых и трудолюбивых людей, чтобы самим купаться в роскоши и чваниться, — является единственной страной, единственным народом, который, наконец, установил справедливую и социально-прогрессивную форму правления. Правительство России за последние двадцать три года заботилось о том, чтобы те, кто хочет работать и стремится как к духовному, так и к материальному прогрессу и миру, получали всемерную поддержку и помощь со стороны своего правительства.

Ни в Европе, ни в Азии, ни в Африке, ни в Южной или Северной Америке, за исключением США, не была не только осуществлена, но даже выработана такая программа, которая, несомненно, была осуществлена в России; в 1927—1928 годах я имел возможность увидеть собственными глазами гигантские начинания, предпринятые там с целью обеспечить основы материального и общественного благосостояния и счастья семидесятимиллионному народу, до этого угнетавшемуся безмозглыми циничными аристократами царской России, стремившимися только к одному: обеспечить собственное благополучие путем порабощения всех остальных своих соотечественников. И вот теперь приходит Гитлер, которому великолепно должна быть известна честность Советского Союза и его социальное значение, которому должно быть известно, что самое существование СССР — залог того, что довольство и счастье обеспечены всем, кто по своей воле участвует в необходимом для этого труде, и движимый личным честолюбием и стремлением к славе и обогащению, а также во славу империи, где правит ничтожная кучка, враждебная свободе и счастью огромного большинства человечества, стремится разрушить и уничтожить прекрасную программу, созданную Лениным и после его безвременной смерти осуществляемую его многочисленными последователями...

Я считаю это — в полном смысле слова — величайшим злодеянием против великой державы. Это хладно-

кровавая и преступная попытка уничтожить свободу человечества и — что еще важнее — уничтожить духовную и социальную справедливость в семье народов, справедливость, которой, кроме как в СССР, не только никогда не достигал, но о которой и не помышлял ни один народ, ни одна раса.

Эти преступления надо пресечь, а их инициатора и исполнителя, победив, всенародно казнить за его злодеяния, ибо это злодеяния безжалостного, кровавого убийцы и ничто больше. Легкие победы, видимо, вскружили ему голову, и вместо плана восстановления Германии им овладела мечта об империи ради империи, о мире, управляемом Германской империей; все это не что иное, как безумные планы мирового господства, то самое безумие, которое в войне с Англией Гитлер пытался выдать ни больше ни меньше как за здравый смысл. Но последнее предательство — варварское нападение на мирный народ, заключивший с Гитлером мирное соглашение, до конца разоблачает безжалостного притязателя на империю, который не только не является ничьим другом, но и представляет собой потенциального деспота и поработителя всех и каждого. Я вижу, как сама Англия ради самосохранения идет на помощь России. Какова бы ни была цена пакту с Англией, я желаю России извлечь из него наибольшую пользу. Что же касается Америки, то я вместе с миллионами других американцев буду призывать наше правительство не только к самозащите путем оказания всемерной помощи России, но и к лучшему пониманию этой великой демократии, которая делает сейчас для своего многомиллионного прогрессивного народа больше, чем Америка за все время своего существования когда-либо сделала для своего народа.

Теодор Драйзер

*Голливуд, Калифорния.
14 июля 1941 г.*

УСПЕХ РОССИИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ГИТЛЕРА

Ничто не имеет большего значения для либеральной и демократической Америки, чем успех России в борьбе против Гитлера. Дело русских всегда и везде

является подлинным делом демократии, ибо Россия уже сделала для простого человека больше, чем какая-либо другая страна в истории.

1941 г.

НАРОДЫ СЛЕДУЮТ ПРИМЕРУ РУССКИХ

Американский народ восхищается русским народом, который понес огромные жертвы и проявил героизм в борьбе против фашистских орд. Немцы провозгласили себя высшей расой, призванной уничтожить все другие народы и править миром. Но народы, не одержимые подобным безумием, следуют примеру русских, первыми показавших, что можно остановить нашествие нацистских тиранов. Эти народы желают жить в дружбе между собой. Они борются и будут бороться против нацистов до последней капли крови.

Американцы восторженно относятся к русским не только потому, что они в 1917 году свергли жестокую царскую тиранию, порабоцвавшую народы России, но и потому, что они заменили ее наиболее гуманной и блестящей системой, которая сделала нынешнюю Россию одной из самых передовых стран — если не самой передовой страной — в социальном, экономическом и духовном отношениях.

Американский народ, вспоминая свою собственную борьбу за свободу в прошлом и наблюдая попытки Гитлера уничтожить свободу человека, проникнут горячим желанием успеха русскому народу. Мы добиваемся, чтобы правительство США оказывало всемерную помощь России для разгрома безумных гитлеровцев, стремящихся возродить рабство в Европе, Азии и других частях света.

Я горжусь тем, что имею возможность направить вам это послание, так как оно глубоко искренне. Я уверен, что Америка на деле покажет себя верным союзником России и Объединенных наций в борьбе против порабощения человека и за улучшение его жизни.

1941 г.

ОТВЕТ КРАСНОАРМЕЙЦУ

Глубоко тронут этой данью уважения; разумеется, я вполне оценил ее значение и искренне признателен. Не знаю, что еще сказать. Это произведение принадлежит к тем прекрасным творениям искусства, которые рождает жизнь.

Мир знает, как глубоко я восхищаюсь русским народом в целом и уважаю его и все, что сделано им для того, чтобы жизнь человечества стала более справедливой и достойной.

То, что такое письмо прислал мне один из героических бойцов Советского Союза, является величайшей честью для меня.

Я благодарен Вам за это письмо и буду бережно его хранить.

Искренне Ваш

Теодор Драйзер

1942 г.

К ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

История видела много наций, которые расцветали и падали. Но ни в одной другой стране не были намечены столь замечательные планы и не были достигнуты столь блестящие успехи, как в Советском Союзе. Наконец-то я дождался до того, что вижу нацию, которая стремится к созданию гуманно организованного мирного сообщества и готова умереть за него.

1942 г.

ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Считаю честью выразить свою благодарность русскому народу за его гигантские труды на благо всего человечества, за его поразительные социальные достижения, за его героическую оборону родины от нападе-

ния сумасшедшего Гитлера. С 1917 года я следил за социальным строительством в России и всегда был убежден в том, что, как говорил Макартур, «надежды цивилизации в настоящее время покоятся на достойных знаменах мужественной Красной Армии», а также на разуме, природной гуманности и социальном благородстве русского народа.

1942 г.

ИЗ ПИСЬМА К СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

...Я хочу сказать, что Россия для меня — величайшая страна в мире по своим интеллектуальным, художественным, эстетическим и практическим достижениям и что с самого начала «десяти дней, которые потрясли мир», она старалась предоставить все преимущества угнетенным и обездоленным, равно как и тем, кто не находился в таких ужасных условиях. Думайте о том, что вы, молодежь России, — законные и, по-моему, заслуженные наследники столь великой страны и столь человеческой и достойной человека системы!

Живите, учитесь, боритесь и, если окажется необходимым, отдайте свою жизнь за родину, о вы, счастливые наследники столь великой страны! Поддерживайте ее, помогайте ей идти вперед, и это будет вашим великим вкладом в дело социального развития мира.

Теодор Драйзер

*Голливуд, Калифорния.
23 августа 1944 г.*

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

В творчестве Т. Драйзера публицистика занимает видное место. Писатель всегда пристально следил за ходом общественной и политической жизни в США и в мире и живо откликался как на события исторического значения, так и на повседневные явления быстротекущей жизни. Являясь неотъемлемой и полноправной частью обширного творческого наследия писателя, публицистика Драйзера не только дает возможность лучше познать общественные и творческие идеалы писателя, но и служит своеобразным историческим документом, раскрывающим многие стороны современной писателю американской действительности.

К сожалению, далеко не все разбросанные по газетам и журналам многочисленные публицистические выступления Драйзера объединены в сборники, хотя многие из этих выступлений сохраняют свою злободневность и в наши дни.

При жизни писателя вышли в свет его публицистические книги: «Бей, барабан!», «Драйзер смотрит на Россию», «Трагическая Америка», «Америку стоит спасти».

Первая публицистическая книга Драйзера «Бей, барабан!» (1920) включает в себя публицистические и философские статьи и очерки, написанные им во время и после первой мировой войны. Критики всячески поносили новую книгу писателя, многие его друзья также отнеслись к ней недружелюбно. Г. Менкен, например, заявлял: «Я сам мог бы написать эту книгу значительно лучше».

Бескомпромиссная правда о положении дел в Америке, рассказанная писателем в статьях и очерках сборника, являлась подлинным вызовом тем, кто не желал видеть за роскошным фасадом нью-йоркской Пятой авеню трущобы Бауэри или Ист-Сайда, кто, по словам писателя, предпочитал оставаться «всецело в пле-

ну у .многонискушенной прессы, хитро играющей на его заблуждениях».

Осенью 1927 года Драйзер совершил длительное путешествие по Советскому Союзу. Возвратившись в США, он рассказал о своих впечатлениях в серии статей, которые при содействии Североамериканской газетной ассоциации были напечатаны во многих американских и европейских газетах, а в ноябре 1928 года вышла в свет книга «Драйзер смотрит на Россию». На страницах этой книги перед американскими читателями предстал созданный дружеской рукой образ далекой, единственной в мире социалистической державы. Хотя писатель не все смог в нашей стране понять правильно, тем не менее его общее впечатление от СССР было не только доброжелательным, но и преисполненным восхищения. Реакционным критикам новая книга Драйзера пришлось явно не по вкусу, автора обвиняли во всех грехах, книгу пытались запретить. Однако все эти попытки успеха не имели, и книга вскоре была издана также в Англии, Германии, скандинавских странах

Изданная в январе 1932 года «Трагическая Америка» явилась попыткой всемирно известного писателя дать ответ на те вопросы, которые волновали в эти годы миллионы простых американцев. Писатель в своей книге обратился к насущным проблемам повседневной жизни — условиям существования трудящихся масс, полицейскому диктату, росту преступности, засилью власти банков и корпораций. И вывод его был вполне определенным. «В современной Америке человек фактически беспомощен, если, конечно, он не принадлежит к разряду сильных мира сего».

Писатель в своей книге резко выступал против самих устоев капиталистической Америки и прежде всего — против насилия капиталистов и их прислужников над простыми людьми. Серьезное внимание писатель обратил на зловещую роль церкви в стране «Я выступаю здесь против засилья церкви,— писал он,— нигде оно не принимает таких чудовищных форм, как в Америке!» Не случайно наиболее резким нападка книга подверглась со стороны католической печати. Однако ничто не могло заглушить мужественного голоса писателя, вставшего на защиту трудящихся масс.

Последняя публицистическая книга Драйзера «Америку стоит спасти» вышла в свет в начале 1941 года В ней писатель снова — в который раз! — обратил внимание на положение простых граждан США и охарактеризовал его точно и бескомпромиссно — «Нищета среди изобилия».

Он на конкретных фактах показал, как монополии США, Англии и Франции помогли вскормить гитлеровский нацизм, позволили ему развязать вторую мировую войну.

После вероломного нападения нацистской Германии на СССР Драйзер в своих многочисленных статьях и выступлениях на митингах призывал американских граждан и правительство оказывать всемерную помощь советскому народу в его справедливой борьбе.

Вошедшие в настоящий том статьи дают ясное представление о публицистике Драйзера последних лет.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
*произведений Теодора Драйзера, включенных
 в 1—12 тт. Собрания сочинений*

	Том	Стр.
Американская трагедия	8, 9	5
Бей, барабан!	12	273
Беседа с французским журналистом . .	12	401
Благодарю Маркса и красную Россию .	12	405
В метель	11	359
В снегу	11	361
Во тьме	11	355
Гений	6, 7	5
Горький будил мысль	12	400
Да здравствует свободная Испания! .	12	400
Два Марка Твена	12	386
Дженни Герхардт	2	5
Жизнь, искусство и Америка	12	325
Западня	11	93
Заря на Востоке	12	417
Заявление	12	352
Заявление по делу Тома Муни	12	356
Заявление, сделанное в Мадриде . . .	12	407
Значение СССР в сегодняшнем мире . .	12	424
Золотой мираж	11	488
Ида Хошарут	12	152
Из письма к советской молодежи . . .	12	437
К двадцатипятилетию Великой Октябрь- ской социалистической революции .	12	436
Калхейн, человек основательный . . .	11	190

	Том	Стр.
Ленин	12	422
Могучий Рурк	11	289
Мопассан-младший	11	236
Мэр и его избиратели	11	318
Народы следуют примеру русских	12	435
Негр Джеф	11	37
О некоторых чертах нашего национального характера	11	291
О писателях и литературе	12	380
О судебной расправе над жертвами Скотт- сборо	12	356
Обращение к трудящимся Франции	12	417
Оливия Бранд	12	5
Оплот	10	5
Освобождение	11	5
Ответ красноармейцу	12	436
Очистка нефти	11	350
Память о нем священна	12	416
Письмо другу	12	431
Письмо Союзу советских писателей (По по- воду полученной в подарок книги «Слово о полку Игореве»)	12	427
Питер	11	147
Победитель	11	521
Поездка в воюющую Испанию	12	408
Помогите сперва американцам!	12	420
Почему я голосую за коммунистов	12	357
Почему я считаю, что «Дейли уоркер» должна существовать	12	352
Предисловие к книге «Говорят горняки Харлана»	12	363
Прибежище	11	365
Приветствие Советскому Союзу	12	436
Приветствие Советскому Союзу по поводу двадцать третьей годовщины его су- ществования	12	423
Призыв к защите СССР получает могучую поддержку миллионов	12	360
Против войны	12	429

Репортаж о репортаже	11	64
Рона Мэрса	12	110
Святой Колумб и река	11	423
Сестра Керри	1	47
Союз Майкла Дж. Пауэрса	11	342
СССР — маяк человечества	12	377
Статьи и выступления	12	271
Стоик	5	5
Страна прогресса и подвига	12	354
«Суета сует», сказал Экклезиаст	11	266
Титан	4	5
Торжество марксизма	12	404
Трагическая Америка (<i>Главы из книги</i>)	12	177
Ураган	11	456
Успех России в борьбе против Гитлера	12	434
Финансист	3	5
Цепи	11	394
Чему научила меня мировая война?	12	384
Эрнестина	12	87
Эрнита	12	46
Я очень многим обязан ему	12	427
Я считаю это величайшим злодеянием...	12	432

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ИЗ СБОРНИКА
«ГАЛЕРЕЯ ЖЕНЩИН»

Оливия Бранд. <i>Перевод Н. Санникова</i>	5
Эрнита. <i>Перевод В. Станевич</i>	46
Эрнестина. <i>Перевод Э. Березиной</i>	87
Рона Мэрса. <i>Перевод Б. Томашевского и Л. Хвостенко</i>	110
Ида Хошавут. <i>Перевод М. Литвиновой</i>	152

ТРАГИЧЕСКАЯ АМЕРИКА

Главы из книги

Перевод Е. Калашниковой и О. Холмской

Американская действительность	177
Эксплуатация в Америке — власть силы	191
Конституция — клочок бумаги	216
Агрессивна ли Америка?	241

СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

Бей, барабан! <i>Перевод Т. Озерской</i>	273
О некоторых чертах нашего национального характера. <i>Перевод Р. Гальпериной</i>	291
Жизнь, искусство и Америка. <i>Перевод Т. Озерской</i>	325
Заявление	352
Почему я считаю, что «Дейли уоркер» должна существовать. <i>Перевод М. Лорие</i>	352

Страна прогресса и подвига	354
Заявление по делу Тома Муни. <i>Перевод М. Урнова</i>	356
О судебной расправе над жертвами Скоттсборо. <i>Перевод Н. Хуцишвили</i>	356
Почему я голосую за коммунистов	357
Призыв к защите СССР получает могучую поддержку миллионов. <i>Перевод М. Урнова</i>	360
Предисловие к книге «Говорят горняки Харлана»	363
СССР — маяк человечества. <i>Перевод А. Елистратовой</i>	377
О писателях и литературе	380
Чему научила меня мировая война? <i>Перевод Р. Гальпериной</i>	384
Два Марка Твена. <i>Перевод Л. Савельева</i>	386
Горький будил мысль	400
Да здравствует свободная Испания! <i>Перевод Н. Хуцишвили</i>	400
Беседа с французским журналистом	401
Торжество марксизма. <i>Перевод Т. Озерской</i>	404
Благодарю Маркса и красную Россию	405
Заявление, сделанное в Мадрид. <i>Перевод М. Лорие</i>	407
Поездка в воюющую Испанию. <i>Перевод Р. Гальпериной</i>	408
Память о нем священна	416
Обращение к трудящимся Франции	417
Заря на Востоке	417
Помогите сперва американцам! <i>Перевод Г. Ерофеевой</i>	420
Ленин. <i>Перевод М. Лорие</i>	422
Приветствие Советскому Союзу по поводу двадцать третьей годовщины его существования. <i>Перевод Я. Засурского</i>	423
Значение СССР в сегодняшнем мире. <i>Перевод Г. Ерофеевой</i>	424
Письмо Союзу советских писателей. (По поводу полученной в подарок книги «Слово о полку Игореве»). <i>Перевод Я. Засурского</i>	427
Я очень многим обязан ему. <i>Перевод Н. Хуцишвили</i>	427
Против войны. <i>Перевод Я. Засурского</i>	429

Письмо другу. Перевод Н. Хуцишвили . . .	431
Я считаю это величайшим злодеянием... . . .	432
Успех России в борьбе против Гитлера . . .	434
Народы следуют примеру русских	435
Ответ красноармейцу	436
К двадцатипятилетию Великой Октябрьской со- циалистической революции	436
Приветствие Советскому Союзу	436
Из письма к советской молодежи. Перевод Н. Банникова	437
Историко-литературная справка .	438
Алфавитный указатель произведений Теодора Драйзера, включенных в 1—12 тт. Собрания сочинений	441

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР

Собрание сочинений
в двенадцати томах

Том XII

Редактор тома

Е. А. Ромашкина

Оформление художника

Ю. А. Боярского

Технический редактор

В. Н. Веселовская

ИБ 1223

Сдано в набор 07 02 86 Подписано к печати 25 04 86.
Формат 84×108^{1/32} Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 23,94 Уч. изд. л. 24,10. Усл. кр.-отт. 26,86
Тираж 750 000 экз. (2-й завод 250 001—500 000)
Изд. № 17. Заказ № 2080. Цена 2 р. 30 к

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137. ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

Индекс 70685